This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 4180.73

Harvard College
Library

By Exchange

Сборникъ
на помощь учащимся женщинамъ.

Sbornik

СБОРНИКЪ

na pomoshch'

НА ПОМОЩЬ

uchashchimsya zhenshchinam.

УЧАЩИМСЯ ЖЕНЩИНАМЪ,

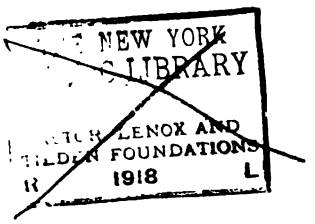
СОСТАВЛЕННЫЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ ЖЕНЩИНЪ-ПИСАТЕЛЬНИЦЪ, СНИМКОВЪ СЪ КАРТИНЪ И ИЛЛЮСТРАЦІЙ ХУДОЖНИЦЪ.

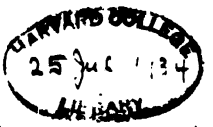
Весь доходъ предназначается на удовлетвореніе нуждъ общежитія при обществѣ вспомоществованія учащимся женщинамъ.

ТРИДЦАТЬ СЕМЬ ПОРТРЕТОВЪ
И 85 РИСУНКОВЪ.

Типо-литографія Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К°, Пименовская ул., соб. д.
Москва. 1901.

Slav 4180.73





By exchange from
New York Public Library

Дозволено цензурою. Москва, 24 марта 1901 г.

Рисунокъ Е. М. Бемъ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Составительницы сборника надѣются, что общество не откажетъ въ своей поддержкѣ начинанію, отъ успѣха котораго въ значительной степени зависитъ участь сотни одинокихъ, безпріютныхъ дѣвушекъ. Со всѣхъ концовъ Россіи собираются онѣ осенью въ Москву, чтобы пополнить свое образованіе и такимъ образомъ имѣть впослѣдствіи возможность на томъ или другомъ поприщѣ отдавать обществу свои силы и въ то же время зарабатывать свой хлѣбъ. Эти юныя существа безъ поддержки и знакомства, часто въ борьбѣ съ голодомъ и холодомъ надрываютъ свои силы, въ концѣ портятъ здоровье и гибнутъ отъ истощенія. Одинъ изъ видовъ помощи учащимся женщинамъ — устройство общежитія, въ которыхъ дѣвушки, не имѣющія семьи, получали бы сухое и теплое помѣщеніе и здоровую пищу. Цѣль настоящаго сборника достать средства для расширенія этого вида помощи. И къ кому же было прежде всего обратиться за сочувствіемъ и поддержкой этого женскаго дѣла, какъ не къ женщинамъ же? Поэтому сборникъ составленъ исключительно изъ произведеній женщинъ-писательницъ и снимковъ съ картинъ и иллюстрацій женщинъ-художницъ. Кромѣ того, въ немъ помѣщены портреты и краткія біографіи какъ тѣхъ, такъ и другихъ, за исключеніемъ авторовъ, не пожелавшихъ раскрывать своихъ псевдонимовъ или нашедшихъ для себя неудобнымъ давать свои портреты и біографіи.

Такимъ образомъ сборникъ до нѣкоторой степени служитъ попыткой подвести итоги того, что сдѣлано женщинами за послѣднее время на по-

прищѣ литературы и живописи. Къ сожалѣнію, по недостатку мѣста пришлось ограничиться этими двумя поприщами и не касаться другихъ отраслей дѣятельности и служенія обществу, на которыхъ женщины оказали не менѣе важныя заслуги.

Составительницы сборника считаютъ долгомъ выразить свою глубокую признательность всѣмъ откликнувшимся на ихъ призывъ и принявшимъ фактическое участіе какъ въ литературномъ, такъ и художественномъ отдѣлахъ. За исключеніемъ разсказовъ М. В. Крестовской, А. Р. Крандіевской и Т. Л. Щепкиной-Куперникъ (послѣдній въ измѣненномъ и дополненномъ видѣ), остальные статьи и разсказы, такъ же какъ и переводы Л. И. Микуличъ и Р. М. Хинъ, еще нигдѣ не были напечатаны.

Мы не можемъ также не помянуть словомъ горячей благодарности всѣхъ тѣхъ, которые совѣтами и указаніями всячески способствовали осуществленію этого предпріятія—В. А. Гольцева, С. С. Голоушева, В. М. Лаврова, любезно принявшаго на себя трудъ перевести новеллу г-жи Ожешко; Н. В. Полѣнову и И. С. Остроухова за разрѣшеніе воспользоваться для сборника снимками съ находящихся въ ихъ собраніи картинъ.

При расположеніи матеріала мы исключительно руководствовались временемъ поступленія статей и иллюстрацій къ нимъ.

Къ крайнему сожалѣнію составительницъ, въ сборникѣ отсутствуетъ нѣсколько крупныхъ именъ какъ на поприщѣ литературы, такъ и живописи. Нѣкоторыя изъ нихъ не нашли возможнымъ по тѣмъ или инымъ причинамъ дать свой вкладъ въ это дѣло, другія же, давъ уже обѣщаніе участвовать, впослѣдствіи отказались его исполнить.

Навѣрное, и въ этомъ сборникѣ, какъ въ каждомъ начинаніи, найдутся погрѣшности—составительницы примутъ всѣ мѣры къ тому, чтобы ихъ исправить во второмъ изданіи, если таковое осуществится.

Москва.
Мартъ 1901.

М. К. ЦЕБРИКОВА.

Марія Константиновна Цебрикова родилась въ 1835 г. въ Кронштадтѣ. Воспитаніе получила домашнее: главными предметами считались иностранные языки, русская грамматика, Законъ Божій, музыка, въ небольшихъ размѣрахъ преподавалась также отечественная исторія, ариѳметика и рисованіе. Наибольшее вниманіе было обращено на манеры. Рукодѣлію хотя и не обучали, но занятіе имъ весьма поощрялось, и названіе «рукодѣльница» считалось высшей похвалой. Русскій языкъ и русская исторія съ самаго начала сдѣлались любимыми предметами М. К.

Къ 16-ти годамъ незатѣйливый курсъ наукъ былъ пройденъ, и съ этой поры М. К. самостоятельно работаетъ надъ пополненіемъ пробѣловъ

своего образованія, но все, что она могла достать для чтенія, — это романы съ политической и соціальной подкладкой, да журнальныя статьи органовъ самыхъ противоположныхъ направленій. Севастопольскій погромъ заставилъ и ее, какъ многихъ въ то время, задуматься надъ русской жизнью. Изъ хаоса понятій у нея вырабатывается опредѣленное міросозерцаніе, чему не мало способствовалъ такъ же и дядя, декабристъ Николай Романовичъ Цебриковъ.

Первыя литературныя работы М. К. относятся къ 1866 г., когда она напечатала нѣсколько своихъ замѣтокъ въ «Дѣтскомъ Саду». Но первымъ ея крупнымъ трудомъ была статья «Наши бабушки», появившаяся лѣтомъ въ 1868 г. въ Отечественныхъ Запискахъ за подписью Николаевой. Съ тѣхъ поръ М. К. сотрудничала въ Отечественныхъ Запискахъ, Дѣлѣ, Недѣлѣ, Новостяхъ, Русской Мысли, Мірѣ Божіемъ, Женскомъ Дѣлѣ и др. журналахъ и газетахъ.

Нерѣдко принимала участіе и въ дѣтскихъ журналахъ, а съ 1876 г. издавала вмѣстѣ съ Н. В. Шелгуновымъ и О. Н. Поповой журналъ Дѣтскій Садъ, переименованный въ Воспитаніе и Обученіе. Затѣмъ, съ 1878 г. вела этотъ журналъ совершенно одна.

Въ 1870 г. вмѣстѣ съ покойной Е. И. Конради М. К. принимала участіе въ устройствѣ вечернихъ публичныхъ курсовъ — этого эмбріона высшихъ женскихъ курсовъ—и затѣмъ состояла членомъ комитета общества для доставленія средствъ высшимъ женскимъ курсамъ до конца 1889 г.

Съ 1892 г. М. Цебрикова безвыѣздно живетъ въ деревнѣ Смоленской губерніи, занимается литературными трудами, изрѣдка печатается подъ своимъ именемъ, но чаще подъ псевдонимомъ Николаевой.

НАШИ НЕДОРАЗУМѢНІЯ.

Утратить мужество—все утратить, тогда человѣку лучше не родиться.

Гёте.

Личность ли дѣлаетъ исторію, т.-е. сила ли идей, характера и воли человѣка, или среда, т.-е. совокупность внѣшнихъ условій: физическихъ, политическихъ и соціальныхъ, все то, что составляетъ этнографическое положеніе, учрежденія—наслѣдіе прошлаго, обычаи, преданія. Все это подразумѣвается подъ словомъ среда и противополагается понятію о личности, чуть рѣчь зайдетъ о силѣ или безсиліи ея. Но изъ этого опредѣленія среды мы видимъ, что иные изъ элементовъ, составляющихъ среду для живущихъ поколѣній, въ сущности—слѣды личностей, прежде жившихъ, все внесенное ими въ жизнь. Обветшалыя ученія и учрежденія, тормозящія ростъ общества, въ свое время были дѣломъ личностей, или настолько сильныхъ матеріально, что могли заставить массы принять всѣ мѣры ихъ, каковы бы ни были онѣ, или личностей, сильныхъ умственно и нравственно и этою силою подчинившихъ себѣ массы, которыя видѣли въ нихъ апостоловъ добра и правды. Великій человѣкъ—здѣсь рѣчь идетъ не о тѣхъ великихъ, которыхъ развѣнчиваютъ болѣе просвѣщенные вѣка, — есть квинтъ-эссенція всѣхъ силъ добра, мысли, энергіи, изобрѣтательности и творчества, разсѣянныхъ въ массѣ. Въ лицѣ такого человѣка мысль, знаніе, творчество, познаніе добра и правды дѣлаетъ шагъ впередъ; но самъ онъ—въ зависимости отъ шаговъ, сдѣланныхъ прежде другими.

Этотъ фактъ зависимости очень часто толкуется у насъ въ смыслѣ какого-то непреложнаго рока, намѣчающаго дѣятельность личности. Но роковой зависимости нѣтъ, и человѣкъ—не рабъ внѣшнихъ условій: если подъ полярнымъ кругомъ розъ не вырастишь, то разумный человѣкъ и не станетъ ихъ садить, а найдетъ иные пути дѣятельности. Вліяніе преданій всего строя жизни сильно, но не приковываетъ же оно безусловно личности къ заколдованному какому-то кругу, изъ котораго нѣтъ выхода. Всегда можно сказать: время -это мы сами въ смыслѣ преобладанія личностей, создающихъ тотъ или другой порядокъ вещей. Въ каждомъ вѣкѣ найдутся иныя личности,

своего образованія, но все, что она могла достать для чтенія, — это романы съ политической и соціальной подкладкой, да журнальныя статьи органовъ самыхъ противоположныхъ направленій. Севастопольскій погромъ заставилъ и ее, какъ многихъ въ то время, задуматься надъ русской жизнью. Изъ хаоса понятій у нея вырабатывается опредѣленное міросозерцаніе, чему не мало способствовалъ такъ же и дядя, декабристъ Николай Романовичъ Цебриковъ.

Первыя литературныя работы М. К. относятся къ 1866 г., когда она напечатала нѣсколько своихъ замѣтокъ въ «Дѣтскомъ Саду». Но первымъ ея крупнымъ трудомъ была статья «Наши бабушки», появившаяся лѣтомъ въ 1868 г. въ Отечественныхъ Запискахъ за подписью Николаевой. Съ тѣхъ поръ М. К. сотрудничала въ Отечественныхъ Запискахъ, Дѣлѣ, Недѣлѣ, Новостяхъ, Русской Мысли, Мірѣ Божіемъ, Женскомъ Дѣлѣ и др. журналахъ и газетахъ.

Нерѣдко принимала участіе и въ дѣтскихъ журналахъ, а съ 1876 г. издавала вмѣстѣ съ Н. В. Шелгуновымъ и О. Н. Поповой журналъ Дѣтскій Садъ, переименованный въ Воспитаніе и Обученіе. Затѣмъ, съ 1878 г. вела этотъ журналъ совершенно одна.

Въ 1870 г. вмѣстѣ съ покойной Е. И. Конради М. К. принимала участіе въ устройствѣ вечернихъ публичныхъ курсовъ — этого эмбріона высшихъ женскихъ курсовъ—и затѣмъ состояла членомъ комитета общества для доставленія средствъ высшимъ женскимъ курсамъ до конца 1889 г.

Съ 1892 г. М. Цебрикова безвыѣздно живетъ въ деревнѣ Смоленской губерніи, занимается литературными трудами, изрѣдка печатается подъ своимъ именемъ, но чаще подъ псевдонимомъ Николаевой.

Tsebrikova
1
№ (читат. билета) (дата)
Автор Комиссаж
Заглавие Сестры. Рассказы
Том вып. часть №№
Место и год изд. М-Л, 1927
ШИФРЫ
U 127 / 385 | РГ 10/4028
Подпись читателя (разборчиво)
час.

ЗУМѢНІЯ.

тить мужество—все утратить, тогда
у лучше не родиться.

Гёте.

. сила ли идей, характера и
ость внѣшнихъ условій: физи-
все то, что составляетъ этно-
лѣдіе прошлаго, обычаи, пре-
овомъ среда и противополагается понятію о личности, чуть рѣчь зайдетъ о силѣ или безсиліи ея. Но изъ этого опредѣленія среды мы видимъ, что иные изъ элементовъ, составляющихъ среду для живущихъ поколѣній, въ сущности—слѣды личностей, прежде жившихъ, все внесенное ими въ жизнь. Обветшалыя ученія и учрежденія, тормозящія ростъ общества, въ свое время были дѣломъ личностей, или настолько сильныхъ матеріально, что могли заставить массы принять всѣ мѣры ихъ, каковы бы ни были онѣ, или личностей, сильныхъ умственно и нравственно и этою силою подчинившихъ себѣ массы, которыя видѣли въ нихъ апостоловъ добра и правды. Великій человѣкъ—здѣсь рѣчь идетъ не о тѣхъ великихъ, которыхъ развѣнчиваютъ болѣе просвѣщенные вѣка, — есть квинтъ-эссенція всѣхъ силъ добра, мысли, энергіи, изобрѣтательности и творчества, разсѣянныхъ въ массѣ. Въ лицѣ такого человѣка мысль, знаніе, творчество, познаніе добра и правды дѣлаетъ шагъ впередъ; но самъ онъ—въ зависимости отъ шаговъ, сдѣланныхъ прежде другими.

Этотъ фактъ зависимости очень часто толкуется у насъ въ смыслѣ какого-то непреложнаго рока, намѣчающаго дѣятельность личности. Но роковой зависимости нѣтъ, и человѣкъ—не рабъ внѣшнихъ условій: если подъ полярнымъ кругомъ розъ не вырастишь, то разумный человѣкъ и не станетъ ихъ садить, а найдетъ иные пути дѣятельности. Вліяніе преданій всего строя жизни сильно, но не приковываетъ же оно безусловно личности къ заколдованному какому-то кругу, изъ котораго нѣтъ выхода. Всегда можно сказать: время—это мы сами въ смыслѣ преобладанія личностей, создающихъ тотъ или другой порядокъ вещей. Въ каждомъ вѣкѣ найдутся иныя личности,

воплощающія въ себѣ идеалы лучшаго ближайшаго или болѣе отдаленнаго будущаго, другія—идеалы прошлаго, болѣе или менѣе отдаленнаго. Онѣ живутъ среди массы народной, которая живетъ своею обособленною жизнью, и мѣрой роста общества служитъ фактъ, насколько болѣе или менѣе чужды или близки ей люди-глашатаи иныхъ лучшихъ временъ.

Инерціи въ человѣчествѣ менѣе, чѣмъ инициативы: не то совершенствованіе жизни не шло бы такимъ страшно медленнымъ шагомъ. Читая о злодѣйствахъ, напр., Людовика XI, непонятно, какъ могли люди выносить все. Въ біографіяхъ и мемуарахъ государственныхъ людей послѣднихъ двухъ вѣковъ видно, что они, узаконяя какую-нибудь стѣснительную мѣру, удивлялись пассивности, съ которой подчинялось всему общество, безмолвно позволявшее урѣзывать свои права.

Идея нравственно сильной личности совсѣмъ не то, что индивидуализмъ дикарей или современное модное *сверхъ-человѣчество* декадентовъ, въ которомъ такъ много общаго съ демоническимъ индивидуализмомъ романтиковъ. Идея нравственно сильной личности подчиняетъ свое *я* общему. Личность можетъ возмущаться стѣсненіемъ своей разумной свободы, можетъ возмущаться и препятствіемъ своему „нраву", какъ Китъ Китычъ. Индивидуализмъ дѣлитъ человѣчество на избранниковъ, стоящихъ выше толпы, и на „презрѣнную чернь"—рабыню поденныхъ заботъ. Идея нравственно сильной личности не признаетъ такого раздѣленія: каждый человѣкъ имѣетъ право свободно дышать и дѣйствовать при условіи не нарушать права другого; каждый человѣкъ—личность и имѣетъ право на полноту жизни. Выдается иная личность талантами, умомъ, иниціативой и энергіей—авторитету ея другія личности подчиняются добровольно, и такое подчиненіе не ведетъ къ рабству: человѣкъ подчиняется по доброй волѣ. Авторитетъ вліяющей личности держится не матеріальной силой, и, чѣмъ сильнѣе она, тѣмъ большій кругъ другихъ признаетъ вліяніе ея, и тѣмъ шире районъ его въ пространствѣ и времени.

Единичная личность искони чувствовала слабость свою въ борьбѣ съ жизнью и искала силы въ сплоченіи. Союзъ съ другими неизбѣжно налагаетъ извѣстное стѣсненіе на личность, но она подчиняется ради выгодъ, въ другомъ отношеніи принесенныхъ союзомъ. Когда невыгоды перевѣшиваютъ выгоды, союзъ уничтожается путемъ ли насильственнымъ, или путемъ естественнаго вымиранія. Въ доисторическія времена люди сходились въ общества ради матеріальныхъ выгодъ; въ наше же время союзы исключительно во имя этого начала ведутъ человѣчество впередъ: матеріальная выгода—только одна сторона дѣла, въ смыслѣ куска хлѣба голодному люду. Но не однимъ хлѣбомъ будетъ живъ человѣкъ: нуженъ хлѣбъ для духа. И объ этомъ хлѣбѣ идутъ споры, и различныя идеи, объединяющія адептовъ своихъ, борются за свою жизнь и ростъ. Въ партію, выставившую на

знамени своемъ девизъ той или другой идеи, личность вступаетъ по доброй волѣ, по искреннему убѣжденію и ея нравственная сила будетъ крѣпчать отъ союза, она будетъ упрочивать свое достоинство, которое есть вѣрность себѣ и стремленіе къ истинѣ.

Есть извѣстная аксіома: нельзя найти двухъ вполнѣ сходныхъ умовъ; но полнаго сходства и не требуется на то, чтобы личность примкнула къ какой-нибудь партіи. Признавая истину ученія въ основѣ и главныхъ пунктахъ, члены каждой партіи могутъ расходиться во мнѣніи относительно частностей теоріи. Личности въ такомъ случаѣ приходится примириться съ частнымъ разногласіемъ, и уступка эта вознаграждается возможностью сдѣлать для торжества своей идеи то, чего бы она была неспособна сдѣлать своими единичными усиліями. На такое примиреніе не пойдетъ лишь самодуръ, для котораго выше всего удовлетвореніе его „ндраву". Можетъ быть еще разногласіе насчетъ своевременности или удобства иныхъ мѣръ осуществленія идеи на практикѣ. Разногласіе коренится въ характерѣ членовъ и во взглядахъ, почерпнутыхъ изъ собственнаго опыта, который каждый человѣкъ склоненъ обобщать. Въ такомъ случаѣ личность вполнѣ права, уклоняясь отъ образа дѣйствія, который она считаетъ вреднымъ для своей идеи. Нельзя прибѣгать къ мѣрамъ, цѣлесообразности которыхъ не вѣришь. И тѣ партіи, которыя насильственно обязываютъ кого-либо изъ своихъ членовъ работать тѣмъ путемъ, противъ котораго возмущается его сознаніе, носятъ въ самихъ себѣ начало разложенія. Онѣ созданы ненормальными условіями времени, если порабощаютъ личность. Порабощеніе ея несетъ неизмѣнно въ себѣ разложеніе партіи и цѣлаго общественнаго строя.

Непониманіе этой истины лежитъ въ основѣ противоположныхъ мнѣній, которыя такъ часто слышишь: кружки забиваютъ личность, кружки усиливаютъ личность. Въ отношеніи матеріальной силы во всѣхъ партіяхъ или просто группахъ сказывается извѣстное экономическое правило: два работника при совмѣстной работѣ сдѣлаютъ работу троихъ, работающихъ порознь. Но такъ же вѣрно и то, что матеріальное усиленіе иной партіи ведетъ за собой подавленіе личности. Въ отношеніи нравственнаго усиленія личности, которое рано или поздно приведетъ за собой матеріальное усиленіе личности, надо прежде всего спросить: во имя какихъ началъ объединяются люди? Иныя идеи усиливаютъ личность, другія подавляютъ. Все дѣло въ томъ, идетъ ли идея согласно съ уроками, какіе даетъ намъ ходъ исторіи, или хочетъ поворотить его назадъ.

Уроки исторіи учатъ насъ медленному, но неуклонному освобожденію личности. Въ древнемъ Римѣ отецъ имѣлъ право жизни и смерти надъ дѣтьми, и лишеніе этого права не было забиваніемъ личности отца. Законы долго сохраняли да и сохраняютъ еще въ иныхъ цивилизованныхъ странахъ власть его надъ душою дѣтей. Наполео-

новскій кодексъ (который несправедливо называютъ его именемъ, потому что все наиболѣе существенное изъ законовъ было выработано кимиссіею конвента въ то время, когда Наполеонъ былъ еще безвѣстнымъ офицеромъ) освобождаетъ душу дѣтей въ совершеннолѣтіе. Чѣмъ отдаленнѣе эпоха, тѣмъ сильнѣе опека законовъ надъ личностью и тѣмъ значительнѣе вмѣшательство ихъ въ частную жизнь гражданъ. И это не въ тѣхъ отношеніяхъ, въ которыя обязана вмѣшаться власть закона,—когда онъ разумный законъ,—чтобы не допустить насилія сильнаго надъ слабымъ, а въ отношеніи обыденныхъ мелочей частной жизни, какъ-то: покроя одежды, пищи, обрядности, устройства жилищъ.

Личность не могла удовлетвориться жалкой свободой одѣваться. ѣсть, пить и строить жилища по своему усмотрѣнію. Она живетъ сознательною жизнью, и ей нужна свобода мыслить и вѣрить, какъ велитъ ей совѣсть. Право мыслить можетъ проявляться лишь въ правѣ высказывать свою мысль. На право мыслить наединѣ, въ четырехъ стѣнахъ, не посягнетъ и самъ Торквемада. Лишеніе права высказывать свою мысль есть обреченіе личности на насильственную нѣмоту. Право вѣрить есть право не подчиняться вѣроисповѣданію, не признанному совѣстью, открыто исповѣдывать свой культъ на равныхъ правахъ съ другими. Партіи, поставившія девизомъ своимъ свободу мысли и совѣсти, поднимаютъ личность.

Но, скажутъ противники, высказывая мысли несогласныя съ мыслями другихъ, мы оскорбляемъ ихъ чувства и нарушаемъ свое же правило, что свобода одной личности кончается тамъ, гдѣ начинается свобода другой. Странно, почему высказываніе противниками нашими идей возмутительныхъ для насъ не есть тоже посягательство на нашу свободу. Заявленіе идеи можетъ быть неумѣстно въ смыслѣ метанія бисера, но когда же оно можетъ быть нарушеніемъ свободы другихъ?

Если, напримѣръ, я отправлюсь въ восточный гаремъ проповѣдывать, что многоженство держится рабствомъ женщины, создаетъ рабскую семью, поддерживающую рабскій строй общества, и мнѣ скажутъ: ступай прочь,—я уйду. Но я ничѣмъ не нарушила уваженія къ личности обитательницъ гаремовъ, я сама захотѣла быть гласомъ вопіющимъ въ пустынѣ. Но насильно заставлять другихъ себя слушать я не имѣю права.

Каждый человѣкъ, мыслившій о жизни, неизбѣжно найдетъ въ окружающихъ его условіяхъ многое возмущающее его чувства и совѣсть. Измѣнить условія эти онъ не можетъ. Какъ же ему въ такомъ случаѣ проявить присущую ему потребность дѣйствовать и творить? Другого пути нѣтъ, кромѣ примѣненія къ существующимъ условіямъ съ цѣлью улучшить ихъ. Это вовсе не оправданіе цѣли средствами и не вытье съ волками по-волчьи; оно не есть подчиненіе своей идеи тѣмъ, противъ которыхъ я хочу бороться, а употребленіе своевременныхъ средствъ. Правда, что не всегда легко опредѣлить себѣ прямой

путь въ отношеніяхъ людскихъ, и это не потому, что нравственныя истины менѣе ясны и положительны, чѣмъ научныя, но потому, что страсти мѣшаютъ ясно видѣть. Онѣ и создали іезуитское правило: цѣль оправдываетъ средство.

Партія, избравшая правило это своимъ девизомъ, доказываетъ тѣмъ свою близорукость. Съ одной стороны, это—недостатокъ вѣры въ силу своихъ принциповъ и презрѣніе къ человѣчеству, въ которомъ, пока оно живо, не вымретъ потребность правды; съ другой—самомнѣніе, приписывающее себѣ даръ сердцевѣдца, и страстное нетерпѣніе во что бы то ни стало сдѣлать какой-нибудь шагъ на практикѣ, хотя бы и невѣрный. Всѣ доводы въ пользу іезуитизма берутся всегда изъ крайне ненормальныхъ положеній жизни, и это уже говоритъ о томъ, что закономъ нравственной жизни онъ быть не можетъ.

Напротивъ, іезуитизмъ даетъ очень удобное средство прикрывать наши постыдныя сдѣлки съ совѣстью. Ради обезпеченія карьеры выставляются на видъ такіе доводы: я хочу работать на пользу общества, и безумно закрывать себѣ путь къ работѣ. Но разъ цѣль жизни не карьера, а эта польза, то всегда найдутся болѣе чистые пути къ работѣ, чѣмъ заявленіе того, съ чѣмъ несогласна совѣсть наша. Человѣка, не идущаго на сдѣлки съ совѣстью, назовутъ Донъ-Кихотомъ; но Донъ-Кихотъ смѣшонъ какъ рыцарь Дульцинеи, а не своею готовностью страдать и умереть за обиженныхъ. Путь лжи—скользкій путь. Сегодня одна уступка во имя своихъ „высшихъ“ соображеній, завтра другая еще большая; эти уступки напоминаютъ нѣмецкую эпиграмму: „Павзаній убѣжалъ съ поля сраженія, сообразивъ, что, разъ его убьютъ, онъ уже никогда болѣе не будетъ сражаться“. Поставьте павзаніевскую мудрость правиломъ—и не будетъ арміи. Уровень совѣсти понизится и, начавъ съ уступокъ вызванныхъ высшими соображеніями, личность рискуетъ кончить сдѣлками во имя личныхъ выгодъ. Нуженъ очень высокій нравственный законъ и свѣтлый умъ, чтобы не смѣшать интересы общественнаго служеніи съ жаждою почета и вліянія или другими личными выгодами. Рѣдки люди, умѣющіе смотрѣть въ самыя темныя глубины души своей и видѣть все, прячущееся не только отъ чужого глаза, но и отъ своего собственнаго. Но и они, хотя болѣе другихъ застрахованы отъ паденія, сознавались, что принципъ оправданія цѣли средствами путалъ ихъ совѣсть и побуждалъ ихъ дѣлать вещи, въ которыхъ они позже раскаивались не потому только, что въ концѣ концовъ сдѣланное оказывалось вреднымъ для дѣла ихъ, но еще потому, что сдѣланный шагъ былъ въ сущности внушенъ узкими личными побужденіями, въ ослѣпленіи страсти принятыми за общія.

Личность, несущая идею, къ которой еще надо пріучать общество. тѣмъ болѣе должна быть чистой отъ іезуитизма. Толпа всегда склонна смѣшивать истину идеи съ безупречностью дѣйствій исповѣдниковъ ея.

Минимальная выгода, принесенная іезуитизмомъ, оплачивается крупнымъ вредомъ—подрывомъ кредита исповѣдниковъ. Въ жизни все цѣпляется одно за другое, и дѣйствія наши могутъ принести и такія послѣдствія, какихъ мы предвидѣть не можемъ. Каждая личность можетъ видѣть непосредственно сравнительно очень тѣсный кругъ. Объ отношеніяхъ, выходящихъ за предѣлы его, она можетъ судить лишь по аналогіи и легко обчесться въ своихъ планахъ, потому что чужая душа—потемки и наврядъ ли найдется человѣкъ, который охотно подчинился бы роли слѣпого орудія и не вынесъ бы озлобленія противъ навязывающаго ему эту роль. Личность всего сильнѣе, и ея вліяніе всего прочнѣе, когда она слѣдуетъ нашей народной пословицѣ: все минется, одна правда остается. Уроки исторіи подтверждаютъ этотъ урокъ народной мудрости. Луи Бланъ въ своемъ введеніи въ „Исторію десяти годовъ“ доказываетъ, какъ каждая партія рыла себѣ яму, когда, прикрываясь великой идеей, въ сущности отстаивала только свои интересы и, разъ они были затронуты, считала себя въ правѣ переступить законы человѣчности. Наивные люди переступали, воображая, что въ лицѣ своей партіи спасаютъ міръ; ненаивные хорошо вѣдали, что творили.

Переступивъ законы, эта личность сходитъ съ прямого пути въ лабиринтъ извилистыхъ тропъ и дѣломъ говоритъ: я могу переступить, я—сила. Это говоритъ Раскольниковъ, поминая Магомета и Наполеона; это говорилъ романтическій индивидуализмъ Манфреда и Лары, говоритъ и декандентскій сверхъ-человѣкъ. Эту гипертрофію личности не излѣчить смиреніемъ, рекомендуемымъ Достоевскимъ и другими писателями его лагеря. Лихая болѣсть эта родится тамъ, гдѣ задавлена личность. Лары и Манфреды явились протестомъ противъ гнета чопорнаго пуританизма. Если мы мало грѣшимъ пуританизмомъ, зато есть другія условія, прививающія намъ лихую болѣсть мечтанія о *я*, смѣющемъ переступить черту человѣчности и стать, по декадентскому жаргону, сверхъ-человѣкомъ. Лихая болѣсть всего сильнѣе въѣдается тамъ, гдѣ вѣками въѣлась привычка итти вразбродъ, гдѣ личности всего чаще приходится задавать себѣ роковой вопросъ Раскольникова: „тварь ли я дрожащая, или нѣтъ?“ Мистицизмъ Достоевскаго—не лѣкарство: въ этомъ источникѣ и Торквемады-догматики, и не признававшіе догматовъ иллюминаты черпали силу „переступать“. Они только плодомъ сверхъестественнаго наитія звали то, что Раскольниковъ звалъ своей идеей, творчествомъ своей личности. Смиреніе мистиковъ передъ сверхъестественнымъ было въ сущности маской чудовищной гордости; они видѣли въ себѣ избранниковъ высшей силы, поднявшей ихъ превыше толпы, давшей имъ власть вѣщихъ рѣшеній. Личность переступаетъ законы человѣчности не для того, чтобы доказать себѣ, тварь ли она дрожащая, или право имѣетъ; она сознаетъ себя дрожащею тварью только передъ сверхъестественнымъ, а среди

людей—существомъ, помазаннымъ высшею властью. У Крестовскаго (псевдонима) въ характерѣ Багрянскаго-отца есть черта, хорошо иллюстрирующая сказанное выше. Чѣмъ болѣе, повергаясь ницъ, смирялъ себя Багрянскій въ мистическихъ экстазахъ, тѣмъ болѣе считалъ онъ себя облеченнымъ властью карать и провинившихся крестьянъ, и дочь, заподозрѣнную въ грѣхѣ противъ седьмой заповѣди.

Вліяніе сильной личности почерпается не изъ мистическаго источника, оно присуще ей, какъ свойство согрѣванія—теплу, освѣщенія—свѣту; оно не гипертрофія, а естественное, здоровое проявленіе ея. Добровольное подчиненіе ей болѣе слабой не есть порабощеніе послѣдней. Вліяніе умственнаго и нравственнаго превосходства дѣйствуетъ открыто, путемъ опроса и убѣжденія, не навязывается насильно, подъ угрозами каръ или наградъ, не спекулируетъ на низменные инстинкты личности: страхъ, тщеславіе, корысть, но обращается къ лучшимъ сторонамъ человѣческой природы. Въ человѣкѣ видятъ брата, котораго надо поднять, научить, вести къ лучшей жизни, а не винтъ механизма, который готовишь для какой-нибудь цѣли. Авторитетъ нравственный и умственный—не деспотизмъ; подчиняющаяся ему личность сохраняетъ полную свободу совѣсти и дѣйствія; подчиненіе ея есть союзъ святой и вольный, и въ немъ она ищетъ свой хлѣбъ для ума и души, свой ростъ. Пока она получаетъ то, ради чего вступила въ союзъ, непризнаніе авторитета можетъ быть только неразумѣемъ, самодурствомъ. Изъ такого опредѣленія отношеній болѣе слабой личности къ болѣе сильной видно, что авторитетъ первой не можетъ быть абсолютнымъ, подавляющимъ. Если сильная утрачиваетъ права свои быть авторитетомъ, то подчинявшаяся ей можетъ уйти отъ нея.

Человѣчный строй жизни можетъ быть созданъ только развитіемъ человѣчнымъ, развитіемъ личности. Ржавое орудіе ломается въ работѣ даже искусной руки, гнилыя балки рухнутъ, какъ бы ни былъ вѣренъ планъ зданія—все это ясно въ буквальномъ смыслѣ, но все это становится спорнымъ пунктомъ, примѣненное къ общественной жизни. Среда гнететъ, дайте другую среду, и люди будутъ другими, говорятъ тѣ, которые въ однѣхъ внѣшнихъ условіяхъ видятъ спасеніе міра. Но что же такое среда, какъ не условія, при какихъ живетъ нація въ ея цѣломъ, т.-е. интеллигенція страны, сословія, правительство, зависимость отъ физическихъ условій, экономическій уровень, учрежденія, отношенія къ другимъ націямъ, уровень культуры, словомъ—все, составляющее внутреннюю и внѣшнюю жизнь страны. Что можетъ сдѣлать личность средняя, а онѣ и составляютъ массу, сознающая недостатки среды и желающая устранить ихъ? На порогѣ къ работѣ ее встрѣчаютъ два противоположныхъ мнѣнія. Одно учитъ: дайте хорошіе законы, и люди будутъ хороши. Другое учитъ: хорошіе законы даются только хорошими людьми, законы могутъ быть святы, но исполнители, лихіе супостаты, сведутъ ихъ къ нулю. Нечего думать объ усовершенство-

ваніи законовъ: совершенное человѣчество обойдется и безъ законовъ. Оба мнѣнія грѣшатъ теоретичностью: первое отзывается кабинетомъ бюрократа, второе—кельей моралиста-отшельника. Оба представляютъ себѣ среду какъ нѣчто обособленное отъ человѣческой личности, но первое видитъ въ ней грозный неумолимый рокъ, второе—нѣчто безусловно подчиненное волѣ человѣка. Первое сковываетъ энергію и ведетъ къ складыванію рукъ, второе даетъ преувеличенное понятіе о силахъ личности и приводитъ къ горькому разочарованію. Во время прогресса человѣкъ будетъ прогрессистомъ, во время регресса не можетъ не регрессировать, говорятъ проповѣдники роковой власти среды. Во всякую пору личность можетъ подчинить себѣ среду. Пусть время зависитъ отъ насъ, говорилъ Базаровъ, хотя онъ и не отправлялся отъ той точки, отъ какой отправляются проповѣдники самосовершенствованія. Истина—въ серединѣ между обѣими крайностями. Учрежденія воспитываютъ человѣка, но воспитанный ими человѣкъ можетъ относиться къ нимъ независимо, видѣть достоинства и недостатки ихъ и работать для сохраненія первыхъ и уничтоженія вторыхъ. Каждая личность носитъ въ себѣ не только вліяніе своей среды, но и свое я, реагирующее такъ или иначе на вліяніе это. Когда говорятъ о характерѣ эпохи, то говорятъ собственно о преобладающей чертѣ ея, передъ которой стушевывались другія, порою лишь на время, для того чтобы въ свой чередъ стать преобладающими. Преобладаніе выражалось въ личностяхъ, которыя выдвигались на первый планъ идеями, дѣйствіями, оттѣсняя другія. Въ одну эпоху выдвинутся одни люди, въ другую—другіе; случается, что и въ обѣ выдвигаются одни и тѣ же люди, но они стоятъ подъ разными знаменами и сегодня сжигаютъ то, чему поклонялись вчера. Если среда—причина ихъ измѣны, то почему же только люди ихъ разбора не отнесутся къ нимъ съ презрѣніемъ? Отказываясь подать руку перебѣжчику, мы тѣмъ самымъ признаемъ, что онъ могъ не перебѣжать, мы признаемъ свободу его выбора.

Большинство, т.-е. меньшинство по отношенію къ массѣ общества, суетящееся наверху жизни, воображая, будто руководитъ ею, всегда идетъ въ уровень съ status quo: все равно, принимаетъ ли оно фактическое участіе въ управленіи, или только пассивно подчиняется существующему. Оно не отличается внутренней силой личностей и бываетъ сильно только внѣшними условіями; итти торнымъ путемъ легко: не надо ни иниціативы, ни особенной энергіи. Впереди и позади его идутъ два меньшинства. Въ одномъ выражается атавизмъ, и оно, если бы хватило силы, отодвинуло бы страну на ту ступень, на которой она стояла, когда атавистическое начало было лозунгомъ дня. Въ меньшинствѣ, идущемъ впереди, живетъ будущее; оно—союзъ піонеровъ, проторяющихъ далѣе путь по новымъ мѣстамъ; въ немъ цвѣтъ энергіи и иниціативы общества. Въ прогрессивныя эпохи, когда и большинство убѣдилось, что существующій порядокъ вреденъ для интересовъ его,

и готово къ перемѣнамъ, піонеры сильны и матеріально, потому что у нихъ есть опора, и идеи ихъ, по ходячему выраженію, носятся въ воздухѣ. Движеніе впередъ ослабѣваетъ и прекращается, запасъ энергіи и иниціативы большинства скоро истощается. Открывшаяся необходимость дальнѣйшихъ шаговъ, вытекающихъ изъ сдѣланныхъ, пугаетъ: спокойствіе всего дороже большинству.

Гдѣ же причина такого поворота? Обвиненіе въ продажности, измѣнѣ вообще несправедливо за нѣкоторыми исключеніями. Причина—въ безличности людей большинства: оно испугалось широкихъ горизонтовъ, открытыхъ піонерами будущаго. Осуществившіяся по иниціативѣ ихъ реформы измѣняли привычный ходъ жизни, требовали новыхъ приспособленій личности. Привычки, въ которыхъ взрощены были люди, подрывали успѣшность примѣненія реформъ и вѣру въ нихъ. Вполнѣ хорошихъ плодовъ отъ реформы можно ожидать только отъ поколѣнія, взросшаго подъ вліяніемъ ея. Піонеры говорили это, указывая на необходимость итти далѣе для закрѣпленія реформы, но ихъ уже не слушали. Старыя привычки, калѣчившія результаты реформы, говорили громче; передъ страхомъ неизвѣстнаго будущаго забыто было зло дореформенной поры. Инерція стала лозунгомъ дня.

Инерція есть еще болѣе скудость нравственныхъ силъ, чѣмъ ума. Мнѣ разъяснена полезность необходимаго шага, и я не рѣшаюсь на него лишь потому, что придется отказаться отъ иныхъ привычекъ, измѣнить нѣкоторыя отношенія къ людямъ. Отъ меня не требуютъ никакихъ геройскихъ жертвъ, никакихъ великихъ подвиговъ: нужно только мое заявленіе въ ряду тысячъ другихъ. И я отказываюсь высказаться изъ опасенія мелкихъ непріятностей, а то и просто потому, что лѣнь двинуться. Я ссылаюсь на А, отчего онъ не говоритъ. И повторяется вѣчно старая и вѣчно новая комедія: А ссылается на В, В—на С, С—на D и такъ далѣе. Каждый отказывается тянуть свою долю въ общей лямкѣ и каждый твердитъ: зачѣмъ же мнѣ выступить, а не другому? И всѣ были бы рады, если бы дѣло свалилось съ неба, какъ сказочный жареный рябчикъ. Тутъ не въ умѣ недочетъ, а въ духѣ подъема, въ сильномъ двигателѣ чувствъ и сильной опорѣ—мужествѣ. И на упрекъ за это вамъ отвѣтятъ избитымъ оправданіемъ—средой.

Были времена, когда среда была хуже, была пора разнузданности крѣпостничества; тогда о вещахъ, ставшихъ нынче общимъ мѣстомъ, говорили шопотомъ; тогда то, что мы нынче зовемъ безсодержательностью газетъ, считалось смѣлостью чуть не безумною; чтеніе книгъ, которыя въ наше время не попали въ списокъ запрещенныхъ къ выдачѣ въ публичныхъ библіотекахъ, налагало печать неблагонамѣренности. Изъ такой среды вышли же люди, оставившіе свѣтлый слѣдъ въ обществѣ. Но они росли не подъ вліяніемъ ученія о всемогущей, всеоправдывающей средѣ, но противопо-

ложной крайности—ученія, говорившаго человѣку: ты царь, ты богъ. Оно, конечно, принесло горькое разочарованіе, когда жизнь доказала человѣку, что онъ не болѣе, какъ единица въ милліонахъ; но оно не сламывало волю его, не снимало съ него сознанія собственной отвѣтственности, не твердило ему: ты игрушка обстоятельствъ, и не давало повода къ гнилому самооправданію. Въ ту темную пору личность воспитывали изреченіями въ родѣ: побѣдившій себя побѣдитъ міръ, и примѣромъ учили молчалинству. И нашлись личности, которыя „побѣдили себя", т.-е. стряхнули ветхаго человѣка — грѣхи барства, и пошли на борьбу со зломъ въ надеждѣ, что завоюютъ міръ. Міра онѣ не завоевали, но оставили въ немъ свѣтлый слѣдъ.

Какихъ же людей дало ученіе, принижающее личность? Разъ человѣкъ только безотвѣтное орудіе силы среды, чтобы онъ ни думалъ, за все отвѣчаетъ среда. Крыловскій пустынникъ сваливалъ все на чорта; съ легкой руки Бокля среда стала чортомъ, и это сильно понижало уровень общественной нравственности. Явился дешевый способъ заговаривать совѣсть—разъ, молъ, некрасивые поступки результатъ среды, то незачѣмъ мнѣ ихъ стыдиться, ни терзать себя за нихъ. Гораздо легче жить, не мучась и сваливъ все на новаго чорта, съ яснымъ челомъ плыть по теченію, забывъ всѣ завѣтныя слова, продавая всѣхъ и все. И несмотря на эту легкость, не въ конецъ пропащій человѣкъ въ глубинѣ души своей не заглушитъ грызущаго червя — упрека: зачѣмъ ты это сдѣлалъ? Ты могъ не сдѣлать. Сознаніе: я хочу, я могу, не вытравишь никакими теоріями. Замѣтимъ притомъ, что къ оправданію средой прибѣгаютъ только послѣ дѣйствія, заслуживающаго осужденія; но дѣйствіе, заслуживающее одобренія, вообще приписываютъ не средѣ, но всецѣло собственной личности.

Это не совсѣмъ логично, но такова житейская практика.

Абсолютно безсильной личность не будетъ ни при какихъ обстоятельствахъ, если она сама не увѣритъ себя въ полномъ безсиліи своемъ. Какъ ни парализуютъ внѣшнія условія силу ея, хотя бы четырьмя стѣнами больничной комнаты или тюрьмы, она можетъ вліять на окружающихъ, оставить по себѣ память силы, не измѣнившей себя, или силы сломившейся. Отъ людей, чья дѣятельность была стѣснена до минимума, автору приходилось слышать наиболѣе вѣскіе доводы о силѣ личности. Понятно, что больной не могъ силой воли встать съ одра болѣзни, ни заключенный—раздвинуть стѣны тюрьмы; но и тотъ, и другой могли, подбадривая себя, сберегать силы для лучшаго времени или дать задавить себя тяжелыми условіями. Чѣмъ безотраднѣе среда, тѣмъ нужнѣе призывъ къ энергіи, напоминаніе о томъ, какъ многое лежитъ и въ личности самой.

Не разъ эти же мысли были высказаны авторомъ статьи и вызвали замѣчаніе критики, что онъ держится обвинительнаго направленія, т.-е. упрекаетъ общество въ безсиліи и проповѣдуетъ энергическую

и самостоятельную личность, воображая, что только въ этомъ и заключается спасеніе отъ всѣхъ лихихъ болѣстей нашего вѣка и что для человѣческаго счастья достаточно только одного, чтобы каждая личность, ставъ энергической, служила идеаломъ лучшаго. Но авторъ всегда признавалъ необходимость улучшенія условій. „Обвинительное направленіе“ его не учитъ дожидаться, когда каждый членъ общества станетъ независимъ собственными усиліями, тогда только и можно приступить къ улучшенію общественныхъ условій. Дѣло въ томъ, что условія эти никогда не улучшатся, пока не прибудетъ въ обществѣ число энергичныхъ и честныхъ личностей: на то, чтобы быть честнымъ, нужна сила. По библейскому преданію, Содомъ былъ бы спасенъ, если бы нашлось десять праведниковъ. Дѣло не въ числѣ, а въ идеѣ, что для спасенія потребуется поголовное превращеніе грѣшниковъ въ праведниковъ; дѣло въ томъ, что иныя личности будятъ, ведутъ за собой, другія придаютъ силу движенію, поднятому первыми, третьи стоятъ крѣпкой плотиной, и безъ нихъ зло расплылось бы еще далѣе и шире.

Что же можетъ сдѣлать личность рядового работника своими силами? Сколько хватитъ голоса, кликнуть кличъ:—есть ли въ полѣ живъ человѣкъ?—и кромѣ этого клика и примѣра нечего дать. Въ пору сонного затишья будить спящихъ, въ пору поворота назадъ не давать увлечь себя общимъ движеніемъ и до послѣдней капли силъ держать свое знамя. Когда мутная волна поднимается и уноситъ одного за другимъ, то что же дѣлать сторожевымъ, какъ не повторять кликъ: держись! И кликъ этотъ придаетъ силу держаться. Онъ вырывается изъ наболѣвшей души, въ немъ трепетъ задавленной жизни, въ немъ и надежда. Когда отъ поднимающейся мутной волны у такъ многихъ кружится голова и они готовы выброситься въ волны, то нужно гипнотизировать волю ихъ кликомъ: держись! Нужно изо дня въ день, изъ года въ годъ будить совѣсть, и если хоть слабо зашевельнется укоръ ея, то и это хоть кроха, отнятая у чорта. Далеко не все равно, совершается ли постыдное дѣло съ мѣднолобою ясностью чела, или смущенно, неохотно: выйдутъ разныя степени зла.

Было еще замѣчено критикой, что теорія личности нашла себѣ фанатическихъ проповѣдницъ между женщинами, будто бы вслѣдствіе неспособности ихъ усвоить идею коллективизма, и это—въ силу присущаго имъ эгоизма. Въ упрекѣ этомъ—путаница понятій. Эгоизмъ, понятый не по широкому писаревскому опредѣленію его, а въ ходячемъ смыслѣ себялюбія, ставитъ личные интересы выше общественныхъ и уживается отлично съ какою угодно средою, воетъ съ волками, охраняя свою шкуру и урывая долю ихъ добычи. Теорія личности поднимаетъ ее на борьбу съ средой, не допускаетъ ее до гнилого самооправданія въ своихъ уступкахъ злу, она протестъ противъ обезличенія и пониженія силъ какъ умственныхъ, такъ и нравственныхъ и всегда найдетъ „фанатическихъ“ проповѣдницъ среди женщинъ. И это—

по мотивамъ очень близкимъ къ тѣмъ, какими руководились, какъ было выше сказано, заключенные, находившіе въ тюрьмѣ наиболѣе вѣскіе доводы о силѣ личности. Условія жизни искони тѣснили женщину болѣе чѣмъ мужчину.

Если бы личность была нулемъ, а среда всемогущей, то женщинѣ слѣдовало бы быть безличнѣйшимъ и ничтожнѣйшимъ существомъ. Но мы видимъ, что и въ вѣка торжества грубой силы она сумѣла быть руководящею вѣщею силою. Преданія Рима говорятъ о сивиллѣ, принесшей скрижали законовъ. Обреченная на пожизненное порабощеніе, на невѣжество, она сумѣла проложить себѣ путь къ самостоятельности и знанію. Только женщины, росшія въ пятидесятыхъ годахъ, поймутъ, что значило смѣть учиться и мыслить независимо въ эту темную пору. Мужчина тоже не могъ учиться всему, чему хотѣлъ; но между урѣзываемыми и порою искажаемыми предметами университетскаго курса и тѣсными рамками элементарности школьныхъ женскихъ программъ была цѣлая пропасть. Мужчинамъ никогда не твердили: ты къ этому неспособенъ, это не для тебя, не забивали въ немъ главнаго—мужества и вѣры въ себя.

Женщина съ первыхъ лѣтъ слышала: ты неспособна, и жизнь ума забивалась; но убить ее не могли, хотя все было для того сдѣлано. И оглядываясь на прошлое, припоминая, какимъ трудомъ приходилось отвоевывать малѣйшій шагъ, растить въ себѣ человѣка, женщина никогда не скажетъ, что среда все, а личность ничто.

Женщина искони была представительницей нравственнаго начала и потому никогда не примирится съ тѣми сторонами ученія о средѣ, которыя приводятъ къ гнилому самооправданію, а ужъ она ли не испытала весь гнетъ ея?! Она жила больше сердцемъ и оттого развила въ себѣ большую чуткость къ нравственнымъ сторонамъ жизни вообще. Запертая въ гинекеѣ, она сумѣла понять и прочувствовать не одну нравственность жены и матери, но и нравственность гражданки. Громкіе примѣры хорошо извѣстны; но сколько было безвѣстныхъ, скрытыхъ въ стѣнахъ гинекеевъ и вдохновлявшихъ проявленія честной и энергичной личности. Мужское самолюбіе не любитъ отдавать въ этомъ отношеніи справедливость женщинѣ. Ради прихоти гетеры надѣлать опрометчивыхъ шаговъ даже во вредъ какого-нибудь хорошаго дѣла—неоскорбительно для мужского самолюбія; все это дѣлается не краснѣя. Сознаться, что иногда вліяніе женщины, какъ матери, сестры, жены товарища по дѣлу, побудило къ тому или другому шагу и было благотворно—это оскорбительно для мужского самолюбія. Примѣръ Милля, напечатавшаго, какъ многое въ его книгѣ о женщинѣ было мыслью его жены, едва ли не единственный. Вообще женщина, даже самая правдивая, въ такомъ случаѣ прибѣгаетъ къ педагогическому пріему, котораго обыкновенно не замѣчаютъ, и суфлированную ею мысль всецѣло считаютъ своею. Это, конечно, сильно мѣшаетъ настоящей оцѣнкѣ

ея вліянія. За каждымъ хорошимъ честнымъ человѣкомъ ищите вліяніе женщины. Изреченіе французскаго писателя *„cherchez la femme“* примѣнялось только къ фактамъ вопіющаго зла. Съ пробужденіемъ нравственнаго сознанія вѣковой несправедливости будутъ искать женщину тамъ, гдѣ добро. Сознавая себя нравственною силою, какою ее исключительно признавали, женщина естественно обращаетъ болѣе вниманія на эту сторону жизни. Она доказала, какъ высоко она цѣнитъ развитіе ума: она во имя его принесла много жертвъ; но по своему положенію видя такъ близко внутреннюю жизнь, она какъ нельзя лучше поняла, что для развитія честной и энергической личности мало одного ума и знанія, что книги укажутъ:

„Все недостойное, дикое, злое,
Но не дадутъ онѣ силъ на благое“.

И не разъ въ этомъ отношеніи чутье ея было вѣщимъ чутьемъ Кассандры. Приведу хорошо извѣстный примѣръ изъ автобіографіи Жоржъ-Зандъ. Примкнувъ въ сороковыхъ годахъ къ партіи проповѣдывавшей коренныя реформы въ обществѣ, она, еще плохо понимая политическія условія и возможность примѣненія теорій друзей своихъ, предвидѣла ихъ пораженіе. Она видѣла, насколько нравственный уровень общества низокъ въ сравненіи съ свѣтлыми идеалами, насколько далека отъ нихъ была и самая жизнь проповѣдниковъ идеаловъ этихъ; отъ видѣннаго частнаго она сдѣлала посылку къ общему и предсказала пораженіе. За это предсказаніе ее обвинили въ измѣнѣ; но то было вѣщимъ чутьемъ Кассандры.

Въ близкомъ ли, далекомъ ли будущемъ женщина займетъ свое мѣсто въ жизни, какъ полноправная гражданка,—этого нельзя сказать навѣрно; но даже если бы ее забили въ еще болѣе тѣсную рамку, она никогда не признаетъ всемогущества среды и всегда будетъ воплощеніемъ нравственнаго начала личности и фанатичной проповѣдницей честной и энергической личности. „Вѣра въ эту личность есть плодъ вѣры въ человѣчество. И въ пору, когда отчаяніе поднимается въ душѣ, когда подъ мутными волнами исчезаютъ одинъ за другимъ борцы, будетъ раздаваться призывъ ея „держись“ и вливать бодрость. Она съ вѣрою будетъ указывать на лучшее будущее, взять которое можетъ только сильная личность“. Что жъ въ томъ, что поколѣніе нынѣшнихъ проповѣдницъ не увидитъ его? Оно засвѣтитъ для другихъ и засвѣтитъ тѣмъ ранѣе, чѣмъ болѣе работниковъ не дадутъ унести себя мутнымъ волнамъ.

М. Чебрикова

ЕЛИЗАВЕТА МЕРКУЛОВНА БЁМЪ.

Елизавета Меркуловна Бёмъ родилась 1843 г. въ Петербургѣ, но дѣтство свое провела въ деревнѣ своихъ родителей, ярославскихъ помѣщиковъ Эндоуровыхъ. Рисовала, не уча ь, съ тѣхъ поръ, какъ себя помнитъ; переѣхавъ на житье въ Петербургъ, 14-ти лѣтъ поступила въ рисовальную школу общества поощренія художествъ, гдѣ и кончила курсъ съ серебряной медалью въ 1864-мъ году. Приватныхъ уроковъ рисованія ни у кого не брала, но, будучи въ школѣ, всего болѣе была подъ вліяніемъ Крамского, къ которому на судъ постоянно привозила и впослѣдствіи свои самостоятельныя произведенія.

Наибольшей извѣстностью, нетолько у насъ, но и заграницей, помимо иллюстрацій—силуэтовъ, пользуются рисунки Е. М. Бёмъ для хрусталя. Мысль заняться изготовленіемъ образцовъ для него возникла у художницы передъ Чикагской выставкой т. к. желательно было въ женскомъ отдѣлѣ, представить что-нибудь характерно-русское. Разъ начавши работать въ этомъ направленіи, г-жа Бёмъ невольно увлеклась этимъ. Хрустальныя вещи, исполненныя Мальцевскимъ заводомъ по ея рисункамъ, имѣли большой успѣхъ среди художниковъ и любителей какъ въ Петербургѣ на выставкѣ Императорской академіи художествъ, такъ и на всемірной выставкѣ въ Парижѣ 1900 года, гдѣ особенно заинтересовали штофы и стаканы изъ зеленаго стекла съ изображенными на нихъ чортиками и русскими пословицами, а также солонки въ древне-русскомъ стилѣ, изъ которыхъ одна была поднесена съ хлѣбомъ-солью президенту республики. Изъ наградъ г-жа Бёмъ имѣетъ 9 медалей: серебряную отъ общества поощренія художествъ; большую поощрительную отъ академіи художествъ; серебряную изъ Брюсселя 1888 г.; четыре медали изъ Чикаго за стекло, вѣера, изданія силуэтовъ и акварели; серебряную отъ выставки художественной промышленности и два похвальные листа отъ выставки печатнаго дѣла и съ выставки въ Нижнемъ-Новгородѣ.

М. А. ЛОХВИЦКАЯ.

Мы заимствуемъ свѣдѣнія для краткаго біографическаго очерка Мирры Александровны, по ея личному указанію, изъ статьи А. Коринѳскаго.

М. А., дочь извѣстнаго писателя-юриста и адвоката А. В. Лохвицкаго, родилась въ Петербургѣ, но воспитаніе получила въ Александровскомъ институтѣ въ Москвѣ. Писать стихи М. А. начала, по ея собственнымъ словамъ, «съ тѣхъ поръ, какъ научилась держать перо въ рукахъ, и еще ребенкомъ распѣвала пѣсни собственнаго сочиненія, но серьезно предалась этому съ 15-ти лѣтъ». Въ маѣ 1888 года, говоритъ г-нъ Коринѳскій, «будущая русская Сафо кончила курсъ ученья и переѣхала съ семьей въ Петербургъ», а въ 1889 году на страницахъ Сѣвера появилось первое стихотвореніе юной поэтессы, которой не было въ то время и двадцати лѣтъ. Критики обратили вниманіе на новое дарованіе, и журналы одинъ за другимъ стали предлагать М. А. свои страницы. Но несмотря на это печатала она весьма мало, подвергая написанное строгому выбору.

Съ 1891 по 1897 г. М. А. помѣщала свои произведенія во Всемірной Иллюстраціи, Сѣверѣ, Трудѣ, Нашемъ Времени, Художникѣ, Нивѣ, Сѣверномъ Вѣстникѣ и Живописномъ Обозрѣніи. Въ 1896 г. стихотворенія ея вышли отдѣльнымъ сборникомъ. Первый обстоятельный и весьма лестный отзывъ объ этой книгѣ былъ сдѣланъ Императорской академіей наукъ, которая причислила автора къ пушкинской школѣ.

Дарованіе М. А. Лохвицкой въ настоящее время находится въ полномъ развитіи.

Не для скорбныхъ и блаженныхъ
Звуки пѣсенъ вдохновенныхъ
Въ мірѣ рождены.
Наши радости не вѣчны,
Наши скорби скоротечны,
Это только—сны.
Сжаты нивы, блекнутъ травы,
Осыпаются дубравы
Цвѣтомъ золотымъ.
Все цвѣтущее такъ бренно,
Все, что бренно, то—мгновенно
И пройдетъ, какъ дымъ.
Пусть отъ боли сердце рвется,
Пѣснь орлицею взовьется
Къ вольнымъ небесамъ.
Не кумирню жизни плѣнной,
Но въ свободѣ неизмѣнной
Ей воздвигнемъ храмъ.
Дальше, въ высь отъ клѣтки тѣсной
Взвейся пѣснь стезей небесной
Въ твой родной пріютъ,
Гдѣ созвѣздья въ стройномъ хорѣ,
Въ стройномъ хорѣ, на просторѣ,
Вѣчный гимнъ поютъ.

М. Лохвицкая.

ЕКАТЕРИНА ѲЕДОРОВНА ЮНГЕ.

Екатерина Ѳедоровна Юнге родилась въ Петербургѣ въ зданіи академіи художествъ 24 ноября 1843 г.

Художественное образованіе получила сначала дома: брала частные уроки у А. И. Мещерскаго и барона Клодта, потомъ занималась въ мастерской Богомолова, въ Дюссельдорфѣ, подъ руководствомъ Освальда Ахенбаха и въ Парижѣ, гдѣ пользовалась совѣтами Добиньи. Въ 1882 году основала въ Кіевѣ классы прикладной живописи съ подготовительнымъ курсомъ рисованія и руководила ими до 1887 г., когда, по семейнымъ обстоятельствамъ, должна была оставить хорошо развившееся дѣло и переѣхать въ Москву, гдѣ была преподавательницей по классу живописи акварелью съ натуры (nature morte и цвѣты) въ Строгановскомъ училищѣ и по живописи по фарфору въ обществѣ распространенія между образованными женщинами практическихъ знаній. За систему преподаванія въ этомъ классѣ общество получило на выставкѣ въ Чикаго бронзовую медаль.

Г-жа Юнге выставляла свои работы съ 1872 г. Имѣетъ поощрительную медаль отъ академіи художествъ, бронзовую—на Парижской выставкѣ 1878 г. и похвальный листъ—на всероссійской выставкѣ 1882 г. За картину масл. кр. «Заброшенный паркъ» удостоена званія почетнаго вольнаго общника Императорской академіи художествъ. Проводя вслѣдствіе слабаго здоровья ежегодно лѣто въ Крыму, г-жа Юнге въ своихъ масляныхъ и акварельныхъ картинахъ преимущественно изображаетъ крымскую природу, а также роскошные южные цвѣты и фрукты.

Элиза Ожешко родилась въ 1842 г. въ Гродненской губ., въ богатой помѣщичьей семьѣ. Отецъ ея, Бенедиктъ Павловскій, въ молодости былъ масономъ, собралъ значительную библіотеку и былъ горячимъ поклонникомъ просвѣтительныхъ идей. Но подъ вліяніемъ одной родственницы Элизу, когда ей минуло десять лѣтъ, отдали въ школу-пансіонъ при одномъ изъ женскихъ монастырей въ Варшавѣ. Разумѣется, серьезныхъ знаній она оттуда не вынесла и, выйдя 16-ти лѣтъ замужъ за Петра О. и поселившись съ нимъ въ его имѣніи, она съ увлеченіемъ стала отдаваться свѣтскимъ забавамъ. Но, однако, уже и тогда юная помѣщица всячески стремилась облегчить участь своихъ крѣпостныхъ. Съ начала 60-хъ годовъ, подъ вліяніемъ общественнаго движенія того времени, совершается коренной переворотъ въ настроеніи писательницы. Она сознаетъ пустоту

своей жизни и недостаточность полученнаго образованія и съ жаромъ предается чтенію. Этотъ періодъ усиленной работы надъ собой закончился окончательной побѣдой врожденнаго творческаго таланта, и съ этихъ поръ Е. Ожешко всецѣло отдается литературной дѣятельности. Первое ея произведеніе было напечатано въ 66-мъ году; съ тѣхъ поръ изъ-подъ ея пера вышло около 100 томовъ, которые «я теперь охотно сократила бы наполовину или даже четверть»,—пишетъ намъ писательница. «Единственнымъ утѣшеніемъ въ моемъ разочарованіи въ себѣ самой мнѣ служитъ убѣжденіе, что никогда въ жизни je n'ai cessé d'être l'humble, mais fervente servante des bonnes causes et des grandes idées». Если бы,—продолжаетъ она дальше,—мнѣ предложили въ нѣсколькихъ словахъ высказать свои самыя завѣтныя убѣжденія, я бы выразила ихъ тремя девизами, руководившими, утѣшавшими и помогавшими мнѣ въ продолженіе всей жизни. А именно:

«Fais ce que dois, advienne ce que pourra».
«Res sacra miser».
«Salus publica suprema lex».

Почти всѣ, что пишетъ Элиза Ожешко, тотчасъ же переводится на русскій языкъ. Главныя ея произведенія помѣщались въ Отечественныхъ Запискахъ, Русскомъ Богатствѣ и Русской Мысли. Кромѣ того, они имѣются еще и въ отдѣльныхъ изданіяхъ (Библіотека Русской Мысли). Многія изъ ея сочиненій переведены на нѣмецкій, французскій, венгерскій и даже еврейскій языки.

ДЫМЪ.

Идиллія

Элизы Ожешковой.

Не то конецъ лѣта, не то начало осени. Юліанскій календарь называетъ эти дни послѣдними днями августа, а грегоріанскій — первыми днями сентября. Все равно. Календари и дѣленіе времени на мѣсяцы—это человѣческое дѣло, а природа дѣлаетъ свое. Теперь она сдѣлала такъ, что первый краешекъ наступающей осени надвигается на послѣдній краешекъ угасающаго лѣта.

Воздухъ еще тепелъ, но только вверху, а внизу отдаетъ легкимъ и бодрящимъ холодкомъ, въ особенности когда солнечный дискъ склонится настолько къ западу, что лишь на половину виднѣется изъ-за черты небольшого лѣса. Этотъ блѣднозолотистый дискъ скользитъ по ясному, но блѣдному своду; густая по серединѣ лазурь неба къ окраинамъ горизонта блѣднѣетъ и переходитъ въ свѣтло-зеленый, почти бѣлесый цвѣтъ. На этомъ сводѣ нѣтъ не только тучки, но даже ни малѣйшаго облачка—землю точно прикрыли какимъ-то огромнымъ стекляннымъ колпакомъ, при чемъ всѣ предметы вырисовываются въ прозрачномъ воздухѣ съ особою ясностью и рельефностью.

Мы вышли изъ маленькаго лѣска, за который заходило солнце; насъ выманили оттуда огоньки, которые просвѣчивались сквозь деревья, какъ маленькія искорки. Что это за огоньки? Они сверкаютъ тамъ и здѣсь, но зачѣмъ?

Поле ровное, гладкое, широкое. Лѣтомъ здѣсь колосилась и шумѣла нива, но теперь все сжато и только въ одномъ мѣстѣ какая-то полянка сверкаетъ своею удивительно свѣжею майскою зеленью. Можно было бы подумать, что какой-нибудь фокусникъ изъ куска весны сдѣлалъ заплату и пришилъ ее къ желтому плащу, которымъ осень покрыла землю. Но и этотъ плащъ не такъ однообразно желтъ, какъ представляется на первый взглядъ. Правда, жнивья, еще не вытоптанныя и не почернѣвшія, отливаютъ колеромъ свѣжей соломы, но на нихъ тамъ и здѣсь падаютъ блики вечерней зари, да кое-гдѣ виднѣются фіолетовыя орхидеи и послѣдніе васильки. Вдоль межей ро-

гатый цикорій, уже отцвѣтающій, развѣшиваетъ на своихъ обнаженныхъ стебляхъ широко раскрытые голубые цвѣты.

Отъ межей, отъ дикихъ грушъ на землю падаютъ длинныя и то и дѣло мѣняющіяся тѣни, потому что среди нихъ прыгаютъ капли золотистаго свѣта; тамъ и здѣсь, въ желтой оправѣ жнивья, кусокъ свѣже-вспаханнаго поля отсвѣчиваетъ почти совершенно чернымъ цвѣтомъ и отъ него доносится неопредѣленный запахъ то ли грибной плѣсени, то ли свѣже-испеченнаго хлѣба. Съ одного изъ такихъ кусковъ поднялась стая воронъ и съ громкимъ карканьемъ, словно туча, разбитая на множество крылатыхъ облаковъ, пролетѣвъ по воздуху,

опустилась въ лѣсъ, изъ-за котораго еще виднѣется солнечный дискъ и страннымъ образомъ освѣщаетъ его глубину.

Освѣщеніе это таково, что отдѣльные стволы сосенъ кажутся омоченными въ расплавленномъ золотѣ, а внизу кусты папоротника представляются такъ, какъ будто кто-нибудь подостлалъ къ стопамъ золотыхъ столбовъ груды тонкихъ, воздушныхъ, зеленыхъ и красно-желтыхъ кружевъ.

Блестящія точки, которыя изъ лѣса, изъ-за деревьевъ казались маленькими искорками, теперь обратились въ огоньки, горящіе на самой землѣ. Одинъ изъ нихъ, ближайшій, красноватымъ языкомъ поднимается съ полевой тропинки, какъ разъ надъ жнивьемъ, другой, третій свѣтятся дальше, но слабѣй, четвертый въ глубинѣ горизонта, мигаетъ гдѣ-то далеко-далеко, дрожитъ, угасаетъ, загорается снова, какъ упавшая на землю, мерцающая звѣзда. Эти огоньки на полевыхъ

тропинкахъ и межахъ зажгли пастухи; неподалеку отъ нихъ пестрѣютъ и ихъ стада. Время выкапывать картофель еще не подошло, но онъ уже совершенно созрѣлъ, — ребятишки выкапываютъ его и пекутъ на огнѣ костровъ. Слышно, какъ въ ближайшемъ кострѣ потрескиваютъ сучья, отъ дальняго доносится крикъ:

— Огого! гей! гей!

Это значитъ, что пестрое стадо направилось туда, куда не слѣдуетъ, а возвратиться его приглашаетъ пастушонокъ, плутоватый парнишка съ огромнымъ бичомъ, которымъ онъ размахиваетъ, бѣгая за коровами. Затѣмъ онъ ложится опять, протягиваетъ свои длинныя, обнаженныя до колѣнъ ноги и слѣдитъ за улетающими воронами. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него дѣвчонка съ головой, повязанной платкомъ, цвѣта полевого мака, и съ печоной картофелиной въ рукѣ, подпрыгиваетъ на босыхъ ногахъ и пискливо кричитъ:

— Гей! гей! ги! ги!

— Огого! — отвѣчаетъ ей голосъ откуда-то издали, отъ костра, который еле маячитъ и мигаетъ гдѣ-то у самаго горизонта.

Оттуда же черезъ минуту доносится мотивъ пастушьей дудки, бѣдный мотивъ, состоящій всего только изъ трехъ нотъ и повторяющій одно и то же такъ протяжно, какъ далеко протянулось это поле. Изъ края въ край этотъ мотивъ расплывается тонами безконечной грусти и повторяется безконечно... безконечно.

— Ду-ду-ду,
На что коса?
— Ду-ду-ду,
Сѣнцо косить.
— Ду-ду-ду,
На что сѣнцо?
— Ду-ду-ду,
Коровокъ кормить.
— Ду-ду-ду,
На что коровки?..

Одновременно съ этимъ надъ кострами начинаютъ показываться синеватые дымки и стремятся прямо къ верху, но вѣющій надъ полемъ вѣтерокъ тотчасъ же наклоняетъ ихъ, пригибаетъ къ землѣ, и они тянутся горизонтально, падаютъ на жнивье и ползаютъ по немъ, какъ прозрачныя змѣи, все болѣе и болѣе толстыя и все болѣе и болѣе синеватыя.

Надъ лѣсомъ свѣтится только краешекъ солнечнаго диска, окруженнаго облачнымъ вѣнцомъ, который взялся неизвѣстно откуда и теперь залилъ весь склонъ неба багряными и фіолетовыми волнами, широко обрамленными сверкающимъ золотомъ. Глубоко выщербленный, изрѣзанный долинами и горами, онъ походитъ на цѣпь дѣй-

ствующихъ вулкановъ, а изъ него изливаются волны страннаго свѣта, цѣлыми снопами падаютъ на поле и ложатся свѣтящимися пятнами. Въ деревьяхъ и кустахъ свѣтятся кораллы и янтари, на перекресткѣ верхушка итальянскаго тополя кажется вершиной какой-то исполинской колонны, каждый стебелекъ соломы на жнивьѣ горитъ отдѣльно, какъ только что зажженная свѣчка.

Совершенная иллюминація, среди которой огоньки пастуховъ дрожатъ какъ блѣдныя искры и разстилаютъ по землѣ длинныя змѣи дыма. Онѣ клубятся, ползутъ, цѣпляются за кусты, паутинной сѣтью снуютъ по свѣже вспаханной землѣ, туманной пеленой ползутъ по яркой зелени луга, колышатся на рогатыхъ цикоріяхъ и на будылкахъ чернобыльника... Онѣ повсюду; тихія, какъ видѣнія, голубоватыя и легкія, какъ уходящія въ непроглядную даль мечты, онѣ снуютъ по свѣту, среди ослѣпляющихъ красокъ вечера, которыя сопровождаютъ все болѣе и болѣе увеличивающійся хоръ голосовъ. Стада, направляющіяся къ дому, весело мычатъ, пастушонки все чаще покрикиваютъ:

— Огого! гей! гей!

Залаяли и собаки, слышенъ стукъ колесъ и поскрипываніе осей, а въ полѣ, разливаясь по немъ отъ края до края, раздаются три ноты, три бѣдныхъ ноты, все однѣ и тѣ же, повторяющіяся безконечно, преисполненныя безконечною тоскою.

— Ду-ду-ду,
На что коровки?
Молочко доить.
— Ду-ду-ду,
На что молочко?
— Ду-ду-ду,
Пастушковъ поить...

Мы остановились у воротъ господскаго дома. Домъ деревенскій, низенькій, съ рядомъ оконъ, въ которыхъ кое-гдѣ свѣтятся красноватые огоньки, съ четырьмя столбами у крыльца, залитаго солнцемъ.

Старыя липы также красуются своею пожелтѣвшею листвою, а стоящій посереди двора, у подножія вяза, маленькій кустикъ сумаха раскраснѣлся такъ, что напоминаетъ библейскую Неопалимую Купину. Въ саду астры, скабіозы, никоціаны и флоксы блестятъ пестротою своихъ красокъ, а имъ, какъ воздушное эхо, отвѣчаютъ тѣ, которыя зажглись на деревьяхъ.

Въ какой-нибудь верстѣ отъ господскаго дома, но отдѣляясь отъ него глубокимъ оврагомъ, надъ самымъ обрывомъ, стоитъ сѣрая крестьянская деревушка. Откосы оврага густо заросли березами, цѣпляющимися за твердые изломы почвы, кустами барбариса, калины и шиповника, среди которыхъ извиваются тропинки, протоптанныя людьми и животными. На самомъ днѣ оврага, прикрытый лиственнымъ

покровомъ, протекаетъ ручей, настолько узкій, что его легко можно перепрыгнуть, но по дорогѣ онъ встрѣчается съ разсыпанной грудой розоватыхъ камней и, пробираясь черезъ нихъ, шумитъ, клокочетъ, смѣется и по временамъ звонитъ. Иногда на днѣ оврага отзывается металлическій звукъ, похожій на тотъ звукъ, который издаетъ затронутая и тотчасъ же отпущенная струна; одинъ, другой, третій звукъ быстро слѣдуютъ другъ за другомъ и это напоминаетъ отдаленный звонъ, поспѣшный и серебристый. Но долго это никогда не длится и ручей попрежнему начинаетъ шумѣть и журчать между камней.

За оврагомъ, невдалекѣ отъ деревни, среди желтѣющихъ песковъ, кладбище, со множествомъ крестовъ различной величины, которые чернѣютъ на голубомъ фонѣ неба.

На все виднѣющееся вокругъ въ эту предвечернюю минуту спустилось безграничное спокойствіе.

Тишина не потому, чтобы домъ былъ безлюденъ—вовсе нѣтъ. Въ эту пору года, въ особенности, когда школьнымъ вакаціямъ приходитъ конецъ, здѣсь жизнь бьетъ ключомъ. Такое множество народа! Старый хозяинъ дома и его жена, молодой панъ Витольдъ и его молоденькая жена... ахъ, этотъ неимовѣрно живой панъ Витольдъ! Онъ только годъ тому назадъ кончилъ курсъ въ университетѣ, а уже обзавелся супругою и притащилъ съ собою на вакацію двухъ своихъ бывшихъ коллегъ... шестнадцатилѣтняя панна Ядзя, двадцатилѣтняя панна Янина, четырнадцатилѣтній Стась и его школьный товарищъ Тадзикъ. И еще двое гостей: въ теченіе двухъ недѣль здѣсь пребываетъ постоянно хворающій родственникъ и въ теченіе двухъ часовъ предполагаемый женихъ... Очень много народу. Но теперь неизвѣстно, куда онъ весь дѣвался. Какъ будто вымело всѣхъ людей — такъ пусто. День праздничный. Должно быть всѣ разошлись кто въ поле, кто въ лѣсъ, кто на рѣку — благо рѣка течетъ тутъ же за домомъ, только ее не видно отсюда,— обыкновенно, какъ это бываетъ въ послѣднюю погожую пору года, въ одинъ изъ послѣднихъ дней лѣтнихъ радостей...

Тихо. Въ воздухѣ, дыханіе котораго какъ будто замерло, темныя липы, какъ неподвижныя сторожевыя башни, высоко поднимаютъ факелы своихъ янтарныхъ вѣтвей; низенькій кустъ сумаха у подножія гигантскаго вяза ярко рдѣетъ, на цвѣточномъ газонѣ никоціана все больше и больше развертываетъ свои сіящіе въ дневную пору колокольчики и изъ нихъ разливается сильное наркотическое благоуханіе. Слышно, какъ въ глубинѣ оврага шумитъ ручей, издали видно, какъ цо крутому спуску крестьянскія женщины сбѣгаютъ внизъ за водою. Тропинка очень крута и онѣ сбѣгаютъ внизъ быстро и въ своихъ бѣлыхъ рубахахъ и въ красныхъ платкахъ мелькаютъ вдали, какъ опадающіе внизъ мотыльки.

А больше ничего нѣтъ. Домъ, деревья, деревушка, могильные кресты на песчаной площадкѣ кладбища—все молчитъ. Въ вѣтвяхъ липъ и вяза маленькія птички собираются на покой и тихо чирикаютъ.

Въ воздухѣ ни малѣйшаго дуновенія вѣтерка, ни малѣйшей пылинки. Кристаллъ.

Вдругъ надъ кровлей дома, въ прозрачномъ воздухѣ что-то засѣрѣло. Сначала одна, потомъ другая; сначала мутныя, густыя, тяжелыя, потомъ все болѣе и болѣе чистыя, прозрачныя и стройныя, изъ трубъ дома поплыли и устремились къ небу ленты дыма. Въ ту же минуту, какъ бы отвѣтъ на призывъ, какъ эхо, отвѣчающее на звукъ голоса, за оврагомъ, надъ деревенскими хатами показались и потянулись къ небу такія же воздушныя дорожки. Должно быть погода долго простоитъ хорошая, воздухъ такъ сухъ, ленты дыма такъ прозрачны и такъ непрерывно плывутъ кверху. Можно было бы даже подумать, что они не плывутъ, а стоятъ, какъ воздушныя колонны, удивительно легкія, насыщенныя красками вечера и перерѣзывающія лазурь неба.

Тихо. На деревьяхъ не шевельнется ни одинъ листокъ, только въ вѣтвяхъ отъ времени зачирикаетъ какая-нибудь сонная птица. Спокойствіе безъ границъ. Красный сумахъ горитъ, бѣлыя никоціаны благоухаютъ, въ окнахъ дома догораютъ послѣднія, дрожащія отраженія заката...

Вдругъ ручей въ глубинѣ оврага зазвонилъ, словно на днѣ его покоится затонувшій колокольчикъ,—такъ онъ звонитъ серебристо, поспѣшно, громко. И могильные кресты также вспыхнули. Надъ домомъ, надъ деревенскими хатами клубится дымъ и устремляется къ чистому, прозрачному небу... „Ангелъ Господень возвѣстилъ...“

— Что это значитъ? Что это за дымъ, тамъ... тамъ! между деревьями, какъ будто надъ самымъ Нѣманомъ? Какой большой клубъ!.. показался и исчезъ. Опять показался!.. Ахъ, это навѣрно разводятъ огонь надъ Нѣманомъ. Разводятъ огонь—и безъ насъ!

Подростки мальчики въ школьной одеждѣ стоятъ и указываютъ пальцами куда-то далеко-далеко, дрожатъ отъ волненія, а глаза ихъ такъ и свѣтятся негодованіемъ. Вотъ куда всѣ запропастились! Вотъ что ихъ всѣхъ изъ дома, со двора, изъ сада точно метлой вымело. Зажигаютъ костеръ надъ Нѣманомъ, который протекаетъ невдалекѣ отъ дома у подножія высокаго берега... Разводятъ костеръ, не сказавши объ этомъ намъ, безъ насъ! Несправедливость! Несправедливость! Насъ обидѣли самымъ сквернымъ образомъ! Но это ничего! Мы и сами вознаградимъ себя. Пойдемъ туда! Поспѣемъ еще во время, такія дѣла скоро не дѣлаются. Идемъ, идемъ скорѣй!

Ну да, идемъ! Скорѣе сказать—бѣжимъ. И они не только побѣжали, но помчались во всю мочь, какую только могутъ проявить ноги четырнадцатилѣтнихъ подростковъ. Вотъ ужъ они миновали домъ,

вотъ за домомъ слышно, какъ они зовутъ буфетнаго мальчишку: „Антекъ! Бѣги за нами!“ Вотъ они и скрылись изъ виду...

А тотъ, кто медленно спускается къ рѣкѣ съ горы, по крутой тропинкѣ, вдоль плетней, можетъ замѣтить, что освѣщеніе и окраска вечера подверглись новому измѣненію.

Изъ длиннаго облака, которое неизвѣстно откуда появилось надъ заходящимъ солнцемъ и въ теченіе долгаго времени покрывало небо цѣпью огнедышащихъ вулкановъ, осталось только огромное вечернее зарево, отъ котораго отдѣлялись и какъ легкія ладьи выплывали на небо облачка золотистыя, багряныя, желтоватыя, серебристыя.. Этихъ облачковъ было цѣлое стадо, большихъ и меньшихъ, обладающихъ всевозможными формами, и всѣ они плыли быстро, разбредались по небу, и отъ нихъ вѣяло грустью блестящихъ красокъ, которымъ суждено было скоро померкнуть. И правда, за ними шли сумерки, которыя едва замѣтнымъ крепомъ заволакивали глубины небосклона, а небесные брилліанты исчезали подъ нимъ, какъ мотыльки въ сѣти паука. Но передъ тѣмъ, какъ исчезнуть, они еще отражались въ рѣкѣ, дно которой стало подобно рудникамъ драгоцѣнныхъ каменьевъ и металловъ—подъ водою, окутанные лазурью, лежали слитки золота и серебра, груды рубиновъ и аметистовъ. Кинуться только въ воду, нырнуть, набрать этихъ богатствъ и выйти на сушу милліонеромъ!

Но зачѣмъ милліоны тѣмъ, которые разводятъ на берегу костеръ и веселятся, какъ безсмертные боги? Какое движеніе, говоръ, шумъ, веселый смѣхъ! Народу множество: старые, молодые, подростки; весь домъ, вѣрнѣе, все, что живетъ въ немъ. Настоящій муравейникъ, потому что каждый здѣсь что-нибудь да дѣлаетъ: бѣгаетъ, поднимаетъ; носитъ, раздуваетъ, укладываетъ, поправляетъ. И при томъ полнѣйшая республиканская система, смѣшеніе половъ, возрастовъ и положеній: свобода, равенство, независимость.

Управляющій Дзюрдзевичъ, человѣкъ молодой и подвижный, съ обоими хозяевами, старшимъ и младшимъ, возводитъ изъ сухихъ и зеленыхъ вѣтвей костеръ такихъ внушительныхъ размѣровъ, что на немъ могъ бы сгорѣть вмѣстѣ съ костями самый толстый еретикъ; гимназисты съ буфетнымъ мальчишкой, два студента съ одной барышней, а другая барышня съ недавно пріѣхавшимъ гостемъ ломаютъ въ лѣсу ольховыя, лещиновыя и мозжевеловыя вѣтви и несутъ ихъ или тащутъ за собою, какъ кто можетъ. Но самая важная дѣятельность выпала на долю стараго кучера, который у подножія воздвигаемаго зданія лежитъ на травѣ спиною кверху и изо всей силы широкой груди дуетъ на упрямый огонь, который въ самомъ низу то блеснетъ, то угаснетъ, то распуститъ длинный и широкій языкъ, то подожметъ его и спрячетъ подъ землю. Одинъ разъ онъ было уже распустилъ его совсѣмъ и выбросилъ клубъ дыма, а теперь снова залѣнился, изнемогаетъ, еле дышитъ. И вотъ старый Марцинъ дуетъ,

какъ изъ мѣховъ, а его сѣдые усы начинаютъ ежиться, а морщинистый лобъ и совершенно бѣлые волоса окрашиваются розоватымъ свѣтомъ огня. Молодой кучеръ, который только что прибылъ съ молодымъ сосѣдомъ, не смѣетъ ни такъ растянуться на землѣ, ни такъ громко сопѣть, какъ это дѣлаетъ старый слуга дома; онъ только припалъ на одно колѣно и дуетъ деликатно, какъ будто для того, чтобы показать и свое желаніе помочь общему дѣлу.

Какимъ образомъ здѣсь образовалось такое вполнѣ революціонное смѣшеніе демоса съ аристократіей,—догадаться не трудно. Что гимназисты, пролетая мимо дома, крикнули буфетному мальчишкѣ: „Антекъ! бѣги за нами!"—это уже извѣстно; управляющій Дзюрдзевичъ велъ со старшимъ паномъ хозяйственную бесѣду, когда возникъ проектъ насчетъ костра, а панъ Витольдъ, какъ это съ нимъ всегда бывало, до тѣхъ поръ бѣгалъ по дому, хлопалъ дверями, кричалъ, просилъ, сердился, цѣловался, покуда не завербовалъ подъ знамя своего проекта все населеніе дома, со старымъ паномъ и управляющимъ включительно. Кучера пришли только посмотрѣть и сначала держались въ сторонѣ, но потомъ ихъ разобрала охота вмѣшаться въ дѣло и они вмѣшались. Это тѣмъ болѣе могло случиться, что старый панъ со старикомъ Марциномъ дружатъ съ дѣтства и до сихъ поръ остаются въ пріятельскихъ отношеніяхъ. И теперь Марцинъ кричитъ:

— Что вы дѣлаете? Зачѣмъ вы столько лещины навалили? Что это за работа такая? Покуда не принесутъ сушняку, ничего изъ этого не выйдетъ!

И, понижая голосъ, онъ добавляетъ ворчливымъ тономъ:

— Развѣ когда-нибудь такъ разводили огонь? Совсѣмъ иначе разводили! Вотъ онъ и горѣлъ... А теперь все какъ-то... поглупѣло!

Однако, послѣдняго выраженія, не особенно лестнаго для всего общества, никто слышать не можетъ, потому что панъ Витольдъ, услыхавъ слово сушнякъ, началъ вопить съ такимъ отчаяніемъ, какъ будто земной шаръ вотъ-вотъ долженъ былъ свалиться въ бездонную пропасть:

— Сушняку! Давайте сушняку! Бронекъ, Казикъ, Янка, Ядзька, Панъ Владиславъ! сушняку! сушняку! Мальчики, эй, мальчики! Стась, Тадзикъ, Антекъ! сушняку давайте! несите поскорѣе. Ради Господа Бога, поскорѣе! Костеръ до второго пришествія не разгорится, ей-Богу! А прежде чѣмъ разгорится, то обвалится! сушняку! сушняку!

— Несемъ! Несемъ! Несемъ!—слышатся въ отвѣтъ изъ ольшанника голоса мужскіе, женскіе и дѣтскіе. И на узкой полосѣ луга показываются свѣтлыя платья барышень, бѣлые студенческіе мундиры, гимназическія куртки.

Всѣ что-нибудь несутъ, или тащатъ за собою и всѣ очень довольны, кромѣ одного изъ студентовъ. Студентъ этотъ грустенъ, даже угрюмъ. Онъ въ гробовомъ молчаніи бросаетъ свою ношу на землю

съ такою стремительностью и такъ близко отъ Марцинова плеча, что Марцинъ поднимаетъ голову и начинаетъ ворчать:

— По-каковски вы это дѣлаете, паничъ? Кто же это такъ сваливаетъ дрова на живыхъ людей? Вы чуть-чуть мнѣ головы не разбили! А если бы она разлетѣлась вдребезги, хорошо бы это было, а?

Студентъ, именуемый Бронкомъ, неслыханно далекъ отъ желанія, и намѣренія разбивать какую-нибудь человѣческую голову...

И хотя, кромѣ этого, онъ видитъ, что голова стараго слуги находится въ совершенной цѣлости, тихо отвѣчаетъ:

— Извини, милый Марцинъ, пожалуйста извини.

Потомъ онъ отходитъ въ сторону, къ рѣкѣ, останавливается на берегу, покручиваетъ усъ, который только что достигъ своего совершеннолѣтія, и смотритъ на ольховый лѣсокъ взоромъ, полнымъ темныхъ вопросовъ. Туда пошла панна Янина съ этимъ вылощеннымъ филистеромъ, пошла и пропала. Панна Янина, конечно, кокетничаетъ съ нимъ теперь, спрашиваетъ, будетъ ли онъ прыгать черезъ огонь, а онъ, этотъ безстыдный благеръ, отвѣчаетъ:

— Если вы прикажите, я въ адскій огонь прыгну.

И все ихъ нѣтъ и нѣтъ. Какъ будто за вѣтками пошли! О! легкомысленный родъ! Женщина на видъ прямая какъ проволока, добрая-умная, красивая. А вмѣстѣ съ тѣмъ единовременно двумъ людямъ головы кружитъ. И кого она изъ насъ двоихъ?.. котораго?.. кого?...

Въ это время они показались на лугу... вышли изъ ольшанника, идутъ медленно и каждый несетъ въ рукѣ по одной вѣткѣ лещины. Да хоть бы по большой вѣткѣ, а то по вѣточкѣ, по хворостинкѣ!... Разговаривая, они обратили другъ къ другу лица, и такъ заняты собою, что даже не чувствуютъ, какъ они смѣшны съ этими хворостинами въ рукахъ, больше чѣмъ смѣшны, возмутительны! Въ то время, когда всѣ трудятся для общей пользы, таскаютъ непосильныя тяжести а у бѣднаго Марцина по лбу потъ градомъ катится,—они цѣлый часъ прогуливались себѣ по лѣсочку и не торопясь, спокойно возвращаются съ хворостинками въ рукахъ. Такое поведеніе нельзя назвать ни человѣческимъ, ни гражданскимъ. Это простой эгоизмъ, аристократизмъ... отсутствіе всякаго чувства солидарности съ остальнымъ человѣческимъ родомъ...

— Какое множество горючаго матеріала вы принесли!—въ шутку говоритъ приближающейся парѣ старая барыня. Она ведетъ бесѣду съ болѣзненнымъ родственникомъ, который сидитъ на пледѣ, разостланномъ на травѣ, бесѣду о политикѣ.

Она лучше предпочла бы принять участіе въ разведеніи огня, но гость съ повязаннымъ лицомъ дѣлать этого не можетъ, и распространяется о любимомъ своемъ предметѣ.

— Потому что,—продолжаетъ хозяйка недосказанную фразу,—эти отношенія чеховъ къ нѣмцамъ въ Австріи...

— А вы здѣсь на сторонѣ Бадени, или противъ Бадени?—спрашиваетъ гость, прикасаясь концами пальцевъ къ травѣ, чтобъ удостовѣриться—не пала ли на нее роса.

Но провинціальное сужденіе о великомъ министрѣ произнесено не было, потому что, прежде чѣмъ хозяйка успѣла отвѣтить, въ воздухѣ прокатился хоровой, торжественный крикъ:

— Горитъ!

— Браво! браво! отлично горитъ! И какъ поднимается кверху! Какое могучее пламя! какъ оно отражается въ рѣкѣ! А дымъ? Что за дымъ!

Старикъ Марцинъ, охая, вставалъ съ земли; а когда всталъ уже совсѣмъ, то побѣдоносно поднялъ голову и, покручивая сѣдой усъ, коротко сказалъ:

— Готово!

Онъ отошелъ въ сторону съ сосѣднимъ молодымъ кучеромъ и хотя любовался дѣломъ своей груди, но все-таки потихоньку ворчалъ:

— Эхъ! развѣ такіе огни когда-то пылали надъ Нѣманомъ? Бывало, какъ зажжемъ, такъ пламя подъ самое небо хватаетъ! А теперь все какъ-то слабѣе стало.

Отдѣленная отъ берега рѣки узкою полоскою луга маленькая ольховая рощица раскидывалась на невысокихъ, волнообразно тянущихся холмахъ, но на противоположномъ берегу, за рѣкою, росъ большой лѣсъ, широко раскинувшійся отъ края до края горизонта. Это на всю окрестность бросало угрюмую ноту, съ которой теперь скрестилась нота торжествующая. Огонь послѣ долгаго сопротивленія, вспыхнулъ сразу, и съ огромной силой, съ трескомъ, съ шумомъ, огромными языками взвиваясь подъ самое небо, оплелъ наваленныя вѣтви сѣтью огненныхъ, шипящихъ, извивающихся змѣй.

Въ воздухѣ, уже значительно потемнѣвшемъ, вспыхнулъ ослѣпительный блескъ и на поверхность рѣки, на днѣ которой уже угасли яркія отраженія облаковъ, бросилъ огненный столбъ, подобный золотому мосту. То былъ дрожащій и танцующій мостъ, потому что составляющіе его золотые кружки, капли и струи, дрожали и танцовали вмѣстѣ съ движеніемъ волнъ. Жгучій, почти невыносимый жаръ потоками изливался въ холодный воздухъ сумерокъ, а сверху съ макушки костра, охваченнаго огненными змѣями, повалилъ густой почти черный дымъ и началъ сыпать на рѣку изъ своихъ тяжелыхъ клубовъ дождь золотыхъ искръ. Вѣтеръ наклонялъ его въ сторону противоположнаго берега рѣки все сильнѣй, все ниже, и, перегнувъ свое гигантское туловище надъ мостомъ, который дрожалъ на водѣ, онъ развернулъ въ воздухѣ другой мостъ, клубящійся вплоть до окраинъ бора и упирающійся своимъ другимъ концомъ въ его темную глубину.

Вѣтви трещали, рои искръ разсыпались во всѣ стороны, три маль-

чика, возвращающіеся изъ ольшанника, сгибались подъ ношей новаго топлива, а панъ Витольдъ, развеселившійся такъ, какъ умѣлъ только онъ одинъ, подскочилъ къ своей молодой женѣ, схватилъ ее за руку и, напѣвая мазурку, началъ обѣгать или обтанцовывать костеръ. Какъ бы по данному сигналу, студентъ Казикъ и какъ тростинка колеблящаяся отъ смѣха панна Ядзя начали дѣлать то же самое, потомъ пустились въ плясъ Стась и Тадзя, а вслѣдъ за ними и буфетный Антекъ выкидывалъ удивительнѣйшіе прыжки и строилъ неимовѣрныя мины, чтобы попасть въ тактъ, впрочемъ совершенно безуспѣшно.

Вѣтви трещали, искры роемъ сыпались на всѣ стороны, дымъ валилъ все гуще и гуще, и навѣшивалъ все болѣе тяжелый, клубящійся мостъ надъ золотымъ мостомъ, танцующимъ на водѣ, а стройный панъ Витольдъ съ своимъ подвижнымъ, блѣднымъ лицомъ не переставалъ отплясывать, тогда какъ мальчики, громко смѣясь, прыгали все выше и выше и продѣлывали неимовѣрные фокусы.

Старый панъ отошелъ нѣсколько въ сторону и, глядя на расшалившихся дѣтей, улыбался и покручивалъ сѣдые усы бѣлою рукой, на которой сверкалъ гербовой перстень. А этому движенію, какъ аккордъ аккорду, отвѣчала грубая, коричневая рука старика Марцина, съ серебрянымъ кольцомъ на пальцѣ. Марцинъ такъ же улыбался и подкручивалъ усы кверху. Его младшій товарищъ, сосѣдній кучеръ, смотря на танцующихъ, такъ и покатывался отъ смѣха.

Но не всѣ, однако, принимали участіе въ этомъ весельѣ. Болѣзненный родственникъ, сидящій на разостланномъ пледѣ, морщился и брюзжалъ:

— Мнѣ это напоминаетъ языческіе обряды... Очень нездоровая вещь... очень нездоровая...

И онъ опять обратился къ политикѣ.

— Если кортесы... если кортесы откажутъ въ своемъ согласіи, то планъ Сагасты провалится... окончательно провалится.

Управляющій Дзюрдзевичъ, стоя въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ огня, съ пальцемъ, приложеннымъ къ губамъ, такъ глубоко задумался, глядя на костеръ, что на его низкомъ лбу появилась глубокая морщина.

— Показать штуку,—думалъ онъ,—или не показывать? перескочить черезъ огонь, или не перескакивать? Ужасно великъ, бестія! и если свалишься въ него, то брррр! Но если удастся счастливо перескочить,—такъ вотъ была бы штука!..

А Бронекъ, стоя у самой воды, такъ же думалъ. Блескъ огня падалъ на его свѣжее, юношеское лицо, которое за время вакацій пріобрѣло здоровый оттѣнокъ и значительно пополнѣло, а прекрасные, мыслящіе глаза смотрѣли не на огонь, а въ глубину луга, туда, гдѣ виднѣлось бѣлое платье панны Янины, медленно прогуливающейся съ паномъ Владиславомъ.

Бронекъ думалъ:

— Какъ тѣнь тащится за нею, не знающій удержу циникъ, а она рада, что ей есть еще кому кружить контрамарку. Ахъ, женщины, женщины!—сказалъ Мицкевичъ,—и правду сказалъ. Что жъ? у этого ферта состояніе,—хоть сейчасъ подъ вѣнецъ, а я... съ однимъ только будущимъ въ карманѣ...

Панна Янина, какъ стройная колонна, яснѣла въ глубинѣ луга, у самаго ольшанника, а за нею, какъ тѣнь въ элегантной визиткѣ, слѣдовалъ панъ Владиславъ.

Бронекъ былъ блѣденъ...

Въ это время изъ-за двухъ мостовъ, изъ которыхъ одинъ плясалъ по водѣ, а другой гигантскимъ змѣемъ клубился надъ водою, изъ глубины лѣса послышалось громкое, протяжное ауканье, мало-по-малу приближающееся. Кто-то тамъ ходилъ по темному лѣсу, перекликался съ товарищами, спѣшилъ на опушку, можетъ быть привлеченный проблесками огня и долетавшимъ до него дымомъ. Панъ Витольдъ (онъ уже пересталъ танцовать) сложилъ въ трубку обѣ руки, приставилъ ихъ къ губамъ и отвѣтилъ:

— Огого! гей! гей!

Панна Ядзя, стоявшая у самаго берега рѣки, закричала какъ можно громче:

— Кто тамъ?

И сейчасъ же лѣсное эхо три раза,—одинъ разъ громко, другой разъ тише, а потомъ какъ будто изъ самой глубины,—отвѣтило:

— Тамъ!.. таамъ!.. таааамъ!

Это возбудило во всѣхъ большой интересъ, и старый баринъ тоже прокричалъ въ свою очередь:

— Ядзя!

Но такъ какъ онъ быстро прервалъ послѣднюю гласную, то эхо также быстро заболтало:

— Дзя! дзя! дзя!

Всѣ засмѣялись, а панна Янина, которая любила вызывать эхо, прекратила разговоръ съ молодымъ сосѣдомъ и, ставши рядомъ съ отцомъ, крикнула своимъ хорошенькимъ голоскомъ:

— Тятька!

Эхо, словно кумушка, со злобой передразнивающая кого-нибудь, тотчасъ же заболтало:

— Ка-ка-ка!

У шипящаго костра раздался взрывъ смѣха, лишь одинъ Бронекъ не смѣялся. Онъ поднялъ голову, бросилъ на панну Янину молніеносный взглядъ, и, съ выраженіемъ почти героической энергіи ясно, протяжно, почти торжественно, крикнулъ:

— Вла-ди-славъ!

Эхо такъ же ясно, протяжно, совершенно торжественно, отвѣтило:

— Славъ! Слаавъ! Слааавъ!

Неизвѣстно, какъ отнесся бы къ этому упоминанію своего имени элегантный сосѣдъ, если бъ всеобщее вниманіе не было привлечено нѣсколькими фигурами, выходящими изъ лѣса.

То были деревенскія дѣвки съ корзинами въ рукахъ. Онѣ выходили изъ темнаго бора и останавливались какъ вкопанныя, восхищенныя видомъ костра, пылающаго надъ водою.

— Ой, ой! какой огонь. Боже жъ ты мой, какой чудесный огонь!

Дымъ, клубящійся надъ ихъ головами, легкой дымкою окутывалъ ихъ фигуры, такъ что ясно видны были только ихъ босыя ноги, утонувшія въ пескѣ, какъ основанія бронзовыхъ статуй.

— Грибы есть?—громко крикнулъ имъ панъ Витольдъ.

— Ой, ой! какъ не быть,—отозвалась съ противнаго берега пара пискливыхъ голосовъ.

И между двумя берегами завязался живой разговоръ.

— А рыжики есть?

— Ой, ой!

— Добрый вечеръ, Эльжбетка!

— Добрый вечеръ, паненка!

— Много набрали рыжиковъ?

— Цѣлыя корзины!

— А кто больше всѣхъ набралъ?

— Петруська!

— Принесете къ намъ?

— Принесемъ!

Тѣмъ не менѣе онѣ не двигались съ мѣста. Усѣвшись на желтый песокъ, подъ клубящимся дымомъ, онѣ все смотрѣли на огонь, вокругъ котораго расположилось все общество, принимавшее участіе въ созиданіи костра. Теперь уже никто не стоялъ, не ходилъ, не бѣгалъ. Никто даже ничего не дѣлалъ, всѣ замолкли и на обоихъ берегахъ рѣки воцарилась тишина, только вѣтви попрежнему потрескивали въ огнѣ, по временамъ во всѣ стороны сыпались искры, да ольшанникъ съ одной стороны и боръ съ другой начали потихоньку шумѣть. На совершенно потемнѣвшемъ небѣ, которое при блескѣ костра казалось особенно глубокимъ, свѣтило множество звѣздъ. Не вдалекѣ отъ костра слышался шепотъ:

— Какую звѣздочку вы выбрали себѣ, панна Янина? Непремѣнно нужно имѣть собственную звѣзду, которую можно было бы любить и покланяться... У меня есть такая звѣзда...

А съ другой стороны костра, кислый и немного охрипшій голосъ вѣщалъ среди всеобщей тишины:

— Франція должна будетъ оставить Бар-эль-гарель, и если вы, кузина, думаете, что участь королевы Рановало будетъ достойна зависти, то...

Гороскопъ, составленный паномъ Теофилемъ для негритянской королевы, такъ-таки и остался неизвѣстнымъ, потому что за рѣкой послышался женскій голосъ, немного пискливый, но свѣжій и сильный, который распѣвалъ на цѣлый лугъ, на весь міръ, со звѣздами на верху, съ огненнымъ столбомъ внизу:

„Ты зачѣмъ, Мариля, по пригоркамъ бродишь?
Или полюбила моего ты сына?
Еслибъ не любила, то бы не бродила,
За твоимъ за сыномъ я сюда приплыла".

И долго, долго жалостная пѣсня протяжными тонами разливалась надъ водой и лугомъ, а когда на минуту смолкала, ея напѣвъ подхватывалъ боръ и повторялъ въ первый разъ ясно и громко, потомъ тише, а потомъ какъ будто изъ самыхъ отдаленныхъ своихъ глубинъ.

Наконецъ пѣвица кончила свою длинную пѣсню и замолчала, а панна Янина крикнула:

— Эльжбетка, спой что-нибудь еще.

Въ отвѣтъ послышался хохотъ и тонкій голосъ:

— Теперь ужъ вы пропойте, паненка.

— Пропой что-нибудь, Янка,—сказалъ старый панъ. Другіе поддержали его.

Панна Янина не заставила долго просить себя. Она любила и умѣла пѣть, и вотъ черезъ минуту, сидя у золотого моста, перекинутаго черезъ рѣку, она начала:

„Если я была бы солнышкомъ на небѣ,
Одному тебѣ бы только и свѣтила"...

Послѣ жалостной крестьянской пѣсни, выдержанной на высокихъ нотахъ, чистое и сильное сопрано панны Янины разливалось по водѣ и по лугу веселыми тонами, проникнутыми глубокимъ чувствомъ.

Панъ Владиславъ, опершись локтемъ о стожокъ накошенной травы, смотрѣлъ на звѣзды, а Бронекъ, какъ будто привлекаемый непреоборимымъ магнитомъ, бродилъ вокругъ сидящаго на травѣ общества и, медленно приближаясь къ поющей дѣвушкѣ, думалъ:

„Для кого свѣтила бы... для кого... для кого? Для меня или для него? Вчера, въ эту самую пору она пѣла ту же самую пѣсню... провалиться мнѣ сквозь землю, если не для меня! Шампанская была минута! А теперь... для кого она поетъ? для кого?"

Такъ онъ думалъ, не сводя глазъ съ профиля панны Янины, который на горячемъ фонѣ огня, обрамленный золотистыми волосами, выдѣлялся какъ изящная камея, тонко вырѣзанная въ рубинѣ.

Когда она умолкла, тоненькій голосокъ панны Ядзи провозгласилъ:

— А теперь, Эльжбетка, твоя очередь.

Если господскій дворъ обладалъ своею пѣвицею, то и у деревни была своя—именно Эльжбетка.

На противоположномъ берегу снова пошли совѣщанія, сопровождаемыя тихимъ шепотомъ и взаимными поощреніями, но наконецъ раздался высокій и чистый голосъ Эльжбетки, поющей веселую и живую пѣсню:

Добрый вечеръ, дорогая,
Ой, вино зелено!
Выглянь, выгляни въ окошко,
Кони вороные!
Ѣдетъ, ѣдетъ твой желанный.
Ой, вино зелено!
Онъ не здѣшвій, соколъ ясный,
Кони вороные!

— То-то и дѣло, что не вороные, а сивые! — покручивая усъ и искоса посматриваая на пана Владислава, проворчалъ Бронекъ, что навѣрное должно было обозначать, что „фертъ", на котораго онъ косится, ѣздитъ на сивыхъ лошадяхъ. Къ счастью, на это язвительство никто не обратилъ вниманія, — всѣ слушали пѣсню Эльжбетки и наблюдали за дымомъ, который все струился и струился надъ рѣкой, развѣшивалъ надъ нею воздушный мостъ и исчезалъ въ лѣсу. Вдругъ у костра послышалось громкое восклицаніе, звучащее испугомъ и скорбью:

— Роса!

Восклицаніе это вырвалось у пана Теофиля. Высокій, тонкій, сгорбленный, онъ вскочилъ съ земли, вѣрнѣе, съ пледа, и, забывая о всякихъ приличіяхъ, обуреваемый только инстинктомъ самосохраненія, заговорилъ:

— Какая это неосторожность, неосмотрительность, прямой рискъ схватить насморкъ, гриппъ, флюсъ, невральгію, лихорадку...

— Тифъ, ревматизмъ...—началъ вторить панъ Витольдъ.

— Воспаленіе легкихъ, параличъ, чахотку,—вмѣшалась панна Ядзя.

— Холеру, чуму... сапъ,—докончилъ студентъ Казикъ, и дальше уже никто ничего не могъ вымолвить отъ смѣха.

Наконецъ въ разговоръ вмѣшалась старая барыня, поднялась съ мѣста и сказала:

— Но вѣдь это совершенно правда! Панъ Теофиль говоритъ вѣрно. Поздно уже! пора домой! милости просимъ пить чай.

Она сама смѣялась такъ, что едва могла говорить, но старалась смягчить впечатлѣніе, которое всеобщій смѣхъ могъ произвести на ея болѣзненнаго гостя.

— Trouble-fête!—недовольно глядя на гостя, шепнулъ женѣ панъ Витольдъ.

Всѣ поднялись на ноги.

Панна Янина и Ядзя крикнули за рѣку:

— Покойной ночи, Эльжбетка, покойной ночи, Петруся!

Изъ-за рѣки послѣдовалъ отвѣтъ:

— Покойной ночи, паненьки! Покойной ночи!

А боръ повторилъ протяжнымъ эхомъ:

— Ночи! ноочи! нооочи!

И по лѣсу дальше и дальше покатилось эхо тихаго, басового шума.

Стояла уже совершенная ночь. Все небо искрилось звѣздами, на траву пала роса; никѣмъ неподдерживаемый костеръ уменьшался въ своихъ размѣрахъ, свертывался въ маленькій клубокъ и только отдѣльными бликами отражался въ водѣ, съ поверхности которой танцующій мостъ давно уже исчезъ. Панъ Витольдъ, мальчики, управляющій и кучера гасили огонь, чтобы послѣ него не осталось ни малѣйшей искры огня, а потомъ всѣ молча направились домой. Но молчаніе длилось недолго. Панна Янина взяла отца подъ руку и шла въ первой парѣ, но старый панъ сказалъ, пройдя нѣсколько шаговъ:

— Спой что-нибудь, Янка!

И, какъ птица, для которой пѣсня составляетъ всю сущность ея жизни, панна Янина тотчасъ же начала:

„Голосъ мой льется, громко несется,—
Пусть его эхо не ловитъ,
Къ нашей избушкѣ, гдѣ мать старушка
Ужинъ намъ ранній готовитъ“.

— Въ томъ-то и дѣло, что не готовитъ, — вздохнула старая барыня,—у насъ было очень весело, но... но какой ужинъ будетъ,—не знаю.

Громко и тяжело вздыхалъ идущій по мокрой травѣ панъ Теофиль, но не говорилъ ничего, а панна Янина продолжала:

„Я сномъ объята, нива не сжата,—
Пусть отдыхаетъ и зрѣетъ,—
Пускай надъ нею, съ пѣсней своею,
Стая пернатая рѣетъ“...

На этотъ разъ Бронекъ вздохнулъ глубоко, но тихо.

— Твой голосъ льется! — А для кого онъ льется? А если бъ ты была солнышкомъ, то для кого бы свѣтила? Для кого?

Вдругъ онъ вытянулъ шею и тревожно началъ всматриваться въ темноту. Узкій лужокъ подходилъ прямо къ оврагу, а оврагъ былъ уже настолько близко, что было слышно, какъ по его дну струится ручей. За оврагомъ, надъ самымъ его обрывомъ, деревенскія хатки рисовались наподобіе черныхъ холмиковъ.

Бронекъ, вытянувъ шею, широко раскрылъ глаза. Что-то тамъ, надъ однимъ изъ холмиковъ, блеснуло, потомъ скрылось, но вершина холмика словно туманомъ, покрылась дымкомъ, сквозь который просвѣчивалъ красноватый блескъ.

— Что это за дымъ?—воскликнулъ старый баринъ голосомъ, въ которомъ слышалась тревога.

— Пожаръ! деревня горитъ!—крикнулъ Бронекъ и, прежде чѣмъ кто-нибудь успѣлъ сказать хоть одно слово, обогналъ всѣхъ и исчезъ въ оврагѣ.

Пробѣгая мимо панны Янины, онъ не посмотрѣлъ на нее. Онъ забылъ о ней, о себѣ, о... „фертѣ“. Онъ какъ на крыльяхъ летѣлъ на помощь...

О, растеніе, связанное съ жизнью человѣка, начиная съ его утра, когда раздается первый крикъ ребенка, обвитаго льняными пеленками, вплоть до ночи, когда его трупъ облачится въ льняной саванъ! Какъ весела и прекрасна твоя зелень, когда ты въ весеннюю пору покрываешь поля щеткою своихъ тонкихъ стебельковъ, испещренныхъ милліономъ голубыхъ глазокъ, смотрящихъ на майское солнце! На тебя льются потоки золотыхъ лучей и жемчужнаго дождя, изъ-за котораго виднѣется радуга; въ то время въ твоихъ низкихъ зарослях передъ сумерками играютъ оркестры жаворонковъ, а въ сумерки мотыльки, утомленные воздушной пляской, опускаются на твои стебли и, колышась на твоихъ гибкихъ верхушкахъ, свертываютъ передъ сномъ крылышки.

Но „не дологъ май на свѣтѣ!“ Вскорѣ, о ленъ, тебя начнетъ жечь іюльское солнце, и медленно, но неумолимо, превращать твою яркую зелень все въ болѣе и болѣе темнѣющую бронзу, все болѣе и болѣе похожую на ту ниву, на которой ты возросъ. Твои утомленные голубые глазки уже закрылись, а на мѣсто ихъ, на верхушкѣ твоихъ стеблей, показались головки, полныя скользкихъ и лоснящихся, какъ металлъ, зернышекъ, въ твоихъ зарослях уже не поютъ жаворонки, надъ тобою не трепещутъ крылья мотыльковъ... Порѣдѣвшій, потемнѣвшій, неподвижный, ты стоишь на поляхъ и кажется, что ты умеръ.

Но нѣтъ! Ты снова оживешь, и много разъ. Въ тихій сентябрьскій полдень, когда деревья облекутся въ багрянецъ и цѣлую гамму бронзовыхъ оттѣнковъ, а по полямъ отъ межи до межи, отъ одного сухого стебля до другого протянется серебрящаяся на солнцѣ паутина, во всѣхъ деревняхъ застучатъ колотушки, извлекающія изъ-подъ твоихъ твердыхъ покрововъ волокна, настолько же блѣдныя, насколько блѣдно осеннее солнце.

А потомъ, въ зимній вечеръ, при свѣтѣ очага, изливающаго сквозь маленькое оконце свѣтъ на бѣлый снѣгъ и, какъ будто передразнивающаго звѣзды, которыми февраль, мѣсяцъ морозовъ, изукрасилъ небо, ты въ образѣ свѣтложелтой кудели займешь мѣсто на прялкѣ, и когда на дворѣ гудятъ вихри, кружитъ снѣжная мятель, а полозья саней скрипятъ по замерзшему снѣгу,—въ теплой избѣ, биткомъ набитой народомъ, ты съ прясла будешь съ легкимъ шумомъ навиваться и навиваться на веретена, подъ звуки тянущейся и тянущейся пѣсни, длинной, какъ зимній вечеръ.

Потомъ, о ленъ, нитями легко носящимися въ легкихъ челнокахъ, ты опутаешь ткацкія крѳсна, длинными полосами полотна протянешься по лугамъ, гдѣ подъ солнечными лучами, жадно высасывающими всякую окраску, пріобрѣтешь бѣлизну снѣга. Ты будешь под-

ниматься вмѣстѣ съ дѣвичьей грудью и можетъ быть слышать, какъ бьется сердце героя, обливаться жаромъ на плечахъ пахаря, когда онъ кроитъ правильными полосами твердую землю, прикрывать украшенный искусственными цвѣтами свадебный каравай, разстилаться на мужицкой покути подъ караваемъ чернаго хлѣба и зеленоватыми стеклянными чарками, или красоваться на княжескомъ столѣ, когда огонь великолѣпныхъ лампъ заиграетъ въ хрустальныхъ сосудахъ милліардами ослѣпительныхъ искръ и красокъ. Но теперь, добрый ленъ, ты переживаешь грустную пору и иногда грозишь опасностью. Высохшій, темный, ты рядами сноповъ по цѣлымъ днямъ стоишь у плетней и завалинокъ; куда глазомъ не кинь—вездѣ взглядъ, точно съ назойливыми нищими, встрѣчается съ твоими снопами, прислонившимися къ плетнямъ и стѣнамъ, иногда искривленными, словно дряхлые старцы, иногда и окостенѣлыми, какъ маленькіе трупики, высыхающіе на солнцѣ и на вѣтру, а иногда...

Низкій чердакъ хаты, наполненный вѣчнымъ полумракомъ, потому что онъ освѣщается только однимъ окошкомъ, да и то такимъ маленькимъ, что его почти совсѣмъ закрываетъ вѣтка стоящей поблизости груши. На чердакѣ, на глиняномъ току, лежитъ разостланный ленъ и досушивается окончательно. Здѣсь такъ темно, что темныхъ стеблей лежащихъ внизу почти совсѣмъ не видно. Они однако цѣлы, спятъ на глиняномъ току и можетъ быть имъ снится весеннее солнце, жемчужный дождикъ, изъ-за котораго видна радуга и пѣсня жаворонка. Вдругъ до ихъ спящихъ головокъ, наполненныхъ скользкими зернышками, доносится дымокъ небольшой, но очень непріятный. Знаемъ! знаемъ! Это запахъ брата-паслена, того, который растетъ въ огородахъ, своими листьями напоминаетъ капусту и у людей называется табакомъ. Паслены и вообще скверно пахнутъ,—за малымъ исключеніемъ это скверный родъ, опасный, злой духъ растительнаго царства, насколько ленъ является его добрымъ, невиннымъ, добродѣтельнымъ духомъ. Дымокъ тлѣющаго паслена, называемаго табакомъ, тонкимъ шнурочкомъ вьется въ полумракѣ чердака, а головки льна расчихались бы отъ него, если бъ умѣли. Но чихать они не умѣютъ, и только прижимаются къ глиняному току, испуганныя и устрашенныя... О, онѣ хорошо знаютъ, чего имъ бояться! О такихъ свиданіяхъ съ запахомъ паслена въ ихъ роду существуютъ страшныя традиціи. Люди бываютъ иногда такъ неосторожны, такъ забывчивы, въ особенности когда ихъ сердце уязвитъ зависть, какъ она уязвила теперь сердце того стройнаго парня, Михалка, который задыхаясь вскочилъ на чердакъ, чтобы заглянуть въ маленькое окошко, не убѣжала ли опять Ганулька на барскій дворъ. Онъ не разъ уже видѣлъ, что лишь выдастся ей свободная минута, такъ она, какъ серна, перескочитъ черезъ одинъ плетень, черезъ другой, и ужъ мчится по направленію къ господскому двору...

Зачѣмъ? Ага! Михалекъ догадывается, и самъ маршъ за нею! Пускай хоть разъ еще увидитъ ее, а тамъ ужъ онъ знаетъ, что ему дѣлать! Онъ припалъ къ окну своимъ разгорѣвшимся отъ гнѣва лицомъ, смотритъ...

— На господскій дворъ!—крикнулъ онъ,—ей-Богу, на господскій дворъ побѣжала...

Онъ отскочилъ отъ окошка; изъ его руки выпало что-то блестящее, но онъ не замѣтилъ этого. Онъ выбѣжалъ, вѣрнѣе выскочилъ, дверь съ грохотомъ захлопнулась за нимъ, короткимъ раскатомъ прогремѣлъ по лѣстницѣ стукъ его грубыхъ сапогъ, — и опять тишина.

Во мракѣ, все болѣе и болѣе сгущающемся, на глиняномъ полу лежатъ льняные стебли и въ ихъ головкахъ снова роятся мечтанія о минувшемъ маѣ. На дворѣ должно быть уже ночь, потому что въ ихъ узилище, сквозь узенькое оконце, заглядываетъ вечерняя звѣзда. Ей мѣшаютъ листья стоящей поблизости груши, но она все-таки замѣчаетъ, что возлѣ окошка начинаетъ пробивать дымокъ, сначала маленькій, но постепенно увеличивающійся. Онъ расползается, заволакиваетъ темные стебли волнующейся пеленою, сквозь которую просвѣчиваютъ пробѣгающія внизу огненныя струйки, растетъ вмѣстѣ съ ними и теперь ужъ не струйки, а громадные языки, длинные, жадные, колыхаясь, достигаютъ до потолка, лижутъ балки, ползаютъ подъ кровлей, и, сами еще невидимые, выбрасываютъ наружу дымъ, напоенный ихъ кровавымъ свѣтомъ, а этотъ дымъ, при встрѣчѣ съ воздухомъ, тотчасъ же начинаетъ свертываться въ клубы.

— Деревня горитъ, — крикнулъ Бронекъ, опередилъ всѣхъ, и скрылся въ оврагѣ, а черезъ двѣ минуты взбирался на противоположной склонъ и кричалъ во всю мочь:

— Горитъ! люди, горитъ! горитъ!

Старшій баринъ схватился за голову.

— Ахъ, этотъ ленъ! этотъ ленъ во время сушки!—Онъ застоналъ и крикнулъ, обратившись къ своему дому:

— Панъ Дзюрдзевичъ! Марцинъ! Запрягать лошадей! Приготовить пожарныя трубы, топоры, рабочихъ посадить на телѣги! Да поскорѣй, въ одинъ моментъ!

Но Марцинъ бѣжалъ уже навстрѣчу и вскорѣ поравнялся съ бариномъ. Дзюрдзевичъ—онъ былъ помоложе—обогналъ обоихъ. Издали могло казаться, что это какія-то тѣни преслѣдуютъ другъ друга во мракѣ, потому что была и четвертая тѣнь, влачащаяся вслѣдъ за тремя первыми.

Одна изъ тѣней роптала на судьбу:

— Ахъ, несчастіе, несчастіе! Амбары полнехоньки, скотина въ хлѣвахъ.

Другая пыталась успокоить:

— Сейчасъ и пожарная труба подоспѣетъ! И огонь погасимъ!

Развѣ когда-то деревни такъ горѣли?.. А міръ еще не сгорѣлъ, стоитъ еще!

Они задыхались отъ утомленія, а та, которая со стономъ влачилась позади, ворчала:

— Чудесное дачное времяпрепровожденіе! То печетъ, то мочитъ, то пугаетъ... Огонь, роса, пожаръ... Здѣсь окончательно можно потерять здоровье! Довольно мнѣ уже этого!.. Только бы до постели поскорѣй добраться!

Женщины, стоящія надъ крутымъ обрывомъ оврага, среди кустовъ барбариса, обрызганныхъ ночною росою, какъ разъ противъ двухъ горящихъ хатъ, едва удерживали за пояса рубашекъ двухъ мальчиковъ, которые умоляя, брыкаясь, чуть не плача, рвались на другую сторону оврага, на пожаръ, на помощь пану Витольду и двумъ студентамъ. А тѣ, то исчезая среди клубовъ густого дыма, то появляясь на яркомъ фонѣ огня, распоряжались далеко раздающимися, повелительными голосами:

— Сюда!—съ этой стороны разобрать плетень! давайте воды! Да скотину вывести! дѣтей спровадить куда-нибудь! дѣтей! заливайте гумно.

Вокругъ сдѣлалось свѣтло, какъ днемъ; на березахъ, растущихъ вдоль оврага, можно было пересчитать всѣ листки, — настолько они были пронизаны золотистодымнымъ свѣтомъ. Можно было точно такъ же различить лица и движенія людей, которые собирались вокругъ пожара все въ большемъ количествѣ, вскарабкивались на сосѣднія крыши и сбрасывали на земь солому, подавали снизу и принимали сверху ведра съ водой, разбирали плетни, выгоняли на дорогу скотину и выносили изъ жилыхъ помѣщеній дѣтей. Слышалось множество смѣшанныхъ голосовъ,—шумъ огня, крики мужчинъ, вопли женщинъ, плачъ дѣтей, мычанье скота, пискъ домашней птицы. Топоры стучали, собаки начинали выть, стаи воробьевъ и голубей поднимались изъ подъ застрѣхъ и, сверкнувъ ярко позлащенными крыльями, скрывались въ вѣтвяхъ березъ и калинъ оврага.

А сверху, изъ все болѣе и болѣе расширяющагося моря пламени, валилъ дымъ, сначала красный, потомъ черный, клубами уносился въ черное небо, съ лица котораго исчезли всѣ звѣзды, закутывалъ пеленою яркіе снопы огня, сплывалъ на самое дно оврага и выползалъ изъ него на противоположную сторону, такой удушливый и ѣдкій, что глаза женщинъ, стоящихъ среди кустовъ барбариса, были полны слезъ. Панна Ядзя плакала во всю, закрывъ платкомъ глаза, но панна Янина, какъ уже совершенно взрослая, сохраняла самообладаніе. Она вся выпрямилась, точно застыла, и изъ-за мглистой занавѣски, которая застилала ея глаза, вѣроятно благодаря ѣдкому дыму, смотрѣла на картину пожара съ такимъ тревожнымъ и мучительнымъ напряженіемъ, что ея правильныя черты лица покрылись блѣдностью. Какъ разъ рядомъ съ нею стоялъ панъ Владиславъ; всѣ другіе мужчины разбѣжа-

лись въ разныя стороны, даже Стась и Тадзя вымолили позволеніе бѣжать хоть по крайней мѣрѣ домой, чтобъ принести какую-нибудь пользу и, можно было ручаться, уже умчались на пожарной трубѣ,— одинъ только представитель сильнаго пола, элегантная тѣнь панны Янины, остался со слабымъ поломъ. Сначала онъ было сдѣлалъ нѣсколько нерѣшительныхъ движеній въ сторону деревни и въ сторону господскаго дома, но въ концѣ концовъ остался и промолвилъ съ милой улыбкой:

— Нужно же, чтобъ кто-нибудь охранялъ дамъ.

Собственно говоря, по эту сторону оврага, огонь и всѣ прочія разрушительныя стихіи отсутствовали, значитъ особенной необходимости въ охранѣ не было, но пану Владиславу никто не отвѣтилъ и только панна Янина отошла отъ него въ сторону, какъ будто оттолкнутая чѣмъ-то невидимымъ. А онъ, въ свою очередь, опять приблизился къ ней и теперь, когда ужасъ пожара достигъ наивысшей точки, прервалъ молчаніе, царствующее среди женщинъ:

— Что за великолѣпное зрѣлище!

Слова, кажется, короткія, но послѣдствія они вызвали довольно сложныя. Панна Янина медленнымъ движеніемъ повернулась къ пану Владиславу, добрыхъ полминуты смотрѣла ему прямо въ глаза, потомъ опять отошла отъ него и стала рядомъ съ матерью. На этотъ разъ панъ Владиславъ не послѣдовалъ за нею, потому что съ восторгомъ истиннаго знатока любовался великолѣпнымъ зрѣлищемъ сквозь стекла пенснэ, въ которыхъ мигали маленькія отраженія огня.

Огонь, несмотря на оказываемое ему противодѣйствіе, охватилъ уже двѣ крестьянскихъ усадьбы и угрожалъ еще двумъ сосѣднимъ, осыпая ихъ дождемъ горящихъ искръ и головней. Яркій блескъ отражался въ рѣкѣ, струящейся у подножья высокаго берега, но теперь уже на воду ложился не прежній золотистый, танцующій мостъ, — теперь съ одного берега на другой перекидывалась красная полоса, похожая на пролитую кровь. Издали, издали было видно, какъ волны, выплывающія въ освѣщенное пространство, окровавляются, выступаютъ изъ его предѣловъ и вновь погружаются въ мракъ, а на ихъ мѣсто приплываютъ все другія... другія... другія...

Надъ высокимъ обрывомъ царствовалъ хаосъ криковъ, стоновъ, рыданій, огонь шумѣлъ, какъ ураганъ, клубы дыма уходили въ небо, въ воздухъ, въ оврагъ, достигали зарѣчнаго бора, а струящіяся внизу кровавыя волны рѣки спокойно проплывали шеренгами неисчислимыми, непрерывными, равнодушными, какъ предназначеніе, сквозь шумъ и кровь идущими въ таинственный и далекій мракъ, въ который не доходятъ отголоски несчастія, надъ которымъ свѣтятся звѣзды, уже не затмѣваемыя земными стихіями...

Менѣе спокойнымъ и менѣе равнодушнымъ къ человѣческому несчастію былъ зарѣчный боръ. Какъ только шумъ надъ обрывомъ

немного стихалъ, слышно было, какъ боръ шумитъ, шумитъ грустно, а въ этомъ шумѣ неисчислимые отголоски эха сливали вмѣстѣ голоса и дальніе, и ближайшіе, и тихіе, и пронзительные и гнѣвные, и умиротворящіе; казалось происходитъ какая-то ссора или совѣщаніе всѣхъ лѣсныхъ духовъ, сбѣжавшихся на это мѣсто человѣческаго несчастія.

Но вотъ уже въ теченіе двухъ минутъ отъ господскаго дома доносится стукъ колесъ, все ближе и ближе, и наконецъ стихаетъ вблизи огня... Военныя подкрѣпленія прибыли. Вокругъ огня движеніе людей еще усиливается, сѣдые волоса старшаго пана и Марцина показываются то тутъ, то тамъ въ красномъ блескѣ, Дзюрдзевичъ стоитъ на пожарной трубѣ и вмѣстѣ съ рабочимъ маневрируетъ огромною кишкою, полною воды. Сидящій же на сосѣдней крышѣ панъ Витольдъ кричитъ такъ, что можно опасаться за цѣлость его горла.

— Дзюрдзевичъ. Сюда! сюда, эту крышу обливать! Ради Бога, головни летятъ! Воды давайте! скорѣй! скорѣй!

Дѣйствительно, изъ огненнаго моря выпаливаютъ воспламененныя головни и падаютъ на крышу рядомъ съ паномъ Витольдомъ, а одновременно съ этимъ снизу начинаетъ бить огромная струя воды и проливнымъ дождемъ заливаетъ крышу, сидящаго на ней пана Витольда и головни, которыя шипятъ, словно цѣлое гнѣздо змѣй, и съ шипѣньемъ гаснутъ.

Молоденькая жена пана Витольда обѣими руками закрываетъ лицо, напоминающее поблѣднѣвшій цвѣтокъ шиповника, и шепчетъ:

— Боже! Боже! Какъ я боюсь! Камъ мнѣ страшно!

А стоящій въ двухъ шагахъ отъ нея панъ Владиславъ начинаетъ говорить совершенно критическимъ тономъ:

— Со стороны этихъ господъ такъ рисковать излишне... совсѣмъ излишне! Нужно было послать спасительные инструменты, дворню, но какая же необходимость принимать личное участіе?., Это небезопасно, и, въ самомъ лучшемъ случаѣ, нездорово...

Панна Янина снова повернула къ нему лицо и вдругъ воскликнула съ выраженіемъ глубочайшаго изумленія:

— Ахъ, это вы? А мнѣ казалось, что это говоритъ панъ Теофиль. Я была даже увѣрена... Вашъ голосъ показался мнѣ такъ похожимъ на голосъ пана Теофиля!

— Э! панъ Теофиль должно быть подъ семью одѣялами!—ехидно замѣтила Ядзя.

Панъ Владиславъ понялъ, что почва ускользаетъ изъ-подъ его ногъ. И до этого-то времени нельзя было сказать, чтобъ его позиція по отношенію къ паннѣ Янинѣ отличалась особою солидностью, а теперь ужъ и совсѣмъ... Какъ же это такъ: онъ и панъ Теофиль „все одно“! тотъ самый панъ Теофиль, котораго она, недальше, какъ полчаса тому назадъ назвала несноснымъ эгоистомъ!

Вдругъ, у кого-то тамъ, за оврагомъ, должно быть тоже ускользнула изъ-подъ ногъ почва, потому что въ одномъ пунктѣ пожара раздался пронзительный крикъ, которымъ, при помощи человѣческаго горла, кричитъ несчастіе. Крикъ раздался и потонулъ среди шума, который сосредоточился на одномъ мѣстѣ.

Кто-то пронзительно спрашивалъ:

— Живъ еще? живъ?

Кто-то другой кричалъ:

— Носилки устроить! носилки!

Изъ-за оврага дохнуло угрозой. Женщины, стоящія на этой сторонѣ, вздрогнули всѣмъ тѣломъ, подались впередъ и, протягивая руки, начали кричать:

— Что тамъ случилось? Что случилось?

Панъ Владиславъ сложилъ руки трубкою, приставилъ ихъ ко рту и тоже закричалъ что было мочи:

— Что тамъ случилось? Что случилось?

По самому краю оврага бѣжалъ Дзюрдзевичъ съ кулемъ соломы, очевидно предназначенный для устройства носилокъ, на мгновеніе ока остановился, и началъ было повышеннымъ голосомъ:

— Панъ Бронислав...

Но тутъ послышался голосъ старшаго барина:

— Дзюрдзевичъ! скорѣй!

Управляющій, не говоря больше ни слова, какъ стрѣла полетѣлъ туда, куда его призывали, а въ ту же самую минуту...

Въ ту же самую минуту совершилось нѣчто неожиданное, и совершилось съ такою же быстротою, съ какою молнія пробѣгаетъ по небу или человѣческая мысль по пространству. Панна Янина сорвавась съ мѣста и скатилась въ оврагъ. Свѣтлое платье, какъ блуждающій огонекъ, скользнуло по крутому скату и уже взбиралось на противоположный скатъ прежде, чѣмъ кто-нибудь успѣлъ вымолвить одно слово. По мокрой травѣ, отъ куста къ кусту, отъ березы къ березѣ она все взбиралась и взбиралась кверху, и остановилась на самомъ краю оврага, залитая яркимъ свѣтомъ пожара. Тогда она было подняла руки въ воздухѣ, но тотчасъ онѣ безсильно упали на платье, а изъ устъ ея вырвался страшный крикъ.

Дзюрдзевичъ и Марцинъ спереди, а два работника сзади, несли носилки, на которыхъ лежалъ Бронекъ. Руки у него обгорѣли, словно съ нихъ сошла кожа, на лицѣ и шеѣ виднѣлись широкія красныя пятна глаза были замкнуты. Бѣлый студенческій мундиръ представлялся лохматымъ, всюду продыравленнымъ и выпачканнымъ въ сажѣ; отъ него било запахомъ дыма и гари.

— Понесемъ черезъ оврагъ! Ближе будетъ! — кричалъ Дзюрдзевичъ.

Но Марцинъ протестовалъ.

— Чтобъ еще упалъ у насъ съ носилокъ и скатился бы внизъ! Съ такой крутой горы сносить на дорогу нужно... черезъ поле!

— Умеръ?—прижимая руки къ вискамъ, крикнула панна Янина.

— Живъ! въ обморокѣ только! живъ,—отвѣтилъ Дзюрдзевичъ. Нужно скорѣй спѣшить домой и послать за докторомъ. А не пойти ли посмотрѣть, можетъ быть и черезъ оврагъ можно?

Управляющій исчезъ, а панна Янина, сильно стиснувъ лацканъ сюртука Марцина, голосомъ какимъ-то страннымъ, останавливающимся въ горлѣ, охрипшимъ, со стеклянными глазами, неподвижно устремленными на стараго слугу, допрашивала:

— Что это?.. какъ это... Онъ живъ? навѣрно живъ?

Марцинъ въ раздраженіи покачалъ головою.

— Живъ, паненка, только когда мы его клали на носилки, то лишился чувствъ. Да и что это за работа! Кто такъ работаетъ? Хата вся уже въ огнѣ, а онъ за какими-то мужицкими деньгами вскочилъ туда! Великое дѣло, что бабы голосили „гроши! гроши!“ и за колѣна его хватали... Лучше бы эти гроши черти взяли. Нѣтъ! чисто какъ сумасшедшій, полѣзъ... подъ ногами у него подломилась какая-то доска, онъ схватился руками за горящую балку, и если бъ не панъ Казикъ и не Дзюрдзевичъ, которые схватили его въ охапку и вытащили изъ огня, то отъ него оставалась бы только горсть пепла... Эхъ! и что это за работа? Да и какіе паничи-то теперешніе? А все-таки Господь Всемилостивый да бла... да благословитъ ихъ...

Тутъ дымъ такъ сильно началъ ѣсть глаза Марцина, что онъ сложилъ въ кулакъ руку съ серебрянымъ перстнемъ и началъ утирать себѣ глаза, а панна Янина, склонившись надъ носилками, голосомъ, который среди рыданій дрожалъ какъ соловьиная трель, заглушаемая вихремъ повторяла:

— Панъ Брониславъ! панъ Брониславъ!

Потомъ она заговорила тише, очень тихо:

— Бронекъ! Бронекъ!

Съ ея, низко склоненнаго лица, на бѣдное, обожженное лицо мальчика падали обильныя, жемчужныя слезы. Можетъ быть, пробужденной этой росою отъ своего забытья, онъ открылъ глаза, встрѣтился взоромъ съ низко наклонившимся надъ нимъ и влажнымъ лицомъ дѣвушки, и—улыбнулся. Потомъ онъ сдѣлалъ движеніе и прошепталъ:

— Если бъ вы были солнышкомъ на небѣ, то для кого бы свѣтили вы?

И онъ опять впалъ въ безчувствіе.

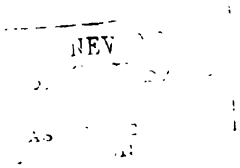
А та выпрямилась, закрыла лицо руками, и изо всей силы, вознося всю свою душу высоко надъ землею, надъ земными огнями и надъ звѣздами небесными и повергая ее къ стопамъ Божьимъ, поклялась:

— Если Ты исцѣлишь его, если онъ будетъ живъ, Отче нашъ, иже еси на небесѣхъ, я ни для кого на свѣтѣ, ни для кого, только для него...

Дымъ прозрачной, позолоченною занавѣсью, окружилъ и заслонилъ лежащаго на носилкахъ мальчика и дѣвушку, которая, закрывъ руками лицо, молилась надъ нимъ...

Перевелъ Вуколъ Лавровъ.

Занялась. (*Рис. Э. Шанкса*).


NEV

Шанксъ

ЭМИЛІЯ ЯКОВЛЕВНА ШАНКСЪ.

Эмилія Яковлевна Шанксъ родилась въ 1857-мъ г. въ Москвѣ. Въ 1882-мъ году поступила въ Школу Живописи и Ваянія, гдѣ кончила 6-тилѣтній курсъ. Съ тѣхъ поръ начала выставлять свои картины на выставкахъ Общества Передвижниковъ. Наиболѣе извѣстны ея картины: «Старшій братъ», «Новенькая», «Наемъ гувернантки», Мыльные пузыри», «Чернильное пятно», «Зянялась». За «Чернильное пятно» была въ 1894 году избрана членомъ Общества передвижныхъ выставокъ и была первой женщиной, удостоенной этой чести.

ТРАГЕДІЯ СМѢНЯЮЩИХСЯ МІРОВОЗЗРѢНІЙ.

„Привидѣнія“ Ибсена.

КРИТИЧЕСКІЙ ЭТЮДЪ.

Знаменитая драма Ибсена „Нора или Кукольный очагъ“ вышла въ свѣтъ въ 1879 году и вызвала множество споровъ и толковъ. Въ слѣдующемъ же 1880 году появилась какъ бы въ отвѣтъ на эти толки новая пьеса „Привидѣнія“ и возбудила еще больше споровъ: еще больше восторговъ у поклонниковъ поэта и негодованія у его враговъ. Защита женской независимости, намѣченная развязкою Норы, въ Привидѣніяхъ ведется дальше. Вопросъ семьи и семейныхъ обязанностей поставленъ здѣсь шире, глубже и запутаннѣе. Въ Норѣ мы видимъ, что весь строй семейнаго быта не даетъ развиться въ женщинѣ лучшимъ свойствамъ ея природы: сперва отецъ, а потомъ мужъ смотрятъ на Нору, какъ на игрушку, какъ на куклу; а разумно-мыслящимъ существомъ она становится только благодаря самостоятельному своему опыту и страданіямъ сердца. Такую же драму, только болѣе сложную и болѣе мрачную, переживаетъ и г-жа Альвингъ, героиня Привидѣній. Только она уже не игрушка, а жертва сперва родныхъ, толкнувшихъ ее на бракъ по разсчету; а затѣмъ—жертва порочнаго мужа, жертва всего семейно-общественнаго строя и всей общепринятой морали. Она сомнѣвается (какъ и Нора въ послѣдней сценѣ своей съ мужемъ) въ правильности тѣхъ устоевъ, на которыхъ зиждется семья; но она идетъ дальше Норы въ этихъ сомнѣніяхъ и приходитъ къ полному почти ихъ отрицанію, но останавливается...

И самъ Ибсенъ въ своемъ обличеніи родного общества пошелъ въ Привидѣніяхъ дальше, чѣмъ въ прежнихъ своихъ драмахъ. Мало того, самая основа этого обличенія, общее міровоззрѣніе поэта, измѣнилось кореннымъ образомъ со времени написанія имъ его философскихъ драмъ, наприм., Бранда. Въ Брандѣ Ибсенъ не отдѣлился еще отъ своей скандинавской среды: въ возвышенности и отвлеченности его идеализма видны слѣды мистики, слѣды лютеранства и сектанства;

при полетѣ его фантазіи въ область свободы и красоты чувствуется мысль, воспитанная на понятіяхъ о грѣхѣ и блаженствѣ, о погибели и искупленіи и т. п. Въ Императорѣ и Галилеянинѣ, гдѣ изображается въ душѣ Юліана Отступника борьба язычества и христіанства,—эта мысль уже значительно осложняется; а въ Привидѣніяхъ у поэта является даже совершенно новая точка зрѣнія на жизнь. Такъ, въ Привидѣніяхъ ставится тотъ же, что и въ Брандѣ, вопросъ о наслѣдственности, какъ о роковой силѣ, управляющей судьбою отдѣльнаго человѣка. Только въ Брандѣ вопросъ ставится на почвѣ христіанской этики: наслѣдовавши отъ матери цѣльность и непримиримость ея характера, пасторъ Брандъ беретъ на себя отвѣтственность за все зло, сдѣланное его родителями и прародителями, и въ поискахъ высшей правды, въ поискахъ новаго начала спасенія, онъ умираетъ жертвою за грѣхи цѣлаго поколѣнія. Въ Привидѣніяхъ фатумъ наслѣдственности—родительскіе пороки и заблужденія—губитъ у г-жи Альвингъ и счастье ея и надежды: сынъ ея получилъ отъ развратнаго отца задатки болѣзни и гибнетъ на ея глазахъ. Здѣсь вопросъ ставится на почву не этики, а патологіи. Но здѣсь какъ и въ Брандѣ судьба отдѣльнаго человѣка рисуется въ зависимости отъ всей его среды, и трагедія личной жизни разыгрывается на фонѣ широкой бытовой картины. Какъ Брандъ и его мать—послѣднія звенья въ длинной цѣпи тѣхъ поколѣній, которыя своими злыми и добрыми дѣлами опредѣлили душевный складъ своего потомка, такъ и камергеръ Альвингъ, покойный мужъ героини Привидѣній, и его несчастный сынъ—продукты данной среды и ея исторически сложившейся жизни. Такимъ образомъ Ибсенъ очень широко раздвигаетъ рамки своего замысла и своего обличенія. Если уже въ Норѣ у него намѣченъ типъ идеалистки и показанъ ея протестъ противъ семейнаго быта и его предразсудковъ, то въ г-жѣ Альвингъ и протестъ и идеализмъ обрисованы сильнѣе и обоснованы несравненно шире.

Эта широта замысла дѣлаетъ Привидѣнія однимъ изъ наиболѣе глубокихъ по содержанію литературныхъ явленій современности. Но шумнымъ успѣхомъ своимъ драма обязана не столько глубинѣ замысла, сколько той рѣзкости и откровенности, съ какою въ ней обличается семейная мораль: супружеская вѣрность, свобода любви, узы крови, родительскій авторитетъ и т. п. Эта-то рѣзкость и откровенность въ обличеніи традиціонной морали, тѣ сомнѣнія, которымъ подвергаются самыя основы семьи, и сопоставленіе двухъ смѣняющихся міровоззрѣній — узко-лютеранскаго съ свободно-раціоналистическимъ, все это вмѣстѣ взятое содѣйствовало успѣху Привидѣній. Споры, вызванные Норою, возобновились и усилились послѣ Привидѣній какъ въ Скандинавскихъ государствахъ, такъ и въ Германіи и Англіи. Имя Ибсена, какъ глашатая новыхъ истинъ въ искусствѣ, становится извѣстнымъ далеко за предѣлами его родины. Всѣ недовольные со-

временнымъ строемъ общества увидѣли въ Привидѣніяхъ протестъ противъ этого строя, попытку освободить личность человѣка отъ всѣхъ узъ, налагаемыхъ общественностью. А оттого у болѣе консервативно настроенныхъ писателей пьеса не могла не вызвать негодованія. Похвала и порицаніе были тѣмъ ожесточеннѣе, что авторъ своей мысли не формулируетъ съ полною ясностью и поставленный драмою вопросъ остается открытымъ.

Уже самое заглавіе драмы имѣетъ такой же сложный и двоякій смыслъ, какъ и все ея содержаніе. Она называется въ подлинникѣ Gengangerne, что французы переводятъ очень близко: Les Revenants. У насъ въ одномъ переводѣ она называется: „Выходцы съ того свѣта". Что же собственно это означаетъ?—Одно объясненіе мы находимъ въ комедіи Союзъ Молодежи, написанной въ 1869 году. Тамъ, въ краснорѣчивомъ воззваніи адвоката къ молодому поколѣнію образное выраженіе „Привидѣнія" примѣнено ко всему отжившему и негодному въ общественномъ быту. Все то, что своею косностью задерживаетъ свободное теченіе мысли: устарѣлыя традиціи, предразсудки,—какъ наслѣдіе прошлаго—сравниваются тутъ съ тѣми Привидѣніями, которыя боятся всего новаго, свѣтлаго, которымъ нужны потемки невѣжества для существованія. Кромѣ того, выраженіе это имѣетъ и другой еще смыслъ. Привидѣніями могутъ называться свойства темперамента, наслѣдованныя отъ родителей и проявляющіяся въ человѣкѣ, несмотря на разницу воспитанія, жизни въ иной средѣ и т. п. Д-ръ Ранкъ въ Норѣ, послужившій прототипомъ Освальда, сына г-жи Альвингъ, наслѣдовалъ отъ отца болѣзнь спинного мозга; онъ знаетъ, что платитъ своимъ здоровьемъ за веселую молодость отца, и рѣшаетъ кончить самоубійствомъ, когда удостовѣрится въ нѣкоторыхъ своихъ подозрѣніяхъ. Одну только Нору посвящаетъ онъ въ этотъ замыселъ и въ то время, какъ она сама носится съ мрачными мыслями, на выполненіе которыхъ у нея не хватаетъ мужества, близость д-ра Ранка вноситъ въ ея существованіе элементъ трагически-ужаснаго. Этотъ элементъ—рока, неумолимаго возмездія, который, по мнѣнію д-ра Ранка, такъ или иначе проявляется въ каждой семьѣ,—выступаетъ въ Привидѣніяхъ на первый планъ. Сынъ не только наказывается болѣзнью за пороки отца, но въ немъ проявляется та же слабость къ вину и къ женщинамъ, которая загубила семейную жизнь его матери. Когда г-жа Альвингъ замѣтила въ сынѣ эти проявленія чувственности, „мнѣ почудилось,—говоритъ она,—что я вижу передъ собою привидѣнія". Наслѣдственность, роковымъ образомъ тяготѣющая надъ человѣкомъ, какъ физическія особенности темперамента—это одно значеніе слова; а другое—въ тѣхъ же словахъ г-жи Альвингъ. „Но мнѣ иногда кажется также,—продолжаетъ она далѣе,—что и всѣ мы подобны привидѣніямъ, подобны выходцамъ изъ могилъ. Въ насъ живетъ и прячется все, что мы наслѣдуемъ отъ родителей, всѣ старыя, повидимому, умер-

шія, воззрѣнія и вѣрованія"... Итакъ, наслѣдственность двоякая—и личная физіологическая, въ смыслѣ темперамента, и общественная психическая, въ смыслѣ традиціонныхъ убѣжденій—вотъ смыслъ заглавія драмы.

Если такое сложное и широкое понятіе заключено въ самомъ заглавіи драмы, то не менѣе сложно и содержаніе ея, несмотря на малочисленность дѣйствующихъ лицъ и кажущуюся простоту дѣйствія. Нечего и говорить, что весь интересъ ея сосредоточенъ на душевной жизни героини. Ибсенъ рисуетъ эту героиню стоящею совершенно одиноко и колеблющеюся между двухъ міровоззрѣній: одно г-жа Альвингъ приняла смолоду на вѣру; другое она вырабатываетъ себѣ сама съ помощью новыхъ книгъ, а также и путемъ собственной мысли, личнаго опыта. Но старое мировоззрѣніе ея, ея вѣрованія живучи, и потому живучи, что стоили ей большихъ жертвъ. Замѣна этихъ вѣрованій новыми взглядами производитъ въ душѣ ея такой же трагически-неразрѣшимый конфликтъ, какъ въ душѣ Юліана борьба язычества и христіанства. Кромѣ этого конфликта, она переживаетъ еще страданія материнскаго чувства, страданія роковыя, не заслуженныя, вызванныя Привидѣніями, т.-е. двоякою наслѣдственностью семьи или, вѣрнѣе, всѣмъ прошлымъ и семьи и общества. Страданія эти придаютъ ея фигурѣ, какъ новому воплощенію Ніобеи, черты мистически-глубокаго, эсхиловскаго трагизма, но въ формахъ, повседневно-жизненныхъ. Эти-то страданія и отодвигаютъ на задній планъ внутреннюю драму смѣняющихся міровоззрѣній. Къ тому же конфликтъ въ этой внутренней драмѣ ничѣмъ не разрѣшается: занавѣсъ падаетъ, и мы не знаемъ, что окончательно восторжествовало въ душѣ г-жи Альвингъ: старые идеалы жизни или новые взгляды? Но мы невольно вѣримъ ей, когда она говоритъ: „А идеалы все-таки не погибнутъ!" Авторъ нашелъ, очевидно, примиреніе противоположныхъ теченій мысли; но въ чемъ? Вглядимся сами поближе въ душевную жизнь г-жи Альвингъ, разсмотримъ переживаемый ею переломъ мысли и попытаемся найти тотъ выводъ изъ диллемы, который драмою подсказывается, но котораго авторъ самъ не формулируетъ.

Авторъ немногими, но очень характерными чертами, рисуетъ ту обстановку, среди которой разыгрывается драма. Передъ нами, какъ во всѣхъ драмахъ Ибсена этого періода,—жизнь норвежскаго захолустья, съ тѣмъ узкимъ кругомъ интересовъ и понятій, которому противопоставляется одинокая выдающаяся личность. Видъ туманнаго фіорда, упоминаніе о непревывномъ дождѣ, жалобы художника на сѣрое небо—даютъ впечатлѣніе сѣверной унылой природы. Мы въ домѣ богатаго камергера, вдова котораго посвящаетъ его памяти разныя благотворительныя учрежденія; въ помѣстьѣ ея идутъ теперь приготовленія къ открытію пріюта. Какъ въ томъ городѣ, гдѣ разыгрывается дѣйствіе „Столповъ Общества", такъ и здѣсь въ этомъ приморскомъ

уголкѣ—процвѣтаетъ и лицемѣріе и косность, боязнь всякихъ нововведеній. Тамъ боятся желѣзной дороги, здѣсь страхованіе отъ огня считаютъ несовмѣстимымъ съ вѣрою въ промыслъ Божій. Развращенные, испорченные люди, какъ пьяница столяръ Энгстрандъ, прикрываютъ словомъ Божіимъ свои грязныя дѣлишки и умѣютъ каяться въ своихъ грѣхахъ и слабостяхъ, когда имъ это выгодно. Та роль, которую въ душной атмосферѣ Столповъ Общества играетъ иностранное американское вліяніе, здѣсь выполняютъ книги новаго направленія. Чтеніе этихъ книгъ подтвердило вдовѣ камергера все то, до чего она сама додумалась. Въ нихъ она находитъ себѣ успокоеніе, разъясненіе того, что смутно живетъ въ душѣ очень многихъ, по ея мнѣнію. Гораздо рѣзче и опредѣленнѣе высказываетъ свои взгляды сынъ ея, Освальдъ, художникъ, только что вернувшійся изъ Парижа. Онъ прямо заявляетъ, что не считаетъ безнравственными незаконныя семьи художниковъ, особенно когда сравниваетъ ихъ съ тѣми почтенными людьми, которые на родинѣ считаются примѣрными отцами семействъ, а за границею позволяютъ себѣ всякія излишества. Такая симпатія къ новымъ книгамъ и вольные взгляды на семью и любовь крайне возмущаютъ пастора Мандерса, стариннаго друга семьи камергера. Это—цѣльный въ своихъ взглядахъ представитель установившагося порядка вещей. Какъ Гельмеръ въ Норѣ, Мандерсъ тоже прекрасный человѣкъ: безукоризненной честности и чистосердечности, онъ подкупаетъ своею добротою и довѣрчивостью; но онъ старается не имѣть своего сужденія, довольствуясь традиціонными мнѣніями и взглядами большинства. Своею косностью, недальновидностью, трусливымъ малодушіемъ и покорностью общепринятому онъ представляетъ собою прямую противоположность г-жѣ Альвингъ. Та не боится общественнаго мнѣнія: смѣлая, рѣшительная, она прямо своими глазами смотритъ на все и не остановится ни передъ чѣмъ, чтобы провести въ жизнь то, что она считаетъ правдою, въ чемъ видитъ свой долгъ. Только въ чемъ именно состоитъ этотъ долгъ? — она не всегда одинаково понимала. Къ пастору Мандерсу, несмотря на разницу, установившуюся въ ихъ взглядахъ, она питаетъ сильную симпатію и ему она открываетъ какъ тайну всей своей жизни, такъ и теперешнія сомнѣнія и колебанія совѣсти. Эти колебанія, вмѣстѣ съ измѣненіями ея взглядовъ на семейныя обязанности, и составляютъ главный интересъ драмы. Вотъ какъ сложилась ея жизнь.

Молодою дѣвушкою, съ небольшими средствами, она вышла замужъ за богатаго, легкомысленнаго молодого Альвинга, жизнь котораго была хуже его репутаціи; онъ пилъ, кутилъ такъ, что она этой жизни не выдержала и убѣжала къ Мандерсу. Тотъ, какъ другъ семьи и духовное лицо, указалъ ей на обязанность ея вернуться къ мужу и несмотря ни на что хранить ему вѣрность. Она послушалась. Рожденье сына нѣсколько остепенило веселаго офицера, но ненадолго; а жена

все терпѣла изъ-за ребенка. Только когда она увидала, что онъ ей измѣняетъ въ ихъ же собственномъ домѣ, съ ея же горничной, она воспользовалась своимъ положеніемъ оскорбленной жены, чтобы все взять въ свои руки—и домъ и его самого. Ребенка она удалила изъ дому: ей казалось, что онъ развратится уже отъ того, что будетъ дышать атмосферою, зараженною порокомъ. Она бы не перенесла тяжелой жизни, если бы у нея не было цѣли, къ которой она стремилась постоянною, напряженною работою. Увеличеніе имѣній, улучшенные способы обработки земли, всѣ нововведенія, которыя доставили Альвингу репутацію образцоваго хозяина—все дѣлалось его женою. Онъ только лежалъ на диванѣ и читалъ старый календарь. А у ней всѣ силы ушли на созданіе его хорошей репутаціи и, главное, на поддержаніе его авторитета въ глазахъ сына, который зналъ отца только по ея письмамъ и долженъ былъ уважать его какъ прекраснаго человѣка. Объ истинномъ его образѣ жизни, обо всѣхъ безчинствахъ его никто не подозрѣвалъ: она тщательно хранила эту тайну; но ее мучила совѣсть. Прямая, правдивая, она лгала изъ уваженія къ семейному началу, а душѣ ея противна была ложь: въ ней жила увѣренность, что правда необходимо должна открыться. Поэтому она старается уничтожить память о порочности мужа дѣлами благотворительности; этими же дѣлами она заглушаетъ и свою совѣсть. Все то состояніе Альвинга, ради котораго она вышла за него замужъ,—цѣну купли своей, какъ говоритъ она, называя свое замужество продажею,—все богатство его ушло теперь на добрыя дѣла его имени. А то, что она нажила, увеличивъ его состояніе личнымъ своимъ трудомъ, должно служить обезпеченіемъ ея сыну. Она не хочетъ, чтобы онъ наслѣдовалъ что-либо отъ отца: онъ все долженъ получить отъ нея одной. Разсчитавшись съ прошлымъ, она мечтаетъ начать съ нимъ новую жизнь. Тутъ-то въ отвѣтъ на ея признанія, мечты и надежды и являются привидѣнія: несчастная мать въ обращеніи сына съ горничной узнаетъ природу отца! она заблуждалась, думая, что онъ все наслѣдуетъ отъ нея одной: физическая наслѣдственность оказывается сильнѣе ея воли, и сынъ отъ отца получилъ тотъ темпераментъ, которымъ опредѣляется его судьба. А она не знала этого, потому что растила его вдали отъ себя!..

Первое дѣйствіе Привидѣній оканчивается этимъ горестнымъ открытіемъ. Тѣнь отца, воскресшаго въ привычкахъ сына, обманутыя надежды на будущее, возобновленіе пережитыхъ страданій глубоко потрясаютъ г-жу Альвингъ: потому во второмъ дѣйствіи она рѣзче и откровеннѣе высказывается пастору Мандерсу о томъ переворотѣ, который совершается въ ея мысли. Мы узнаемъ теперь, что по прошествіи 30 лѣтъ—послѣ выхода ея замужъ—она оглянулась на свою тяжелую безрадостную жизнь, всю ушедшую на самоотверженное служеніе идеалу семейной добродѣтели, и усомнилась въ истинности этого

идеала. Изъ-за чего насиловала она себя? Изъ-за чего, соблюдая вѣрность нелюбимому мужу, отказалась она отъ любви? Изъ-за чего лишила себя близости единственнаго своего ребенка? Изъ-за чего неустаннымъ трудомъ поддерживала она въ сынѣ уваженіе къ негодному отцу и ото всѣхъ скрывала эту негодность? Изъ-за той морали, по которой брачныя узы считаются нерасторжимыми, а почтеніе къ родителямъ есть главная обязанность человѣка. Этой морали она принесла въ жертву всю свою жизнь и теперь спрашиваетъ себя: хорошо ли она сдѣлала? Не есть ли эта мораль—предразсудокъ, отжившій свое время? Она чувствовала себя несчастною съ мужемъ, но ей было внушено, и она вѣрила, что жизнь дана не для счастья, а для исполненія долга. Сердце ея просило любви, но она всячески заглушала въ себѣ этотъ голосъ. Она было и ушла отъ мужа, но вернулась къ нему; тогда это возвращеніе было ею понято какъ побѣда надъ собою, теперь оно кажется преступленіемъ, не исполненнымъ долгомъ передъ самой собою. Оттого и вся жизнь, ушедшая на исполненіе семейныхъ обязанностей кажется ей теперь загубленною ложнымъ пониманіемъ этихъ обязанностей, и правдивая натура ея возмущается противъ этого ложнаго пониманія, противъ того насилія, которое она такъ долго совершала надъ собою во имя отвлеченнаго идеала—семейныхъ добродѣтелей. Этотъ идеалъ требуетъ, чтобы сынъ уважалъ отца и чтобы мать внушала сыну это уваженіе. Но въ дѣйствительности можетъ ли Освальдъ уважать камергера Альвинга, если будетъ знать всю правду про него? Мать сдѣлала все, чтобы исполнить свой долгъ и внушить сыну уваженіе, котораго отецъ не заслуживалъ: для этого она постоянно лгала ему. И вотъ теперь противорѣчіе между отвлеченнымъ идеаломъ и тою совѣстью, которая требуетъ правды въ жизненныхъ отношеніяхъ,—смущаетъ душу г-жи Альвингъ. Она обращается къ пастору Мандерсу съ своими сомнѣніями, но онъ по своей косности и недальновидности не можетъ ихъ разрѣшить: онъ служитъ только отголоскомъ ходячей морали, а она этою моралью, какъ человѣкъ независимаго ума и правдиваго сердца, и не довольствуется. Ей нужно понять истину *своимъ личнымъ* чувствомъ, она должна имѣть *свои* убѣжденія, выработанныя *собственною* мыслью и опытомъ. А тѣ убѣжденія, которыми она жила раньше, были только извнѣ внушены ей; потому они и не согласовались съ внутренними потребностями ея сердца и пришли въ столкновеніе съ ея порывами къ правдѣ и свободѣ. Она и не нашла оттого примиренія въ себѣ этого душевнаго разлада до тѣхъ поръ, пока не увидала своего прошлаго въ новомъ свѣтѣ; пока не убѣдилась, что загублена ея жизнь не идеалами семейной добродѣтели, не традиціонною моралью, а ея личными свойствами ума и характера. Что же загубило ее? Каковы эти личныя свойства ея?

Г-жа Альвингъ рисуется у Ибсена какъ родная по духу сестра сурового идеалиста, провозвѣстника новыхъ началъ жизни, пастора Бран-

да. Какъ и Брандъ, она—человѣкъ, силою своей воли подчиняющій всю жизнь идеѣ, жертвующій этой идеѣ лучшими привязанностями сердца и одинаково строгій въ своихъ требованіяхъ къ себѣ и къ другимъ. Въ ней та же цѣльность и прямолинейность, что въ Брандѣ, такое же неумѣнье считаться съ слабостями человѣческой природы и такое же отсутствіе того духа кротости и милосердія, который могъ бы смягчать ихъ требовательность, ихъ строгость въ исполненіи взятаго на себя долга. Какъ пасторъ не зналъ снисходительности, такъ и г-жа Альвингъ не внесла въ свою семью того, что примирило бы ее съ жизнью и дало бы сыну уваженіе къ отцу безъ неправды, безъ удаленія его изъ-подъ родительскаго крова. Въ этомъ г-жа Альвингъ сама сознается, но впослѣдствіи; а сначала, въ то время, какъ она подводитъ итоги своему прошлому, она думаетъ только объ отвлеченномъ идеалѣ семейной добродѣтели и не себя винитъ, а этотъ идеалъ за то, что не умѣла примирить его съ правдою, потребность которой такъ сильна въ ея совѣсти. Чувствуя разладъ совѣсти и убѣжденій, она сомнѣвается въ истинности убѣжденій. Ее учили побѣждать свое личное чувство во имя нравственнаго закона. „Даетъ ли,—спрашиваетъ она,—этотъ законъ полное удовлетвореніе человѣку, и не отъ него ли всѣ несчастья?“ Если цѣлью жизни поставить счастье, какъ удовлетвореніе всѣхъ своихъ эгоистическихъ потребностей, то конечно законы нравственности идутъ въ разрѣзъ съ этою цѣлью и счастья не даютъ. Но въ центрѣ нашего существованія можно поставить и не свое личное я, съ его вожделѣніями и аппетитами, а нѣчто болѣе высокое. Г-жа Альвингъ, чувствуя неправду и неправильность прожитой ею жизни, приписываетъ это тому, что она не послѣдовала влеченіямъ своего сердца, а вернулась къ мужу, т.-е. тому, что личное чувство не взяло у ней верха надъ нравственною идеею. Какъ только на мѣсто нравственной идеи она поставила потребность сердца, такъ всѣ основы жизни поколебались: „стоило мнѣ,—говоритъ она,—коснуться одного шва, какъ всѣ остальные распоролись сами собою“. Шовъ этотъ—взглядъ на жизнь какъ на служеніе высшей цѣли, какимъ бы закономъ или вѣрою эта цѣль ни опредѣлялась. Какъ только она подвергла сомнѣнію эту цѣль и на ея мѣсто, на мѣсто высшей идеи, поставила личное счастье, такъ и рушилось зданіе семьи и общества. Трусость, думаетъ она, мѣшаетъ ей рѣшительно отринуть то, во что она привыкла вѣрить. Трусостью называетъ и Юліанъ неумѣнье отдѣлаться отъ власти того Христа, Который препятствовалъ всѣмъ проявленіямъ его языческаго эгоизма: онъ боялся этого страшнаго Богочеловѣка, который чарами опуталъ всю внутреннюю жизнь человѣка. Боится его и г-жа Альвингъ, но у ней это не трусость и не малодушіе, а уваженіе къ тому закону, которому была подчинена вся ея жизнь и въ которомъ такъ давно человѣчество ищетъ огражденія животнымъ и злымъ порывамъ своей природы.

Всѣ симпатіи Ибсена несомнѣнно на сторонѣ его героини, а не того пастора, который защищаетъ противъ ея сомнѣній права традиціонной морали. Отсюда заключаютъ обыкновенно, что имъ вложены въ уста г-жи Альвингъ собственные отрицательные взгляды. Но это невѣрно; и репутація „дерзновеннаго отрицателя всѣхъ основъ нравственной жизни", которая часто признается за Ибсеномъ, наврядъ ли утвердится за нимъ окончательно. Героиня его заходитъ очень далеко въ своихъ сомнѣніяхъ, договаривается даже до полнаго отрицанія семьи и нравственности; но на отрицаніи она не останавливается: она приходитъ къ сознанію своихъ заблужденій и тѣмъ самымъ оправдываетъ существующій идеалъ, а слѣдовательно, до нѣкоторой степени миритъ правду и законъ. Впрочемъ, надо добавить, что сомнѣнія и отрицанія ея выражены гораздо сильнѣе и яснѣе, чѣмъ положительные результаты мысли. Оттого-то читатели и склонны въ большинствѣ случаевъ смотрѣть на ея прошлое такъ же, какъ она сама на него смотритъ, когда разсказываетъ его пастору, предмету своего молодого увлеченія, и когда видитъ въ бракѣ съ Альвингомъ причину своей неудачной жизни. Оттого и критики утверждаютъ очень часто, что Привидѣнія написаны Ибсеномъ въ защиту свободы любви противъ тѣхъ, кто требуетъ ненарушимости брачнаго союза. Привидѣнія, говорится обыкновенно, написаны вслѣдъ за Норою и какъ бы продолженіемъ того же сюжета. Ибсенъ хотѣлъ тутъ будто бы показать: вотъ что выходитъ изъ крѣпости тѣхъ семейныхъ узъ, отъ которыхъ убѣгаетъ Нора къ негодованію добродѣтельныхъ отцовъ и матерей; бѣдную дѣвушку выдаютъ замужъ за богатаго развратника; она отъ него убѣгаетъ; но мораль учитъ, что семейныя узы — священны; она возвращается, и на свѣтъ является больное жалкое поколѣніе, а женская жизнь загублена навсегда. Правильно ли объясняется такимъ образомъ смыслъ этой драмы? Такъ ли драма задумана? Да и можно ли смотрѣть на художественное произведеніе какъ на трактатъ, имѣющій цѣлью доказать ту или иную истину? Руководимый своимъ субъективнымъ чувствомъ и своимъ интересомъ къ сложнымъ вопросамъ нравственности, поэтъ развертываетъ передъ нами картину жизни и ставитъ въ центрѣ ея навѣянные жизнью, возсозданные его фантазіею образы, лица, типы; онъ воплощаетъ въ нихъ тѣ мысли, которыя родятся въ его мозгу, тѣ чувства, которыя волнуютъ его сердце. Наше дѣло разобраться въ этой картинѣ: указать въ образахъ поэта тѣ чувства и мысли, которыми они были вызваны, и выяснить тѣ вопросы, которые изъ нихъ вытекаютъ. Самое рѣшеніе вопроса для поэта не представляетъ существенной важности. Онъ художникъ, а не мыслитель-теоретикъ. И какъ художникъ, онъ предоставляетъ самой публикѣ вывести то заключеніе, какое вытекаетъ изъ логики изображенныхъ событій. Вдумаемся въ ту картину семейной жизни г-жи Альвингъ, которая возникаетъ у читателя изъ разговора ея съ пасторомъ Мандерсомъ и съ сыномъ.

Г-жа Альвингъ дѣйствительно похожа на Нору. Это натуры несомнѣнно родственныя, и, если бы она вышла не за Альвинга, а за Мандерса, котораго любила, то навѣрно тутъ повторился бы неудачный союзъ сильной, великодушной идеалистки съ хорошимъ, мелкимъ, заурядным буржуа. Но она вышла за Альвиига. Она сама вышла—такъ складываются событія, изображенныя поэтомъ;—ее не отдали насильно. Совѣты родныхъ оказали, правда, нѣкоторое давленіе; но вѣдь капитанъ Альвингъ былъ не только богатъ, онъ былъ, по словамъ все той же пострадавшей отъ него жены, молодъ, веселъ, привлекателенъ; могъ, слѣд., нравиться, могъ притомъ же и жениться на ней по любви, такъ какъ выгоды ему отъ этой женитьбы не было. А она вышла не по любви, да и послѣ брака не полюбила его. Правда, онъ оказался хуже, чѣмъ всѣ его считали; оказался не только легкомысленнымъ, но и порочнымъ; а любятъ развѣ только добродѣтельныхъ? Но она ушла отъ его порочности, потому что не любила его. Въ этомъ-то и лежитъ причина ея несчастной жизни; въ этомъ крупная вина ея, а не мужа и не общества и не родныхъ, желавшихъ для нея блестящей партіи. Причина несчастья не крѣпость семейныхъ узъ, не мораль, требующая отъ жены вѣрности, а замужество по расчету. Притомъ же, если она была несчастна, то по своей винѣ, а онъ не по своей винѣ, былъ несчастенъ съ нею. Къ этому сознанію приходитъ сама г-жа Альвингъ, и это-то сознаніе—вины своей предъ мужемъ и сыномъ—разрѣшаетъ ея сомнѣнія и даетъ ей новый взглядъ на прошлое. Вотъ какъ возникаетъ въ ней это сознаніе.

Сынъ ея, Освальдъ, открываетъ ей всю душу. Онъ художникъ; онъ любитъ красоту; любитъ широкую свободную дѣятельность; жаждетъ жизнерадостности; у матери онъ чувствуетъ себя привольно: онъ охотникъ хорошо поѣсть и много выпить, а она исполняетъ всѣ его капризы. Къ вину онъ прибѣгаетъ и для того также, чтобы заглушить въ себѣ тяжелую мысль, которая постоянно гложетъ и удручаетъ его: это—приговоръ врачей; о немъ-то онъ и разсказываетъ матери. Слѣды безпутной жизни отца отразились на его здоровьѣ: онъ страдаетъ болѣзнью мозга и, почитая своего отца образцомъ добродѣтели, происхожденіе болѣзни приписываетъ увлеченіямъ собственной молодости. Стыдъ, раскаяніе и гнетущій страхъ потери разсудка,—ему предсказано врачемъ, что послѣ одного изъ припадковъ онъ впадетъ въ слабоуміе,—неспособность работать, все это вмѣстѣ съ унылымъ климатомъ родины, производитъ въ немъ сильную тоску. Онъ заливаетъ тоску виномъ, а склонность къ вину оправдываетъ передъ матерью всѣмъ бытомъ ихъ родины. Мать въ этомъ признаніи сына видитъ оправданіе отца. Она теперь въ первый разъ въ жизни отрѣшилась отъ прежнихъ своихъ взглядовъ на покойнаго мужа: сострадая мучительнымъ настроеніямъ сына, она материнскимъ сердцемъ поняла то, что не объяснялось ей раньше традиціонною моралью. Въ признаніяхъ

сына она узнала натуру его отца и теперь, любя и понимая сына, она правильнѣе поняла и мужа; поняла всю свою несправедливость къ нему. Теперь ей стало ясно, что для жизни, для работы нужна радость, а радости на родинѣ не знаютъ: здѣсь учатъ, что жизнь есть юдоль плача и горести, а трудъ—наказаніе за грѣхи. Но вѣдь жизнь есть уже счастье само по себѣ, а трудъ, какъ естественное примѣненіе силъ и способностей, можетъ и не быть проклятіемъ. Если здѣсь этого не признаютъ, то потребность въ счастьѣ, въ радости все-таки живетъ въ людяхъ какъ тяготѣніе къ свѣту, къ солнцу. И вотъ: не грѣетъ солнце, люди согрѣваются виномъ, нѣтъ радостей—они создаютъ ихъ себѣ запрещенными путями. „Я боюсь, что все, что кипитъ во мнѣ выродится въ безнравственность", говоритъ Освальдъ. „Теперь я понимаю все въ первый разъ,—говоритъ г-жа Альвингъ,—и теперь я могу говорить". „А идеалы все-таки не погибнутъ!" Она хочетъ сказать Освальду всю правду про его отца, хочетъ сдѣлать его судьею всего прошлаго теперь, когда его откровенность показала ей это прошлое въ новомъ освѣщеніи и она увидала какъ можно примирить правду и идеалы. Но тутъ дѣйствіе прерывается: раздаются крики, вспыхиваетъ пламя пожара—загорѣлся пріютъ имени камергера!

Освальдъ возвращается съ пожара усталымъ, разбитымъ. Мать хочетъ снять съ его души тяжесть стыда и раскаянія; когда онъ заговорилъ о жизни, о радости, она вспомнила его отца. Молодымъ человѣкомъ, говоритъ она, онъ обладалъ тѣмъ избыткомъ силы, тою жизнерадостностью, которая и выродилась въ безнравственность, въ порокъ, точно такъ же какъ по признанію Освальда, эта сила готова выродиться и у него за болѣзненною неспособностью къ работѣ. Необузданная сила, веселье и здоровье молодого офицера не нашли себѣ настоящаго примѣненія къ жизни. Жизнерадостное дитя,—потому что онъ тогда былъ совсѣмъ ребенкомъ,—онъ долженъ былъ жить въ маленькомъ городѣ, гдѣ нѣтъ возвышающихъ душу радостей, а одни только удовольствія. У него не было работы, которой онъ могъ бы посвящать всѣ силы, были только занятія. Не было товарищей, которые заодно съ нимъ могли бы ощущать радость жизни, а были собутыльники, праздношатающіеся. Радости не внесла и жена въ его жизнь; ее учили только тому, въ чемъ ея обязанности, его обязанности... а теперь ей кажется, что домъ ихъ былъ невыносимъ для мужа.— Да и по отношенію къ сыну, чего она достигла тѣмъ, что скрывала отъ него правду цро отца? — Открытіе тайны оставило его теперь совершенно равнодушнымъ. Отца онъ не зналъ и не любилъ. Любовь дѣтей къ отцу, съ которымъ они не имѣютъ никакихъ отношеній,—одно суевѣріе. Мать онъ любитъ за то, что чувствуетъ ея къ себѣ привязанность, любитъ и за ту услугу, которую она можетъ оказать ему во время болѣзни. Опираясь на эту любовь ея и на ея просвѣщенные и свободные взгляды на жизнь, онъ проситъ ее исполнить то, что онъ

думалъ поручить легкомысленной, жизнерадостной и безсердечной Регинѣ;—дать ему яду, когда онъ впадетъ въ дѣтство. „Дѣтство!—У ребенка есть мать, которая ходитъ за нимъ", возражаетъ г-жа Альвингъ; но мысль о безсознательномъ прозябаніи приводитъ Освальда въ ужасъ, и она обѣщаетъ отравить его, она, которая дала ему жизнь! „Я вѣдь не просилъ ея у тебя. И какая это жизнь!—Возьми ее назадъ, говоритъ сынъ. Пока она старается его успокоить, указывая на восходящее яркое солнце, въ немъ происходитъ поразительная перемѣна: онъ весь опускается; мускулы ослабѣваютъ; лицо теряетъ выразительность; глаза безсмысленно смотрятъ впередъ; онъ глухо и беззвучно повторяетъ: „Солнце, солнце! „Мать колеблется, что ей дѣлать. Достаетъ у него ядъ, но не рѣшается дать его. „Нѣтъ, нѣтъ!" ея послѣднее слово. „Она стоитъ, говоритъ авторъ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него, схватившись обѣими руками за голову и неподвижно, въ нѣмомъ ужасѣ, смотритъ на него". На этомъ колебаніи, какъ знакѣ вопроса, поставленномъ на заключительной катастрофѣ, оканчивается пьеса. Какое чувство возьметъ въ ней верхъ: тотъ ли непосредственный инстинктъ матери, поддерживаемый традиціонною вѣрою, который побуждаетъ во что бы то ни стало продлить жизнь сына въ какое бы жалкое прозябаніе эта жизнь не обратилась, или чувство свободно-мыслящей, сильной духомъ женщины, считающей, что человѣкъ имѣетъ право по произволу лишать себя жизни? Первое ея движеніе было исполнить только что слышанное страстное желаніе сына. Передъ вторымъ, болѣе рѣшительнымъ шагомъ, передъ приведеніемъ его воли въ дѣйствіе, она въ ужасѣ останавливается—и... „нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!"

Освальдъ, какъ чуткій художникъ, это отчасти и предвидѣлъ, думая поручить свою послѣднюю волю Регинѣ. Красивая, бойкая, здоровая дѣвушка, Регина составляетъ очень характерное дополненіе къ фигурѣ г-жи Альвингъ. Въ ней то же отрицаніе морали, но только не теоретическое, какъ у мыслящей развитой женщины, а инстинктивное въ силу грубо-эгоистической природы. Она дочь горничной камергера, вышедшей замужъ за столяра Энгстранда; воспитывалась она у матери и тѣмъ возбуждала въ г-жѣ Альвингъ сомнѣнія: не должна ли она получать то же воспитаніе, что и Освальдъ, такъ какъ они дѣти одного отца? Она и взяла ее въ домъ къ себѣ, но въ качествѣ прислуги. Здѣсь встрѣтилъ ее Освальдъ подросткомъ, обѣщалъ ей шутя взять ее съ собой въ Парижъ; а она стала учиться по-французски и теперь, когда онъ пріѣхалъ, напомнила ему объ этомъ обѣщаніи. Она развилась, похорошѣла и плѣнила его своимъ здоровьемъ, жизнерадостностью и готовностью полюбить его. Въ своей тоскѣ онъ видитъ въ ней единственное свое спасеніе—и говоритъ объ этомъ матери. Она открываетъ ему, что Регина—сестра ему; но заранѣе соглашается на всѣ его желанія. Мучась совѣстью за ложь всей своей жизни и видя отчаянное положеніе сына, она не прочь, чтобъ онъ

даже женился на Регинѣ, лишь бы только была правда въ ихъ отношеніяхъ. Но тутъ не Освальдъ рѣшаетъ, а Регина: силы, молодость, красота даны для того, чтобы ими пользоваться въ свое удовольствіе! Узнавъ, что Освальдъ безнадежно боленъ, она предпочитаетъ уйти въ городъ съ пьяницею-лицемѣромъ Энгстрандомъ и быть хозяйкою въ томъ притонѣ для моряковъ, который онъ открываетъ. Никакого сердечнаго порыва не проявляетъ жизнерадостная дочь Альвинга и не задумываясь уходитъ отъ того, кто любитъ ее, кто всегда оказывалъ ей ласку и участіе. Для такихъ натуръ не существуетъ ни колебаній ни сомнѣній: собственная выгода или удовольствіе—главный двигатель всѣхъ ихъ поступковъ; и только такія натуры и могутъ рѣшительно откинуть всѣ узы, налагаемыя на человѣка нравственнымъ сознаніемъ: онѣ-то и есть истые отрицатели морали, доводящіе свое отрицаніе до практическихъ результатовъ. Люди высокаго развитія, такіе теоретики какъ г-жа Альвингъ, на подобное отрицаніе не способны. Въ нихъ нравственное сознаніе воспитано всею культурною жизнью человѣчества. Это нравственное сознаніе, выросши изъ религіознаго міровоззрѣнія и подчиняя индивидуальную личность высшимъ началамъ жизни, лежитъ въ основѣ всей общественности и не можетъ быть устранено изъ мозга развитого человѣка. Могутъ мѣняться понятія о высшихъ началахъ жизни, можетъ перемѣщаться точка зрѣнія на нравственный законъ, но кто разъ стоялъ подъ властью этого закона, какъ Юліанъ подъ властью Богочеловѣка, тотъ уже не можетъ отказаться отъ него. Такъ и г-жа Альвингъ. Хотя она и силится въ основѣ новаго своего міровоззрѣнія поставить удовлетвореніе личныхъ стремленій сердца и замѣнить понятіе о долгѣ понятіемъ о счастьѣ, но въ жизнь провести этого взгляда она не можетъ. Измѣнилась теперь благодаря признаніямъ ея сына, точка зрѣнія ея на семейныя обязанности: теперь для нея не крѣпость семейныхъ узъ, не требованія морали оказываются виноваты въ несчастной ея судьбѣ, а нѣчто иное и главнымъ образомъ ея собственное непониманіе общественнаго быта родины. Но и теперь она не можетъ не чувствовать надъ жизнью отдѣльнаго человѣка власти высшей силы; только теперь это—власть роковой силы среды. Очень возможно, что г-жа Альвингъ заблуждается въ объясненіи тѣхъ причинъ, которыя привели веселаго офицера къ распутству и пороку; возможно, что эти причины сложнѣе и разнообразнѣе, чѣмъ оно представляется ей или, быть-можетъ, самому Ибсену, какъ поэту-моралисту. Но это объясненіе очень характерно для героини, для новыхъ взглядовъ, смѣняющихъ старыя вѣрованія, и слѣдов. для самого поэта. Г-жа Альвингъ винитъ общество,—и тутъ мы узнаемъ автора-обличителя буржуазной своей родины, за то, что на родинѣ силамъ выдающейся личности не находится примѣненія. Несчастная семья Альвингъ несчастна потому, что въ Норвегіи для жизнерадостнаго молодого человѣка не имѣется возвышающихъ душу радостей,

а одни только принижающія его удовольствія. Скучная, унылая дѣйствительность забывается за виномъ, вино губитъ Альвинга, губитъ и все его потомство. Это-то давленіе всѣхъ жизненныхъ условій, начиная съ климатическихъ, и является въ Привѣдѣніяхъ какъ fatum, какъ могучая, безжалостная сила рока, которая трагически тяготѣетъ надъ жизнью невинныхъ людей. Объ этой власти не думала раньше г-жа Альвингъ, вращаясь въ узкомъ кругѣ традиціонныхъ воззрѣній, то принимая ихъ на вѣру, то протестуя противъ нихъ во имя правды и свободы. Но и отказавшись отъ этихъ традицій, порвавъ съ тѣми вѣрованіями, которыя ей кажутся теперь Правидѣніями, т.-е. отжившими свой вѣкъ, мертвыми, ненужными для жизни, она должна на мѣсто ихъ власти поставить власть иную: должна признать высшую силу физіологической наслѣдственности и вліянія жизненной среды...

Если рядомъ съ г-жею Альвингъ въ отрицательномъ направленіи ея мысли можно поставить эгоистическую дочь ея мужа, Регину, то дополненіе положительныхъ стремленій ея души находимъ въ сынѣ ея Освальдѣ. Онъ художникъ; и для удовлетворенія присущей ему потребности красоты ему необходима свобода и жизнерадостность. Эта радость жизни есть первое условіе плодотворной работы. Для него „радость жизни и радость труда“ есть въ сущности одно и то же. Жалуясь на угрюмую жизнь родины, Освальдъ находитъ, что за границею есть свѣтлая, прекрасная жизнь. Но гдѣ, спрашивается, видѣлъ онъ ее? Гдѣ та обѣтованная страна, гдѣ художники не знаютъ ни нужды ни заботы, и гдѣ ихъ жизнерадостные инстинкты безпрепятственно удовлетворяются? Въ средѣ ли парижскихъ художниковъ? Какъ будто тамъ жизнь не создаетъ помѣхъ свободному проявленію силъ и талантовъ? Надо думать, что „прекрасная земная жизнь“ существуетъ тамъ же, гдѣ и тотъ античный міръ, о которомъ мечтаетъ Юліанъ, т.-е. только въ фантазіи, неудовлетворенной дѣйствительностью и плѣненной свѣтлыми изящными образами. „Солнце, солнце!“, повторяетъ Освальдъ, всѣ картины котораго имѣли предметомъ жизнерадостность; къ солнцу обращается въ предсмертную минуту и Юліанъ съ упрекомъ: „Прекрасная земля—прекрасная земная жизнь—о солнце, солнце, зачѣмъ ты обмануло меня?“ У Ибсена *солнце*—это-то стремленіе къ свободѣ и красотѣ, во имя котораго дѣйствуютъ его герои: для Бранда Царство Божіе—свободно-прекрасное, и изъ-за него онъ борется со зломъ жизни. А Юліанъ, хотя и одушевленъ тѣмъ же стремленіемъ къ свободѣ и красотѣ, но не понимаетъ, въ чемъ зло той дѣйствительности, противъ которой онъ возстаетъ: онъ не отличаетъ образованныхъ и сильныхъ духомъ христіанъ отъ раболѣпствующихъ царедворцевъ. Во враждѣ съ дѣйствительностью былъ и жизнерадостный капитанъ Альвингъ (самъ, впрочемъ, не сознавая того); протестуютъ противъ нея и художникъ во имя красоты и мать его во имя правды. Но всѣ они—и ученый императоръ, и веселый офицеръ, и свободо-

любивый художникъ, и суровая идеалистка мать его—сломлены жизнью, побѣждены Галилеяниномъ.

Героиню Привидѣній мы покидаемъ на разсвѣтѣ солнечнаго дня передъ живымъ трупомъ ея сына. Отравитъ она его, или нѣтъ? Въ ней борятся въ продолженіе пьесы два противоположныхъ начала; которое изъ нихъ возьметъ верхъ? Тѣ ли старыя вѣрованія, на которыхъ воспитано наше нравственное сознаніе и которыя учатъ, что жизнь есть долгъ, свыше данный намъ для жизни, долгъ, налагающій на насъ отвѣтственность, но и сохраняющій намъ свободу воли? Или тѣ новые взгляды, къ которымъ она стала склоняться, находя въ нихъ разрѣшеніе своихъ сомнѣній? По этимъ взглядамъ, человѣкъ является продуктомъ своей среды и ея роковыхъ условій существованія; онъ не несетъ отвѣтственности за свои поступки и можетъ безпрепятственно преступать законы той жизни, которой онъ не желалъ и которая дана ему какъ „даръ случайный, даръ напрасный!"... Такой взглядъ на человѣка, какъ на продуктъ извѣстной среды, какъ на пассивное орудіе чуждой ему силы, можетъ ли окончательно удовлетворить г-жу Альвингъ? Не противорѣчитъ ли онъ дѣятельной натурѣ женщины, вся жизнь которой ушла на борьбу? Человѣкъ, сумѣвшій всю жизнь подчинить себя идеѣ и принести лучшія чувства свои въ жертву этой идеѣ, можетъ ли отказаться отъ своей воли, отъ роли активнаго дѣятеля своей судьбы и признать себя невольнымъ только орудіемъ слѣпого рока, стихійныхъ силъ природы? Наконецъ, если г-жа Альвингъ и признаетъ надъ своею жизнью одну только власть рока, дастъ ли ей это признаніе ту силу, которая почерпалась изъ прежнихъ вѣрованій, изъ идеи нравственной свободы и отвѣтственности? „Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!" говоритъ г-жа Альвингъ, не рѣшаясь лишить сына непонятныхъ ни ей ни ему страданій; и мы можемъ думать, что она такъ же будетъ страдать, глядя на него, какъ она страдала раньше, лишая себя его общества; но наврядъ ли покончитъ она самовольно существованіе человѣка, обязаннаго ей рожденіемъ. Раньше она страдала, вѣруя въ идеалъ семейнаго долга, завѣщанный ей всею культурною жизнью человѣка; теперь этотъ идеалъ замѣняется новымъ пониманіемъ человѣка, подчиненнаго всецѣло законамъ стихійной жизни. Это пониманіе выяснилось ей благодаря страданіямъ ея материнскаго чувства: сострадая любящимъ сердцемъ своему сыну, она нашла оправданіе безпутному мужу; она, по ея словамъ, поняла тогда все въ первый разъ, и идеалы не погибли! Точно также и теперь передъ окончательной катастрофою материнское сердце опять подскажетъ ей выходъ изъ той дилеммы, въ которую ее ставитъ авторъ, и разрѣшитъ тѣ противорѣчія ума и сердца, которыя въ ней вызваны смѣною міровоззрѣній. Отдавши какъ Брандъ всю жизнь на служеніе суровому идеалу, она такъ же какъ и Брандъ слишкомъ поздно поняла, чего не доставало въ ея жизни. Какъ Брандъ забывалъ въ своемъ стремленіи къ

Божеству про евангельскую добродѣтель милосердія, такъ и г-жа Альвингъ не внесла въ свою семью доброты и снисходительности. Оттого и сама она была несчастна и другихъ около себя не сдѣлала ни лучше ни счастливѣе; оттого и сыну она не умѣла внушить такихъ чувствъ къ отцу, которыя не погрѣшали бы ни противъ традиціоннаго почтенія къ родителямъ, ни противъ истины. Подавивъ свое увлеченіе пасторомъ Мандерсомъ, она всѣ силы души сосредоточила на борьбѣ съ жизнью во имя узко понятаго и потому ложнаго идеала: силы воли въ этой борьбѣ она проявила больше, чѣмъ милосердія и любви. Хотя Ибсенъ не напоминаетъ въ Привидѣніяхъ про Deus Caritatis, какъ въ Брандѣ, но несомнѣнно, что отсутствіе этого Бога Милосердія и было главною причиною неудачной жизни семьи Альвингъ. Какими бы идеалами ни задавалась героиня, какую бы власть надъ жизнью человѣка она ни признавала,—всякія вѣрованія и убѣжденія безъ любви и жалости къ людямъ могутъ быть еще болѣе суровы и жестоки, чѣмъ ея узкій и холодный идеалъ семейной добродѣтели.

Восходящее солнце—начало новой жизни, озаренной новымъ міропониманіемъ съ его новыми идеалами—застаетъ несчастную мать въ колебаніяхъ, въ полномъ разладѣ чувства и мысли. Въ этой нерѣшительности ея порвать съ нравственнымъ закономъ мы узнаемъ того Отступника, который не могъ никакъ уйти изъ-подъ власти Христа, но не умѣлъ и отдаться Его власти, признать въ Его послѣдователяхъ то Вѣчное, Истинное, что призвано было обновить міръ. Такъ и г-жа Альвингъ. Сперва она не внесла въ замужество того чувства, которымъ создается и держится семья, и готова была обвинить въ своемъ несчастьѣ вѣрованія, освящающія семейный союзъ. Въ самыхъ вѣрованіяхъ она не видитъ свободнаго, яснаго, широкаго начала, которое дано евангельскимъ ученіемъ, не видитъ, потому что это ученіе вылилось на родинѣ ея въ форму лютеранскаго сектанства, а оно вмѣняетъ въ грѣхъ все красящее жизнь и смотритъ на жизнь, какъ на приготовленіе къ смерти; оно обратило и христіанство въ нѣчто узконетерпимое, холодное и лицемѣрное. Потомъ г-жа Альвингъ остановилась въ своемъ отрицаніи морали; она поняла, какъ много въ ней самой и во всемъ бытѣ ея родины этой нетерпимости и какъ она способствуетъ развитію не нравственности, а лицемѣрія и ханжества. Она прочувствовала это, сострадая своему сыну, потому и остановилась въ своемъ отрицаніи: она поняла, что нельзя жить внѣ закона нравственнаго, но что и одними только законами жить нельзя; нельзя мыслью, въ отвлеченіи, рѣшать то, что рѣшается только силою чувства, силою добра и жалости къ людямъ. Дѣятельнымъ альтруистическимъ началомъ въ душѣ человѣка создается положительный идеалъ жизни—семейной и общественной,—а не отвлеченными теоретическими построеніями, не мечтательными порывами къ правдѣ и свободѣ. Оттого у Ибсена всѣ идеалисты-мечтатели и погибаютъ въ разладѣ и съ собою

и съ жизнью. Оттого и у г-жи Альвингъ неумолимая логика жизни—въ формѣ и наслѣдственности физической въ Освальдѣ и традиціонныхъ взглядовъ прошлаго—логика жизни приводитъ заключительную катастрофу раньше, чѣмъ героиня установила свое новое міропониманіе. Жертвой этой логики, этихъ Привидѣній, падаютъ всѣ три члена семьи Альвингъ. Всѣхъ загубила жизнь: и слабаго капитана, не умѣвшаго бороться съ порочными воздѣйствіями среды, и сильную духомъ жену его, боровшуюся изъ-за ложно понятаго идеала, и ихъ ничѣмъ не повиннаго сына-художника. Эта сила жизни—сила и всего прошлаго и всего существующаго общественнаго строя—тяготѣетъ надъ судьбою отдѣльнаго человѣка и губитъ его лучшія стремленія. Г-жа Альвингъ, женщина независимой мысли, и Освальдъ художникъ, влюбленный въ радость жизни, стремятся, какъ всѣ герои Ибсена, къ царству свободы, правды и красоты; но надъ этими стремленіями торжествуетъ таинственная и губительная сила жизни. Она торжествуетъ и надъ тѣми смѣняющимися міровоззрѣніями, конфликтъ которыхъ переживаетъ г-жа Альвингъ, т.-е. надъ лютеранствомъ съ его нетерпимостью и лицемѣріемъ и надъ новыми взглядами вызванными научною мыслью и эстетическою потребностью человѣка. Какъ бы мы эту роковую силу ни называли,—несомнѣнно, она сильнѣе нашей воли: она подчиняетъ себѣ личность человѣка и направляетъ его судьбу. „Ничтожество мыслящаго тростника!“ — сознаніе тщеты нашихъ стремленій и безвыходности нашей борьбы съ таинственными силами жизни — вотъ къ какому выводу приходитъ мысль читателя, если онъ вдумается въ драму душевной жизни г-жи Альвингъ и ея сына. А можетъ ли мысль читателя успокоиться на этомъ пессимистическомъ выводѣ? Когда художникъ, одушевленный своимъ порывомъ къ свободѣ, правдѣ и красотѣ даетъ намъ картину дѣйствительности, не соотвѣтствующей его порыву, мы невольно ищемъ въ этой картинѣ отвѣта на вопросъ: если въ жизни столько зла, то гдѣ же спасеніе отъ зла? Вѣдь самый порывъ, проникающій художественное созданіе, сила идеальныхъ стремленій у писателя говорятъ намъ, что жизнь *не можетъ* быть безсмыслицею, человѣкъ не долженъ быть игрушкой слѣпого рока. Но гдѣ же смыслъ? Гдѣ оправданіе высшихъ стремленій души человѣка? Въ чемъ удовлетвореніе того порыва, который владѣетъ самимъ художникомъ?

Ибсенъ не даетъ намъ отвѣта. А это производитъ ту неясность, которая такъ часто ставится ему въ упрекъ. Мало того, отъ драмы получается впечатлѣніе двойственное, потому что заключеніе ея—пессимистическое признаніе тщеты нашихъ идеальныхъ стремленій; а это заключеніе также противорѣчитъ всему настроенію поэта, какъ характеръ героини—замыслу драмы. Вяжется ли дѣйствительно представленіе о личности г-жи Альвингъ съ пессимистическою идеею о подчиненіи человѣка стихійно-неосмысленной силѣ? Мы не можемъ вѣрить,

что эта женщина покорится чему-то неразумному, слѣпому... мы не можемъ вѣрить въ безсиліе и безпомощность ея воли, зная, какъ упорно и напряженно боролась она всю жизнь! Если и сломитъ ее роковая сила, то намъ хочется вѣрить, что она сама создала свою судьбу, а не стала ея жертвой, что загубила она свою жизнь заблужденіями личной воли, личнаго ума. Хочется думать, что если она слишкомъ поздно узнала изъ книгъ и личныхъ наблюденій роковую силу среды и наслѣдственности, то это еще не значитъ, что никто съ этою силою не можетъ бороться, или что борьба съ нею всегда кончается пораженіемъ высшихъ нашихъ стремленій. Если данныя науки и точнаго знанія подорвали у г-жи Альвингъ вѣру въ традиціонную мораль и открыли ей глаза на вліяніе жизненныхъ условій, то тѣ же научныя данныя укажутъ намъ, и какъ надо бороться съ этимъ вліяніемъ, и чѣмъ противодѣйствовать его пагубной силѣ. Заблужденіе г-жи Альвингъ состояло въ томъ, что она приняла на вѣру готовыя понятія, созданныя традиціями общественнаго быта; что, выходя замужъ, она слушалась не сердца, а только разсудка; что она подавила въ себѣ силу материнскаго инстинкта и, удаливши отъ себя сына, не знала его наслѣдованныхъ отъ отца наклонностей и ничѣмъ потому не противодѣйствовала ихъ развитію. Жизнь наказала эту женщину не за то, что она осталась вѣрна безпутному мужу, а за то, что сила ея воли заглушила въ ней чувствительность, т.-е. силу непосредственнаго чувства добра и любви; за то, что она, какъ и Брандъ, этотъ прототипъ ибсеновскихъ героевъ, видѣла спасеніе только въ крѣпкой волѣ, въ подчиненіи своей и чужой жизни отвлеченному идеалу, божеству безжизненному, безжалостному. Ей и мститъ за себя непосредственное живое чувство; мститъ попранный ею законъ любви и милосердія: отъ этого закона традиціонная мораль дала г-жѣ Альвингъ однѣ только формы, которыя не были ею прочувствованы и не могли потому быть плодотворными въ ея жизни. Оттого-то несчастная судьба ея учитъ насъ только тому, что съ силою *прошлаго*, съ силою привидѣній, слѣдуетъ бороться силою *настоящаго*, т.-е. силою научнаго знанія и того живого чувства, которое одно способно одушевить всякую мораль и всякіе идеалы. Въ этомъ живомъ чувствѣ правды и добра— источникъ настоящей жизнедѣятельности: безъ него всѣ идеалы вырождаются въ сухія формулы, въ безплодныя слова...

Таково заключеніе, которое, вдумавшись въ драму, мы въ правѣ вывести изъ картины жизни, нарисованной намъ поэтомъ. А между тѣмъ самъ поэтъ этого заключенія не выводитъ. Какъ будто мысль его находится въ такомъ же разладѣ съ чувствомъ, какой онъ изображаетъ въ лицѣ своей героини, стоящей между двухъ смѣняющихся міровоззрѣній. Картина, имъ нарисованная проникнута положительнымъ чувствомъ, а мысль его приходитъ къ отрицательному, безотрадному выводу о безсиліи личности подъ давящей ее властью среды и на-

слѣдственности. Та вѣра въ человѣка и въ его высокое назначеніе, которая проникаетъ собою философскія драмы Ибсена, здѣсь въ Привидѣніяхъ какъ будто замѣняется горестнымъ недоумѣніемъ передъ тою жизнью, которая всею силою прошлаго и настоящаго вооружается противъ отдѣльной личности и разрушаетъ ея смѣлые порывы. Въ нерѣшительности и колебаніи смотритъ героиня на восходящее солнце, и авторъ какъ будто недоумѣваетъ: наступитъ ли тотъ день, когда свѣтъ правды и красоты озаритъ намъ жизнь, когда стремленія человѣка къ этому свѣту не будутъ подавляться всѣмъ зломъ его жизни? Осуществится ли когда-нибудь идеалъ, мечта поэта? Возможно ли лучшее будущее? Драма Привидѣній, гдѣ торжествуютъ темныя силы жизни, даетъ отвѣтъ какъ будто отрицательный. Но отрицаніе это опровергается всею предыдущею и послѣдующею дѣятельностью Ибсена. Скептицизмъ поэта, такъ ярко выраженный Привидѣніями, диссонансъ его мысли и чувства, разрѣшается всею совокупностью его творчества. Воплощая въ художественныхъ образахъ своихъ идеалистическій порывъ какъ протестъ противъ мелко-буржуазнаго строя жизни, Ибсенъ проявляетъ такую силу живого чувства, такую могучую индивидуальность, что заставляетъ насъ вѣрить въ осуществимость своей мечты и въ возможность того царства свободно-прекраснаго, потребность котораго такъ глубоко, полно, всесильно-имъ ощущается. И мы заражаемся его чувствомъ, мы невольно вѣримъ въ эту мечту, какъ ни противорѣчитъ ей сознаніе дѣйствительности и весь опытъ жизни; и вѣримъ тѣмъ болѣе еще, что эта дѣйствительность и этотъ опытъ нашли себѣ выразителя и въ самомъ поэтѣ. Его знаніе жизни и человѣка не уступаетъ силѣ его идеализма; онъ такъ наглядно, въ такихъ яркихъ краскахъ умѣетъ изобразить все зло повседневности, всю ту косную силу мелкаго, дряннаго, ничтожнаго, которая охлаждаетъ высшіе порывы; онъ такъ ясно это видитъ и сознаетъ и онъ все-таки вѣритъ! Онъ все-таки стремится впередъ, олицетворяя въ драмахъ это стремленіе, эти порывы! Такой разладъ сознанія и чувства, мысли и вѣры лежитъ въ основѣ всего творчества Ибсена. Разладъ этотъ, какъ удѣлъ людей, переживающихъ смѣну идеаловъ и міровоззрѣній, Ибсенъ воплощаетъ во многихъ своихъ герояхъ, начиная съ императора Юліана и кончая художникомъ Рубекомъ. Всѣхъ ихъ онъ надѣляетъ выдающимися силами ума и воли или ума и таланта и ставитъ ихъ въ безвыходныя, непримиримыя противорѣчія и съ жизнью и съ ними самими... Въ самомъ талантѣ Ибсена заключено такое же—казалось бы непримиримое—противорѣчіе: въ немъ полетъ фантазіи лирическаго поэта уживается съ наблюдательностью жанриста, пристально изучающаго повседневность; лирическій поэтъ вкладываетъ въ эту повседневность высшія стремленія духа, а жанристъ фантастичность идеаловъ поэта одѣваетъ въ плоть и кровь живыхъ существъ. Эти какъ будто несо-

вмѣстимыя свойства таланта совмѣщаются однако и примиряются силою индивидуальности крупнаго всемірнаго поэта Ибсена. Тою же силою, живою силою личности, разрѣшаются и жизненныя коллизіи, которыя переживаютъ его герои. Показавши въ Привидѣніяхъ, чего недоставало г-жѣ Альвингъ для борьбы съ жизнью, ее побѣдившей, онъ даетъ въ слѣдующей за Привидѣніями драмѣ „Врагъ Народа“ новый типъ борца за идеалъ, за истину. Д-ръ Стокманнъ тоже побѣжденъ жизнью, но онъ сохраняетъ вѣру въ будущее, въ новыхъ избранныхъ людей, которые современемъ проведутъ въ жизнь истины, защищаемыя имъ,—однимъ имъ!—противъ цѣлаго общества. Вѣра въ будущее и въ силу истинъ, добытыхъ новымъ знаніемъ природы и человѣка, вѣра въ индивидуальность, т.-е. въ силу личной воли, личнаго чувства, личнаго таланта,—вотъ что составляетъ то положительное, цѣльное, чѣмъ такъ значителенъ Ибсенъ въ совокупности всего имъ написаннаго. Если Привидѣнія, эта трагедія смѣняющихся міровоззрѣній оканчивается диссонансомъ, то здѣсь выразилось только настроеніе той переходной эпохи, къ которой принадлежитъ героиня. Но и на ея судьбѣ мы видимъ, что двигаютъ жизнь не тѣ идеалы, которые отлились уже въ опредѣленныя формы, а тѣ силы индивидуальнаго чувства и цѣльнаго искренняго убѣжденія, которыя непосредственно вытекаютъ изъ потребности добра и правды. Исчезаютъ вѣрованія, смѣняются міровоззрѣнія, но не умираетъ въ душѣ человѣка стремленіе къ высшей истинѣ, къ водворенію Царства Божія на землѣ. Передовые умы могутъ заблуждаться; ихъ высшія стремленія могутъ подавляться не сочувствующею имъ толпою; они могутъ не находить признанія въ томъ большинствѣ, которое довольствуется и устарѣлыми неполными истинами и даже—пустыми фразами; но тяготѣніе къ свѣту не умираетъ въ творческихъ умахъ: оно живетъ въ силѣ ихъ индивидуальности и проявляется созданіемъ новыхъ идеаловъ, новыхъ формъ добра и красоты. Въ число такихъ творческихъ умовъ исторія должна современемъ включить и автора Привидѣній.

А. Андреева.

Москва.

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСѢЕВНА ВЕНКСТЕРНЪ.

(*А. В. Стернъ*).

Раннее дѣтство мое протекло въ глухомъ, прелестномъ уголкѣ Орловской губерніи, Кромскаго уѣзда, въ селыцѣ Разновилье — Павлово тожъ— вотъ моя родина и пріютъ моего дѣтства.

А.В. Стернъ

Мнѣ не было и пяти лѣтъ, когда умерла моя мать, и уже съ этого времени я совершенно послѣдовательно помню свою жизнь. Отецъ, мы двѣ, (сестра Наташа и я) да двѣ старушки няни—таковъ былъ составъ коренныхъ жителей Разновилья. Лѣтомъ домъ нашъ наполнялся, но осенью мы были одни, и именно длинные, ненастные осенніе вечера и остались у меня особенно въ памяти. Бывало, едва наступятъ сумерки, ужъ нетерпѣливо ждешь, чтобы отецъ скорѣй покончилъ свои дѣла въ кабинетѣ и вышелъ къ намъ. А, наконецъ-то скрипнула дверь!.. Веселый и улыбающійся отецъ является въ залу съ книгою въ рукахъ. Что-то онъ прочтетъ намъ сегодня? Всякій вечеръ съ замираніемъ сердца жду я этого чтенія.

Отецъ (Алексѣй Яковлевичъ Венкстернъ) былъ страстнымъ поклонникомъ Гоголя и намъ, своимъ маленькимъ дочерямъ, читалъ не дѣтскіе разсказы, а произведенія своего любимаго писателя.

Творенія Гоголя въ мастерскомъ чтеніи отца производили на меня сильное, глубокое впечатлѣніе. Эти-то чтенія, мнѣ кажется, и положили начало моей любви къ отечественной литературѣ и зародили въ душѣ ребенка желаніе писать; очень рано, помню, я начала уже дѣлать попытки въ сочинительствѣ.

Въ школьные годы я перешла подъ вѣдѣніе старшей (на цѣлое поколѣніе) единоутробной сестры моей, Елизаветы Андреевны. Въ концѣ 50-хъ и въ началѣ 60-хъ годовъ мужъ Елизаветы Андреевны, Н. А. Замятнинъ, служилъ въ Рязани, и самыми близкими друзьями сестры въ этомъ городѣ

были сестры Хвощинскія. Судьба, такимъ образомъ, свела меня съ Надеждой Дмитріевной Х. (В. Крестовскій псевдонимъ). Я полюбила не только семью Хвощинскихъ, но даже домъ ихъ, этотъ уютный, свѣтлый, провинціальный домъ, въ тихомъ закоулкѣ, близъ семинаріи; милъ мнѣ былъ и ихъ тѣнистый садъ съ узкими дорожками, съ кустами крыжовника и смородины... Знакомство же съ Надеждой Дмитріевной, *настоящей* писательницей, ея доброе ко мнѣ, застѣнчивой дѣвочкѣ, отношеніе, ея желаніе поощрить мои литературныя попытки, имѣли, безспорно, большое вліяніе на мою судьбу. Оставайся я въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Надеждой Дмитріевной, вѣроятно, еще въ молодые годы я выступила бы на литературную дорогу, но судьбѣ угодно было разлучить насъ *).

Первая попытка отдать въ печать мое писаніе была сдѣлана только въ 1880 г. Сама я не рѣшилась явиться въ редакцію, а передала моей родственницѣ Раисѣ А. Гарднеръ, сохранившей нѣкоторыя литературныя связи, два разсказа—«Ландыши» и «Невольная месть» съ просьбой помѣстить въ какомъ-либо періодическомъ изданіи. Р. А. приняла къ сердцу мою просьбу и оба разсказа отдала въ редакцію газеты Гатцука. Въ томъ же 1880 г. разсказъ «Ландыши» былъ напечатанъ въ газетѣ, второй же разсказъ мнѣ возвратили подъ предлогомъ, что онъ слишкомъ объемистъ для изданія. Нѣсколько лѣтъ мое *большое* дѣтище хранилось въ ящикѣ стола, пока я, наконецъ, не рѣшилась снести его въ редакцію Русскаго Вѣстника. Это было въ 1884 г.; редакторомъ Р. В. былъ тогда В. П. Клюшниковъ, принявшій тетрадку неизвѣстнаго автора очень неохотно. Однако черезъ годъ «Невольная месть», къ великой моей радости, появилась въ печати, и съ этой поры началась моя литературная жизнь...

Много терній на нашемъ поприщѣ, но, говоря откровенно, если у меня были минуты истиннаго счастья въ жизни, то я обязана за нихъ только нашему поприщу.

А. Венкстернъ.

*) Мы встрѣтились съ Н. Д. въ 1888 г. послѣ 25-ти-лѣтней разлуки, и я нашла въ постарѣвшей, разбитой жизнью и физическимъ недугомъ женщинѣ то же отзывчивое, горячее сердце, тотъ же свѣтлый умъ.

ЭТЮДЪ.

Меня всегда удивляетъ, когда взрослые относятся къ ребенку какъ къ существу не вполнѣ разумному, съ которомъ должно говорить какимъ-то приспособленнымъ къ дѣтскому разумѣнію языкомъ, относятся какъ къ существу, которое легко можно обмануть, провести, увѣрить въ чемъ угодно... Право, мнѣ кажется, дѣти много умнѣе, чѣмъ предполагаютъ большіе. Дѣти такъ же изворотливы какъ взрослые и не хуже насъ самихъ могутъ провести насъ... и не потому, чтобы обманъ былъ присущъ ихъ возрасту, а потому, что мы любимъ быть обманутыми и дѣти отлично это понимаютъ и зачастую проводятъ насъ только для того, чтобы сдѣлать намъ пріятное.

Мужъ съ женою ссорятся, говорятъ другъ другу колкія, обидныя вещи, попрекаютъ другъ друга разными слабостями, наконецъ жена спохватывается, что тутъ есть свидѣтель непріятной сцены, ихъ маленькій сынишка, 6—7-лѣтній Сережа, вытаращившій на родителей умные глазки.

— Хоть ребенка-то постыдитесь!—восклицаетъ мать на иностранномъ, непонятномъ мальчику языкѣ.

Но мальчикъ уже отлично понялъ, что восклицаніе матери касается лично его, и сейчасъ же опустилъ глаза, какъ будто ничего не видитъ, не понимаетъ, что вокругъ него дѣлается, и съ особеннымъ оживленіемъ и стараніемъ продолжаетъ передвигать своихъ солдатиковъ.

— Вы видите, что онъ ничего не слышалъ, онъ такъ занятъ своей игрой, — говоритъ папаша,—а если и слышалъ, то ничего не понялъ, можете быть покойны!

Однако, обращаясь къ сыну, онъ строго замѣчаетъ:

— Иди играть въ дѣтскую: здѣсь тебѣ не мѣсто.

И Сережа, не возражая, послушно уходитъ, хотя послушаніе не

отличительная черта его характера. Впрочемъ, онъ не идетъ въ свою дѣтскую—онъ отлично знаетъ, что теперь, когда *они* поглощены своей ссорой, никто не станетъ слѣдить за тѣмъ, куда онъ пошелъ, и спѣшитъ въ кухню, входъ въ которую строго ему воспрещенъ: тамъ за печкой цѣлыхъ три котенка,—онъ отлично поиграетъ съ ними!

— Опять сюда пожаловали! — недовольнымъ тономъ замѣчаетъ кухарка,— вотъ я сейчасъ папашенькѣ скажу.

— Станетъ онъ тебя слушать *теперь*! — задорно восклицаетъ Сережа и многозначительно свиститъ.

Возьмемъ другого мальчика. Этому едва исполнилось пять лѣтъ. Онъ считается въ семьѣ легкомысленнымъ, мало привязчивымъ ребенкомъ.

Это легкомысліе и отсутствіе привязчивости—черты характера, очень огорчающія его молодую, страстно любящую дѣтей мать, хотя одновременно и облегчаютъ предстоящую ей задачу—перемѣны няни.

— За Володю я покойна,—разсуждаетъ она,—Володя ни къ кому особенно не привязанъ. Меня Юрка пугаетъ,—что съ нимъ я стану дѣлать, когда уйдетъ Мартыновна. Онъ такъ любитъ свою старуху.

Юрка—это меньшой двухлѣтній карапузъ, который такъ и держится за юбки своей дородной нянюшки, такъ и льнетъ къ ней.

Наступаетъ день отъѣзда старой нянюшки изъ дома и водворенія новой. Молодая мать волнуется съ утра; она умоляетъ Мартыновну уѣхать, не прощаясь съ дѣтьми, и запирается съ ними въ кабинетѣ мужа, забравъ съ собою всѣ ихъ любимыя игрушки. Заботитъ ее попрежнему Юрка, легкомысленный же Володя весь, повидимому, поглощенъ игрой. Мать даже поражена, какъ, при своей смѣтливости, мальчикъ ни разу не спросилъ ее, зачѣмъ такъ необычно они проводятъ день въ кабинетѣ; она удивлена, какъ онъ, съ своею живостью, не рвется изъ своего заточенія, какъ не поражаетъ его это необычное движеніе въ передней, когда выносятъ вещи нянюшки.

Ничто, кажется, не привлекаетъ вниманія Володи: такъ поглощенъ онъ своей игрой...

Но вотъ входитъ Лиза, горничная, и требуетъ барыню зачѣмъ-то въ гостиную, та мигаетъ ей, чтобы осталась съ дѣтьми, и уходитъ изъ кабинета.

Не успѣла мать покинуть комнаты, какъ Володя, весь взволнованный, бросается къ Лизѣ:

— Уѣхала? — спрашиваетъ онъ дрожащими губами, — а мама-то хоть бы проститься намъ дала, заперла въ кабинетѣ, какъ звѣрей какихъ!..

Входитъ мать, и легкомысленный Володя опять принимаетъ беззаботный видъ и продолжаетъ свою игру: топочетъ ногами, кричитъ, валяется по ковру, всячески выражая свое легкомысліе. Юрка только слишкомъ часто подвертывается ему подъ руку въ этотъ день и не единожды получаетъ тумака отъ старшаго брата, о чемъ принимается плакать, но Володя не только равнодушенъ къ реву брата—онъ даже не сморгнувъ выслушиваетъ укоры матери и до конца играетъ свою роль.

О нянѣ Мартыновнѣ Володя ни разу не спросилъ у матери и, повидимому, совсѣмъ не удивленъ, когда къ обѣду является другая нянюшка.

У новой няни прекрасное, доброе, старое лицо, кроткій, нѣжный голосъ и большая мягкость въ обращеніи. Новая няня производитъ на Володю хорошее впечатлѣніе, онъ сразу признаетъ ея авторитетъ, слушается и, если еще не совсѣмъ ласковъ, то очень любезенъ съ нею—вообще онъ изъ всѣхъ силъ старается доказать свое легкомысліе и малую степень привязанности къ нянѣ Мартыновнѣ.

Только ужъ вечеромъ, при отходѣ ко сну, когда меньшой братъ, за котораго боялись, давно уже заснулъ, не вспоминая о Мартыновнѣ, Володя вдругъ закрываетъ лицо руками и начинаетъ рыдать...

Нѣтъ, онъ не могъ вынести вида этой постельки съ откинутымъ одѣяломъ, не могъ вынести этого мягкаго, такъ хорошо знакомаго ему, свѣта лампады, разлитаго по комнатѣ—это слишкомъ напомнило ему ее, Мартыновну, которая еще вчера раздѣвала его, укладывала и своимъ грубоватымъ голосомъ, шлепая по спинкѣ, говорила свое напутствіе на сонъ грядущій, а потомъ осѣняла крестнымъ знаменіемъ и цѣловала въ маковку... Это было такъ недавно еще и уже прошло!.. Нѣтъ, Володя не могъ дольше сдерживать горечи своихъ ощущеній и разрыдался.

— Что ты? О чемъ ты, мой ангелъ?—спрашиваетъ мать.

— Жаль, жаль!—восклицаетъ мальчикъ, всхлипывая,— няню мою милую, Мартыновну мою, жаль!

Мать беретъ его на руки, прижимаетъ его дрожащее худенькое тѣльце къ груди, цѣлуетъ, ласкаетъ, уговариваетъ. Володя прижимается къ ней, продолжая рыдать— „жаль, охъ, жаль мнѣ няню мою!“

Молодая мать совсѣмъ поражена. Горе ея маленькаго сына, это первое его большое горе, которое онъ имѣлъ мужество скрывать въ продолженіе цѣлаго дня и которое съ такой неудержимой силой вы-

лилось теперь въ отчаянныхъ рыданіяхъ, такъ сильно трогаетъ ее, что она сама не можетъ удержаться отъ слезъ и, уговаривая Володю, тихо всхлипываетъ. Мальчикъ обращаетъ вниманіе на это всхлипованье и поднимаетъ на мать удивленные глаза:

— Ты-ы-то о-о чемъ же?—спрашиваетъ онъ прерывающимся голосомъ.

Вѣдь не о нянѣ же Мартыновнѣ плачетъ мама? Мама, которая ей же сама и отказала! Вѣдь все было во власти мамы, она—*барыня*, госпожа въ этомъ домѣ: она имѣла право отказать, могла и оставить милую няню. О чемъ же она теперь плачетъ?

Сильно работающая головка ребенка не можетъ еще связать эти два понятія—сама сдѣлала и сама оплакиваетъ свой поступокъ. Володя давно уже все зналъ, давно прислушивался, приглядывался, давно понималъ, что мама недовольна Мартыновной, и зналъ, что она, т.-е. *„барыня*, можетъ отказать, если захочетъ". Не однажды слышалъ онъ эту фразу, и сердце его болѣло, тревожно билось въ груди, но онъ тщательно скрывалъ свою тревогу, скрылъ и охватившее его горе, когда катастрофа разразилась... Онъ проводилъ большихъ до послѣдняго конца, когда уже проводить былъ больше не въ силахъ...

Разсказывали мнѣ объ одной дѣвочкѣ лѣтъ 8—9, честномъ, правдивомъ маленькомъ существѣ, которая въ продолженіе одной зимы надувала цѣлое общество, только потому, что общество это жаждало быть обманутымъ.

Это было давно; тогда только что появилось на свѣтъ столоверченіе, которое называлось тогда, кажется, магнетизмомъ. Общество въ столицахъ и провинціи очень увлекалось этой новой забавой. Въ каждомъ почти домѣ непремѣнно имѣлся маленькій, какъ бы игрушечный, столикъ въ какую-нибудь четверть длины, вмѣсто одной изъ ножекъ котораго вставлялся карандашъ. На обыкновенный ломберный столъ раскладывался бѣлый листъ бумаги, на который ставился маленькій столикъ, на него возлагалъ руки медіумъ, сообщалъ столику магнетическій токъ и карандашъ чертилъ по бумагѣ...

Вся семья моей маленькой героини, очень многочисленная, была увлечена опытами магнетизма и всякій вечеръ часовъ съ 7 игрушечный столикъ являлся на сцену. Маленькая Соня, отъ которой впослѣдствіи я и слышала этотъ разсказъ, всегда присутствовала при опытахъ; это было чрезвычайно застѣнчивое, печальное, молчаливое, ушедшее въ себя маленькое существо, въ которомъ фантазія сильно работала—все странное, таинственное, необычное влекло ее къ себѣ.

Дѣвочка съ лихорадочнымъ трепетомъ прислушивалась къ разсказамъ о магнетической силѣ и, присутствуя при опытахъ, страшно волновалась при неудачахъ, чѣмъ смѣшила взрослыхъ.

Разъ дѣвочкѣ кто-то предложилъ самой подержать столикъ, и Соня съ благоговѣйнымъ трепетомъ возложила свои маленькія ручки на столъ.

Всякая мысль объ обманѣ была далеко отъ нея, она была совсѣмъ правдивымъ существомъ, какъ сказано выше, и тутъ, конечно, она не намѣревалась обманывать. Она вѣрила вполнѣ въ какую-то высшую, невѣдомую силу, которая посредствомъ ея, Сони, могла двинуть столикомъ, и дѣвочкѣ сильно, страстно, до боли мучительно хотѣлось, чтобы столикъ двинулся и карандашъ отвѣтилъ на вопросъ, который задали большіе.

Руки ли сильно дрожали у ребенка отъ волненія или просто отъ неловкаго движенія, но только столикъ, едва Соня прикоснулась къ нему, сильно двинулся и карандашъ провелъ по бумагѣ рѣзкую черту.

Всѣ заахали.

— Смотрите, сколько магнетизма въ дѣвочкѣ!

— Ай, да Соня, едва положила руки, ужъ и задвигалось!

Дѣвочка слабо протестовала, но ей не давали выговорить слова, всѣ были такъ увѣрены, что столикъ двинулся силой магнетизма; такъ много говорили объ этомъ, что Сонѣ ужъ и самой стало казаться что столикъ двинулся *самъ*.

Отъ волновавшихъ ее разнородныхъ чувствъ дѣвочка сильно поблѣднѣла, эту блѣдность приписали утомленію вслѣдствіе изшедшей изъ нея силы магнетизма и, боясь за ея здоровье, ей приказали снять руки со столика, тѣмъ болѣе, что, сдѣлавъ одно рѣзкое движеніе, онъ ужъ не хотѣлъ больше двигаться.

Соня послушно сняла руки, а большіе стали разглядывать черту. Было найдено сходство съ какой-то геометрической фигурой. Господинъ, задавшій вопросъ, счелъ геометрическую фигуру за отвѣтъ и сталъ искать въ немъ смысла, другіе стали помогать ему. Думали, думали и вѣдь нашли смыслъ и даже очень остроумный, замысловатый смыслъ!..

И этимъ первымъ вечеромъ участь Сони была рѣшена: она стала медіумомъ.

На другой день, когда ее призвали держать столикъ, Соня твердо рѣшила ни за что не двигать имъ произвольно; она только страстно желала, чтобы онъ двинулся и вполнѣ вѣрила въ возможность этого движенія, даже въ необходимость его, и крайне огорчилась, когда столикъ не двинулся, несмотря на то что цѣлый часъ она держала надъ нимъ руки.

Большіе тоже были очень разочарованы, но говорили:

— Не всегда же эта сила въ человѣкѣ, надо погодить, дать отдохнуть ребенку дня два.

Черезъ нѣсколько дней Соню опять призвали держать столикъ. Это упорство старшихъ и смущало и радовало дѣвочку, общее вни-

маніе возбуждало въ ней горделивое чувство, и ей страстно хотѣлось оправдать это вниманіе, но обманывать она не хотѣла: она только пламенно молила Господа, чтобы столикъ двинулся самъ.

Однако Господь не услышалъ ея молитвы—столъ не двигался.

Когда Соня порядкомъ уже устала, а кто-то изъ присутствующихъ, жадно ждавшихъ движенія, вслухъ сдѣлалъ вопросъ, не требующій многосложнаго отвѣта, дѣвочка чуть-чуть двинула столикомъ... А столикъ такъ легко поддавался давленію ея пальцевъ, что ей ровно ничего не стоило начертить: „да".

Это была первая проба пера!

Большіе, такъ жаждавшіе быть обманутыми, достигли своей цѣли.

Съ первыхъ же шаговъ Соня почувствовала свое паденіе и мучилась имъ, но было что-то такое заманчивое въ этомъ общемъ къ ней вниманіи, было что-то такое упоительное въ этомъ держаніи большихъ на кончикахъ своихъ пальцевъ, что воздержаться отъ обмана она была уже не въ силахъ.

Съ этого времени сеансы стали ежедневными и всегда успѣшными.

Обманывая другихъ, чаще всего она обманывала и самое себя: ей самой уже казалось, что въ ней есть какая-то сила, которая дѣйствуетъ помимо ея доброй воли, и она гордилась этой силой.

На несложные вопросы, предложенные по-русски, она отвѣчала ясно и опредѣленно; орѳографическія ошибки, иногда очень грубаго свойства, мало смущали большихъ,—это находили совершенно естественнымъ, и рѣшительно никто не усомнился въ правдивости *младенца*.

— Помилуйте,—говорили,—вѣдь ей только 8 лѣтъ:—гдѣ же 8-милѣтнему ребенку такъ разумно отвѣчать!

А младенецъ слушалъ и торжествовалъ.

На сложные вопросы и на вопросы, предложенные на иностранныхъ, незнакомыхъ Сонѣ языкахъ, она даже не давала себѣ труда отвѣчать, она только двигала столомъ—„лишь бы было намарано, а тамъ разберутъ!" И дѣйствительно, не было случая, чтобы не разобрали. Разбирали и по-нѣмецки, и по-французски, и по-латыни, и по-гречески, дѣвочкѣ оставалось только удивляться знаніямъ этого ученаго общества, знакомаго со столькими живыми и мертвыми языками.

Казалось бы, что пріятнаго, что заманчиваго было для ребенка въ этомъ утомительномъ, столь мало свойственномъ его лѣтамъ занятіи, но Соня утверждала впослѣдствіи, что сознаніе своей силы надъ этими большими, учеными людьми, сознаніе владычества надъ ними было такимъ наслажденіемъ, какого никогда уже потомъ въ жизни она не испытывала.

Вообще процессъ мышленія и чувствъ въ ребенкѣ былъ очень сложенъ. Соня сознавала, что лжетъ, и эта ложь мучила ее; въ то же время она вмѣстѣ съ большими до нѣкоторой степени вѣрила, что

обладаетъ какой-то большой таинственной силой, и это приводило ее въ восторженное состояніе и заставляло снисходительнѣй относиться къ своей лжи.

Когда года черезъ два Соня, желая загладить мучившіе ее старые грѣхи, покаялась въ нихъ и призналась, что надувала общество силой своего магнетизма, ей никто не повѣрилъ.

— Ты забыла,—возражали—ей,—быть можетъ, теперь ты и утратила эту силу, но тогда... тогда... Можно ли повѣрить, чтобы 8-милѣтній ребенокъ?.. да наконецъ, столъ подъ твоей рукой писалъ по-латыни, по-гречески...

— Увѣряю—я только двигала,—робко замѣтила Соня,—а вы ужъ сами разбирали...

— Глупости! повѣрить этому нельзя... вѣдь я сама присутствовала...

— Да я самъ видѣлъ, читалъ!..

Сонѣ, т.-е. сѣдѣющей уже Софьѣ Дмитріевнѣ, и до сихъ поръ иногда приходится спорить съ присутствовавшими когда-то на ея сеансахъ и изобличать себя во лжи, ей и до сихъ поръ не вѣрятъ!

Свое собственное дѣтство я начинаю помнить очень рано. Смерть матери совершенно ясно встаетъ въ моей памяти, а мнѣ было тогда не болѣе $4^1/_2$ лѣтъ. И помню я не самый фактъ смерти—я не присутствовала при немъ,—а тѣ мысли, чувства, тѣ представленія, что вызвалъ онъ во мнѣ.

Я помню, что при этомъ первомъ горестномъ событіи моей жизни, желаніе скрыть отъ взрослыхъ мои настоящія чувства было чуть ли не главнымъ, преобладающимъ двигателемъ моихъ поступковъ.

Моя мать была больна недолго, всего нѣсколько дней. И ужъ въ эти дни, когда въ домѣ шла какая-то глухая суета, въ эти дни, когда я не видала матери, хотя и рвалась къ ней, въ эти дни, когда мѣстный врачъ нашъ, Иванъ Николаевичъ, не выѣзжалъ изъ нашего дома и запахомъ своей аптечки отравлялъ его воздухъ, я знала, что происходитъ что-то ужасное, я чувствовала это. Но мнѣ лгали, на мои просьбы пустить меня къ матери, мнѣ говорили, что она уѣхала въ гости, и я въ концѣ концовъ стала лгать и дѣлала видъ, что вѣрю большимъ.

Когда во время агоніи матери насъ, дѣтей, отправили съ няней къ ближайшимъ сосѣдямъ нашимъ Т., я притворилась, будто вѣрю, что насъ везутъ въ гости повеселить.

Я помню то ощущеніе невыразимой тоски, когда очутилась въ стѣнахъ чужого дома, гдѣ собственно любила бывать въ другія времена; я помню, какъ тоска росла, росла и давила мнѣ грудь, а я притворялась и дѣлала видъ, что занята картинками и игрушками, которыми меня завалили. Я помню, что я не выдержала, однако, сказала,

что мнѣ хочется спать, и легла въ постель, несмотря на то что было еще свѣтло. И когда меня оставили одну, я стала плакать.

Черезъ нѣсколько дней послѣ похоронъ матери, насъ привезли домой.

По дому носился еще запахъ ладана, шкафы и комоды стояли запечатанными, въ залѣ дьячокъ читалъ псалтирь.

Я ничего не спрашивала о матери. Мнѣ говорили: „мамаша уѣхала въ Кіевъ“, и, хотя я знала, что она не уѣхала въ Кіевъ, а умерла, и знала, что такое смерть, т.-е. что я никогда, никогда не увижу больше матери, но такъ какъ меня обманывали и я считала себя въ правѣ обманывать — я притворялась, что вѣрю поѣздкѣ матери въ Кіевъ, и когда меня спрашивали посторонніе, гдѣ мама?—я отвѣчала: „Въ Кіевъ уѣхала“.

— Совсѣмъ несмысленочекъ, — говорили взрослые, — ничего не понимаетъ!

А у меня, маленькаго ребенка, сердце замирало въ какой-то неизъяснимой тоскѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ я будто какую-то гордость ощущала въ томъ сознаніи, что *они* (большіе) не знаютъ того, что мнѣ все извѣстно и понятно.

Нѣтъ, они ужасно не дальновидны, эти большіе:— какъ предположить, что въ ребенкѣ такъ мало смысла, такъ мало наблюдательности! Вѣдь одинъ дьячокъ въ залѣ, голосъ котораго и теперь еще слышится мнѣ, могъ все пояснить своимъ присутствіемъ. А зеркала, укутанныя простынями, а печати на шкафахъ, а запахъ ладана? — Всѣ эти аттрибуты смерти впервые окружали меня, но я знала о чемъ они говорятъ. А унылыя лица, а взгляды соболѣзнованія, а черныя платья, а новое слово „сироты“ — неужели все это могъ ребенокъ оставить не замѣченнымъ?!

Нѣтъ, онъ все видѣлъ, замѣтилъ, но находилъ почему-то удобнымъ притворяться ничего не вѣдающимъ.

Не казалось ли ему, что фактъ утраты матери такъ ужасенъ, что, признавъ его, надо плакать, не осушая глазъ, а ему, несмотря на ощущеніе тоски, временами хотѣлось бѣгать и играть...

Но иногда тоска такъ начинала давить, что онъ, какъ въ первый день утраты, просился въ постельку и, закрывшись пологомъ, уткнувъ лицо въ подушку, горько плакалъ...

А. Стерн

ЕКАТЕРИНА СЕРГѢЕВНА СЕЛИВАЧЕВА.

(рожденная Щербачева).

Родилась въ Москвѣ въ 1864 году. Рисованіемъ занималась съ ранняго дѣтства, правильныя же занятія начала за границей, у художника Сломскаго, ученика Курбэ. По возвращеніи въ Москву посѣщала классы рисованія въ Строгановскомъ училищѣ. Въ 1880 г. поступила въ фигурный классъ московскаго училища живописи и ваянія и въ то же время брала уроки живописи у В. Г. Перова, а послѣ смерти его—у В. Е. Маковскаго.

Съ 1885 г. вслѣдствіи постояннаго нездоровья прекратила занятія живописью и возобновила ихъ лишь въ 1895 году.

Первую картину свою «Мама» выставила въ 1898 г. на передвижной выставкѣ.

Тамъ же выставила слѣдующія картины свои: «У отца» (1899 г.) и «Ревнивое наблюденіе» (1900 г.).

РАШЕЛЬ МИРОНОВНА ХИНЪ.

Р. М. Хинъ родилась въ мѣстечкѣ Горкахъ, Могилевской губерніи, въ 1863 году.

Воспитывалась въ Москвѣ и за границей. Первый томъ разсказовъ изданъ въ 1894 г., второй—въ 1900 г.

Жоржъ Зандъ.

ГАМЛЕТЪ.

О, Гамлетъ, повѣдай намъ тайну твоей великой скорби! Скажи, почему подлѣ тебя мы чувствуемъ такой трепетъ, словно мы—безконечное эхо твоей таинственной жалобы? Можно ли это объяснить только тѣмъ, что твоего отца убили, а у тебя нѣтъ силы отомстить за него? Правда, это судьба трагическая, но судьба исключительная, странная. Она дѣйствуетъ на воображеніе, но она одна не могла бы такъ волновать наше сердце—не будь въ тебѣ чего-то иного, большаго, чѣмъ твои воспоминанія, видѣнія и клятва.

Гамлетъ—датчанинъ! Что намъ, нынѣшнимъ людямъ, до преступленія какой-то королевы, до убійства какого-то короля и гнѣва развѣнчаннаго принца! Мы видѣли болѣе кровавыя драмы, чѣмъ та, въ которую ты увлекаешь насъ своими чарами. Въ чемъ же тайна мучительнаго обаянія, вложеннаго въ твою грудь создавшимъ тебя поэтомъ и какъ бы слитаго съ твоимъ именемъ? Не въ томъ ли, что въ твоемъ дивномъ, величественномъ образѣ сосредоточены страданія чистой души, бьющейся въ пучинѣ низменныхъ страстей, обреченной на борьбу противъ зла, которое охватываетъ ее со всѣхъ сторонъ и побиваетъ?

Вотъ роковое въ твоей жизни, Гамлетъ, и бредъ твой не имѣетъ другихъ причинъ. Молодой, нѣжный, довѣрчивый, съ душой, открытой любви и дружбѣ, ты узнаешь о свершившемся въ твоемъ домѣ преступленіи, и это повергаетъ въ прахъ всѣ твои чувства и вѣрованья. Ты оплакиваешь дорогого усопшаго и удивляешься, почему никто изъ близкихъ не оплакиваетъ его вмѣстѣ съ тобой. Въ твоей головѣ промелькнуло какое-то смутное подозрѣніе... и вотъ это подозрѣніе перешло въ увѣренность. Страшное видѣніе, быть-можетъ,—сонъ, тебѣ открыло все, и съ этой минуты, точно ошеломленный головокруженіемъ, ты чувствуешь, какъ потрясенъ твой разумъ и твоя жизнь превращается въ горькій и мрачный бредъ. Ибо ты безумецъ, Гамлетъ, и ты не лжешь, говоря:

His madness is poor Hamlet's enemy.

Нельзя безнаказанно играть въ безуміе. Даже то, что ты избралъ роль сумасшедшаго, доказываетъ, какъ поработила тебя идея безумія съ присущимъ ей страхомъ, ужасомъ и озабоченностью. Ты не притворяешься, подобно Бруту, да ты и не похожъ на суроваго Брута. Поэтъ и влюбленный, нѣжный мечтатель и прилежный ученикъ—въ тебѣ нѣтъ ни одной черты безпощаднаго и терпѣливаго заговорщика. Бѣдный Гамлетъ, не твоей гордой любящей душѣ нести бремя затаеннаго мщенья! И вотъ, ты вынужденъ ненавидѣть людей, ты, рожденный для того, чтобы ихъ любить, и этотъ первый ударъ разбиваетъ тебя безвозвратно. Ужасъ передъ убійствомъ, презрѣніе къ лжи, страхъ предъ зломъ—вотъ что вызываетъ внутреннюю борьбу всего твоего существа. О, кто можетъ не жалѣть тебя, выброшеннаго съ прямого пути на край бездны! Бѣдная жертва неправды!

Какою горечью омрачена твоя гармоническая душа! Когда ты философствуешь о жизни и смерти, о тайнахъ могилы и страхѣ передъ невѣдомымъ, кажется, будто къ тебѣ вернулась вся ясность твоего ума... А между тѣмъ, мы, внимающіе тебѣ, въ эти минуты еще сильнѣе чувствуемъ твое несчастіе, твое духовное смятеніе, котораго ты самъ уже не въ состояніи измѣрить и которое тщетно прикрывается блестящими и торжественными словами. Можно ли думать, что ты принадлежишь себѣ въ тѣ мгновенья, когда душа твоя, исполненная грезъ, отторгается отъ земли? Нѣтъ, потому что въ эти мгновенья—ты забываешь свои страданья, свои грѣхи. Всѣ воспоминанія словно стираются въ твоей ослабѣвшей памяти, половина твоей души парализована...

Когда ты спрашиваешь самого себя, что значитъ: быть или не быть?.. умереть или уснуть?.. или мечтать?..—ты не видишь колѣнопреклоненной передъ тобой Офеліи... Глядя на черепъ Іорика, думая о судьбахъ Александра и суетѣ славы, ты не помнишь о совершонномъ тобой убійствѣ и о твоей возлюбленной, которая изъ-за тебя сошла съ ума... Ты даже не подумалъ справиться о ея судьбѣ; ты даже не подозрѣваешь, что это—ея могилу передъ тобою роютъ. Есть, сталобыть, часы, когда твое бѣдное сердце мертво, и тогда твой умъ, витающій въ отвлеченныхъ сферахъ, перестаетъ сознавать собственное несчастіе. Можно ли считать здоровымъ такое состояніе, когда человѣкъ пребываетъ въ полномъ забвеніи своихъ сердечныхъ утратъ? Развѣ нормаленъ тотъ, у кого чувство и умъ функціонируютъ отдѣльно и какъ бы по очереди? Итакъ, пусть намъ не говорятъ, что ты не сумасшедшій, Гамлетъ! здоровый—ты былъ бы отвратителенъ. Твой гнѣвъ и твоя жестокость доставляютъ намъ больше страданья, чѣмъ тебѣ: для насъ ясно, что ты уже не сознаешь своихъ дѣйствій.

Благородный Гамлетъ убиваетъ Офелію, убивъ въ своемъ сердцѣ любовь, и онъ не понимаетъ, что онъ ее убилъ. Онъ узнаетъ Офелію лишь въ гробу, и его сожалѣнія выражаютъ удивленіе и раскаяніе.

Благородный Гамлетъ сломилъ безнаказанную дотолѣ гордыню своей матери, но выполненіе этого жестокаго долга разбило его собственное сердце, измученное сомнѣніемъ и жалостью. Благородный Гамлетъ насмѣхается и оскорбляетъ Лаэрта, но тутъ же раскаивается, обвиняетъ себя, хотя, повидимому, не отдаетъ себѣ отчета въ томъ злѣ, которое онъ ему причинилъ. «Небо мнѣ свидѣтелемъ,—говоритъ онъ Лаэрту,—что я всегда васъ любилъ». Гамлетъ во всемъ благороденъ и добръ и во всемъ онъ невмѣняемъ. Онъ во власти безумія: мечтательнаго и подавленнаго—когда онъ наединѣ съ Гораціо, бѣшеннаго и презрительнаго—когда онъ приходитъ въ соприкосновеніе съ глупыми и жестокими міра. Безуміе само по себѣ всегда или ужасно, или настолько печально, что мы невольно отвращаемъ отъ него взоръ. Даже бѣдная Офелія, такая чистая, кроткая и прекрасная, интересуетъ насъ лишь на мигъ послѣ потери разсудка. Ея бредъ слишкомъ тягостенъ, хотя и безобиденъ. Это совершенно личное страданье. Почему же, о печальный Гамлетъ, твое безуміе насъ приковываетъ и увлекаетъ съ начала и до конца? Потому что твое страданіе—есть страданіе насъ всѣхъ, и это дѣлаетъ его такимъ человѣческимъ и правдивымъ. Въ тебѣ изсякли всѣ источники жизни: любовь, довѣріе, откровенность и доброта. Ты вынужденъ сказать ужасное «прости» своей совѣсти, своей нѣжности. Ты поневолѣ становишься сумрачнымъ, высокомѣрнымъ, ироническимъ, злопамятнымъ и жестокимъ.

Безпощадная судьба вооружаетъ противъ твоего ближняго твою мужественную, честную руку. Даже самая любовь къ истинѣ и справедливости—и та обрекаетъ тебя на тупость и злобу. Но ты не можешь быть ни глупцомъ ни злодѣемъ—и ты чувствуешь, что сходишь съ ума:

> They fool me to the top of my bent;
> They compell me to play the fool till Ican endure to do it no longer.

Увы, эта горечь твоей жизни, это отчаяніе—то бѣшеное, то мрачное—выливается въ одинъ душевный крикъ, который находитъ отзвукъ въ насъ всѣхъ и который можно выразить въ мольбѣ: Господи, зачѣмъ среди насъ злые? Господи, зачѣмъ зло въ твореніи твоемъ? Да Гамлетъ, ты весь въ этомъ крикѣ возмущеннаго противъ себя человѣчества. Вотъ въ чемъ тайна твоихъ слезъ, твоего гнѣва, твоего ужаса. Вотъ въ чемъ тайна нашей жалости, нашей нѣжности и нашего страха за твою муку. Кто изъ насъ, измѣривъ скорбь, на которую осужденъ міръ, посмѣетъ сказать, что онъ будетъ сильнѣе, справедливѣе, терпѣливѣе тебя? Кто изъ насъ, блуждая въ сферахъ метафизики, отдаваясь увлеченіямъ дѣйствительности, умственнымъ наслажденіямъ, юношескимъ забавамъ или надеждамъ любви,—кто посмѣетъ увѣрить себя, что онъ не безумецъ, не слабый смущенный умъ, въ которомъ воспоминаніе о неизбѣжномъ стушевывается, въ которомъ эгоистическое или легкомысленное *я* ду-

шитъ чувство истины и культъ мудрости? Роемся ли мы въ книгахъ, чтобы допытаться, гдѣ причина несчастія и безсилія человѣка, ищемъ ли отвѣта на неразрѣшимый вопросъ у мечты, стараемся ли забыть о немъ въ вихрѣ удовольствій: мы—вѣчные калѣки духа и тѣла, управляемые не разгаданными тайнами, пугливые до болѣзненности, забывчивые до упоенія, трусы или фанфароны, быстро осушивающіе чашу радостей, быстро утомляющіеся въ поискахъ за истиной, жалкіе и грустные—всегда и всюду...

Плачь, Гамлетъ, плачь! Все здѣсь достойно слезъ. Но и трепещи также, ибо нѣтъ въ мірѣ ничего ужаснѣе нашей судьбы. Убивай и умирай, разрушай и исчезай! Вотъ удѣлъ человѣка. Съ колыбели и до могилы, отъ Адама и до тебя, Гамлетъ, отъ твоихъ дней и до нашихъ, голосъ земли есть вѣчное рыданіе, теряющееся въ вѣчномъ безмолвіи небесъ.

Перевела К. Р. Кимъ

АНАСТАСІЯ АЛЕКСѢЕВНА ВЕРБИЦКАЯ.

Я родилась въ 1861 году въ г. Воронежѣ, гдѣ отецъ мой, потомственный дворянинъ Зябловъ, былъ кокандиромъ полка. Въ нашъ домъ стекалась вся городская интеллигенція, во главѣ которой стоялъ В. А. Никитинъ, инспекторъ женской гимназіи, чрезвычайно образованный человѣкъ. Онъ былъ замѣченный другомъ моей матери и моимъ первымъ учителемъ. Въ гостиной матери я встрѣчала также многихъ извѣстныхъ провинціальныхъ артистовъ: Милославскаго, Рыбакова, Колюбакина, Струйкина, Казанцева и др. Это объясняется тѣмъ, что бабка моя, Анастасія Никитична Мочалова (изъ купчихъ Мочихъ родомъ) сама крупную извѣстность и живя съ нами въ Воронежѣ, безпрестанно гастролировала. Она была замужемъ за Иваномъ Лукичомъ Мочаловымъ, племянникомъ Павла Степановича. Воспоминанія о геніальномъ артистѣ, его портреты, пастель его красавицы-сестры Маріи Степановны — все это хранилось какъ цѣнность въ нашемъ домѣ, гдѣ даже мы, дѣти, страстно любили искусство. Мать моя (Марія Ивановна Мочалова — въ дѣвушкахъ) была талантливой любительницей и съ большимъ успѣхомъ играла съ воронежской труппой артистовъ въ пользу благотворительнаго комитета.

Мнѣ было семь лѣтъ, когда по просьбѣ антрепренера театра, артиста Казанцева, мнѣ дали роль избалованной свѣтской дѣвочки въ комедіи Григорьева *Житейская школа*, гдѣ мать моя играла главную роль. Что это было за счастье! Первые апплодисменты публики звучали долго въ

дѣтскомъ сердцѣ, какъ ни съ чѣмъ несравнимая музыка. «Мы будемъ артистками, нѣтъ доли лучше»,—рѣшили мы тогда же съ сестрой.

Девяти лѣтъ я поступила въ Елисаветинскій московскій институтъ въ VI классъ; сестра, годомъ старше меня, въ V-й. Театральные интересы поблѣднѣли. Ихъ смѣнила книга. Мы какъ и въ дѣтствѣ, потихоньку отъ гувернантокъ, и здѣсь читали много и жадно, безъ всякой системы, и Жоржъ-Занда, и Всеволода Крестовскаго (псевдонимъ), и Виктора Гюго, и *Дженъ Эйръ* Шарлотты Бронтэ, и драмы Шиллера... Я и вообще была лѣнива, а увлеченная чтеніемъ, совсѣмъ не училась. Если меня спросить, когда я впервые подмѣтила въ себѣ способность къ творчеству, я отвѣчу чистосердечно, что эта страсть «сочинительства» какъ органическая болѣзнь безсознательно таилась во мнѣ съ самаго ранняго дѣтства. Едва выучившись читать, я заучивала наизусть *Мцыри* и *Каменнаго гостя* и подъ этимъ вліяніемъ сама писала драму въ стихахъ. Побывавъ въ театрѣ, мы съ сестрой сочиняли пьесы и разыгрывали ихъ въ дѣтской передъ гувернанткой, нянькой и вѣстовыми. Я всегда жила въ мірѣ фантазіи, въ созданномъ мною волшебномъ царствѣ рыцарей, красавицъ, приподнятыхъ чувствъ, необычайныхъ положеній и подвиговъ. Въ институтѣ дѣвушки старшихъ классовъ безъ конца заставляли меня разсказывать романъ *Молодость Генриха IV*, а когда онъ кончался по волѣ автора, я продолжала его уже на свой собственный страхъ и рискъ, къ великому удовольствію моей аудиторіи, не подозрѣвавшей разсказчика въ импровизаціи. Въ старшихъ классахъ, когда мнѣ было 13—14 лѣтъ, каждый вечеръ ложась спать, моя подруга А. В—кая говорила мнѣ: «Ну, даю тебѣ 10 минутъ... Потомъ начинай... Мы кончили на томъ, что она уѣхала въ Америку... Дальше»...— Проходило десять минутъ и импровизація начиналась.

Отъ всѣхъ этихъ досужихъ вымысловъ ничего теперь не осталось въ моей памяти, кромѣ названія моихъ импровизацій: *Дочь Банкира* и т. д...

Но вотъ мнѣ минуло 14 лѣтъ. Мертвящая дисциплина института, готовившаго изъ насъ систематически салонныхъ куколъ, гдѣ съ ужасомъ произносили имена Писарева и Некрасова, гдѣ Гоголя называли сальностью, гдѣ русская литература считалась нечистоплотной и гдѣ снисходительно разрѣшали читать только Тургенева, эта дисциплина запрещала намъ даже въ классахъ разговоры съ учителями. Но я не поручусь, чтобы горячія стремленія нашего юнаго кружка ѣхать за границу учиться нашли поддержку въ нашихъ учителяхъ. Реакція въ русскомъ обществѣ уже была сильна, когда широкая, бурная волна возрожденія 60-хъ годовъ докатилась, наконецъ, до каменныхъ стѣнъ института и донесла намъ хоть запоздалую, но радостную вѣсть о женской эмансипаціи.

Я кончила курсъ съ наградой, пятой ученицей. До сихъ поръ не могу понять, какъ это выходило. Я училась только тому, что мнѣ нравилось, во всемъ остальномъ лѣнивая и небрежная необычайно. Любила я только литературу трехъ языковъ, географію, да исторію,— эту исключительно.

На образованіе наше мать не жалѣла денегъ. Мы учились музыкѣ, пѣнію, англійскому языку. Кончивъ курсъ, сестра 16-ти лѣтъ, я—15-ти, мы поселились въ имѣніи матери, Шпилевѣ, Дмитровскаго уѣзда, въ 60-ти верстахъ подъ Москвой. Домъ въ Воронежѣ былъ проданъ, отецъ вышелъ въ отставку и умеръ за годъ до моего выпуска. Нечего и говорить, что въ Цюрихъ меня не пустили, изъ опасенія, что я погибну среди «нигилистовъ». Ужъ очень яркими красками описывали ихъ Стебницкій, Крестовскій и Писемскій. Но мать всячески старалась наполнить духовными интересами нашу жизнь. Мы имѣли превосходную библіотеку, читали въ подлинникѣ Гёте, Шекспира и Вальтеръ-Скотта, занимались переводами, музыкой. По первому моему слову выписали изъ Парижа итальянскіе учебники. Получали рѣшительно всѣ журналы. Почта ходила два раза въ недѣлю. Помню, какъ наканунѣ спалось тревожно въ ожиданіи статей Шелгунова или романовъ Смирновой и Боборыкина! Но безъ боли до сихъ поръ не могу вспомнить, какъ мы томились среди тусклой жизни уѣзднаго городка, безъ интересныхъ *свѣжихъ* людей, безъ дѣла, безъ жизни, все беря, все черпая попрежнему только изъ книги. Пробовали мы обѣ съ сестрой (впослѣдствіи драматургъ и беллетристка), писать и отдѣльно, и совмѣстно, подъ вліяніемъ Всеволода Крестовскаго (псевдонимъ), но тоска все-таки была жгучая. Наконецъ, я подбила сестру проситься въ гувернантки, «на самостоятельную жизнь, на свой хлѣбъ»...

Мать была чутка. Она не сказала: «блажь! Вздоръ!..»—какъ бы сдѣлали другіе. Она обѣщала подумать. Она сумѣла оцѣнить это новое для нея вѣяніе, поняла наши стремленія и отвезла насъ въ Москву. Довѣряя нашему чувству собственнаго достоинства, она не побоялась отдать насъ, почти дѣтей, въ чужія семьи и самой вернуться въ деревню. Я и сейчасъ приношу ей за это глубокую, горячую благодарность.

Я поступила въ домъ одного учителя, служившаго въ Константиновскомъ межевомъ институтѣ. Тамъ было восемь человѣкъ дѣтей, распущенныхъ и лѣнивыхъ. Старшей дѣвочкѣ было 14 лѣтъ, мальчику 13, мнѣ, гувернанткѣ—16. Черезъ годъ я подготовила въ училище двухъ мальчиковъ. Работы было такъ много, что я только съ 11 ч. вечера получала право почитать или сдѣлать что-нибудь для себя. Помню, я читала такъ много по ночамъ, что схватила воспаленіе глазъ. Но и эта дѣятельность не давала, конечно, настоящаго удовлетворенія. Цѣль—не зависѣть ни отъ кого, имѣть свой хлѣбъ,—была достигнута, но души не наполнила. Она была мелка, я это чувствовала и вотъ что писала въ дневникѣ:

«Завтра мнѣ минетъ 17 лѣтъ. И я плачу. Какъ жутко! Жизнь уходитъ, ничего не давъ. Я еще ничего не сдѣлала, ничего не добилась и это меня гложетъ нестерпимо. Грудь разрывается отъ тоски. Неужели вся жизнь пройдетъ также блѣдно?..»

Цѣли впереди я уже не видѣла ясно. Въ свои силы уже не вѣрила. Яркая мечта моего дѣтства—быть писательницей—все еще жила въ моей душѣ, все еще таилась до поры до времени, безсознательная, какъ наслѣд-

ственная болѣзнь, но я говорила себѣ съ горечью, что эта мечта невыполнима, и любила ее, какъ любятъ далекія звѣзды.

Уставъ работать и жить среди этихъ лишеній, я пережила въ то лѣто мое первое увлеченіе, настолько сильное, что мать, испуганная, зная о моемъ характерѣ самое тревожное, поспѣшила обманомъ увезти меня въ деревню, подъ предлогомъ смертельной болѣзни бабушки. Это былъ разгаръ русско-турецкой войны, куда ушелъ и герой моего романа, А. В. Вербицкій (мой мужъ пять лѣтъ спустя). Я и тогда была ярою противницей брака, замужъ не собиралась, а просилась въ сестры милосердія. Но мать не пустила меня, напуганная моей «самостоятельностью». Сестра въ эту же зиму вышла замужъ за доктора С—ва, въ г. Вязьмѣ, гдѣ жила въ гувернанткахъ. Я осталась одна въ Шпилевѣ. Мнѣ было 17 лѣтъ, я уже извѣдала независимость, я уже угадывала огромную цѣнность настоящей жизни, съ борьбой во имя извѣстнаго идеала, съ упорнымъ трудомъ, съ радостями любви, и мнѣ было вдесятеро тяжелѣе прежняго очутиться снова въ забытомъ уголкѣ захолустнаго городка. Опять я схватилась за книгу, на этотъ разъ за статьи Н. К. Михайловскаго въ *Отеч. Запискахъ*, ища въ нихъ отвѣта на всѣ волновавшіе меня вопросы. Опять книга давала только суррогатъ этой бѣгущей мимо жизни.

Только юность и вѣра въ себя спасали отъ отчаянія. Вотъ когда впервые я начала систематически работать и сознательно *писать*, облекая въ беллетристическую форму свои воспоминанія. Послѣ двухъ лѣтъ упорнаго труда получился романъ въ 20 печатныхъ листовъ — *Гувернантка*. Я натолкнулась тогда впервые на мысль, какъ трудно дается дѣвушкѣ ея жажда независимости, какъ плохо оплачивается этотъ каторжный трудъ, какъ мало уважаютъ въ ней личность, какая травля идетъ вокругъ нея, какая игра низменныхъ инстинктовъ и аппетитовъ, сколько несправедливости безсознательной и сколько предразсудковъ встрѣчаетъ женщина, стоитъ ей только захотѣть подняться надъ уровнемъ или сойти съ торной дороги. Я изобразила, пользуясь своими цѣнными наблюденіями надъ педагогическимъ міркомъ, борьбу одинокой, но недюжинной личности, съ цѣлой средой буржуазныхъ женъ и благонамѣренныхъ чиновниковъ. Моя героиня выходила побѣдительницей, но съ разбитой душой.

Эта работа такъ наполнила мое сознаніе, такъ согрѣла мою душу, что два года моего заточенія въ деревнѣ прошли почти незамѣченными. Мать радовалась, поощряла меня, давала мнѣ цѣнные совѣты, но узнавая только теперь изъ романа объ униженіяхъ и лишеніяхъ, перенесенныхъ мною, она искренно огорчалась и плакала. Я же благословляла судьбу за все, что она дала мнѣ въ прошломъ. Вѣдь это были уроки жизни, настоящей жизни, которую я такъ призывала. Мы съ матерью рѣшили отправить первую часть рукописи (убоясь ея величины) въ *Дѣло*, редактору ея, г. Бажину. Какъ сейчасъ помню его милый, добрый отвѣтъ. Онъ простеръ свое вниманіе до того, что разобралъ каждую главу отдѣльно и въ горячихъ выраженіяхъ проснлъ меня работать. Я всегда падала духомъ, не была

самонадѣянной и такое письмо имѣло для меня огромное значеніе. Я стала серьезно мечтать о печатаньи. Въ это время мать разорившись на имѣніи, продала его, мы переѣхали въ Москву и я поступила учиться пѣнію, все въ той же надеждѣ добиться скорѣе матеріальной независимости. У меня былъ большой голосъ, способности къ сценѣ, профессоръ Гальвани и Николай Григорьевичъ Рубинштейнъ, директоръ консерваторіи, сулили мнѣ блестящую будущность. Но случай рѣшилъ все за меня. Представилась возможность поступить немедленно на отвѣтственное мѣсто регента хора и преподавательницы музыки въ Елисаветинскомъ институтѣ, гдѣ пять лѣтъ назадъ я кончала курсъ. Это давало мнѣ больше 2.000 р. содержанія и полнѣйшую независимость, то, о чемъ я страстно грезила въ долгіе и тоскливые зимніе вечера въ Шпилевѣ. Я пренебрегла карьерой артистки и помню, когда я брала мои бумаги изъ консерваторіи, Рубинштейнъ горячо упрекалъ меня за измѣну цѣли. Онъ не подозрѣвалъ, что у меня была иная, завѣтная. Не знаю, была ли я когда-нибудь счастливѣе, чѣмъ въ тотъ осенній вечеръ, когда начальница института, княгиня Волконская, введя меня въ квартиру и сказавъ: «это ваши владѣнія... Вы здѣсь — хозяйка...» — вышла, и я осталась одна среди голыхъ стѣнъ, въ сумеркахъ августовскаго вечера, неопытная въ свои 19 лѣтъ, одинокая, но свободная, свободная, — хозяйкой не только этихъ комнатъ, но и своей судьбы. Думаю, что въ эту именно ночь, безсонную отъ наплыва новыхъ ощущеній и мыслей, я сказала себѣ ясно и твердо: артисткой мнѣ уже не быть. Но есть другой путь, болѣе трудный, тернистый и заманчивый. И съ этой дороги меня уже никто не свернетъ.

Я пробыла на этомъ мѣстѣ почти два года и окончательно переработала свой романъ *Гувернантка*. Случайно черезъ одного знакомаго рукопись попала на просмотръ покойнаго Л. И. Поливанова. Къ сожалѣнію, въ пожарѣ въ 1885 г. погибла и эта рукопись, мой первый юношескій трудъ, и масса писемъ Л. И. Поливанова, интересныхъ и цѣнныхъ, которыя онъ писалъ мнѣ по 8 и 10 страницъ за разъ своимъ убористымъ бисернымъ почеркомъ, несмотря на свой недосугъ. Романъ мой нравился ему, хотя онъ упрекалъ меня за *утилитарное* направленіе. Онъ хотѣлъ напечатать его въ *Русск. Мысли* и говорилъ о немъ покойному Юрьеву. Но конецъ повѣсти разочаровалъ Л. И. Поливанова. Онъ предложилъ мнѣ измѣнить его, да и многое въ третьей части. Мы радикально расходились во взглядахъ, но я дорожила настолько своими, что отказалась наотрѣзъ и переговоры были кончены. Интереснѣе всего, что, живя въ Москвѣ оба и ведя самую оживленную переписку, мы съ Поливановымъ никогда не видѣлись. Пятнадцать лѣтъ спустя, когда моя первая пьеса *Миражи* прошла на сценѣ Малаго театра, я привезла Л. И. Поливанову печатный экземпляръ. Но Левъ Ивановичъ былъ боленъ, меня не приняли. Я уѣхала, передавъ ему пьесу съ надписью. Черезъ нѣсколько времени Левъ Ивановичъ умеръ, и наше свиданіе не состоялось. Я навсегда сохранила благодарную память Льву Ивановичу за его прекрасное ко мнѣ отношеніе.

Въ 1882 г. измѣнивъ всѣмъ моимъ цѣлямъ и взглядамъ на бракъ, я вышла замужъ за А. В. Вербицкаго, оставила казенное мѣсто въ институтѣ и тогда началась для меня жизнь, полная самаго разнообразнаго труда, давшая мнѣ большой жизненный опытъ и обширное поле для наблюденій. Чтобы помогать мужу—содержать большую семью, я бралась за уроки, была приходящей гувернанткой, учительницей въ городскихъ школахъ, затѣмъ въ женскихъ гимназіяхъ, была переводчицей, корректоромъ, публицистомъ. Въ 1883 г. я поступила въ редакцію газеты *Русскій Курьеръ*, сперва какъ переводчица, затѣмъ, какъ одинъ изъ главнѣйшихъ сотрудниковъ. Я вела самостоятельно политическій отдѣлъ и зарабатывала до десяти рублей въ сутки, получая *2 коп. за строчку*! Не легко это было, но давало огромное удовлетвореніе. Я страстно любила свое дѣло. Во время моей долгой, опасной болѣзни мѣсто мое въ редакціи *Р. Курьера* было занято другими двумя сотрудницами; оспаривать свои права у нихъ я не стала. Но какъ разъ подъ праздники Рождества ко мнѣ заѣхалъ Ѳ. Н. Плевако, знакомый съ моими статьями въ *Р. Курьерѣ*, и предложилъ мнѣ ту же работу въ его маленькой возникавшей газетѣ *Жизнь* на 60 рублей. Помню, какъ я писала иностранное обозрѣніе за цѣлый годъ, съ какимъ наслажденіемъ я снова окунулась въ этотъ міръ политическихъ интересовъ, за которыми не переставала слѣдить въ своей вынужденной «отставкѣ». На другой день въ редакціи Ѳ. Н. Плевако сказалъ мнѣ: «Я гарантирую вамъ не 60, а 200 руб. въ мѣсяцъ, по 5 коп. строчка». И онъ сдержалъ свое слово. Къ сожалѣнію, газета закрылась черезъ четыре мѣсяца. Потомъ она перешла въ другія руки, и мы—сотрудники—разбѣжались, предпочитая остаться безъ заработка. Подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ событій, я написала свою первую повѣсть *Въ жертву идеи*. Тамъ была изображена талантливая женщина-труженица, съ недюжинными силами, гибнущая отъ каторжнаго литературнаго труда, не понятая и не оцѣненная, бросая свой вызовъ одинокаго—толпѣ. Мотивъ тотъ же. Храбрость писать дало мнѣ появленіе въ *Русск. Мысли* повѣсти моей сестры *Дошутилась* подъ псевдонимомъ Алексѣевой. Ник. Кон. Михайловскій далъ о ней лестный отзывъ, а Глѣбъ Успенскій отмѣтилъ эту повѣсть сестры, какъ одно изъ самыхъ талантливыхъ произведеній за послѣднія 5 лѣтъ (1878—1883). (Сестра моя умерла въ 1891 г.).

Я тоже отнесла свою повѣсть въ *Русск. Мысль* и не солгу, если скажу, что почти не жила въ ожиданіи отвѣта. Когда я получила приглашеніе пожаловать для переговоровъ, я все-таки не вѣрила въ свое счастье. И только когда В. М. Лавровъ объявилъ мнѣ, что повѣсть принята и пойдетъ въ ноябрѣ и декабрѣ 1885 г., у меня выступили слезы въ глазахъ. Мнѣ предложили, какъ новичку 50 р. съ листа. Боже мой! Да развѣ я спрашивала о гонорарѣ! Не помню, какъ я домчалась домой, какъ несли меня ноги по бульварамъ. Помню только, что на меня оглядывались и я всѣмъ радостно смѣялась въ лицо. Какая-то старуха продавала голубые стеклянные кувшинчики. Чтобы сдѣлать ей удовольствіе, я купила

нѣсколько штукъ. Нищенка подошла ко мнѣ, я отдала ей буквально все, что было въ кошелькѣ. Мнѣ хотѣлось, чтобы всѣ были счастливы и радостны въ этотъ чудный день. Всю ночь до разсвѣта я не сомкнула глазъ, восторженно плакала и смѣялась нѣсколько дней подъ рядъ, вообще походила на человѣка, утратившаго душевное равновѣсіе.

Потомъ я узнала и терніи писательской доли. Повѣсть вмѣсто конца 1885 г., уже набранная и прокорректированная, вышла только въ іюнѣ 1887 г. подъ чужимъ, ничего не говорившимъ мнѣ заглавіемъ *Разладъ*, а хуже всего — сокращенная почти на половину и искаженная вслѣдствіе этого до неузнаваемости. Это былъ остовъ отъ моей рукописи. Даже радость видѣть въ печати свое произведеніе не вознаградила меня за разочарованіе. Конечно, и критика не замедлила потрепать дерзкаго новичка, этотъ «лѣтній балластъ». Только въ 1900 г., издавъ эту повѣсть подъ заглавіемъ *Первыя ласточки*, я сказала въ ней впервые мои юношескія мысли — все, чѣмъ я жила и страдала въ свои двадцать лѣтъ. Немножко поздно, къ сожалѣнію...

Мнѣ часто потомъ ставили въ упрекъ, почему я молчала цѣлыхъ семь лѣтъ, такъ что дѣятельность мою нужно считать съ 1894 г., когда я стала писать уже безъ перерывовъ. Дѣло въ томъ, что я довѣрялась авторитету только одного журнала, который систематически возвращалъ всѣ мои рукописи, пока, наконецъ, я не увѣровала въ свою полную бездарность и не бросила писать.

Я была въ Петербургѣ въ 1894 г. и видѣлась тамъ впервые съ властителемъ думъ моего поколѣнія, Николаемъ Константиновичемъ Михайловскимъ. Онъ сказалъ мнѣ, что помнитъ мой *Разладъ* и предложилъ мнѣ дать разсказъ для *Рус. Богатства*. Нужно ли говорить, что я почувствовала — услыхавъ отъ него эти слова одобренія? Въ 1894 г. появился въ *Рус. Богатствѣ* мой разсказъ *Пробужденіе*. Поистинѣ это было и мое «пробужденіе». Съ тѣхъ поръ я пишу.

Меня упрекаютъ, что я мало забочусь о формѣ и стилѣ. Этотъ упрекъ справедливъ. Но трудно мнѣ отдѣлаться отъ этого недостатка, потому что литература никогда не была для меня самодовлѣющей цѣлью, а скорѣе средствомъ, орудіемъ борьбы и пропаганды. Я не интересуюсь, *какъ* написано произведеніе, мое ли, чужое ли? Мнѣ важно, *что* написано? Это уже дѣло цѣлаго міровоззрѣнія и съ этимъ ничего не подѣлаешь. Л. И. Поливановъ, поклонникъ искусства ради искусства, 20 лѣтъ назадъ упрекалъ меня не даромъ въ узкомъ *утилитаризмѣ*. Я такъ высоко ставлю литературу, что никогда, даже въ очень тяжелые годы нужды не рѣшалась дѣлать изъ нея ремесла. Не рѣшаюсь и теперь, и предпочитаю вотъ уже 15 лѣтъ давать уроки пѣнія въ женскихъ гимназіяхъ. Пишу только когда *сюжетъ* захватитъ меня всю, когда выношу какъ дитя свои образы и мысли. Пусть онѣ будутъ ошибочны: имъ никто не откажетъ въ искренности. И если я бужу «чувства добрыя» въ моемъ читателѣ, я считаю себя счастливой. Поэтому пишу сравнительно мало и рѣдко. За 15 лѣтъ

литературной работы я написала не болѣе 60-ти печатныхъ листовъ. Это составитъ въ годъ четыре листа.

Наконецъ, я не жалѣю теперь даже и о томъ, что вынужденно молчала въ теченіе семи лѣтъ. За эти годы мое міросозерцаніе радикально измѣнилось. Не осталось въ немъ камня на камнѣ. Какъ и раньше, я пишу о бракѣ, любви и семьѣ, о положеніи женщины, объ ея семейной и общественной безправности, о недостаткахъ ея воспитанія, объ ея грядущемъ освобожденіи,—но я иными глазами гляжу теперь на все, чѣмъ глядѣла 15 лѣтъ назадъ. Женскій вопросъ не является уже для меня чѣмъ-то обособленнымъ и самодовлѣющимъ, но лишь частью универсальнаго вопроса, одной изъ свѣтлыхъ струекъ могучаго и широкаго потока. Это выразилось въ моей повѣсти *Освободилась*, гдѣ героиня—поставившая себѣ узкую задачу—матеріальной независимости—неминуемо гибнетъ, безсильная для болѣе крупныхъ задачъ современности и разочарованная въ своей собственной узкой идеѣ. Поэтому глубоко ошибаются тѣ, кто на основаніи моей юношеской повѣсти считаютъ меня феминисткой. Пусть мое міровоззрѣніе — не есть стройное и законченное зданіе, а только руины стараго, — для меня онѣ дороже наслѣдственнаго и запыленнаго багажа принятыхъ на вѣру взглядовъ. Я искренно убѣждена, что,— говоря словами поэта—

«Neues Leben blüht in den Ruinen...»

А. Вербицкая.

НАШИ ОШИБКИ.

Повѣсть въ двухъ частяхъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Противоестественно презирать себя и желать быть инымъ, чѣмъ это возможно въ дѣйствительности...

Монтэнь.

Не жертвуй своимъ *я* ни дружбѣ, ни любви...

Ибсенъ.

I.

Надъ усадьбой безшумно падали сумерки. Повѣяло свѣжестью съ рѣки. Стадо за деревней прошло съ топотомъ и блеяньемъ. Защелкалъ кнутъ, заскрипѣли калитки—и опять водворилась тишина.

Отъ липовой аллеи на площадку легли длинныя тѣни. Цвѣты въ вазахъ на ступенькахъ террасы вдругъ сильно запахли, словно вздохнули всей грудью.

Странный видъ имѣла эта аллея! Причудливая фантазія екатерининскаго вельможи полтораста лѣтъ назадъ изуродовала стройныя липы—и всѣ деревья выросли «двурукими», съ искривленными стволами. Казалось, въ безысходномъ отчаяніи подымались къ небу эти зеленыя руки, о чемъ-то моля, на что-то жалуясь...

На террасѣ кипѣлъ самоваръ. А въ раскрытыя окна виденъ былъ накрытый обѣденный столъ. Хозяинъ съ гостями замѣшкался на охотѣ. Но жизнь семьи шла своимъ чередомъ. Дѣти, хозяйка и бабушка отобѣдали въ свое время. Молодая барыня ушла на рѣку купаться. Съ террасы были видны тамъ, внизу, ея бѣлое платье и алый зонтикъ. Когда она шла назадъ, солнце уже сѣло.

Старая барыня, приложивъ руку щиткомъ къ глазамъ, пристально глядѣла на приближавшуюся женщину въ бѣломъ. Несмотря на свои пятьдесятъ пять лѣтъ Софья Григорьевна была стройна и черноволоса, съ пріятнымъ лицомъ и еще молодыми глазами. Никто въ усадьбѣ не видалъ ее безъ корсета и кружевной наколки. Она вставала первая въ домѣ и ложилась позже всѣхъ. И какая бы ни была погода, она неизмѣнно гуляла передъ сномъ въ липовой аллеѣ парка, расчищенной даже зимой, и сидѣла на старой скамьѣ, подъ столѣтнимъ деревомъ. На этой скамьѣ десять лѣтъ назадъ умеръ ея мужъ.

Софья Григорьевна никогда не возвышала голоса, но весь домъ

трепеталъ передъ ней. Сынъ не вставалъ изъ-за стола, не поцѣловавъ красивой тонкой руки, не уѣзжалъ изъ дома безъ ея напутственной улыбки, очаровательной, какъ и въ дни ея юности. Одни внуки, любившіе безъ памяти баловницу-бабку, не терялись передъ этой женщиной, умѣвшей всѣхъ покорять однимъ взглядомъ.

Вотъ они примчались, крошечные, съ свѣжими отъ купанья щечками, такіе милые въ своихъ бѣлыхъ костюмахъ... Съ лепетомъ и смѣхомъ они кинулись къ бабкѣ, уронивъ ея вязанье. Она страстно цѣловала ихъ личики. Какъ оба они похожи на ея Леву!..

Бѣлая женщина подходила къ усадьбѣ. Софья Григорьевна еще разъ сощурилась на нее и молодые глаза ея вспыхнули.

Дѣти весело болтали за столомъ.

Сумерки все падали, и липовая аллея становилась такой задумчивой.

Бонна внесла лампу. Дѣтскіе глазенки слипались отъ свѣта. Лѣниво допивалось молоко.

Бѣлая женщина вдругъ вынырнула изъ полутьмы аллеи. Легкіе шаги зазвучали на ступенькахъ.

Софья Григорьевна низко наклонилась надъ чашкой.

— Они еще не спятъ?..—прозвучалъ молодой голосъ, такой нѣжный, но въ немъ вѣялъ холодокъ.—И никто не вернулся?

— Нѣтъ еще... Я начинаю безпокоиться... А ты?

Софья Григорьевна впилась глазами въ это блѣдное лицо.

Молодая женщина пожала плечами и холодно выдержала взглядъ свекрови.

— Обычная исторія... Увлеклись охотой... Дѣти... Спать пора!..

Ольга Владимировна вошла въ домъ.

Старая барыня обернулась и проводила горячимъ взглядомъ эту худенькую, дѣвственную фигурку, такую хрупкую и нѣжную, съ маленькой головкой на красиво поставленной шеѣ, съ тяжелой зо-

лотой косой, съ мраморной бѣлизной холоднаго, словно точенаго профиля...

Затуманенный взглядъ ея упалъ, наконецъ, на дѣтей. Какая мирная картинка счастливой семьи!

— Ну, милые мои... кончили?.. Теперь баиньки...

Вдругъ у террасы внизу выросла чья-то тѣнь.

— Кто это?.. Что тебѣ?..—спросила Софья Григорьевна, узнавая сына старосты, мальчика Алешу.

Онъ молчалъ. Свѣтъ лампы падалъ на его лицо, бѣлое, какъ цвѣты нарцисса, подымавшіе въ газонахъ свои головки навстрѣчу ночи.

Старая барыня содрогнулась всѣмъ тѣломъ. Ужасъ, глядѣвшій изъ зрачковъ ребенка, проникъ въ ея сердце, какъ рвущій холодъ ножа.

— Что такое?..—хрипло спросила она.

Тогда мальчикъ обернулся лицомъ къ аллеѣ и пролепеталъ одно только слово:

— Несутъ...

Она открыла ротъ, чтобъ спросить еще, но вопль вырвался изъ ея горла. Она поняла. Быстро, какъ дѣвушка, она сбѣжала со ступенекъ и кинулась въ аллею.

Его несли. Печальная процессія тяжко, медленно двигалась по липовой аллеѣ. Глухо топоча, глухо шепчась, понуривъ головы, шли мужики.

— Лева!.. Лева-а...а...—Раздирающій вопль какъ бы разорвалъ тишину и повисъ въ чуткомъ воздухѣ. Его слышали всѣ въ усадьбѣ... Мужики вздрогнули и неловко остановились. Умирающій застоналъ.

Она подбѣжала и рухнула на колѣни. Носилки опустили наземь, и мать увидала бѣлое лицо, въ сумеркахъ казавшееся мертвымъ.

— А... а... а... — протяжно и дико кричала она, судорожно хватая то инертную руку, то вяло качавшуюся на импровизированной подушкѣ голову. Мужики сняли шапки. Кто-то перекрестился. Кто-то успокаивалъ мать, подымалъ ее за плечи, говорилъ, что за докторомъ уже послано, что нельзя терять надежды. Кто-то велъ ее, держа за талію, къ дому, куда несли ея сына...

— Ужасъ!.. Ужасъ!..—говорилъ знакомый голосъ.—Роковая неосторожность. Онъ былъ такой веселый на завтракѣ... Дѣйствительно, было выпито много. Но кто могъ бы думать?.. Онъ ошибкой взялъ ружье, еще съ зимы заряженное пулями... Должно быть, неловко зацѣпился, падая, за что-то — и зарядъ попалъ ему въ грудь... Счастье еще, что онъ не страдаетъ... онъ безъ сознанья...

Она ничего не поняла изъ этой безпорядочной рѣчи, кромѣ того, что онъ это сдѣлалъ *самъ*.

Черезъ террасу, мимо испуганно плакавшихъ дѣтей, которыхъ любопытная бонна не торопилась увести, умирающаго пронесли въ залу, затѣмъ въ кабинетъ внизу, гдѣ онъ жилъ холостякомъ весь этотъ годъ.

Ольга Владимировна сверху, изъ своей комнаты, рядомъ съ дѣтской услыхала этотъ крикъ свекрови... Не двигаясь, она изъ окна глядѣла на приближавшуюся процессію, слышала протяжный, немолчный вой свекрови, видѣла, какъ она шла, шатаясь, почти падая въ чьихъ-то объятіяхъ.

Въ лицѣ ея, обычно—блѣдномъ и гладкомъ, какъ алебастръ, не было ни кровинки. Но она не крикнула, не пошатнулась. Когда внизу протопотали сапоги мужиковъ, она беззвучной походкой скользнула изъ комнаты.

Въ залѣ ей попались плачущія дѣти. Дѣвочка истерически всхлипывала.

— Ведите ихъ наверхъ,—глухо сказала она боннѣ, глядѣвшей на нее въ замѣтномъ ужасѣ. Потомъ наклонилась надъ дѣтьми, поцѣловала ихъ бѣгло, разсѣянно.

— Полно... полно, дѣтки... Папа ушибся на охотѣ... Завтра будетъ здоровъ... Не оставляйте ихъ...—властно добавила она и поглядѣла на бонну сверкнувшимъ внезапно взглядомъ. Та съежилась какъ-то вся и заторопилась.

— Arme... arme Kinder...—думала она, поднимаясь по лѣстницѣ.

II.

Она вошла въ кабинетъ и остановилась у двери, беззвучная какъ тѣнь. Никто не замѣтилъ ея прихода. Софья Григорьевна на колѣняхъ передъ диваномъ рыдала, уткнувшись лицомъ въ подушку, рядомъ съ черноволосой головой. Мужики вышли. Помѣщикъ и другіе два охотника изъ сосѣдняго города, которыхъ ждали нынче къ обѣду, говорили возбужденнымъ полушопотомъ и всѣ разомъ, стоя къ двери спиной. Обсуждался роковой случай... Да полно!.. Случай ли это? *Онъ* былъ подозрительно веселъ и нервенъ весь день... Пилъ много... А весь этотъ годъ велъ себя такъ странно... То хандрилъ, то кутилъ...

— Помните скандалъ въ клубѣ, весной?.. Съ мужемъ Пименовой?..

— Да ужъ онъ ее бросилъ тогда...

— Неужели-жъ вы предполагаете самоубійство?.. Изъ-за чего?

— Онъ проигралъ много этотъ годъ...

— Вздоръ... Что то важнѣе...

— Я, представьте, всегда чувствовалъ, что онъ такъ кончитъ...

— Быть не можетъ...

— Что-то у него было въ глазахъ... этакое...

— У нихъ, знаете, съ женой было неладно...

Они сблизились тѣснѣе и понизили голоса.

Ольга Владимировна стояла недвижно.

Немигающій взглядъ ея приковался къ черноволосой головѣ и

лицу бѣлому, какъ эта подушка, на которой оно лежало. На темномъ фонѣ ковра отчетливо отдѣлялся энергичный профиль, острая темная бородка, плотно сомкнутыя уста... Еще недавно эти нѣмыя уста такъ страстно цѣловали ее, шептали такія горячія, униженныя мольбы... Еще недавно... Неужели замолкли? Не можетъ быть... Она слышала эти угрозы... не дальше, какъ вчера... Но ихъ было столько за этотъ годъ!.. И всѣ эти семь лѣтъ ея замужества, забытыя мелочи, минуты счастья, страданья, муки и радости материнства, — все, что далъ ей этотъ человѣкъ, подымалось со дна души и падало, смѣняясь другимъ воспоминаніемъ и таяло безслѣдно въ чувствѣ всепоглощающаго ужаса передъ непоправимымъ и неизбѣжнымъ, которое проникало ее съ каждымъ мгновеніемъ сильнѣе, какъ проникаетъ тѣло холодъ, когда станешь зимой подъ открытой форткой.

Раздался топотъ верховой лошади, затѣмъ грохотъ колесъ по мощеному двору...

— Докторъ,—сказалъ кто-то.

Всѣ оглянулись и увидали Ольгу Владимировну. Увидала ее и свекровь.

— А...—глухо, съ угрозой протянула она и сѣла на полу.

Секунду обѣ женщины глядѣли, не мигая и молча въ зрачки другъ другу, среди мертвой тишины.

Стукнула дверь.

— Наконецъ-то!..—сказалъ помѣщикъ.

Всѣ подошли къ хозяйкѣ, потомъ къ доктору.

— Онъ умретъ?..—хрипло и громко спросила Софья Григорьевна, не отвѣчая на поклонъ доктора.

— Успокойтесь, сударыня... Мы употребимъ всѣ силы, чтобы спасти его... Господа, я попросилъ бы васъ удалиться... Подробности дѣла мнѣ уже извѣстны... А вы, Ольга Владимировна, пожалуйста, останьтесь... Да нельзя ли прислать лакея, кого-нибудь?.. Раздѣть надо...

Прислуга вся толпилась за дверями и въ передней.

Обѣ женщины остались въ кабинетѣ.

Софья Григорьевна сѣла на стулъ въ изголовьѣ. Ольга Владимировна подошла къ окну, закрыла его и осталась тамъ, глядя въ паркъ. И всѣ эти мучительныя минуты осмотра, въ ожиданіи рокового отвѣта, подъ стоны умирающаго, ея широко открывшіеся глаза, какъ бы застывшіе въ выраженіи ужаса, проникавшаго ее теперь всю, до мозга, глядѣли передъ собой, почти не мигая и ничего не видя.

— Ему больно?..—крикнула Софья Григорьевна, услыхавъ стоны.— Осторожнѣе, говорю вамъ!..

— Не безпокойтесь, сударыня... Онъ безъ сознанья...

Осмотръ кончился.

— Ну что же?..—съ дрожью въ голосѣ вырвалось у матери...—Ну, говорите!..

Она схватила руку врача.

Тогда и Ольга Владиміровна обернулась отъ окна и выпрямилась.

— Сударыня, не смѣю васъ обманывать... Надежды нѣтъ...

— Умираетъ?..

Этотъ страшный вопль слышали всѣ за дверью и въ залѣ. Всѣ поняли, что драма кончена.

— Безнадеженъ... Извлекать пулю — только безполезная трата времени... Онъ не придетъ въ себя больше... Все-таки за священникомъ пошлите... Еще успѣетъ отходную прочесть.

Онъ обернулся уже къ молодой хозяйкѣ, потому что старуха сползла всѣмъ тѣломъ на полъ и билась въ судорожныхъ рыданіяхъ, колотясь головой о диванъ.

Ольга Владиміровна пошла провожать доктора, двигаясь какъ лунатикъ.

Проходя мимо дивана, она тѣмъ же широко открытымъ взоромъ поглядѣла въ бѣлое лицо съ страдальческимъ изломомъ бровей. Неужели конецъ?.. Всему... И ея униженіямъ? И его обидамъ? И этой глухой, тайной борьбѣ между ними?..

Пока читали отходную, она не проронила ни слезинки, хотя всѣ плакали, женщины навзрыдъ. Кто-то принесъ дѣтей, заспанныхъ, въ рубашенкахъ и плачущихъ.

Тогда она словно очнулась.

— Къ чему это?.. Зачѣмъ?.. Унесите!..—строго крикнула она.

Священникъ ушелъ. Гости разъѣхались. Въ домѣ ходили на цыпочкахъ, говорили шопотомъ. Глухія рыданія и безсвязный лепетъ доносились изъ кабинета. Это мать оплакивала свое дитя.

Ольга Владиміровна потрогала ручку двери. Она была заперта.

Долго подавляемая, затаенная при жизни сына ревность къ невѣсткѣ бѣшено вспыхнула сейчасъ въ старомъ сердцѣ, уставшемъ страдать. Мать ни съ кѣмъ не хотѣла дѣлить этихъ послѣднихъ минутъ; она отнимала у своей соперницы право принять послѣдній вздохъ...

Ольга Владиміровна стиснувъ губы, постояла за дверью, потомъ медленно поднялась наверхъ, раскрыла окно и сѣла на подоконникъ.

III.

Ночь была черная, душная. Луна еще не показывалась изъ-за парка. Она всходила поздно. Липовая аллея казалась грозной въ своемъ безмолвіи и неподвижности. Какая тьма была тамъ!

Съ террасы и изъ залы падалъ яркій свѣтъ на красный песокъ площадки и на цвѣточныя клумбы. Но тѣмъ таинственнѣе и загадочнѣе казалась глухая тьма за этой яркой чертой...

Вотъ въ эту тьму *онъ* уйдетъ сейчасъ, навсегда... Она ничего не чувствовала. Она словно окаменѣла...

Ея окно приходилось какъ разъ надъ кабинетомъ.

Она взглянула внизъ. Свѣтъ изъ окна падалъ на песокъ. Какой то предметъ частью попалъ въ полосу свѣта, но весь тонулъ въ густомъ мракѣ. Она глядѣла съ безцѣльнымъ любопытствомъ, напрягая зрѣніе...

— Ахъ, да!.. колясочка Сережи...

Она вспомнила, какъ вчера вечеромъ, когда мальчика передъ сномъ катали на площадкѣ, *онъ* изъ окна кабинета позвалъ бонну и она подала ему въ окно на руки его любимца. Онъ вынесъ его къ чаю на террасу самъ. А коляска тамъ осталась...

И вдругъ ясно-ясно вспомнился весь ихъ разговоръ третьяго дня, тамъ въ аллеѣ.

— Это не жизнь,—говорила она страстно.—Это мука... Ты оскорбляешь меня на каждомъ шагу...

— Я люблю тебя...

— Пойми же, что такая любовь обида... Невыносимая обида... Ты всѣ замки у меня испортилъ. Я не могу запереться... Ты караулишь меня въ паркѣ... Это травля... возмутительное насиліе... Только дикари могутъ такъ поступать съ женщиной...

— До какихъ абсурдовъ ты договорилась, Ольга!.. Моя любовь—оскорбленіе... Мои права надъ тобой—насиліе...

— Права?.. — Она обернулась къ нему, вся дрожа. — Кто далъ право одному человѣку надъ душой и тѣломъ другого?.. Берегись... При первой твоей обидѣ я уйду... даже безъ дѣтей... Я устала прощать.

— Это интересно!.. Къ кому же ты пойдешь?

Она промолчала, ошеломленная.

— Я не пущу тебя никуда,—продолжалъ онъ голосомъ, дрожав-

шимъ отъ страсти и горечи.—Я все и всѣхъ на ноги подыму, но ты не уйдешь отъ меня... Сознайся, что ты просто полюбила другого и потому хочешь свободы...

— Кого же?...

— Ахъ, почемъ я знаю!.. Только влюбленная въ другого женщина можетъ быть такъ безжалостна и глуха ко всему?.. Ну, я виноватъ передъ тобой... Сознаюсь... Другія жены прощаютъ... Чѣмъ ты лучше другихъ?.. Какая холодность! Ты даже не умѣешь скрыть отвращенія... И это убиваетъ меня, Оля... убиваетъ... Этого я не переживу...

— Я это давно слышу... Но это не мѣшаетъ тебѣ жить... И даже наслаждаться жизнью...

— Боже мой!.. Что-жъ мнѣ было дѣлать?.. Вѣдь я—не старикъ... Я и такъ терзался почти годъ... Не тебѣ упрекать меня... Ты сама толкала меня на это... И если бы ты ревновала, я былъ бы счастливъ... Но и это тебя не тронуло...

— А ты этимъ мечталъ меня вернуть?..—И она засмѣялась такъ тихо-тихо, но онъ весь задрожалъ отъ этихъ звуковъ.

— Боже мой!.. Ты говоришь о Пименовой... Оля... знаю. Это было безуміе... отместка... бравада... Я самъ не знаю, что... Я хотѣлъ разбудить твою ревность... Но вѣдь я уже бросилъ ее давно... Мнѣ всѣ противны... Только о тебѣ мечтаю.... Ну что ты можешь поставить мнѣ въ укоръ за эти полгода?..

Она все также смѣялась, тихо, но уничтожающе.

Онъ упалъ передъ ней на колѣни, обнимая ноги ея, ловя руки, весь дрожа. Онъ молилъ простить его за прошлое... за *ту*, первую вину... Онъ повторялъ то же, что и годъ назадъ, что порядочныя женщины не ревнуютъ къ такимъ ничтожнымъ измѣнамъ... Всѣ измѣняютъ такъ... всѣ... Безъ этого нельзя прожить... Все это дѣло случая... И одна физіологія, не больше... Его душа тутъ ни при чемъ... Онъ никогда никого не любилъ, кромѣ нея...

— И безъ любви обнималъ другую женщину, съ той же страстью, какъ и меня когда-то?.. Въ чемъ же разница? И въ чемъ эта великая любовь ко мнѣ, которая „никогда не угасала“?..

— Не то... не то!..—изступленно кричалъ онъ...—Ничего похожаго... Все такъ ничтожно, блѣдно!..

— Тогда зачѣмъ же ты самъ шелъ всему навстрѣчу? И изъ-за этого „ничтожества“ разбилъ мою душу?

Эта иронія, эта жгучая горечь подавляли его. Онъ терялся, приходилъ въ бѣшенство, оскорблялъ ее, потомъ опять падалъ на колѣни и клялся, что не переживетъ ея отчужденія.

— Я это давно слышу,—повторила она.

Онъ вздрогнулъ весь, съ головы до ногъ.

— Ты хочешь моей смерти?..—спросилъ онъ глухимъ звукомъ.

835654

Она обернулась и пристально поглядѣла ему въ самые зрачки.

— Нѣтъ... если есть выходъ изъ этой невозможной жизни, которую ты мнѣ сдѣлалъ за этотъ годъ...

— Ты хочешь моей смерти?..—повторилъ онъ съ рыданіемъ въ голосѣ, глядя на нее умоляющими глазами.

(Ольга Владиміровна содрогнулась сейчасъ, вспомнивъ эту минуту).

— Да...—твердо отвѣтила она.—Да, если другого выхода нѣтъ... Кому-нибудь умереть надо... если ты не дашь мнѣ начать новую жизнь... Либо тебѣ... либо мнѣ...

Онъ выпустилъ ея руки и упалъ на скамью. Плечи его трепетали и голова билась о спинку диванчика.

Она помнитъ, она ясно помнитъ, что ей стало его жаль... Жаль человѣка, который страдалъ на ея глазахъ.

— Не плачь, Лева...—тихо-тихо сказала она и положила руку ему на голову.

Но онъ встрепенулся, услыхавъ эти звуки забытой нѣжности. Съ воплемъ онъ схватилъ ее въ объятія и зарыдалъ опять на ея груди.

И она чувствовала, какъ умираетъ въ груди ея ненависть, какъ меркнетъ въ ней злоба, обида, невыносимая обида, которая жгла ее цѣлый годъ. Плачущій, жалкій, безвольный—онъ казался ей теперь не тѣмъ органически-враждебнымъ и чужимъ ей существомъ, чувственнымъ, грубымъ и эгоистичнымъ, который любилъ въ ней всѣ эти годы только источникъ своего наслажденія. Она видѣла въ немъ человѣка, жалкую игрушку случайностей, безъ свободной воли и выбора,—какъ и всѣ кругомъ,—жертву стихійныхъ страстей, слѣпое орудіе въ рукахъ—судьбы что ли, природы ли?.. той темной, грозной и тайной силы, которая влечетъ человѣчество по неизвѣстному пути, къ неизвѣстной цѣли, къ миражу счастья, недосягаемаго на землѣ... заставляя его бороться за любовь, охладѣвать, измѣнять и бѣжать дальше за тѣми же иллюзіями, которыя обманутъ...

Онъ истолковалъ иначе ея молчаніе и нѣжность. Она оттолкнула его, возмущенная.

— Уйди!.. Ты мнѣ чужой... Ты ничего не понимаешь въ моей душѣ... хотя мы и прожили съ тобой семь лѣтъ... и у насъ было трое дѣтей... Страшно подумать, до чего ты мало меня знаешь!.. Неужели ты думаешь, что такія женщины, какъ я, отдаются безъ любви и безъ иллюзій?..

— Изъ жалости...—простоналъ онъ...

— Никогда!

Ни тѣни сомнѣнья, ни тѣни колебанья не было въ этомъ лицѣ, въ этомъ голосѣ.

Онъ молча глядѣлъ на жену нѣсколько мгновеній.

— Ты, значитъ, никогда не простишь меня?.. Никогда не согласишься?

Она услыхала въ его тонѣ глухую угрозу, но она поняла только потомъ значенье этого вопроса. Тогда она только опять засмѣялась съ горечью:

— Счастливцы вы, непосредственныя натуры!.. Какъ все это наивно у васъ звучитъ!.. Какъ просто и ясно все для васъ!.. Ты вчера ударилъ Ивана за то, что онъ разбилъ севрскую чашку твоей матери...

Онъ поднялъ голову и посмотрѣлъ на нее спокойно, но разсѣянно, очевидно думая что-то свое.

— Когда я возмутилась твоей грубостью, ты въ оправданіе сказалъ мнѣ, что это цѣнная вещь, а склеить ее нельзя, потому что она разсыпалась въ прахъ...

— Ну?..

— Неужели ты думаешь, что разбитую душу можно склеить?.. Что она менѣе цѣнна, чѣмъ твой фарфоръ?.. Любовь живетъ или умираетъ въ сердцѣ.. Средины нѣтъ... И я не люблю тебя больше...

— Даже ненавидишь?..—подхватилъ онъ, все съ тѣмъ же зловѣщимъ спокойствіемъ.

— Да... Не хочу лгать... Я слишкомъ озлобилась... Я ненавижу тебя минутами и равнодушна къ тебѣ... когда ты далеко...

Кто-то позвалъ ее. Она пошла къ дому.

Онъ простился съ ней, все также неестественно спокойный, глядя ей вслѣдъ воспаленнымъ и тяжелымъ взглядомъ маніака.

Ольга Владиміровна поднялась съ окна, вся дрожа отъ воспоминанія, съ запылавшими щеками.

Это было вчера... только вчера... Онъ подстерегъ ее, когда ночью она гуляла въ паркѣ. Ея борьба, мольбы, упреки, слезы, — все было напрасно. Ея руки, ея тѣло и сейчасъ болятъ отъ насилія, отъ бурнаго натиска этой бѣшеной страсти, сломившей ее, раздавившей всю, почти уничтожившей...

Глядя ей близко-близко въ глаза, онъ шепталъ ей глухо и все съ тѣмъ же страннымъ, упорнымъ спокойствіемъ:

— Я знаю, что гибну... Ты мнѣ этого не простишь... Ну что-жъ?.. Жить безъ тебя я все равно не въ силахъ... Одинъ конецъ...

— Оля!.. звучитъ и сейчасъ въ ея ушахъ этотъ трагическій звукъ его словно незнакомаго ей голоса.—Изъ жалости хотя отвѣть... на одинъ поцѣлуй... На одинъ мигъ перестань проклинать меня... Вѣдь я за него заплачу жизнью...

И потомъ, когда она разбитая, почти падая отъ изнеможенія, шла къ себѣ, не имѣя силы даже говорить, онъ повторилъ ей тѣмъ же голосомъ, глухимъ и спокойнымъ:

— Ты мнѣ не простишь... Намъ нельзя встрѣчаться...

Она шла впередъ, не глядя.

Въ концѣ липовой аллеи, передъ площадкой онъ удержалъ ее за руку. Подымавшаяся изъ-за дома луна озарила его лицо.

— Объ одномъ прошу, Оля... Чтобъ мать никогда не догадалась... Не бросай ее...

Она сдѣлала невольное движеніе, чтобы уйти. Даже прикосновеніе его было ей ненавистно.

— Неужели ты не поцѣлуешь меня? — съ жгучей болью вырвалось у него.

— Только мертваго...—отвѣтила она и посмотрѣла ему въ дрогнувшее лицо, въ остановившіеся зрачки.

Онъ выпустилъ ея руку и она пошла въ домъ. Она ясно прочла въ его лицѣ смерть... Но сердце ея не дрогнуло.

Нѣтъ! Ей нужно было это удовлетвореніе—какъ оскорбленному нужна на дуэли кровь его врага. Она вѣрила, что ненавидитъ его... Ну, вотъ... Онъ и сдержалъ слово...

Она вдругъ остановилась...

Изъ кабинета донеслись глухія рыданья...

Она опять заметалась по комнатѣ, стараясь понять, осмыслить, измѣрить всю глубину, весь ужасъ случившагося.

Онъ уѣхалъ рано утромъ на охоту, прежде чѣмъ кто-либо проснулся въ домѣ. Даже имѣлъ мужество оставить матери записку, что всѣ они съ охоты заѣдутъ обѣдать. Никто не долженъ былъ догадаться объ ихъ послѣднемъ свиданьи, объ этомъ *договорѣ*.

Ольга Владиміровна застонала. Сердце ея вдругъ дрогнуло и расширилось отъ страстной жалости, той жалости, которой она не знала вчера къ этому сильному, влюбленному человѣку. Ненависть умерла... Забытая, казалось, навѣки угасшая любовь зашевелилась на самомъ днѣ этого сердца. Стало вдругъ такъ страшно, что духъ захватило. И слезы, которыхъ не было весь день, хлынули изъ ея глазъ.

Неужели это она... *она* послала его на смерть?.. Они оба были безумны... оба потеряли голову... Нѣтъ! Она не могла желать этой смерти... Не могла она вѣрить, что на этотъ разъ онъ выполнитъ старую угрозу!.. Почему онъ не подождалъ?.. Она простила бы. Да! То, что вчера казалось невозможнымъ, было такъ просто *теперь*... А потомъ?..—вслухъ спросила она себя.—Опять это рабство страсти, ревность, подозрѣнія? Новый обманъ и новыя униженія?..

Она рыдала, стоя на колѣняхъ передъ стуломъ и уронивъ на него голову.

Все заколебалось въ ея душѣ.

Въ открытое окно дышала жаркая ночь. Одуряющій, сладкій запахъ цвѣтущей липы проникалъ въ комнату, что-то напоминая, что-то будя... Вспоминались угасшія иллюзіи, которыми такъ красна жизнь. Вставали въ ночной тиши старыя чары, подъ властью которыхъ она жила семь лѣтъ. Просыпалась любовь, вспыхивали жгучія сожалѣнія, душила невыносимая тоска, сомнѣнія въ правотѣ своей, раскаяніе...

Софья Григорьевна стояла на порогѣ, растрепанная, растерзанная... съ трясущейся головой...

(Стр. 103).

(*Рис. Е. Вилліамъ*).

T YORK
PU BRARY
A LENOX
TILD NDATIONS

Она вскочила.

Нѣтъ!.. Силъ не хватаетъ сидѣть тутъ, одной... Къ нему!.. Поцѣловать это бѣлое страдальческое лицо, пока оно живо, пока еще тепло... „Только мертваго...“ звучало въ ея ушахъ... О, жестокость какая!.. Скорѣй... Туда... Пока не поздно... Со смертью не считаются...

Она оглянулась и ахнула.

Софья Григорьевна стояла на порогѣ, растрепанная, растерзанная, съ трясущейся головой.

— Умеръ?.. — сорвалось съ побѣлѣвшихъ устъ Ольги Владимировны.

Та стояла молча и недвижно. Только голова ея все тряслась и запавшіе глаза глядѣли съ ненавистью.

— Убійца... проклятая!..—сказала она наконецъ.

Молодая женщина глухо крикнула и кинулась къ двери. Старуха загородила ей дорогу.

— Пустите... Пустите... говорю вамъ!.. изступленно закричала Ольга Владиміровна, оттолкнула свекровь и побѣжала внизъ по лѣстницѣ.

На столѣ въ кабинетѣ горѣла свѣча. Когда дверь отворилась, пламя ея судорожно затрепетало. По мертвому лицу побѣжали тѣни. Оно, казалось,—ожило, казалось—дрогнуло...

Съ воплемъ Ольга Владиміровна рухнула на колѣни передъ трупомъ, захватила эту теплую еще голову и покрыла горячими, трепет-

ными поцѣлуями сомкнувшіяся рѣсницы, бѣлый лобъ съ полоской загара у бровей, эти нѣмыя уста... Нѣтъ... Онъ не умеръ... Онъ услышитъ... почувствуетъ...

— Прости меня... Прости... Лева, я люблю тебя... Слышишь ты?.. Люблю...—лепетала она, не въ силахъ повѣрить, не въ силахъ примириться съ свершившимся...

IV.

Надъ усадьбой спустилась ночь. Старый паркъ задремалъ. Заснула и деревня. Но въ самой усадьбѣ никто еще не ложился. Сутки прошли съ тѣхъ поръ, какъ скончался молодой баринъ, но никто еще не умѣлъ примириться съ этимъ фактомъ, даже уяснить себѣ всего его рокового значенія. Прислуга пила чай, переговариваясь почти шопотомъ, стараясь быть все время вмѣстѣ, тревожная, выбитая изъ колеи. Въ дѣтской нѣмка никакъ не могла успокоить четырехлѣтнюю дѣвочку, которая истерически вскрикивала во снѣ и просыпалась поминутно, будя братишку.

Ольга Владимировна неподвижно сидѣла въ своей комнатѣ.

А старая барыня ходила тяжелой, мѣрной поступью по липовой аллеѣ. И всякій разъ, дойдя до площадки передъ домомъ, она останавливалась на мгновенье и глядѣла въ освѣщенныя окна нижняго этажа.

Тамъ, посреди залы, весь засыпанный цвѣтами, красиво задрапированный бѣлымъ тюлемъ лежалъ въ гробу ея сынъ.

Ночь была такъ тиха, что пламя трехъ свѣчей казалось неподвижнымъ. Молоденькая монашенка изъ сосѣдняго монастыря читала псалтирь. Лишь изрѣдка, послѣ короткой паузы, въ открытыя окна вылеталъ форсированный высокій звукъ ея надтреснутаго голоска, терявшагося подъ высокими сводами стариннаго зала съ хорами.

Софья Григорьевна отворачивалась и медленно шла назадъ въ аллею, тяжело ступая на всю пятку. И гравій на площадкѣ скрипѣлъ подъ ея шагами.

Она не спала ни минуты вотъ уже вторыя сутки. Слезъ уже не было. Она не вымолвила ни слова, не проглотила глотка чаю и отвернулась отъ дѣтей, которыхъ подвела къ ней бонна. Никто не смѣлъ тревожить ея мрачной скорби, ея одиночества.

— Владычица Пресвятая!..—зашептала старая нянька, увидавъ ее утромъ у гроба, надъ которымъ она просидѣла всю ночь.—Барыня-то наша вся посѣдѣла...

Видъ у нея былъ ужасный. Шелковое платье смято и растерзано, наколки на головѣ не было. Она ее потеряла гдѣ-то въ паркѣ. Весь подолъ—въ росѣ. И этотъ безпорядокъ въ гордой, вчера еще стройной, а нынче согнувшейся женщинѣ, съ угасшимъ взоромъ—имѣлъ что-то трагическое въ себѣ, что дѣйствовало даже на простыя души крестьянъ, толпой валившихъ къ покойнику.

Днемъ, когда она сидѣла у изголовья гроба, въ цвѣтникѣ раздался чей-то истерическій вопль.

— Барыня молодая плачутъ...—шопотомъ сообщила нянька, которая пришла перемѣнить увядшіе цвѣты.—Какъ посмотрятъ онѣ въ личико упокойничку, такъ и зальются...

— Гдѣ она?—глухо спросила Софья Григорьевна.

— Въ цвѣтникѣ, вѣнокъ свѣжій плетутъ...

Когда Ольга Владимировна вошла въ залу, съ свѣжимъ вѣнкомъ и съ фартукомъ, полнымъ цвѣтовъ, свекровь встала и ушла не глядя, но какъ бы говоря, что имъ рядомъ, у гроба вдвоемъ—тѣсно...

— Убійца...“—шептала Софья Григорьевна, бродя по липовой аллеѣ въ эту ночь. Когда прошло состояніе отупѣнія, смѣнившаго первый взрывъ ея жгучаго отчаянія, въ душѣ ея зашевелилась ненависть къ невѣсткѣ. Такъ шевелится змѣя, отогрѣтая послѣ зимней спячки лучами солнца... Лучше-бъ спала!.. Какъ тяжко ненавидѣть въ такія минуты, когда нельзя быть одной, когда хочется обнять близкаго человѣка и зарыдать на его груди!

Эту Ольгу она любила какъ дочь. Крошечную сиротку-племянницу привезли къ ней въ это имѣнье, черезъ полгода послѣ смерти ея единственной пятилѣтней дочери. Четырехъ мальчиковъ Софья Григорьевна схоронила въ одну зиму, года за два передъ тѣмъ. Остался въ живыхъ одинъ Лева. Ольга была странно похожа на маленькую покойницу, надъ портретами которой несчастная мать просиживала цѣлые дни въ мрачной апатіи, безучастная ко всему. Оля была такая же бѣленькая и хрупкая, съ тѣми же огромными и вдумчивыми глазенками,—печальными, какъ у взрослаго. Это фамильное сходство бросалось въ глаза и Софья Григорьевна съ первыхъ же дней страстно привязалась къ малюткѣ.

Когда дѣвочку привели въ дѣтскую къ Левѣ, черноволосому, румяному буяну,—онъ почувствовалъ къ ней симпатію за то, что она „тихенькая“ и будетъ его во всемъ „слушаться...“ Онъ запрегъ дѣвочку въ сани и больно отхлесталъ ее вожжами за то, что она не могла его свезти.

— Какая ты глупая!..—сердито говорилъ онъ, вполнѣ увѣренный въ своемъ правѣ стегать ее и бранить. Вѣдь она была такая маленькая, такъ бѣдно одѣта...

Дѣвочка глядѣла на него полными слезъ глазами, съ нѣмымъ укоромъ.

— Что это?..—испугалась Софья Григорьевна, войдя въ дѣтскую.

— Ты обижаешь ее?..

Оля улыбнулась.

— Нѣтъ... Нѣтъ... Онъ добрый... Я ушиблась... сама...

Мальчикъ глядѣлъ на нее, вытаращивъ глаза. Онъ старался понять. Когда мать ушла, обласкавъ дѣвочку, изъ чудныхъ глазъ ко-

торой скатились двѣ крупныя слезинки,—Лева снялъ со стѣны свою любимую игрушку саблю и протянулъ ее Олѣ.

— На!.. Возьми... Пожалуйста, возьми... И вотъ это тоже... и это... Все бери... Знаешь что?.. Я тебя очень полюбилъ...

Онъ неловко обнялъ ее за шею и поцѣловалъ холодную, блѣдную щечку. Какъ звѣздочки вспыхнули темные глазки и Оля взглянула въ смуглое личико мальчугана съ безпредѣльной нѣжностью. Она не имѣла игрушекъ, никогда не видѣла ласки. Она знала только нужду, да попреки. Взглядъ, которымъ она глядѣла на Леву, обѣщалъ ему любовь, вѣрную и глубокую.

Черезъ недѣлю уже Лева запрягался лошадкой, а Оля была кучеромъ. Болѣе развитая и утонченная, она руководила играми и подчинила себѣ незамѣтно этого вспыльчиваго, необузданнаго мальчика. Ея тонкая выдержка, ея насмѣшливый умъ замѣчались всѣми.

— Характерецъ будетъ большой,—говорила Софья Григорьевна съ гордой радостью.

Она не рѣшилась разстаться съ дѣвочкой и воспитывала ее дома. Много счастья дала ей эта Оля. Не даромъ Лева въ дѣтствѣ увѣрялъ, что она похожа на фею. Только ея голосокъ, ея улыбка могли разсѣять тоску Софьи Григорьевны по скончавшемся мужѣ.

Софья Григорьевна устала бродить и присѣла на старую мшистую скамью. Печально и неподвижно стояли надъ ней двурукіе зеленые великаны. Ихъ гигантскія тѣни ползли по землѣ. Свѣтъ луны съ трудомъ кралcя черезъ густолиственный сводъ и падалъ робкими блестками на песокъ.

Сколько пережито здѣсь!.. Вотъ въ этой аллеѣ, на этой скамьѣ...

Она вспомнила себя молодой и счастливой въ первый годъ свадьбы. Какія чудныя сказки въ эти іюльскія ночи шептали ей старыя липы!.. Жилось весело, шумно... Нарядныя парочки въ бальныхъ туалетахъ бродили здѣсь, мѣняясь тайнымъ поцѣлуемъ. И долго потомъ, когда онѣ исчезли,—кто состарившись, кто застрѣлившись, кто умеревъ своей смертью,—Софья Григорьевна въ лунныя ночи какъ бы видѣла эти праздничныя тѣни минувшаго, рѣявшія въ тишинѣ и какъ бы дрожавшія отъ безпечнаго, беззвучнаго смѣха...

Вспоминается ей одна ночь... тоже лунная... Софья Григорьевна проснулась на своей широкой дѣдовской двуспальной кровати. Мужа не было рядомъ.

Чего испугалась она? Неизвѣстно... Она вскочила и въ рубашкѣ, босикомъ вышла изъ спальни. Какъ странно иногда запоминаются мелочи!.. Теперь, черезъ тридцать пять лѣтъ она помнитъ залитые луннымъ свѣтомъ парадные покои, гостиную, боскетную, огромный залъ... Въ зеркалѣ какъ призракъ отразилась ея фигура, и на одно мгновенье, не узнавъ себя, она чуть не крикнула. Повинуясь какой-то темной силѣ, она шла какъ лунатикъ все впередъ, точно знала куда итти...

Въ дѣвичьей она услыхала шопотъ... Они даже не заперлись.

Она ихъ видѣла такъ ясно, въ тѣсномъ объятіи... Кажется, Глашка замѣтила барыню... Тогда Софья Григорьевна молча повернулась и пошла назадъ. Помнитъ она... Въ залѣ все такъ же свѣтила луна. Зеркала опять поочередно отразили бѣлую фигуру. Она даже лицо свое разглядѣла...

Оно показалось ей чужимъ...

Что было потомъ?.. Она надѣла—помнится—блузу, туфли и пришла сюда, вотъ въ эту аллею... Сколько бродила, не помнитъ. Но не плакала, нѣтъ. Только рѣшила уѣхать, взять сына съ собой...

Мужъ нашелъ ее въ паркѣ утромъ. При первомъ его словѣ она дала ему пощечину. Онъ ахнулъ и схватился за голову. Софья Григорьевна ушла къ себѣ и заперлась. Вызвали мать ея письмомъ. Она стояла на своемъ: „уѣду, возьму сына... Не прощу“...

Онъ валялся въ ногахъ, клялся, что любитъ жену всѣмъ сердцемъ, клялся никогда не оскорблять ее. Она осталась, простила...

Глашку сослали въ дальнее имѣнье... Но за Глашкой была Прасковья, потомъ Марья... Софья Григорьевна узнала, что была обманута съ первыхъ дней брака. Григорій Александровичъ былъ сластолюбцемъ, и на деревнѣ помнили его оргіи, когда онъ былъ холостякомъ.

Она много выстрадала, но все-таки любила—съ презрѣніемъ, съ отчаяніемъ въ душѣ. Она смирялась, прощала, чтобъ не разрушать семьи и не отымать у дѣтей отца. Мало того: она такъ воспитала этихъ дѣтей, что они считали образцовымъ семьяниномъ стараго паралитика, который потерявъ за границей послѣднее здоровье, пріѣхалъ доживать у семейнаго очага, требуя къ себѣ и заботы, и уваженія... Кромѣ старой няньки, знавшей тайны господъ и умѣвшей молчать, ни одна душа не проникла въ семейную драму, состарившую преждевременно эту сильную, властную женщину, которую всѣ въ уѣздѣ называли „святой“.

Онъ умеръ на рукахъ жены, и весь домъ ежегодно молился на панихидахъ за покойнаго барина, и Софья Григорьевна горячо и искренно оплакивала память его, какъ будто ничего кромѣ радостей она отъ него не видѣла.

„Да... Молодое поколѣніе не таково. У него нѣтъ состраданія. Онѣ не хотятъ прощать. Онѣ не умѣютъ смиряться“...—съ горечью думала Софья Григорьевна. Ей вспомнился истерическій вопль въ цвѣтникѣ...—„Плачь... плачь теперь и кайся, жестокое сердце!.. Ничего не вернешь уже... Конецъ“...

Она шла къ дому и чувствовала, какая буря ненависти къ Ольгѣ клокотала въ ея сердцѣ. Слезъ у нея уже не было. Только у горла давилъ клубокъ, и въ груди тоже что-то давило, тѣснило дыханье, то подымаясь къ горлу и душа, то опускаясь снова. Шевелился клубокъ дремлющихъ змѣй...

— Ступайте спать,—сказала она монашенкѣ.

Она осталась вдвоемъ съ сыномъ. Приподнявъ тюль, она поглядѣла въ прекрасное, строгое лицо, по которому уже расползались темно-зеленыя пятна,—приникла губами ко лбу. Холодъ его какъ бы ожегъ ея уста.

Она сѣла рядомъ, взяла мертвую руку въ свои, какъ бы безсознательно жаждая перелить въ нихъ собственный жаръ, и положила сѣдѣющую голову на недвижную грудь. Холодъ смерти проникалъ даже черезъ одежду и леденилъ ея щеку и високъ. Онъ проникалъ, казалось, до самого мозга... И тамъ постепенно гаснулъ огонь ненависти, желанье мести...

Они были одни...

— Лева... Лева...—шептала она, жадно, упорно глядя на опущенныя вѣки съ слипшимися рѣсницами.—Успокой мою душу... Отвѣть... Самъ ты сдѣлалъ это?.. Или нѣтъ?.. И за что?.. За что?

Она смолкала. И опять кругомъ стояла жуткая, напряженная тишина.

Въ открытыя настежъ окна глядѣла на нихъ черная іюльская ночь. Она молчала, такая же загадочная, какъ это зеленоватое лицо, какъ эти мертвыя уста, хранившія свою тайну.

Пламя свѣчей тянулось кверху, недвижное. Цвѣты умирали возлѣ трупа. Тяжелый ароматъ ихъ сгущался кругомъ, какъ страстная жалоба, какъ нѣмая тоска...

Они были одни...

На разсвѣтѣ она забылась на одно только мгновенье. И ей приснился сонъ. Она ясно, такъ ясно видѣла, какъ съ террасы въ залу вошелъ ея сынъ, такой стройный, изящный и веселый, какимъ онъ былъ семь лѣтъ назадъ.

Онъ подошелъ къ столу, гдѣ она сидѣла, положивъ голову на грудь покойника, ласково обнялъ ее и сказалъ:—„Олю спроси. Она тебѣ все скажетъ. А мнѣ хорошо. Не надо плакать... Теперь мнѣ хорошо“...

Она закричала отъ остраго блаженства, волной влившагося въ ея сердце,—и проснулась.

Свѣтало.

Все спало кругомъ. Попрежнему недвижно горѣли свѣчи, но уже холоднымъ желтымъ пламенемъ. Въ комнатѣ было душно отъ увядшихъ цвѣтовъ. Но къ ихъ тяжкому запаху примѣшивался еще другой, такой тонкой, острой струей. Это разлагался трупъ, полный соковъ.

Софья Григорьевна вскочила, шатаясь.

— Лева!..—крикнула она, протягивая руки къ террасѣ, къ цвѣтнику, куда скрылся сейчасъ ея сынъ. Она осязала еще его прикосновеніе... Да... она ясно слышала его голосъ, милый, нѣжный... Да, она вѣрила, что онъ приходилъ, что онъ здѣсь, незримо съ нею...

И *то*, надъ чѣмъ вчера она плакала, что обнимала ночью съ такой судорожной страстью, это мертвое, разлагающееся (она это слышала) тѣло—оно сразу стало ей чужимъ...

Поспѣшно разбудила она монашенку и сошла въ садъ, къ аллеѣ,—туда, гдѣ незримо рѣяла его безсмертная *душа*...

„Не надо плакать"...—звучало въ ея ушахъ.—„Теперь мнѣ хорошо"...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Утромъ всѣ поразились перемѣной въ старой барынѣ. Она вышла передъ панихидой, почти спокойная, и подошла къ невѣсткѣ.

— Оля...—сказала она горестно и просто,—и протянула руку.

Ольга Владимировна ахнула и упала къ ней на грудь.

— *Онъ* приходилъ ко мнѣ на зарѣ. Теперь я спокойна...—тономъ глубокаго убѣжденія говорила Софья Григорьевна, не замѣчая ужаса и опасенія въ глазахъ невѣстки.

„Несчастная... Вѣдь это бредъ,—думала Ольга Владимировна.—Она не перенесла"...

Но Софья Григорьевна своей бодростью оживила весь домъ.

— Родные вы мои,—сказала она, цѣлуя внучатъ.—Я о васъ забыла, мои крошки бѣдныя...

Она помнила обо всемъ. Послала за портнихой и всю ночь стучала машинка наверху, готовя семейный трауръ. Она разослала приглашенія, заказала поминальный обѣдъ для гостей, деревни и нищихъ, купила на кладбищѣ мѣсто сыну, рядомъ съ его отцомъ и съ своей собственной, давно уже купленной могилой. Дѣла было много—много, но она все одолѣла, во все вникла, обо всемъ позаботилась. Прислуга повиновалась ей радостно и любовно, какъ-то враждебно сторонясь отъ молодой хозяйки.

Похороны прошли торжественно. Софья Григорьевна не пала духомъ—даже въ ту ужасную минуту послѣдняго цѣлованія, когда покойника закрываютъ навсегда отъ близкихъ и гробовая крышка завинчивается навѣки, даже тогда, когда раздались истерическія рыданія Ольги Владиміровны, другихъ женщинъ и испуганныхъ дѣтей. Она подошла къ невѣсткѣ, которая билась головой на мертвой груди и судорожно цѣловала зеленое лицо,—она ласково обняла ее за талію и такъ вела ее до кладбища, вслѣдъ за печальной процессіей. Она сожалѣла всѣхъ этихъ несчастныхъ, не вѣрующихъ, которые цѣпляются за мертвые останки, забывая о безсмертной, нетлѣнной душѣ и о свиданьи *тамъ*, въ другомъ мірѣ.

„Счастливая!..—думала Ольга Владиміровна.—Какую силу черпаетъ она въ своей религіи! Она утѣшится... А я?“

Но она ошибалась. Похороны кончились, домъ опустѣлъ и нервная энергія Софьи Григорьевны изсякла. Она согнулась, состарилась разомъ и пошла подъ гору. Сынъ унесъ съ собой всю силу ея души, весь интересъ къ жизни. Угасшими глазами глядѣла она на внуковъ. Все хозяйство сдано было Ольгѣ Владиміровнѣ. Въ мрачной апатіи цѣлыми часами сидѣла Софья Григорьевна въ липовой аллеѣ, уходя мыслями въ прошлое.

Вспоминался ей сынъ, когда онъ кончилъ университетъ, его наѣзды въ имѣніе въ праздники и лѣтомъ. Какъ все оживало при немъ!.. Ихъ женскій „монастырь“, какъ она говорила,—ликовалъ отъ звуковъ его радостнаго смѣха, отъ его затѣй и причудъ, отъ добродушнаго юмора. Ничего общаго съ Ольгой даже тогда... Какъ могла возникнуть эта несчастная любовь?.. У Ольги и тогда уже было много запросовъ, большія способности, страстная жажда знанія и огромныя требованія отъ жизни. Это волновало Софью Григорьевну.—„Нельзя быть счастливой съ такой натурой,—говорила она не разъ.—Ей подай все или ничего. Любовь—такъ вѣчную любовь, счастье—такъ ужъ абсолютное,—непоколебимую вѣру... Ахъ, этотъ идеализмъ! Сколько горя онъ намъ даетъ!..“

Она была непослѣдовательна. Она просто забывала, что Ольга выросла подъ ея вліяніемъ. Изъ устъ Софьи Григорьевны дѣвушка слышала всегда восторженные дифирамбы семьѣ, любви,—жизни... Случалось, что узнавъ о скандалѣ въ сосѣдней семьѣ или на деревнѣ, Софья Григорьевна обмолвливалась скептически горькимъ замѣчаніемъ: „Этого слѣдовало ждать... Бѣдняжка... Всѣ *они* хороши“...

Но стоило только разгорѣться „принципіальному“, какъ они выражались, разговору, какъ Софья Григорьевна твердила съ увлажнившимися глазами, тономъ непоколебимаго убѣжденія, что „бракъ—это высшая форма общенія, это идеальный договоръ двухъ честныхъ и сильныхъ товарищей, исключающій какой бы то ни было обманъ и низость. Бываютъ ошибки, конечно, печальныя исключенія... Это ничего не доказываетъ, кромѣ дурного, безнравственнаго воспитанія. Любовь жены, матери есть высшее благо и самая чистая радость на землѣ,—говорила она.—Вѣрность жены и ея нѣжность—это лучшая гарантія семейнаго счастья“.

Шестнадцатилѣтняя Ольга приняла съ восторгомъ на вѣру всѣ эти слова. Встрѣчаясь съ пессимистами и скептиками, она приходила въ негодованье.—Какъ можно не любить жизни?.. удивлялась она.—Какъ можно не вѣрить въ человѣка?

Больше всѣхъ ее раздражалъ и поддразнивалъ мужъ Софьи Григорьевны, тогда уже разбитый параличомъ.—„Жизнь—фарсъ,—говорилъ онъ своими фатовскими интонаціями,—а мужчина—скотъ... Passez

moi le mot... И ничего разумнаго ни въ жизни, ни въ природѣ нѣтъ. Все случайно... А коли есть какіе-то тамъ невидимые для насъ законы, отъ которыхъ мы зря страдаемъ... и зря гибнемъ,—то намъ отъ этого не легче...

— И не стыдно тебѣ?..—горячо упрекала его жена.—Какъ не грѣхъ смущать дѣвочку?.. Не вѣрь ему, Оля!.. Все это только façon de parler...

— Ахъ!.. Знаю, тетя,—говорила Ольга, ласково гладя маленькой ручкой изможденное лицо старика.—Тебя послушать, дядя,—окажется, что у насъ нѣтъ свободной воли...

— Какая тамъ воля!—скептически усмѣхался старикъ. — Есть страсти... и его величество—случай...

— А развѣ мы не господа своихъ страстей?..—серьезно допытывалась дѣвушка.—Чѣмъ мы отличались бы отъ животныхъ?

— Ахъ, sancta simplicitas!.. Ничѣмъ... Человѣкъ—это *bestia*... болѣе утонченная... и потому болѣе развратная.

— А ты?.. А тетя?..—допрашивала Ольга.

Какъ сейчасъ слышитъ Софья Григорьевна этотъ молодой трепетный голосъ... Какъ сейчасъ видитъ эти чудные глаза! Какъ отрадно было ей сознаніе, что во мнѣніи этой дѣвушки-ригористки, такой строгой къ себѣ и другимъ, она стоитъ недосягаемо высоко, окруженная какъ ореоломъ всѣми семейными добродѣтелями... По старой памяти, въ большіе праздники Софья Григорьевна какъ добрая феодалка навѣщала съ Олей деревню, раздавала гостинцы дѣтямъ и ситецъ бабамъ, которыя льстиво цѣловали ихъ въ плечико. Какъ это все шло къ величавой, красивой фигурѣ „шателенки"—помѣщицы!..

И у Ольги были связи на деревнѣ. Какъ ни отучала ее Софья Григорьевна, но ее тянуло къ деревенскимъ ребятамъ. А Дуньку, дочь солдатки Марьи, Ольга прямо любила за ея удивительную красоту. Школы въ деревнѣ не было, но Ольга собирала къ себѣ подругъ и учила ихъ съ увлеченіемъ.

— Ah!.. Que c'est fade... морщась, говорилъ дядя.—Шаблонъ, дитя мое!.. Шаблонъ...

Ольга сердилась. Тогда онъ снисходительно трепалъ ее по щекѣ и говорилъ: „Учи!.. Учи!.. Все равно... Черезъ годъ они забудутъ... а ты до замужества незамѣтно убьешь время"...

— Я развѣ собираюсь замужъ?—вспыхивая, спрашивала Ольга.

Но вотъ Ольгѣ минуло семнадцать лѣтъ, она кончила домашній курсъ, сдала министерскіе экзамены и поступила на Бестужевскіе курсы—противъ воли Софьи Григорьевны, выдержавъ тяжелую борьбу съ своей властной воспитательницей. Но у маленькой феи была *своя* воля.

Когда она вернулась лѣтомъ, никто ее не узналъ. Она приглядывалась молча и пристально ко всему окружающему.

— Почему у насъ нѣтъ школы?—спросила она тетку въ первый

же день, послѣ обхода деревни.—Какая бѣдность кругомъ!.. Ужасъ!.. И даже приспособленій на случай пожара нѣтъ... Воображаю, если вспыхнетъ здѣсь... Все выгоритъ вѣдь... до тла...

Софья Григорьевна смущенно глядѣла въ это исхудавшее и постарѣвшее личико.

„Вотъ она—критика—началась"... Не даромъ она была противъ курсовъ.

Съ волненьемъ поджидала она возвращенія студента сына. Но Лева,—красивый, веселый, жизнерадостный—какъ-то равнодушнѣе относился къ такимъ вопросамъ. Онъ просто отдыхалъ „на лонѣ природы", охотился, гулялъ, пропадалъ на деревнѣ, водилъ хороводы. Часто видѣли его угощающимъ дѣвокъ, особенно Дуню. У нея искрились глаза, она щеголяла шелковыми, алыми платочками и новыми корсетками, постоянно хихикала, закрывая рукавомъ нижнюю часть лица и „шмыгала" носомъ, когда встрѣчалась съ молодымъ бариномъ. Отъ Ольги сторонилась.

— Какъ она вульгарна!.. — возмущалась Ольга.—И совсѣмъ отъ книгъ отстала. Слушаетъ меня изъ вѣжливости... а по глазамъ видно, что она гдѣ-то далеко витаетъ... Недавно отъ нея водкой пахло... божилась, что не пьетъ... что только угостили ее на именинахъ...

— Ахъ, душа моя!.. Чего-жъ ты хочешь?.. Мать алкоголичка... отецъ покойникъ запоемъ пилъ... Да и фабрика свое дѣло дѣлаетъ...— спокойно говорила ей Софья Григорьевна, подымая петлю какого-то вязанья и не замѣчая пытливаго, холоднаго взгляда дѣвушки, остраго какъ сталь.

Пробовала Ольга говорить съ Левой. Онъ слушалъ ее охотно, соглашался, что „такъ" нельзя... Конечно, онъ теперь, послѣ смерти отца,—хозяинъ. Но надо же исподволь начинать, чтобъ не обидѣть мать...

И увлекаясь (онъ всегда легко увлекался), онъ строилъ въ своемъ воображеніи больницу на 30 кроватей, школу, даже артели заводилъ и общія сельско-хозяйственныя машины... У него одинъ товарищъ, славный такой, такую же артель собирается заводить...

У него былъ звучный баритонъ, красивая фигура, черныя кудри, глаза его сверкали, весь онъ былъ такой смѣлый, сильный...

Она глядѣла на него пристально и часто ловила себя на томъ, что ей очень хорошо быть съ нимъ рядомъ,—физически какъ-то хорошо слушать—хотя бъ только его безпечный смѣхъ... что ей досадно, когда онъ спѣшитъ на деревню, когда онъ восторженно говоритъ о красотѣ Дуни.

— Она недалека. Въ ней есть что-то животное...—сказала она разъ съ искреннимъ огорченіемъ. — Ребенкомъ она обѣщала такъ много...

— Ахъ!.. Она все сдержала!..—расхохотался Лева съ вспыхнув-

шими глазами.—Если бы она была умна, это было бы хуже... Она такъ... непосредственна...

Ольга подмѣчала, что у нея какъ-то сжимается сердце, когда онъ такъ говоритъ.

II.

Памятенъ для Софьи Григорьевны былъ первый голодъ въ ихъ уѣздѣ, въ 90-хъ годахъ.

Передъ народнымъ бѣдствіемъ величавая шателенка растерялась, была жалка, безсильна. Ольга пропадала на деревнѣ, а домой возвращалась, шатаясь отъ слабости, какъ бы раздавленная ужасомъ всего видѣннаго. А дома ждали газеты, гдѣ говорилось о безпомощныхъ, пухнувшихъ отъ голода дѣтяхъ, у которыхъ въ животѣ находили тряпки... Ольга сама видѣла на деревнѣ эти ручки и ножки, висѣвшія какъ плети, эти страшные дѣтскіе глаза, большіе, невинные, которые до послѣдней минуты какъ бы спрашивали: за что?..

Эти глаза преслѣдовали ее даже ночью.

„За что?..“ спрашивала она и Леву, и Софью Григорьевну. И никто не могъ ей дать отвѣта.

Какъ-то сама собой въ усадьбѣ открылась столовая, но этого было мало. Разорявшееся народное хозяйство требовало немедленной помощи.

— Нѣтъ!.. Я уже отдала все, что могла,—говорила Софья Григорьевна на убѣдительныя просьбы сына и Ольги.

— Надо отдать послѣднее... Надо отдать все...—горячо настаивалъ Лева.

— Нѣтъ, это безуміе... Всѣхъ не спасешь, а своихъ пустишь по міру...

— Намъ ничего не нужно... Мама, пойми... Бываютъ дни, годы... когда страшно быть собственниками...

Софья Григорьевна боролась.

— Это не твои слова, — Ольгины. Я ужъ вижу на тебѣ ея вліяніе. Но пока я твоя опекунша, я разорить тебя не позволю... Всѣ эти жертвы безцѣльны. Такой же голодъ будетъ и на будущій годъ... Тутъ милліоны нужны, а не наши жалкія крохи...

— Да, тетя,—вмѣшалась Ольга и страстная горечь зазвучала въ ея тонѣ.—Ты послѣдовательна... ты вѣрна себѣ... Вѣдь ты—*мать*.

Софья Григорьевна дрогнула невольно. Такъ ее осуждаютъ родныя дѣти за всю ея заботу и любовь?

Она проплакала всю ночь. Отчужденность Ольги теперь была ей понятна. Страдала она и отъ ревности за сына, подчинившагося этой дѣвчонкѣ. Но привязанность взяла верхъ.

— Оля... Ты охладѣла ко мнѣ?—тоскливо воскликнула она въ одинъ изъ рѣдкихъ вечеровъ, когда они трое сошлись за чайнымъ столомъ.

- Тетя, прости!.. Я слишкомъ много выстрадала.

— Ты разлюбила меня, моя дорогая дѣвочка?

— Нѣтъ... Но я только теперь поняла, что этика лучшихъ матерей враждебна общественнымъ идеаламъ... Скажи—ты, мудрая, справедливая, образцовая семьянинка... передъ которой мужикъ издали еще ломалъ шапку... которая такъ разумно управлялась одна со всѣмъ сложнымъ хозяйствомъ имѣнья... На что пригодились *тамъ*, на деревнѣ всѣ твои семейныя добродѣтели?.. Кому отъ нихъ было хоть на минуту сытѣе и теплѣе?

— Ну... ну... обвиняй... обвиняй... Видно наша материнская доля такова...

— Тетя, голубушка... Зачѣмъ эта горечь?.. Ты учила меня правдивости... Зачѣмъ же теперь ты требуешь лицемѣрія?.. Почему не помочь мнѣ разобраться во всемъ этомъ хаосѣ?.. Въ этомъ крушеніи моихъ завѣтныхъ иллюзій?

— Какихъ? Господи Боже мой!.. До чего мы дожили?..

— Я чувствую, пойми... что въ основѣ всей твоей жизни, которую я брала за образецъ, есть огромная ошибка... И этой ошибки повторить я не хочу... Я говорю себѣ: *это не то, что надо*... По крайней мѣрѣ, *теперь*...

— Такъ... такъ. А еще какія же иллюзіи ты утратила?

— Нѣтъ правды и смысла въ этихъ страданіяхъ, которыя я вижу кругомъ... И нѣтъ справедливости... И жизнь не имѣетъ той высшей идеи, той красоты, о какой я грезила... Это былъ чудный миѳъ, тетя... Да... но бываютъ... видишь ли ты?.. въ нашей жизни странные, незабвенные моменты... Вдругъ, неизвѣстно въ силу какихъ неуловимыхъ вліяній, разомъ открываются наши внутреннія очи... И мы видимъ жизнь... и людей, какъ они есть... Безъ условныхъ фразъ, безъ привычныхъ покрововъ... во всей наготѣ... Мы видимъ свои ошибки... хоронимъ свои вѣрованія... Но... *мы научаемся жить*... А это важнѣе всего... Эти моменты цѣнны...

— О!.. Жизнь безъ иллюзій... Чего она стоитъ! И мнѣ жаль тебя, Оля, если въ твои двадцать лѣтъ ты уже утратила всю вѣру... Ты даже молиться перестала...

— Да... Давно уже... Я не могу безъ содроганія вспомнить одинъ эпизодъ... Мнѣ было семнадцать лѣтъ... Я въ первый разъ знакомилась обстоятельно съ естественными науками, которыя ты такъ упорно устраняла изъ программы домашняго образованія... Я знала одни верхи и на выводы и обобщенія какъ-то не наталкивалась... И вотъ я прочла, какъ поступаютъ осы съ жуками, чтобъ сохранить свои личинки... Онѣ какъ искуснѣйшіе хирурги ранятъ нервный узелъ, лишая врага способности двигаться и защищаться... Но онъ долженъ жить... Въ его внутренности они кладутъ личинки, и тѣ живутъ и развиваются, питаясь соками медленно умирающаго насѣкомаго, которое безсильно шевельнуться...

— О!..—Софья Григорьевна сдѣлала жестъ отвращенья.

— Вотъ она—жизнь во всей ея наготѣ!..—страстно продолжала Ольга.—Вотъ она—великая природа, гдѣ все—одна безсмѣнная и безпощадная борьба за право жить на счетъ другого... гдѣ нѣтъ милосердія... гдѣ нѣтъ состраданья... Гдѣ надъ всѣмъ властвуютъ инстинкты самосохраненія и половой страсти, такой же безсмысленной, слѣпой и хищной...

Софья Григорьевна даже рукой глаза прикрыла. Такъ больно было ей слышать эти горькія, циничныя рѣчи отъ ея цѣломудренной и нѣжной Оли.

Но тутъ неожиданно у нея явился союзникъ,—Лева, котораго она считала всецѣло зараженнымъ этимъ печальнымъ безвѣріемъ. Его красивое лицо вспыхнуло.

— Надѣюсь, Оля, ты въ *человѣка* не потеряла вѣру?.. Неужели ты думаешь, что и нами руководятъ только грубая чувственность, да эгоистическія стремленія? Тогда не было бы общественной жизни... А любовь?.. Ты и ее отрицаешь?.. *Ты*, никогда не любившая... Это возмутительно!

Ольга молча повернула къ нему свое побѣлѣвшее отъ волненья лицо. И долго-долго, словно изучая его черты, она глядѣла ему въ глаза своимъ искрившимся взглядомъ. Но онъ не опустилъ рѣсницъ. Этотъ взглядъ онъ встрѣтилъ смѣло, гордо,—и въ его горячихъ глазахъ было еще что-то, заставившее Ольгу медленно покраснѣть до корня волосъ и отвернуться въ непонятномъ волненьи.

Затаивъ дыханіе, Софья Григорьевна слѣдила за этимъ нѣмымъ діалогомъ.

„Да онъ любитъ ее!..“ крикнулъ чей-то голосъ въ ея сердцѣ, и это сердце екнуло отъ радости и страха.

Въ тотъ же вечеръ, въ липовой аллеѣ Лева говорилъ Ольгѣ:

— Неужели же ты не видишь, какъ я люблю тебя?

— Давно ли?..—прошептала она, прижимаясь къ его груди головой.

— Не знаю... Мнѣ кажется, я всегда любилъ тебя... съ дѣтства... Возьми всю мою жизнь... Я буду любить тебя вѣчно...

— Вѣчно?.. Да развѣ это возможно, Лева?.. Мнѣ страшно вѣрить... Что если и любовь та же легенда?

— Спроси маму... Ты знаешь ея жизнь... знаешь, какъ счастлива была она въ бракѣ... Спроси себя, наконецъ... если ты (голосъ его задрожалъ)... если ты любишь меня хоть немножко... Можешь ты представить себя вотъ такъ... въ объятіяхъ другого?..

Она обвила его руками.

— О, говори еще... еще, Лева... Я такъ несчастна... Я такъ настрадалась... Мнѣ такъ хочется повѣрить...

Какіе это были дни! Любовь пришла, свѣтлая и радостная. Она побѣдно выросла среди крушенія всѣхъ вѣрованій и грезъ, какъ пыш-

ный цвѣтокъ на могилѣ... Какъ страстно отдалась Ольга этой мечтѣ! Ея истерзанная, больная душа ждала радости, ждала эту великую любовь, о которой ей такъ много твердили. Инстинктивно она искала въ ней спасенія среди краха, который переживала. А кругомъ все поддерживало эту вѣру. Культъ любви, которой Софья Григорьевна окружала мужа при жизни и память его послѣ смерти, эта глубокая тоска по умершемъ, эта нѣжность за гробомъ—не было ли это цѣлой школой воспитанія? Это проникало сильнѣе всякаго катехизиса въ молодую душу. Ольга говорила себѣ: „Они любили другъ друга всю жизнь пламенно и вѣрно... Значитъ любовь—не миѳъ... И мы будемъ такъ же счастливы... И только смерть разлучитъ насъ“... Въ эту вѣру она вложила все.

Какъ часто они съ Левой просиживали ночь въ липовой аллеѣ, тѣсно обнявшись, мечтая жизнь прожить поновому, не какъ всѣ, задаваясь широкой программой дѣятельности. Онъ кончитъ курсъ, будетъ служить по земству, она рѣшила бросить Бестужевскіе курсы и перейти на медицинскіе. Пусть слѣдующее бѣдствіе не настигнетъ ее врасплохъ, какъ теперь. Все ея невѣжество, все ея безсиліе помочь сказались такъ ярко... А вѣдь сколько позади лѣтъ ученья! Сколько ненужнаго хлама въ головѣ! Боже!.. Какъ жаль ушедшей безплодно юности!.. И сколько впереди работы!..

Они жили одной вѣрой. Они молились однимъ богамъ. Ольга такъ увлекалась всѣми этими планами, что часто не замѣчала настойчивыхъ поцѣлуевъ жениха и его волненья. Она прощалась и шла къ себѣ, и долго еще свѣтился огонь въ ея комнатѣ, пока она читала... потому что ей было мало дня. Ей такъ много хотѣлось узнать, пережить... такъ жалко было спать...

А онъ воспаленнымъ взглядомъ поглядѣвъ на этотъ огонекъ, съ лихорадкой въ крови не шелъ домой, какъ намѣревался сначала, а выходилъ изъ усадьбы и брелъ къ деревнѣ, пробираясь задами, мимо овиновъ. На краю, у избушки солдатки Марьи онъ останавливался, прислонясь къ плетню, и издавалъ троекратный пронзительный свистъ, похожій на крикъ совы... Испуганныя спросонья собаки заливались лаемъ. Потомъ все смолкало... Онъ ждалъ, стоя въ росистой травѣ, напряженно прислушиваясь, съ колотившей ему въ виски кровью... Вотъ неясно во тьмѣ мелькалъ силуэтъ Дуни... беззвучно, босикомъ кравшейся подъ плетнемъ... Онъ слышалъ ея прерывистое, жаркое дыханье. Она глядѣла ему въ лицо съ привычнымъ вопросомъ, съ трогательной готовностью любящей женщины... Онъ грубо схватывалъ ее въ объятія...

Эта связь, длившаяся уже два года и возобновлявшаяся каждое лѣто по пріѣздѣ студента въ имѣнье,—успѣла уже пресытить Леву, когда-то искренно увлеченнаго смуглой Дуней. Но... невѣста была такъ холодна, такъ недоступна, счастье съ ней казалось такимъ далекимъ мира-

жемъ (ей вѣдь курсъ надо кончить!)... А молодая кровь бунтовала, ночи были такъ соблазнительно хороши... И такъ жалко было порывовъ и желаній, угасавшихъ безплодно...

Нянька подъ величайшей тайной донесла старой барынѣ о связи „барчука“ съ Дунькой... Софья Григорьевна такъ и ахнула. Наединѣ съ сыномъ она говорила рѣзко и безпощадно. Какая распущенность!.. Почти наканунѣ свадьбы...

— Если бы такъ!..—дерзко усмѣхнулся Лева.—Но вѣдь ей угодно курсъ кончить... А я не могу жить монахомъ... И ваши требованія ко мнѣ... по меньшей мѣрѣ странны...

— А если она это узнаетъ? Тогда что?.. Ты полагаешь, она проститъ?

Лева пожалъ плечами.

— Барышни... насколько я знаю... такіе факты игнорируютъ... И прекрасно дѣлаютъ... Ольги это, во всякомъ случаѣ, не касается... Она мнѣ—не жена еще...

Его ноздри трепетали, лицо горѣло, глаза были злые. Вся необузданность его натуры, унаслѣдованная отъ отца, проявлялась тотчасъ, какъ только его волѣ и капризу ставили преграду. Упрековъ онъ также не выносилъ. Въ этихъ случаяхъ вся его природная доброта и мягкость исчезали безслѣдно.

Софья Григорьевна усмѣхнулась.

— Гдѣ же эта великая любовь къ невѣстѣ, которая должна бы удержать тебя отъ этой... грязи?

— Ахъ, мама!.. Это совсѣмъ не то... Какъ будто для этого нужна любовь?.. Ты женщина и не поймешь меня...

Слова замерли на ея губахъ. Она увидала знакомый ей, небрежный жестъ, узнала въ голосѣ сына интонаціи покойнаго мужа... Даже фразы тѣ же... которыя *они* передаютъ по наслѣдству, какъ походку, почеркъ, профиль...

Она желчно засмѣялась... Старая исторія...

А вѣсть о помолвкѣ барина съ Ольгой Владиміровной проникла на деревню.

Въ началѣ осени Дуня, какъ-то давно уже разошедшаяся съ Ольгой, встрѣтила ее, когда она шла въ привычный обходъ къ ребятамъ.

— Ты, барышня, замужъ выходишь?.. Ну-къ чтожъ?.. Давай тебѣ Богъ!..

Ольга остановилась и съ жалостью глядѣла на похудѣвшую, подурнѣвшую Дуню. Куда исчезъ блескъ ея красоты? Прежняя нѣжность вспыхнула въ сердцѣ Ольги къ старому другу дѣтства.

— Что съ тобой, Дуня?.. Больна ты?.. Или горе какое?.. Отчего ты такъ измѣнилась?

Дуня шмыгнула носомъ, поблѣднѣла до самыхъ губъ и вдругъ горько заплакала.

Ольга нѣжно обняла ее.

— Голубушка... О чемъ?.. Неужели ты несчастна?

Но Дуня вытирая носъ и глаза грязнымъ фартукомъ и стараясь спрятать лицо, упорно отмалчивалась. Изъ намековъ и полупризнаній другихъ дѣвокъ Ольга давно догадывалась, что у Дуни есть свой „романъ"... Но ей стыдно было бы выспрашивать эту тайну черезъ другихъ. Наконецъ эти вопросы были ей всегда чужды.

— Неужели же *онъ* тебя броситъ?—на этотъ разъ какъ бы догадалась она.

Дуня вздрогнула и отвела глаза, залившись румянцемъ.

— Безперечь броситъ... Завсегда такъ бываетъ,—съ зловѣщей покорностью отвѣтила она.

— Это возмутительно!.. Хочешь, я поговорю съ нимъ?.. Назови мнѣ его имя...

— Что ты, барышня?.. Что ты?.. Нешто это можно?..

— Назови, ради Бога!.. Чего ты стыдишься, разъ я все знаю?.. Тебя деревня поѣдомъ съѣстъ, если ты замужъ не выйдешь...

Дуня испуганно махала руками, плакала, цѣловала плечико барышни, но была непреклонна.

Лева кончилъ курсъ и долженъ былъ ѣхать въ Парижъ, чтобъ работать тамъ въ архивахъ надъ своей интересной диссертаціей, которой увлекался.

— Оля, поѣдемъ вмѣстѣ,—просилъ онъ.—Женимся... Я изстрадаюсь въ разлукѣ съ тобой...

Софья Григорьевна просила о томъ же, указывая, что и въ Парижѣ можно учиться, а потомъ сдавать экзамены въ Россіи. Въ глубинѣ души она вѣрила, что всѣ эти „курсы" только до медового мѣсяца.

— Неужели ты не знаешь его характера, тетя!.. — негодовала Ольга.—Онъ будетъ мнѣ мѣшать работать. Развѣ онъ можетъ долго на чемъ-нибудь сосредоточиться? Я увѣрена, что и въ Парижѣ онъ создастъ мнѣ вѣчный праздникъ... Еще кончитъ ли онъ свою работу?

— А ты забери его въ руки. Заставь работать... Повліяй... Онъ безхарактеренъ, какъ его отецъ... Надъ тѣмъ вѣчно нуженъ былъ глазъ... Лучшей жены, чѣмъ ты, для него я не могу себѣ представить... Но разлуки вашей сейчасъ я боюсь... боюсь... Успокой меня... Повѣнчайтесь скорѣй...

— Ты за меня... или за него боишься?—съ вызовомъ спросила Ольга и ноздри ея дрогнули.

Софья Григорьевна молчала, низко опустивъ голову.

— Я въ него вѣрю, тетя... Если бъ у меня была... хоть минута сомнѣнья въ его чувствѣ... я разлюбила бы его...

„Господи, Боже мой"!— шептала Софья Григорьевна, уходя изъ комнаты.—„Не проститъ такая... ничего не проститъ"...

Но молодость Ольги, любовь ея и обаятельная ласка жениха были хорошими союзниками Софьи Григорьевны. Ольга уступила. Свадьбу назначили и стали торопиться.

— Я навѣрное дѣлаю глупость,—говорила Ольга жениху.—Это слабость... компромиссъ... Не такъ поступаютъ *новыя* женщины...

— Богъ съ ними!.. Дай мнѣ твои губки, моя радость!.. Я безъ ума влюбленъ въ тебя... Не отворачивайся... Не вырывайся... Зачѣмъ ты прячешь отъ меня свое личико?..

Теперь Дуня была забыта и даже основательно. Но опасность все-таки была близка.

Вся деревня знала, что Дуня беременна и надъ нею безжалостно издѣвались.

Софья Григорьевна поспѣшила къ солдаткѣ Марьѣ. Дуня лежала въ лихорадкѣ, съ провалившимися щеками, измѣнившаяся до неузнаваемости. Софья Григорьевна обласкала ее и Марью, дала имъ радужную, обѣщала не оставлять.

Но о будущемъ ребенкѣ не промолвила ни слова, предоставляя ихъ собственному опыту и житейскому такту рѣшить этотъ вопросъ. Она просила только тайны.

— Знамо дѣло, сударыня,—говорила Марья, подобострастно цѣлуя ее въ плечо.—Вы господа, мы—хрестьяне... Нешто мы что-нибудь? Много довольны вашей милостью...

Дуня молчала, отвернувшись къ стѣнѣ. Когда барыня ушла, она горько заплакала.

Свадьбой торопили. Молодые тотчасъ послѣ вѣнца уѣхали за границу.

III.

Долго поджидала писемъ старая барыня, бродя днемъ и вечеромъ по липовой аллеѣ, гдѣ шуршали умирающіе листья. Наконецъ пришла вѣсточка,—но не отъ сына. Писала Ольга. Бодростью, счастьемъ вѣяло отъ этихъ горячихъ строкъ. Она училась, посѣщала музеи, архивы, читальни, клубы, сходки, палату... Сколько интересныхъ людей! Новыхъ друзей! Какіе у нея смѣлые планы!.. Какая кругомъ тутъ яркая, бурливая, кипучая жизнь!.. Изрѣдка сынъ дѣлалъ приписку въ двѣ строчки внизу письма своимъ невозможнымъ почеркомъ.

Горько улыбалась забытая мать. Вспоминался Лева-ребенокъ, ласковый и нѣжный, который росъ, держась за ея юбку, все получая отъ нея одной, давая ей цѣлый міръ высокихъ, чистыхъ радостей. Жена отняла у нея эту любовь. Пусть это горячо-любимая Оля... Все-таки забылъ... А развѣ жена можетъ любить такимъ беззавѣтнымъ, всепоглощающимъ чувствомъ?

Но Ольга писала каждую недѣлю и благодарная Софья Григорьевна давила въ себѣ ревность и горечь.

Видно удѣлъ женщины — терять иллюзіи, постепенно, одну за другой, какъ теряетъ листья вотъ эта царственная аллея, подъ холоднымъ дыханіемъ недалекой зимы...

Потомъ вѣсти отъ Ольги стали доходить рѣже: она хандрила, хворала, работа не клеилась.

„Оля беременна,—писалъ Лева.—Она пала духомъ. Какъ будто имѣть дѣтей совсѣмъ не входило въ ея разсчеты...—„Это—говоритъ—разстроило всѣ мои планы"... Чудачка!.. Но она очень плохо себя чувствуетъ, потому что работаетъ черезъ силу... Удивительное упрямство!.. Мы ссоримся каждый день. Иногда мнѣ кажется, что она меня совсѣмъ не любитъ... Не убѣдите ли вы ее вернуться домой, мама? Богъ съ ней, съ диссертаціей!.. Я все равно сейчасъ не кончу ее... Осточертѣла она мнѣ"...

Софья Григорьевна читала и счастливая улыбка морщила ея губы.

„Наконецъ-то они будутъ вмѣстѣ!.. Кончится это тоскливое одиночество... Внукъ"...

Она затихала въ грезахъ объ этой малюткѣ, которая скраситъ еще разъ ея жизнь, еще разъ обновитъ ея душу.

Пріѣхали... Онъ—бодрый, возмужавшій, пополнѣвшій. Она худенькая, маленькая, замученная.

— Одни глаза отъ нея остались,—смѣялся Левъ Григорьевичъ.

Его страсть къ женѣ еще не остыла, это видно было сразу изъ его взглядовъ, голоса, заботъ, изъ всѣхъ мелочей. Отъ Ольги Владиміровны вѣяло холодкомъ, и Софья Григорьевна, оскорбленная въ душѣ за сына, огорчалась:

— Удивляюсь на тебя, Оля! Какъ можешь ты хандрить въ виду такого счастья? Чего тебѣ еще надо отъ судьбы?

Ольга Владиміровна никогда не спорила. Поцѣлуетъ, бывало, такъ крѣпко, ласково—и опять задумается.

Но ребенокъ родился и постепенно бралъ власть надъ этой странной, тревожной душой. Ольга Владиміровна сама кормила сына и свекровь подмѣчала въ ея ласкахъ органическую, страстную любовь самки къ дѣтенышу. Софья Григорьевна узнавала въ молодой матери себя и радовалась.

— Слава Богу!—говорила она сыну.—Теперь птичка попалась крѣпко. Авось всѣ бредни изъ головы ея исчезнутъ. Видно, всѣ мы—одинаковы.

Зато отношенія Ольги Владиміровны къ мужу не нравились Софьѣ Григорьевнѣ. Слишкомъ много въ нихъ было критики и требовательности. Молодая женщина не прощала мужу его лѣни и безхарактерности, иронизировала надъ его недоконченной диссертаціей, требовала дѣятельности въ земствѣ, настояла, чтобъ онъ баллотировался въ гласные, слѣдила за его работой и видѣла всѣ промахи.

— Все это хорошо, Ольга,—говорила ей свекровь наединѣ,—но... не мѣшаетъ быть снисходительнѣе...

— За что?— спрашивала Ольга.— Въ чемъ его преимущество передъ другими, которыхъ вы же укоряете въ халатности?

— Онъ—мужъ тебѣ, Оля...

— Тетя, дорогая, это не оправданіе. Можно подумать, что я у него беру всю энергію и время. Вы видите сами, что я не мѣшаю ему вести разсѣянную жизнь, разъ она ему по душѣ. Но я люблю его и хочу, чтобъ онъ былъ лучше другихъ помѣщиковъ. Почему у насъ нѣтъ до сихъ поръ ни школы порядочной, ни больницы своей?.. И мы зависимъ отъ города?

— Денегъ нѣтъ, Оля...

— Надо, чтобъ были, тетя... Я отъ этой мечты не откажусь. Если есть на охоту, карты и званые обѣды,—надо ихъ найти и для дѣла. Я тебя и мужа твоего не корю за то, что у васъ подъ бокомъ деревня обнищала, а вы не замѣтили. Вы были люди другого поколѣнія... Ну, а намъ съ Левой стыдно не знать обязательныхъ азовъ...

На этой почвѣ начались между ними тремя ихъ первыя разногласія и ссоры.

— Зачѣмъ ты къ нему предъявляешь такія требованія?— сердилась Софья Григорьевна.—Люби его, какъ онъ есть...

— Не могу, тетя... Я не могу любить, не уважая... И я не вѣрю, что онъ такой... Это только легкомысліе... И... прости меня, тетя... Дурная привычка думать только о себѣ... Не убивай моей вѣры въ него... прошу тебя... Эгоиста, сознательнаго эгоиста нельзя любить, голубушка...

— Охъ, Лева, держись!—говорила старуха сыну не разъ.—Сорвешься, бѣда будетъ. Она не умѣетъ прощать...

— Полно, мама!— возражалъ онъ, беззаботно смѣясь.— Если женщина любитъ, она все проститъ...

Черезъ годъ, не успѣвъ поставить сына на ноги, Ольга Владиміровна уже опять почувствовала себя беременной. Трудно описать, въ какую мрачную тоску повергло ее это открытіе. Она запиралась у себя по цѣлымъ днямъ и выходила, враждебная и тоскующая.

— Это возмутительно!—говорилъ Левъ Григорьевичъ.—Я ее боготворю, я ею полонъ, ею дышу, а она плачетъ и запирается... какъ будто я ей врагъ!

— Да, это возмутительно,—соглашалась мать.—Что это за поколѣнье пошло!.. Ни любить, ни родить не хотятъ... И все имъ мелко, и все имъ скучно... И *то*, въ чемъ мы видѣли свое призваніе, въ томъ онѣ видятъ одну обузу...

Она вышла, наконецъ, изъ своей комнаты и бросила имъ обоимъ въ лицо свои страстныя обвиненія.

— Да, это возмутительно!.. (повторила Ольга Владиміровна тѣми

же словами). Вѣчно быть беременной, кормилицей, дрожать за жизнь, чувствовать эту отвѣтственность, не смѣть шагу сдѣлать лишняго, изъ боязни повредить другому... хворать, страдать... И не успѣвъ оправиться, начинать все сызнова... А кругомъ жизнь идетъ, борьба, работа, для которой были бы и силы, и призваніе, и любовь... И знать, что ты изъята изъ этой общей борьбы... Для чего?.. Боже мой!.. Изъ-за чего?.. Быть мыслящимъ, разумнымъ существомъ, съ стремленіями, потребностями, запросами—и очутиться въ положеніи какого-то производящаго аппарата... За что?..

— Вотъ-те разъ!..—искренно изумлялся Левъ Григорьевичъ.—За что?.. А ты не была счастлива?.. Ты не шла по любви замужъ?.. Ты не любишь развѣ нашего мальчика?

— И довольно съ меня!.. Довольно этого мальчика!.. Я и его-то воспитать не сумѣю... О Господи!.. Если бъ я знала, что твоя любовь обрекаетъ меня на вѣчную беременность, на безысходное рабство какое-то,—я не взяла бы твоей любви. Она не замѣнитъ мнѣ счастья свободы и права располагать собой...

— Ну не безумная ли ты? — мягко говорила ей Софья Григорьевна уже наединѣ. Изъ тактичности она никогда не вмѣшивалась въ ихъ споры.—Кто-жъ такъ говоритъ съ мужемъ?.. Да, наконецъ, развѣ это не наше призваніе?

Ольга становилась на колѣни и прятала голову на груди свекрови.

— Тетя, милая... Къ чему намъ спорить?.. Ты мои взгляды на это призваніе слышала не разъ. Пойми, это униженіе какое-то, на которое насъ обрекаютъ... Играть роль племенного животнаго... Какъ будто нѣтъ иныхъ цѣлей въ мірѣ!..

— Тебѣ не надо было замужъ выходить,—строго и грустно говорила свекровь.—Чѣмъ мы всѣ хуже тебя были?.. А безропотно несли всѣ эти обязанности...

— Даже не любя?..

Софья Григорьевна дрогнула и помолчала съ мгновеніе.

— Да, Ольга, даже не любя,—повторила она твердо.—У многихъ женъ бываютъ разочарованія, и все-таки онѣ живутъ съ мужьями и дѣтей родятъ.

— Во имя чего же онѣ живутъ, тетя?

— Изъ принципа, Оля. Изъ чувства долга. Вы и надъ этимъ смѣетесь?.

— Да, тетя... Только любовь, только страсть оправдываетъ эти отношенія... Остальное—развратъ...

Софья Григорьевна печально усмѣхнулась и покачала головой.

— Значитъ, по-твоему, мы всѣ, оставшіяся вѣрными нашимъ невѣрнымъ мужьямъ... Я не о себѣ говорю...

— Ну да, конечно...

— Или любившія тайно... другого и ради дѣтей, во имя долга,

во имя семейнаго принципа давившія въ себѣ зародыши этой страсти къ другому,—мы значитъ шли по ложной дорогѣ?

— Да, тетя... Да... Вы убивали въ себѣ правду и красоту жизни...

Софья Григорьевна вздохнула.

— Да?.. А что ты сказала бы, если бы мужъ твой...

— Если-бъ онъ полюбилъ другую?..—подхватила Ольга и глаза ея вспыхнули.—О, тетя!.. Неужели ты думаешь, что хоть слово упрека... или проклятія сорвались бы у меня, если-бъ онъ пришелъ и сказалъ мнѣ правду?.. Я, кажется, вырвала бы у себя языкъ за такую... за такое насиліе надъ чужой душой... Я страдала бы... Да!.. Я плакала бы... да!.. Но—это ужъ было бы только мое дѣло... Онъ былъ бы свободенъ... И я поступила бы также... Это несчастіе, это судьба... все, что хочешь... Но съ этимъ надо умѣть мириться... Надо научиться, тетя, уважать чужую личность... Вотъ главный пунктъ моего катехизиса, враждебнаго всей вашей старой этикѣ!.. Не сердись, тетя... этикѣ господъ и рабынь...

— Значитъ, ты простила бы и измѣну?

Ольга поднялась съ колѣнъ.

— Измѣну?.. Что ты называешь этимъ словомъ?.. Любовь къ другой женщинѣ, исключающую страсть и любовь ко мнѣ?..

— Нѣтъ... Просто увлеченіе... минутную интригу... чувственный капризъ...

— Къ кому же?..

— Господи Боже мой!.. Не все ли равно?.. Ну къ Парашѣ, къ Марьѣ, къ швейкѣ, къ какой-нибудь гулящей барынькѣ?..

Ольга поблѣднѣла. Казалось, одна мысль объ этомъ наполнила ее холодомъ.

— И конечно ложь при этомъ?— глухо спросила она.—Въ такихъ вещахъ вѣдь никогда не сознаются... Нѣтъ, тетя... Этого я бы не простила...

Софья Григорьевна схватила ея руки и жадно глядѣла ей въ лицо.

— Почему же? Почему, Оля?

— Такъ не поступитъ тотъ, кто любитъ... Вѣдь мы же такъ не поступимъ... Такая измѣна—грязь, низость... Она убиваетъ въ нашей душѣ всю вѣру въ человѣка... Этого не прощаютъ...

„Лева... бѣдный Лева"...—думала Софья Григорьевна послѣ этого разговора.—„Да хранитъ тебя Богъ отъ ошибокъ... твоего отца!.."

IV.

Ольга Владиміровна все-таки встрѣтилась съ Дуней на третій годъ брака. Дуня была уже замужемъ за кузнецомъ въ сосѣдней деревнѣ. Это былъ тихій, молчаливый и красивый мужикъ, лѣтъ тридцати. Онъ страстно любилъ жену и тайно ревновалъ ее, особенно къ

прошлому. Когда онъ напивался, хоть это и случалось рѣдко,—онъ становился буйнымъ, колотилъ Дуню и ея сынишку, и Дуня сбѣгала къ матери. Обѣ деревни очень любили эти скандалы, какъ развлеченія.

Ольга Владиміровна шла какъ-то разъ къ больному крестнику. Въ пыли, на солнцѣ, играла кучка деревенскихъ ребятъ, сопливыхъ, чумазыхъ и бѣлоголовыхъ. Одинъ только выдѣлялся изъ всѣхъ, чистенькій и черненькій, какъ жучокъ.

Ольга Владиміровна подошла и потрепала ихъ по щечкамъ. Она ихъ всѣхъ знала по именамъ.

— А это кто? Вотъ прелесть!..—сказала она, присаживаясь тутъ же въ пыли на корточки и обнимая рукой красиваго ребенка, съ странно-знакомымъ лицомъ.

— А это Володька... Дунькинъ... кузнецовой Дуньки... изъ Орѣхова...

— Барченокъ...—засмѣялся мальчикъ постарше.

Ольга Владиміровна поцѣловала гладкую, смуглую щечку... На кого онъ похожъ?.. Странно... Да, да... какъ будто на ея Колю... Да... это поразительно... Какъ будто родные братья... Оба черненькіе... Какой милый!.. Бываетъ же такое совпаденіе!..

Она отодвинулась и еще разъ пристально посмотрѣла на него.

„Дуня"... Она вспомнила смуглую красавицу, ея печальный романъ, ея слезы... Такъ это ея сынъ?.. То-то знакомое что-то въ его лицѣ... Какой красавчикъ!.. Но вѣдь она уже замужемъ... За тѣмъ самымъ, должно-быть, кого любила... И навѣрное счастлива... Она была тогда беременна... (вихремъ неслись мысли въ ея головѣ). Свекровь на ея разспросы писала ей за границу, что Дуня повѣнчалась и живетъ съ мужемъ хорошо.

— Сколько тебѣ лѣтъ, Володя?

Мальчикъ молчалъ, глядя на нее серьезно и съ достоинствомъ.

Тутъ подоспѣла Митревна, старая бабка, помнившая Григорія Александровича еще молодымъ.

— О!.. Да это Дунькинъ сынъ... Ему четыре годочка никакъ будетъ?.. Въ тѣ поры, какъ вы замужъ шли, Дунька вскорѣ и разрѣшилась...

— Развѣ она здѣсь живетъ?..

— Зачѣмъ здѣсь?.. Только ея Андрей—кузнецъ, значитъ—запилъ... Ну и колотитъ ее...

— Какой ужасъ!..

— Она завсегда къ матери... къ Марьѣ, стало-быть, хоронится... За ребенка боится... Потому—убьетъ... Ужъ очень онъ на него лютуетъ...

— За что?.. На ребенка?..

Ольга притянула мальчика и крѣпко поцѣловала его.

— А это кто? Вотъ прелесть! —сказала она, присаживаясь тутъ же въ пыль на корточки...

(Стр. 124).

(*Рис. Е. Виллiамъ*).

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX
TILDEN FOUNDATIONS

— Ублюдокъ, гритъ... Отродье барское... И-и!.. Что тутъ бываетъ, сударыня!.. И не приведи Богъ!.. А она надъ Володькой—обмираетъ...

Ребенокъ слушалъ все также печально и вдумчиво, какъ будто понималъ.

Ольга Владиміровна переводила взоръ съ шамкающаго рта старухи на профиль мальчика и вдругъ побѣлѣла, встала и выпрямилась. Она поняла, на кого похожъ этотъ мальчикъ.

Быстро, быстро, не оглядываясь, она пошла въ усадьбу.

Левъ Григорьевичъ спалъ послѣ обѣда. Она вошла не стучась, какъ всегда беззвучная, сѣла въ кресло и начала глядѣть на мужа.

Онъ спалъ. И все тайное, темное, безсознательное нашей натуры, все, что мы прячемъ днемъ на людяхъ, подъ маской корректности,—все это ярко выступило на его лицѣ теперь, въ минуты сна... Она видѣла его бѣлую шею, его волосатую грудь, его чувственный ротъ, его выступающую слегка, какъ у отца, развитую нижнюю челюсть, нервныя, широкія ноздри—всѣ эти признаки сильнаго темперамента. И она ясно видѣла это сходство—фамильное, несомнѣнное съ черненькимъ мальчикомъ Дуни.

И она вѣрила человѣку съ такими губами, которыя цѣлуютъ первую подвернувшуюся женщину и въ то же время лгутъ, говоря о вѣчной и единственной любви!?

Онъ вдругъ проснулся. Онъ почувствовалъ ея взглядъ на своемъ лицѣ, открылъ глаза и улыбнулся... Это была улыбка того мальчика.

Она сидѣла, опершись локтемъ на колѣни, положивъ въ ладонь свой подбородокъ и все также глядя въ его лицо, съ холоднымъ, почти жестокимъ любопытствомъ, словно передъ ней лежало незнакомое животное, красивое, сильное... но чуждое ей.

Онъ вздрогнулъ, спустилъ ноги и сѣлъ.

Она молчала, только прищурилась и усмѣхнулась. Ея взглядъ какъ жало впился въ его расширившіеся зрачки.

— Ты долго жилъ съ Дуней? — вдругъ спросила она глухо, но спокойно.

Онъ вспыхнулъ и всталъ.

— Оля... послушай... Кто тебѣ это навралъ?.. Постой... Постой... Куда же ты?.. Господи Боже мой!.. Точно снѣгъ на голову...

— Мнѣ лжи не надо,—отвѣтила она уже у двери.—Я все знаю... Не унижайся...

Онъ схватилъ ея руку.

— Но послушай... Вѣдь это когда было-то!.. Ты не была моей женой... Послушай...

— Я была твоей невѣстой... И ты клялся, что ты меня одну любишь... Что ты жаждешь только моихъ ласкъ... моей любви...

— Ну да, само собой... Развѣ въ такихъ вещахъ дѣвушкамъ признаются?.. Да тутъ и не было любви...

— А разница какая-нибудь была между проявленіями твоего чувства ко мнѣ и къ ней?

— Фу ты, Боже мой!.. Охота подымать исторіи изъ-за выѣденнаго яйца!.. У всѣхъ такъ. Не я первый, не я послѣдній...

— Ты значитъ правъ?..

— Конечно...—съ задоромъ, уже озлобленный, отвѣтилъ онъ.

— Жаль, что ты мнѣ ничего не сообщилъ объ этомъ романѣ. Женой твоей я не была бы...

— Вотъ этого именно я и боялась,—сказала Льву Григорьевичу мать, когда онъ передалъ ей объ этомъ непріятномъ инцидентѣ.

Ольга Владиміровна пережила весь ужасъ перваго разочарованія одна—совсѣмъ одна, запершись въ своей комнатѣ, сказавшись больной. И недѣлю она не выходила, не позволяла поднять сторъ, гнала свекровь, даже дѣтей. Но ни звука жалобы или упрека мужу не вырвалось изъ ея гордаго сердца. Она только не хотѣла скрыть того холода, который вкрался въ ея отношенія къ мужу. Она даже Колю ласкала рѣже теперь. Всякій разъ, когда ей хотѣлось поцѣловать его, она вспоминала черненькаго Володю и сердце ея холодѣло, словно въ него попала льдинка.

Сперва эту мрачную тоску приписывали нервному состоянію Ольги Владиміровны передъ родами, и никто особенно не тревожился этимъ инцидентомъ. Было и прошло. Быль молодцу не укоръ. Никто не подумалъ бы осудить Льва Григорьевича.

Но и послѣ родовъ Ольга Владиміровна чуждалась мужа. Иногда ей казалось, что любовь ея умерла, — и она упорно отстраняла его ласки.

— Берегись, Оля,— сказала ей Софья Григорьевна.—Ты сама себѣ яму роешь... И это жестоко, наконецъ!.. Въ чемъ ты можешь упрекнуть его теперь?

— Кто обманулъ разъ, тотъ обманетъ и въ другой... Гдѣ же мнѣ взять вѣры?..

Они помирились неожиданно. Открылся снова голодъ въ уѣздѣ. Ольга Владиміровна первая кинулась на работу и своей энергіей и страстностью захватила и увлекла Льва Григорьевича. Онъ въ то время уже былъ предсѣдателемъ управы. Оба работали рядомъ, страстно, упорно, разставаясь лишь на нѣсколько дней по необходимости.

Не имѣя свободныхъ денегъ, Левъ Григорьевичъ продалъ участокъ лѣса и принесъ женѣ эти деньги для столовой.

Ольга Владиміровна крѣпко обняла мужа и поцѣловала его. И онъ почувствовалъ въ этой ласкѣ забытый экстазъ ихъ перваго сближенія.

— Ты славный... Ты лучше, чѣмъ я тебя считала!..—прошептала она.

Какъ они были счастливы! Софья Григорьевна радовалась, получая отъ невѣстки короткія записочки изъ уѣзда.

Левъ Григорьевичъ говорилъ женѣ, что для него не существуетъ другихъ женщинъ съ тѣхъ поръ, какъ они женились, что никогда онъ не измѣнитъ ей. И Ольга Владиміровна, порабощенная вспыхнувшей страстью, вѣрила, хотѣла вѣрить...

На голодѣ, въ той деревнѣ, гдѣ жила Дуня съ мужемъ, она опять встрѣтилась съ старой подругой, встрѣтилась ласково, сердечно, хотя ревность къ прошлому терзала ее. Дуня вызвалась ей помогать въ столовой. Она лучше другихъ знала о нуждахъ каждой семьи, и помощь ея могла быть цѣнной. Мучительно слѣдила Ольга Владиміровна за первой встрѣчей любовниковъ и подмѣтила ихъ обоюдное смущеніе. Затѣмъ понемногу все обошлось. Слишкомъ много было работы, слишкомъ тяжелыя впечатлѣнія иного характера ложились на душу.

Въ самый разгаръ дѣла Ольга Владиміровна опять почувствовала себя больной. Это привело ее въ отчаяніе.

„Третій ребенокъ за четыре года... Когда же конецъ?".. Но она смолчала на этотъ разъ и продолжала работать съ прежней энергіей, не доѣдая, не досыпая, трясясь по отвратительнымъ дорогамъ, во все входя сама.

Софья Григорьевна съ огорченіемъ подмѣчала въ невѣсткѣ ослабленіе материнскаго чувства.

— Вы тамъ совсѣмъ помѣшались оба,—сердито сказала она при свиданьи.—Ну еще онъ, я понимаю... И предводитель, и организаторъ... А ты?.. Отъ дома отбилась... Дѣтей не видишь—по недѣлямъ... Забросила ихъ...

— На твои руки, милая тетя... Моимъ дѣтямъ хорошо, какъ въ раю... Ты посмотрѣла бы, тетя, на *тѣхъ* дѣтей... У тебя духу не хватило бы меня упрекать... А на счетъ того, что онъ—организаторъ?..— Она радостно засмѣялась.—Ахъ, голубушка!.. Развѣ ты не понимаешь, что душой этого дѣла *я*?.. Я—одна?.. И безъ меня этотъ *предводитель* нашъ, да и всѣ—какъ безъ рукъ останутся... Ну поцѣлуй меня, тетя... Скажи, что любишь... И не брани...

Софья Григорьевна, какъ всегда, чувствовала себя безсильной спорить съ ней и доказывать.

— Оля! Оля!.. Ты сама свалишься... На тебѣ лица нѣтъ... Для насъ-то хоть сбереги себя... Ты и для насъ, въ этомъ домѣ та же душа,— говорила она, горячо цѣлуя невѣстку и вытирая слезы.

Дѣйствительно, скоро у Ольги начались обмороки и невралгіи все на почвѣ сильнаго истощенія. Поднялся семейный бунтъ. Докторъ открылъ причину, и Левъ Григорьевичъ привезъ жену домой, нѣжностью и заботами стараясь смягчить ея раздражительность и протесты.

— Я на время... только на время...—говорила она, гнѣвно глядя въ его лицо.—Помни... Какъ только поправлюсь, сейчасъ же вернусь туда... И вы не смѣете меня удержать!..

У Софьи Григорьевны были дурныя предчувствія. Раза два, по просьбѣ невѣстки, она ѣздила въ уѣздъ справиться о дѣлахъ, а сама зорко слѣдила за сыномъ и Дунькой. У нея-то вѣдь относительно его иллюзій не было давно.

Съ виду, однако, все было корректно.

Левъ Григорьевичъ, похудѣвшій и обросшій бородой, потерявшій какъ-то сразу все изящество въ этой жизни, внѣ всякихъ нормъ,—казался такимъ озабоченнымъ и усталымъ. А Дуня ушла изъ столовой, потому что кузнецъ пилъ и дѣлалъ скандалъ изъ-за барина.

Ольга Владиміровна, еле оправившись отъ переутомленія на послѣднихъ мѣсяцахъ беременности, уже ходила по избамъ въ своей деревнѣ, гдѣ вспыхнулъ сыпной тифъ.

— Безумная женщина!..—говорила ей свекровь.—У тебя дѣти... Родить скоро предстоитъ... О чемъ ты думаешь?

— Я не заражусь... Объ этомъ заботится природа... А къ дѣтямъ не пойду... Я поселюсь въ кабинетѣ, изолируюсь вполнѣ...

Но тутъ-то и случилось несчастіе. Богъ вѣсть какимъ путемъ, зараза попала въ барскій домъ. Возможно, что черезъ Ольгу Владиміровну. Ея любимецъ Коля горѣлъ въ сыпномъ тифу, никого не узнавая въ тяжеломъ, грозномъ бреду.

Дали телеграмму отцу, вызвали докторовъ. Надъ головкой малютки—отецъ, мать и бабка рыдали ночи напролетъ. Ольга Владиміровна чувствовала себя убійцей. Мальчика спасти было нельзя. Онъ скончался, проболѣвъ всего недѣлю.

Это такъ потрясло Ольгу Владиміровну, что доктора боялись за ея разсудокъ и предсказывали преждевременные роды.

— Олюшка,—говорилъ ей мужъ, стараясь вызвать хоть слезы облегченія изъ ея мрачныхъ и неподвижныхъ глазъ,—дорогая моя, у тебя осталась Маня... У насъ еще будутъ дѣти... Пожалѣй хоть ихъ-то... Смирись... Жизнь передъ нами...

— Она мнѣ не вернетъ моего ребенка,—отвѣчала Ольга Владиміровна.—Я не люблю Маню такъ, какъ любила Колю... И не надо мнѣ дѣтей... Я не хочу этого ужаса... и этихъ страданій...

— Я потеряла пять человѣкъ,—говорила ей свекровь съ мягкимъ укоромъ.—И вотъ видишь, жива и не кляну жизнь... Все въ ней страданье, все... Нѣтъ счастья безъ слезъ... Съ этимъ надо мириться...

Роды были тяжелые, но къ счастью своевременны. Опасались за жизнь Ольги Владиміровны: такъ велико было ея истощеніе.

— Мальчикъ, — сказала Софья Григорьевна дрожащимъ отъ радости голосомъ.—Еще мальчикъ, Оля... Онъ тебѣ замѣнитъ Коленьку.

Молодая женщина отвернулась и безнадежно заплакала.

Когда она оправилась, ея первое желаніе было видѣть Володю.

— Какого Володю?—удивился мужъ.

— Твоего сына... Твоего и Дунина... Привезите его... скорѣй... Я хочу его видѣть... Онъ такъ похожъ на Колю...

Левъ Григорьевичъ былъ испуганъ, но посовѣтовавшись съ матерью и докторомъ съѣздилъ въ уѣздъ и привезъ Дуню съ ребенкомъ. Больную нельзя было раздражать.

Ольга Владимировна ахнула, увидавъ мальчика, схватила его въ объятія и залилась слезами.

— Наконецъ-то!—радовался докторъ.—Теперь больная пойдетъ на поправку.

Въ самомъ дѣлѣ, присутствіе Володи дѣйствовало живительно на измученную душу Ольги Владимировны. Она видѣла въ Дунином мальчикѣ своего ребенка, котораго не могла забыть.

— Чортъ знаетъ, что за чепуха получается!—жаловался Левъ Григорьевичъ матери.—Это только Ольга можетъ такъ блажить... Ну подумайте, въ какомъ я дурацкомъ положеніи, ну хотя-бъ передъ прислугой нашей, которой все извѣстно... И чѣмъ это кончится, Богъ вѣсть!.. Я заикнулся было, что пора бы гостямъ во-свояси... И Боже мой!.. Она души не чаетъ въ этомъ мальчуганѣ... А тутъ, того гляди, кузнецъ сцену ревности за Дуньку разыграетъ...

Софья Григорьевна, закусивъ губы, зорко и подозрительно щурилась на сына.

Наконецъ Ольга Владимировна встала и отпустила Дуню.

— Ступай... Мнѣ совѣстно, что я тебя задержала. Мы скоро увидимся... И увози мальчика... Я и его, пожалуй, заражу.

Она опять ушла на деревню, несмотря на просьбы и мольбы свекрови и мужа.

— Зачѣмъ я тутъ?—говорила она.—Моимъ дѣтямъ съ вами хорошо, кормить я уже не могу сама: молока нѣтъ. У него здоровая кормилица. А на деревнѣ нѣтъ рукъ. Того гляди, фельдшерица свалится отъ переутомленія.

— Ты хочешь и другихъ дѣтей заразить? Богъ съ тобой!.. Ты—плохая мать,—съ гнѣвомъ сказала ей свекровь.

— Нѣтъ, тетя, я не приду сюда, пока не стихнетъ эпидемія. Буду жить у Марьи... Деревня не виновата въ томъ, что Коля умеръ. Тамъ этихъ Колей погибшихъ не перечесть... Но за ними не было ни докторовъ, ни ухода, ни ласки, ни цвѣтовъ на ихъ гробикѣ... Имъ и пить-то во-время не поспѣвали подать, потому что мать рядомъ зачастую валялась въ безпамятствѣ... Ты—добрая, тетя, справедливая... Ты должна меня понять... Постарайся только вдуматься... Поставь нашу Маню на мѣсто этихъ дѣтей... Ты сама не захочешь меня удержать...

— Ничего съ ней не могла сдѣлать!—со слезами говорила Софья Григорьевна вернувшемуся изъ уѣзда разгнѣванному и огорченному сыну.—Она такъ всегда скажетъ, что и возразить ей нечего. Прямо

душу вынетъ... Ну расцѣловала я ее, расплакались мы объ... Ступай на деревню... Она тамъ теперь... Сюда-то, ради Христа, не занеси заразы... Ночей не спимъ отъ страха... Кабы не она, въ городъ бы давно переѣхать!..

Левъ Григорьевичъ сдѣлалъ женѣ бурную сцену.

— Какой эгоизмъ чудовищный!.. Бросить семью, дѣтей... самой рисковать жизнью... Какъ будто ты имѣешь право ею распоряжаться!..

— А запереться среди своихъ въ такіе дни—не эгоизмъ?

— Оля, умоляю тебя... Меня-то хоть пощади!.. Я ни минуты не буду спокоенъ... Неужели тебѣ легко меня мучить?..

— Прости, Лева... Но ей Богу же, и въ голову не приходитъ думать объ этомъ... Ну, побудь хоть день со мной... Обойди избы... Взгляни на эту безпомощность, на эту нищету... Тебѣ стыдно станетъ говорить о *твоихъ* мученіяхъ...

Левъ Григорьевичъ возмутился не на шутку. Уходя, гнѣвный, взбѣшенный этимъ фанатичнымъ упорствомъ, онъ сказалъ женѣ съ жгучей горечью.

— Видно забыла смерть Коли!.. Забыла, во что тебѣ обошелся твой альтруизмъ проклятый!

Она поглядѣла на него кротко и грустно.

— Не забыла я, Лева, ничего... Но въ память моего погибшаго мальчика, я привязалась еще крѣпче ко всѣмъ этимъ несчастнымъ малюткамъ, которыя мрутъ, какъ мухи... Не я одна—мать, Лева... Всѣ несутъ тѣ же муки... Мнѣ только больно вспомнить, что я такъ долго была глуха ко всему въ своемъ горѣ... что я такъ зачерствѣла.. *Свое* горе, какъ огонь, выжгло мою душу до тла... Должно-быть, оно также вредно, какъ и счастье...

Они разстались холодно. Онъ былъ разгнѣванъ, она огорчена, и болѣе, чѣмъ когда-либо, они почувствовали себя чужими нравственно, совершенно неспособными понять другъ друга, несмотря на страсть, которая ихъ туманила.

Ольга вернулась домой, когда эпидемія стихла. Сама она была истощена до послѣдней степени.

— Берегите жену,—сказалъ Льву Григорьевичу приглашенный докторъ.—Она очень хрупка, несмотря на свои стальные нервы. Новые роды убьютъ ее. Дайте ей отдохнуть... Такія женщины для материнства не созданы.

Левъ Григорьевичъ угрюмо молчалъ, влюбленный въ жену болѣе чѣмъ когда-либо, за этотъ мѣсяцъ вынужденной разлуки съ нею и свиданій урывками, на деревнѣ, въ Марьиной избѣ.

— Что это за женщины пошли теперь!—возмущался онъ наединѣ съ матерью.—Ни женами, ни матерями неспособны и не хотятъ быть... Обнимаешь какой-то призракъ вмѣсто горячаго, здороваго тѣла. Да и того, оказывается, не смѣй обнять...

Софья Григорьевна слушала эти протесты съ тайнымъ трепетомъ. Вотъ она—почва для измѣнъ... Кто изъ *нихъ* не найдетъ себѣ оправданія въ подобныхъ обстоятельствахъ?.. И она начинала страдать за Ольгу, предчувствуя всю драму впереди своими напряженными нервами. Но при первыхъ ея робкихъ попыткахъ предостеречь сына, онъ вспыльчиво оборвалъ ее, возвысивъ голосъ, чего никогда не позволялъ себѣ раньше.

„Неужели онъ *уже* виноватъ передъ ней?!—холодѣя вся, поняла Софья Григорьевна.—Дунька... Кто же кромѣ?.. Они тамъ работали бокъ о бокъ мѣсяца два-три, пока Ольга здѣсь болѣла, а потомъ жила на деревнѣ. Старое вспомнилось... Онъ уже измѣнилъ“...

Ея тревога не скрылась отъ Ольги Владимировны. Вся гордость ея вспыхнула.

— Ты, кажется, боишься за него? Неужто ты его такъ презираешь, тетя? Чего стоитъ такой человѣкъ... и любовь его?.. Если такого маленькаго испытанія—болѣзни жены—онъ не можетъ выдержать?.. Мнѣ не надо такого чувства...

— Ты можешь долго проболѣть, Оля...

— Хотя бъ и годъ... Неужели, если бъ онъ заболѣлъ тяжкимъ хроническимъ недугомъ,—я сошлась бы съ нашимъ кучеромъ?

— Фи, Оля!.. Какія ты гадости говоришь!

— Да, но я этихъ гадостей не допускаю между нами. Ты же какъ будто санкціонируешь ихъ...

— Милая, мужчины такъ распущенны... Я не санкціонирую, я только допускаю эту возможность для нихъ.

— Вздоръ, тетя!.. Если бъ мы не прощали такихъ оскорбленій,— повѣрь, и мужчины умѣли бы себя обуздывать. Наша терпимость — это подчиненность рабынь. Онъ знаетъ, что я его не прощу. И не оскорбитъ меня... А главное, главное,—вѣдь онъ же меня любитъ...

Ольга Владимировна передала этотъ разговоръ мужу. Онъ возмутился такъ искренно, онъ такъ горячо клялся, что все и всѣ ему противны, что его любовь спасетъ его отъ *грязи*,—что даже скептически настроенная Софья Григорьевна почувствовала бы удовлетвореніе. Ольга же, гордая, чистая, вѣрующая безусловно, не захотѣла даже слушать его клятвъ и зажала ему ротъ горячей маленькой рукой.

— Довольно, Лева!.. Я и такъ вѣрю. Въ ту минуту, когда я перестану вѣрить, все будетъ кончено между нами.

А Левъ Григорьевичъ былъ искрененъ, говоря что все ему противно. Онъ уже успѣлъ опять пресытиться возобновленной связью съ Дуней. И въ глубинѣ души уже каялся и презиралъ себя за слабость.

V.

Какъ это открылось?

Безъ содроганія Софья Григорьевна не можетъ вспомнить лица невѣстки, когда та вошла къ ней въ комнату въ одно утро и глухо сказала:

— Тетя... Я уѣзжаю... Я ни одной ночи не соглашусь провести съ *нимъ* подъ одной крышей...

Жутко вспомнить эти дни. Отчаяніе Льва Григорьевича было безгранично.

— Мама... Удержи ее! —молилъ онъ, съ исказившимся отъ боли и страсти лицомъ.—Удержи... Я не ручаюсь за себя... Я не могу безъ нея жить...

— А я?—крикнула мать.—Обо мнѣ ты совсѣмъ уже забылъ?.. Ну застрѣлишься ты... Она замужъ выйдетъ, будетъ счастлива... А я?.. Неужели ты думаешь, что я утѣшусь и переживу тебя?

— О мама! мама!.. Что же мнѣ дѣлать?—безпомощно рыдалъ онъ, пряча въ ея колѣняхъ голову.—Что же мнѣ дѣлать, когда я не могу жить безъ ея любви?

Онъ говорилъ это *ей*... ей, для этого сына прощавшей мужу собственныя обиды и униженія, *ей*, видѣвшей въ своемъ ребенкѣ единственную цѣль жизни, свѣтъ и радость, — принесшей ему въ жертву все...

Но для счастья Левы надо было побороть боль и ревность. Надо было униженно молить невѣстку, не допускавшую мужа до объясненій. Она пошла...

Какъ живо встаетъ въ памяти Софьи Григорьевны весь этотъ вечеръ, весь ихъ разговоръ!

Былъ конецъ августа. Въ аллеѣ подъ столѣтними липами сгустилась тьма. Все такъ же въ нѣмомъ безысходномъ отчаяніи подымались къ небу искривленныя руки, о чемъ-то моля, на что-то жалуясь... Но черное небо молчало, глядя на эту скорбь мерцающими несмѣтными очами... Падающая звѣзда чертила огненную ленту во мракѣ и таинственно гибла за гранью міра.

Онѣ сидѣли рядомъ въ аллеѣ, приблизивъ невидимыя лица, крѣпко взявшись за руки, и говорили шопотомъ. Гордая старуха унизилась до того, что поцѣловала руку невѣстки, моля ее не покидать мужа, не разрушать семью. О полномъ примиреніи, о прощеніи не могло быть и рѣчи.

— Тетя... Что ты?.. Милая... Зачѣмъ?—крикнула Ольга Владимировна, испуганно отымая свои руки.—Зачѣмъ?.. Ты вѣдь мнѣ этого не простишь?.. Ты мнѣ это на счетъ поставишь? Ахъ!.. Если бъ ты знала, какое это насиліе съ твоей стороны всѣ эти слезы... которыя я не могу видѣть равнодушно... это горе твое...

— Ты остаешься?

Молодая женщина вскочила, ломая руки.

— Боже мой!.. За что такое мученье?

— Ты остаешься?—глухо, но настойчиво повторила свекровь, напряженно вглядываясь въ чуть чернѣвшій рядомъ силуэтъ Ольги Владимировны.

Во мракѣ онъ зашевелился безмолвно, какъ бы говоря: *нѣтъ*!..

Тогда Софья Григорьевна рѣшилась. Чтобы спасти счастье сына, ей надо было открыть Ольгѣ свою собственную семейную тайну.

— Слушай...

Она притянула къ себѣ невѣстку и нагнувшись къ уху ея, какъ бы боясь, чтобъ сама ночь не подслушала ея исповѣди, она разсказала Ольгѣ Владимировнѣ о собственныхъ страданіяхъ, объ измѣнѣ мужа, объ ея разбитой жизни, объ отреченіи, о погибшихъ иллюзіяхъ.

Затаивъ дыханіе, слушала Ольга Владиміровна. И вдругъ у нея вырвался почти вопль.

— Зачѣмъ же ты молчала?.. Зачѣмъ ты лгала?

— Зачѣмъ? — глухо повторила Софья Григорьевна. — Должно быть, надѣялась, что ты будешь счастливѣе меня... Мнѣ казалось преступнымъ пошатнуть твою вѣру въ мужа. Я знала твою способность всегда идти отъ частнаго къ общему и не останавливаться передъ выводами, какъ бы страшны они ни были...

— Вѣдь ты же безмѣрно виновата передо мной!.. Пойми...

Голова Софьи Григорьевны низко опустилась на грудь.

— Да, конечно... Ты поступала по шаблону... какъ образцовая мать, передавая мнѣ всѣ эти сантиментальныя легенды. Ты боялась „загрязнить“ душу дѣвушки всѣмъ жизненнымъ опытомъ и ты твердила: „Жизнь прекрасна... любовь вѣчна... Человѣкъ разуменъ, силенъ и благороденъ... Вѣрь—и ты будешь счастлива“... Это все равно, что посадить дитя въ лодку и пустить его одного въ открытое море, сказавъ: „Небо безоблачно... опасностей нѣтъ... Довѣрься волнамъ... онѣ донесутъ тебя къ тихой пристани“... Но первый шквалъ опрокинулъ лодку. Ребенокъ утонулъ... Его не научили ни плавать, ни управлять рулемъ... Развѣ это не преступленіе?

— Что же я, по-твоему, должна была сказать тебѣ, Оля?

— Ты должна была сказать мнѣ, пока мой женихъ обнималъ Дуню, а потомъ бросалъ ее беременную, убитую горемъ, опозоренную,—бросалъ для меня, *во имя любви ко мнѣ*... ты должна была сказать мнѣ тогда же: „Жизнь сурова и жестока. Это безпощадная битва. Каждая радость въ ней берется на счетъ другого. Вѣчной любви нѣтъ. Это та же хищная борьба. И этому кумиру не надо отдавать души, если не хочешь остаться съ разбитымъ сердцемъ, инвалидомъ въ двадцать-пять лѣтъ“... Ты должна была сказать, что че-

ловѣкъ—жалкое, безвольное, чувственное животное, безсильное противъ стихійныхъ инстинктовъ природы, которая знаетъ только *свои* цѣли и равнодушна ко всей нашей шаткой, призрачной этикѣ. Ты должна была сказать мнѣ, что бракъ—какъ мы съ тобой понимали его—прекрасная утопія... что въ лучшихъ случаяхъ, какъ у насъ обѣихъ,—это тайное многоженство со всѣми его печальными послѣдствіями... проституціей и дѣтоубійствомъ для незаконныхъ женъ и внѣшнимъ благополучіемъ для законныхъ... Ты должна была сказать мнѣ, что и радости материнства тѣ же утопіи,—вредныя утопіи, потому что смерть дѣтей дѣлаетъ насъ душевными банкротами, какъ и измѣна мужей... И что любя и вѣря, мы строимъ карточные домики на пескѣ. Потому что стоитъ первой встрѣчной женщинѣ шутя выдернуть нижнюю карту, и домикъ нашего женскаго маленькаго счастья рухнетъ безслѣдно. И ты должна была твердить мнѣ неустанно, что такимъ утопіямъ не надо жертвовать жизнью, и что такимъ кумирамъ не надо отдавать души...

Голова Софьи Григорьевны опускалась все ниже подъ градомъ этихъ страстныхъ обвиненій. Плечи ея сгорбились и голосъ звучалъ глухо, когда она отвѣтила:

— Я хотѣла тебѣ счастья. Въ этомъ все мое оправданіе...

— Счастье!.. Какъ будто оно возможно въ обманѣ и незнаніи!.. Ты должна была, любя меня, сорвать съ жизни прекрасную маску, которую лѣпили наши матери и бабки, и заставить меня смѣло взглянуть въ это жестокое и страшное лицо...

— Зачѣмъ?—простонала Софья Григорьевна.

— Затѣмъ, чтобъ мы имѣли мужество прожить безъ иллюзій...

— Безъ нихъ жизнь ничего не стоитъ...

— Да... Но вѣдь и мы за нихъ дорого платимъ... многія жизнью. А смѣемъ ли мы умирать отъ разбитыхъ грезъ?.. Мы должны жить дальше, безъ вѣрованій, какъ нищіе духомъ... Мало того... Мы должны воспитать другихъ... дѣтямъ нашимъ передать идеалы, въ которые извѣрились... Будетъ ли это нравственно?.. Ты поступила такъ со мной. Но я съ своей дочерью этого не сдѣлаю... Я не знаю, ***что*** я ей скажу потомъ... Моя душа сейчасъ, точно земля послѣ пожара. Все выжжено... все мертво... Но... это должно пройти... Это пройдетъ... И тогда... тогда я скажу моей Манѣ... не то... не то, чему ты научила меня...

— Оля, останься!—прорыдала Софья Григорьевна.—Не разрушай семью...

Горькій смѣхъ задрожалъ въ лицѣ молодой женщины.

— По-твоему, она уже не разрушена?.. Карточный домикъ, падающій отъ случайнаго толчка, который держится ложью, лицемѣріемъ и обоюдными компромиссами. Пусть!.. Научимся жить безъ миражей... Попробуемъ жить безъ любви, если она въ дни счастья

порабощаетъ душу, а уходя, дѣлаетъ насъ банкротами... Довольно! Мы заплатили за эту иллюзію слишкомъ дорогой цѣной... нашей личностью... тѣмъ, что есть самаго цѣннаго въ человѣкѣ...

— Боже мой!.. Оля... Гдѣ мнѣ найти слова, которыя дошли бы до твоего сердца?.. Чѣмъ мнѣ тебя смягчить?..

Софья Григорьевна безпомощно заплакала. Ольга Владимировна встрепенулась. Эти слезы властной старухи, дорогой для нея съ дѣтства, заставили дрогнуть жалостью ея ожесточившееся сердце. Она обняла плечи Софьи Григорьевны и покрыла поцѣлуями ея голову.

— Тетя... тетя... Что ты дѣлаешь со мною, милая?.. Ну говори... ну научи... Ну дай ты мнѣ силы... не смириться... Нѣтъ!.. но простить... Нѣтъ!.. не могу... Силы остаться... Ну, говори мнѣ о себѣ... Мы выстрадали однѣ и тѣ же обиды, мы схоронили однѣ и тѣ же грезы... И обѣ вотъ здѣсь, въ этой самой аллеѣ... гдѣ обѣ мы слышали клятвы въ любви... и гдѣ обѣ плакали, обманутыя... Скажи мнѣ... Ты его долго любила *потомъ*?.. Его одного всю жизнь?

Молчанье длилось нѣсколько секундъ.

— Нѣтъ...

— Ты любила другого? *Ты*... тетя?

— Да... Когда я устала страдать...

— И тотъ... другой... это зналъ?

— О нѣтъ!.. Никогда!

— Развѣ онъ не любилъ тебя?

— Безумно, Оля!.. Чего мнѣ стоило молчанье? Но я все подавила въ себѣ...

— Зачѣмъ же?.. Во имя чего?.. Скажи...

— Для сына... для васъ обоихъ... Изъ долга, Оля... чтобъ высоко нести голову... чтобы жить, не краснѣя... и умереть безъ стыда...

Ольга Владимировна стиснула ея руки.

— Ты—героиня... О! Какъ вылилась ты вся въ этихъ словахъ! И какъ дорога ты мнѣ... хотя мы такъ чужды во всемъ... рѣшительно во всемъ... Твоя вѣра мертва для меня... Она ничего не говоритъ моей душѣ... Это добродѣтели ушедшаго столѣтія. Это ветхіе мѣхи. Въ нихъ не вольешь новаго вина. Но я твою вѣру не осмѣю... Помню... Разъ на пароходѣ, когда садилось солнце, я увидала на палубѣ мусульманина. Онъ горячо молился, стоя на колѣняхъ. Кругомъ была кучка людей. Они шептались съ насмѣшкой, они глумились... Онъ ихъ не видѣлъ... Помню его глаза, обращенные къ небу... Я прошла мимо въ благоговѣйномъ молчаньи. Съ тѣмъ же чувствомъ цѣлую сейчасъ твою руку...

Онѣ обнялись горячо, какъ друзья. Лица ихъ снова сблизились. Голоса упали до шопота.

— Скажи... Онъ это зналъ... твой мужъ?

— Нѣтъ. Съ этимъ увлеченіемъ я справилась во время. Это была, пожалуй, жажда мести. Помнишь, какъ дядя жилъ за границей три года, подъ предлогомъ болѣзни?

— Такъ онъ былъ здоровъ?

— Онъ просто бросилъ меня, ради другой женщины. Но когда, въ свою очередь обманутый ею, онъ вернулся ко мнѣ больной и страдающій...

— Ты прогнала того, кого любила... И осталась съ нелюбимымъ и невѣрнымъ мужемъ?

— Не смѣйся, Оля. Твоего дядю тогда уже разбилъ параличъ. Я насилу отстояла его отъ смерти. Остальное ты знаешь...

— И ты не бросила ему въ лицо упрека за твою изуродованную жизнь? За того, другого... любовь котораго ты отвергла?..

— Видишь ли, Оля... Всякому человѣку, какъ бы низко онъ ни палъ, надо крѣпко вѣрить во что-нибудь. Жажда идеала живетъ въ каждой даже циничной душѣ. Я потеряла его любовь. Но его уваженіе мнѣ было дорого...

Ольга Владимировна тихо и зло смѣялась, качая головой.

— Непонятная загадка!.. Ты, такая гордая, такая властная... Гдѣ брала ты силы прощать столько лѣтъ?

— Въ любви, Оля... Только въ любви,—твердо и горячо прозвучалъ голосъ Софьи Григорьевны.—Есть, Оля, высшее блаженство, котораго ты не извѣдала. Это радость прощенья... Послѣ долгихъ страданій какъ-то отрѣшаешься отъ самой себя, отъ своего тѣла и его требованій... отъ его болей... Начинаешь въ мужѣ и любовникѣ любить *человѣка*, любить въ немъ то единственное, не повторяющееся нигдѣ, ни въ комъ, что составляетъ его душу, его *я*... Наврядъ ли ты, Оля, поймешь меня сейчасъ. Для этого надо какъ бы это сказать?... пережить себя... И тогда уже подымаешься на ту высоту, съ которой *свои* обиды кажутся мелкими... Онъ вернулся ко мнѣ, больной и несчастный, не имѣя уже ни силъ, ни желанья меня обманывать. (Она тихо засмѣялась)... Вотъ когда я могла сказать смѣло, что онъ *мой*, безраздѣльно!.. И я любила его, Оля!.. Какъ любитъ мать свое дитя-калѣку... Я выслушала его исповѣдь, его позднее раскаянье. Я ему все простила, радостно и искренне. И когда онъ клялся мнѣ, что меня *одну* любилъ всѣмъ сердцемъ, я не смѣялась, я вѣрила ему...

— Ты вѣрила ему,—какъ эхо глухо повторила молодая женщина.

— Онъ умеръ вотъ на этой скамьѣ, на моихъ рукахъ, вѣря въ меня, съ благословеніемъ и благодарностью... И до конца дней моихъ я буду благодарить Бога за то, что не поддалась ни искушенію, ни жаждѣ мести... за то, что я сумѣла простить... и сумѣла смириться...

Ольга Владимировна со стономъ выпустила руки свекрови и закрыла лицо.

И долго сидѣли онѣ недвижно во мракѣ, каждая думая свое, переживая вновь собственную драму, чувствуя, какъ раскрываются, горятъ и сочатся не заживающія раны сердца.

Гдѣ-то за паркомъ взошла, наконецъ, поздняя луна. Ожилъ, затрепеталъ въ сказочномъ сіяніи старый садъ. Казалось, липы вздохнули, глядя въ свѣтлѣвшее небо, также молчаливо взиравшее на ихъ уродливыя, кривыя, съ отчаяніемъ воздѣтыя руки. Подъ зеленымъ сводомъ смутно бѣлѣли теперь лица обѣихъ женщинъ и мягкими контурами обрисовывались ихъ темныя фигуры.

— Смириться... послышался, наконецъ, разбитый страданьемъ молодой голосъ. — Ненавистное слово! Въ немъ цѣлая этика прошлыхъ поколѣній. Весь сводъ старыхъ догматовъ... Но отъ него смертью вѣетъ, тетя... Смертью свободной души... Почему, скажи, я должна смиряться, когда во мнѣ горитъ вся кровь и бунтуетъ душа? Почему *мы* должны принять, какъ готовую, *вашу* рабскую мораль, безъ критики и протестовъ! Довольно жить смиреньемъ и страданьемъ!.. Есть преступленія передъ самимъ собой... Тетя!.. Не отвертывайся... постарайся понять... Твоего смиренья мнѣ негдѣ взять. Я хотѣла быть равной въ любви, равной въ семьѣ и жизни... Я не виновата, что я такая... Я и не хочу быть иной...

Она передохнула, помолчала съ мгновенье и вставъ, протянула руку свекрови.

— Я остаюсь...

— Оля!!— крикнула Софья Григорьевна и схватила руки невѣстки.—Оля!.. Ты простишь?..

— Нѣтъ... Этого нѣтъ... Не могу... Но я остаюсь для тебя... и дѣтей... помни это... Но чужая ему навсегда... Такъ и передай ему...

— Это жестоко... Я... не смогу сказать...

— Жестоко?—съ желчной усмѣшкой повторила Ольга Владимировна. — О да! Ты послѣдовательна. Ты думаешь только о сынѣ, какъ мать... Но будь же справедлива! Ты— гордая... ты, сама выстрадавшая мои обиды... ты—женщина... Я не хочу быть чужой вещью... За что, скажи, я должна покоряться насилію? Служить чужому наслажденію, когда вся душа горитъ отъ обиды? Когда поругана моя любовь? И ничего, кромѣ ненависти и отвращенія нѣтъ въ моемъ сердцѣ? Скажи, за что такой позоръ? За что мы обречены на униженіе?.. Ну, стань на мое мѣсто, хоть на одно мгновенье... и брось въ меня камнемъ, если можешь... Теперь я сказала все...

Она заломила руки надъ головой. Глаза ея невольно поднялись къ черному небу, равнодушно глядѣвшему на правыхъ и виновныхъ... Звѣзды дрожали тамъ, высоко... И вся мрачная аллея, какъ символъ

нѣмого отчаянія, поднявъ зеленыя изуродованныя руки, тоже какъ бы спрашивала: за что? . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

VI.

Стоялъ конецъ сентября. Два мѣсяца прошло со дня катастрофы. Такая же лунная ночь спустилась надъ усадьбой. Но лѣто было далеко. Мертвые листья шуршали подъ ногами обѣихъ женщинъ, когда онѣ шли, опираясь другъ на друга, медленно и безцѣльно. Угрюмо глядѣли на эти траурныя фигуры двурукіе великаны липы, уже оголенныя и черныя въ лунномъ свѣтѣ. Ихъ гигантскія тѣни ложились на землю, скованную первыми заморозками. Свѣтъ луны свободно лился между голыми сучьями и серебрилъ песокъ, гдѣ играя блуждающими бликами, гдѣ шедро бѣлымъ поясомъ охватывая дорогу. Онъ ласкалъ и лица женщинъ. Онѣ были блѣдны и худы. Онѣ преждевременно увяли, какъ поникшія на куртинахъ и почернѣвшія головки астръ, убитыя раннимъ морозомъ.

— Сядемъ,—сказала Софья Григорьевна, когда онѣ поровнялись съ мшистой, старой скамьей.

Онѣ сѣли и оглянулись... Какъ давно онѣ не были здѣсь вдвоемъ! Больше года... Съ той памятной ночи, когда свекровь молила невѣстку остаться и простить... Казалось, долгіе годы прошли съ тѣхъ поръ, состарившіе обѣихъ. Казалось, грозный вихрь промчался надъ этой семьей, разрушивъ ея покой, ея радости, убивъ въ сердцѣ матери надежды, а въ душѣ Ольги Владимировны разметавъ все гордое зданіе ея принциповъ, ея міросозерцанія, не оставивъ тамъ камня на камнѣ, все сравнявъ съ землей...

Уронивъ на грудь когда-то гордую голову, сцѣпивъ руки, сидѣла она теперь въ безысходной тоскѣ, вспоминая ту роковую ночь объясненія съ свекровью. Ей какъ бы чудился ея собственный голосъ, полный трепета и страсти, всѣ мятежныя рѣчи, которыя раздавались подъ этимъ сводомъ, тогда еще пышнымъ и зеленымъ.—„Безумная, безумная женщина...“—думала она съ горечью... „Я, считавшая свою гордость цѣннѣе человѣческой жизни... Въ какомъ туманѣ заблудилась я!... Какъ долго блуждала во мракѣ!.. Сколько жертвъ и страданій нужно было, чтобы понять жизнь и понять себя!..“

Здѣсь сейчасъ она въ послѣдній разъ. Утромъ уѣдетъ далеко... Она глядѣла кругомъ и трагическая красота этой аллеи впервые поразила ее. Хотѣлось крикнуть: кто посмѣлъ изуродовать велико-

лѣпныя липы? По какому праву помѣшали ихъ росту, измѣнили направленіе побѣговъ и сучьевъ?

— Тетя, взгляни,— тихо сказала она.— Какъ искалѣчены эти великаны! Взгляни... Они какъ будто подняли руки и молятъ небо о правосудіи. Это символъ нашей жизни.

Софья Григорьевна очнулась и подавила тяжкій вздохъ.

— Стало-быть ты меня покидаешь, Оля?

— Да, тетя. Я не могу здѣсь остаться.

— Я не держу тебя, другъ мой. Я всегда чувствовала, что тебѣ тѣсно въ клѣткѣ, которую мы—старые люди—привыкли любить. Ты переросла ее и задыхалась въ ней. Это — не твоя доля... Спасибо, что не берешь внуковъ. Безъ нихъ мнѣ нечѣмъ было бы наполнить жизнь. Я молила Бога о смерти, но теперь рада, что кому-нибудь еще могу пригодиться.

— Тетя!.. Какъ больно это слышать отъ тебя, такой доброй, чуткой, сильной...

— Нѣтъ, Оля, нѣтъ!.. Знаю, что ты хочешь сказать. Рядомъ деревня, гдѣ всегда нужны люди, знанья, деньги. Другъ мой Олюшка... Я состарилась... И нѣтъ у меня силы жить для другихъ...

— Но Володю... сына Дуни... ты будешь ласкать наравнѣ съ внуками?.. Тетя... Это его сынъ... Постарайся его полюбить, какъ я его люблю. Онъ ни въ чемъ не виноватъ передъ нами. Мы должны воспитать его. Дуня обѣщала не мѣшать. И она—помни—она не чужая намъ.

— Я не могу забыть, что все... все случилось изъ-за нея,—воскликнула Софья Григорьевна.

— Ахъ, это жестоко!.. Развѣ она мало выстрадала сама?.. Наконецъ, она была его первая любовь. Она и сейчасъ убивается по немъ. Живой онъ разлучилъ насъ. Мертвый долженъ связать. Мы — уже не чужія... Но меня ты навѣрное осуждаешь за то, что я бросаю своихъ дѣтей, а думаю объ этомъ Володѣ?

— Богъ съ тобой! Вѣдь ты же вернешься?

— Да, да... Но теперь увѣряю тебя, тетя, дѣти меня стѣснятъ... Я ничего еще не знаю, гдѣ буду, что сдѣлаю изъ своей жизни. Но я хочу прожить ее по-своему, какъ мечтала въ юности... Не въ тѣсномъ семейномъ кругу, а въ общеніи съ людьми, съ широкимъ міромъ, съ другими... и для другихъ... Знаю... многіе скажутъ, что я, какъ кукушка, бросила дѣтей на чужія руки. Но вѣдь это *твои* любящія руки, тетя. Лишь бы ты не осудила меня. Наконецъ... чтобы меня ни ждало... я не солгу тебѣ... Я не хочу любить моихъ дѣтей, какъ когда-то Колю, какъ ты любила своего сына... Нѣтъ! Не хочу!.. Не надо мнѣ этихъ привязанностей, хрупкихъ и эфемерныхъ, этихъ новыхъ иллюзій, которыя обманутъ. Мы обѣ схоронили дѣтей... и они намъ дорого стоили...

Софья Григорьевна махнула рукой и тихо, безнадежно заплакала.

— Ты, тетя, говорила мнѣ, что я была близка къ помѣшательству, когда умеръ мой Коля. Ахъ!.. Я помню эту безумную тоску. Она мнѣ всю душу испепелила. Я не хочу переживать вторично такого банкротства.

— Ты можешь снова полюбить...

— Я?.. какъ бы вспыхнулъ голосъ Ольги Владимировны.—Тетя!.. Развѣ это возможно?

— Онъ былъ такой хорошій, Оля... Такой честный, добрый...

— Да... Оглядываясь назадъ, я вижу только свѣтлое и прекрасное въ его душѣ. А то, что было въ ней для меня темнаго и ненавистнаго,—я предаю забвенью. Я говорю судьбѣ горячее спасибо за дни счастья. Я никому не отдамъ моей души, тетя. Мы обѣ останемся вѣрны ему...

Послышались рыданья. Плакала Софья Григорьевна.

Молодая женщина сползла со скамьи на земь и стоя на колѣняхъ, прижалась къ груди свекрови.

— Не плачь. Будь мужественна, дорогая тетя... Передъ нами еще долгіе годы, огромныя задачи, такая отвѣтственность. Эту жизнь надо сумѣть прожить *по новому*, прожить ее честно по отношенію къ нашимъ дѣтямъ.

— Ничего не знаю, Оля. Я потеряла голову. Я чувствую свои ошибки. Но еще не вижу ихъ...

— Я тоже... Я много и упорно думаю. Но нѣтъ системы въ моемъ новомъ, нарождающемся міросозерцаніи. Поэтому я уѣду. Постараюсь набраться знаній, побольше видѣть, прочесть, вдуматься, сравнить... Не хочу и не смѣю быть слѣпою... Одно мнѣ ясно, тетя. Надо научить Маню той терпимости, широкой и гуманной, которой я не знала, которой насъ не учатъ. Надо воспитать въ дѣтяхъ уваженіе къ личности. На такой почвѣ не вырастетъ чудовищная ревность, этотъ позорный пережитокъ варварскихъ традицій...

— Оля... Тебѣ тяжело вспомнить?

— Невыносимо, тетя!.. Какія страшныя ночи я переживаю!.. Его глаза... его лицо всегда передо мною... И какимъ ничтожнымъ, жалкимъ безуміемъ, какой варварской жестокостью кажется мнѣ теперь все мое поведеніе! Что оскорбляло меня?.. Зачѣмъ я гналась?.. За что боролась?.. Нѣтъ, тетя... Научимъ нашихъ дѣтей брать жизнь, какъ она есть, съ ея скорбью и убожествомъ, съ ея грязью и пошлостью, если она неизбѣжна... И любить людей, какъ они есть,—жалкихъ, безвольныхъ, со всѣми ихъ слабостями и проступками. Отымемъ у нихъ идеалы... идеалъ вѣчной любви, неразлучный съ ревностью, безуміемъ и страданіемъ. Отымемъ у нихъ иллюзіи... Чтобъ кумиры не падали въ грязь... чтобъ миражи не заводили ихъ въ безвыходныя топи...

чтобъ они умѣли бороться въ этой свалкѣ и находить въ жизни *свое* мѣсто... И оставаться всегда свободными и сильными...

— Милая, милая Оля... Не тѣ же ли иллюзіи лелѣешь ты сейчасъ? Неисправимая идеалистка,— отвѣчу я твоими же словами. Развѣ ты истребишь въ людяхъ потребность къ счастью? Ты сама не ушла отъ этого колдовства. Чего же ты хочешь отъ другихъ?

— Иного отношенія къ любви и къ жизни... Только... Но въ этомъ все,— страстно воскликнула Ольга Владимировна.— Зачѣмъ лишать людей счастья? Ставить рамки чувству? Шире раздвигайте ихъ! Шире!.. Дайте всѣмъ счастья вволю... Стѣснять свободу чувства—все равно, что уродовать вотъ эти чудныя деревья... Кто смѣетъ это дѣлать? Кто смѣетъ калѣчить душу? Когда-нибудь это поймутъ... И тогда исчезнетъ безобразный призракъ ревности, этотъ кошмаръ нашихъ дней. Исчезнетъ и слово „измѣна“...

Софья Григорьевна всплеснула руками.

— Оля... Оля!.. Тебя ли я слышу?.. Если бъ ты такъ думала раньше... Боже мой!..

— Да. Жизнь дала мнѣ тяжкій урокъ... И дорогой цѣной я купила сознанье моей ошибки.

— И свое смиреніе,—горько добавила Софья Григорьевна.

Ольга Владимировна отклонилась и медленно поднялась съ колѣнъ.

— Смиреніе? Нѣтъ. Не оно нужно намъ, а знанье и гордость. Вотъ въ чемъ будетъ наша сила впереди. Нужна гармонія воззрѣній и чувствъ, какой не имѣли ни ты, женщина стараго поколѣнія, ни я. Видишь ли, тетя? Я поражала тебя своими взглядами, но чувства мои стары, какъ твои. Я впитала въ себя твою старую вѣру безсознательно, какъ медленную отраву. Я грезила о вѣчной любви, я ревновала, терзалась измѣной, требовала рамокъ для свободной души. У женщинъ далекаго будущаго не будетъ этой дисгармоніи. И онѣ станутъ счастливѣе насъ. Хочется вѣрить, тетя, что грядущій вѣкъ не увидитъ этихъ трагедій любви... этого культа страсти, унесшаго безплодно столько лучшихъ силъ, сгубившаго такъ много крупныхъ людей... За что погибъ нашъ Лева? Этотъ здоровый, сильный, способный и хорошій человѣкъ? *Изъ-за любви!* Не обидно ли? За что я убила Леву?.. Потому что ты права... Я его убійца... *Тоже изъ-за любви.* Какая, иронія. Хочется вѣрить, что культъ любви исчезнетъ, какъ исчезли уже многіе фатальные предразсудки и средневѣковыя заблужденія. И наши потомки черезъ сто лѣтъ съ удивленіемъ, смѣшаннымъ съ жалостью, заглянутъ въ нашу литературу, посвященную любви.—„Какіе они были эротоманы!..“—скажутъ они.—„Все это результаты ложносантиментальнаго воспитанія и отсутствія широкой и жгучей общественной жизни“... Ахъ, тетя!.. Я вѣрю, что человѣчество избавится отъ этого рабства въ любви, стряхнетъ съ себя кошмаръ

чувственной страсти. И тогда предъ нимъ яркой звѣздой засіяютъ иные идеалы, развернутся иные горизонты...

— И сердце женщины обойдется безъ любви?—тихо и печально какъ бы уронила Софья Григорьевна свой вопросъ.

— Да, какъ и сердце мужчины. Они оба не отдадутъ ей свободной души. Они оба возьмутъ любовь, какъ радость, какъ необходимость, какъ краски жизни и ея музыку, какъ красоту... Но—души и жизни своей они любви не отдадутъ... Не поставятъ ее въ центрѣ всего, какъ дѣлали мы, не оплачутъ, утративъ ее, кровавыми слезами, не станутъ банкротами, а пойдутъ свободными и гордыми дальше, беря попутно радости, благословляя за нихъ судьбу... Пойдутъ дальше, къ инымъ цѣлямъ, болѣе чистымъ и болѣе высокимъ.

Софья Григорьевна сидѣла съ поникшей головой, болѣзненно прислушиваясь къ этому трепещущему, страстному голосу. Да... Она убита. Всѣ радости угасли. Одна осталась послѣдняя надежда — внуки. И если ихъ унесетъ безжалостная судьба,—у нея уже не останется силы жить. А эта странная женщина съ упругой душой воспрянула отъ удара, и—чуется—всѣхъ ихъ переживетъ и схоронитъ безъ проклятій судьбѣ, глядя впередъ тѣмъ же взглядомъ фанатика, и пойдетъ дальше къ тѣмъ инымъ горизонтамъ, что мерещатся ей вдали.

— Когда же мы свидимся, Оля?.. Мнѣ грустно... Неужели распадется и исчезнетъ та духовная связь между нами, что обѣимъ намъ была такъ дорога?

Ольга Владимировна наклонилась, взяла въ обѣ руки поникшую сѣдую голову и цѣловала ее въ глаза и уста долго и нѣжно, какъ цѣлуютъ мать.

— Какъ можешь ты это думать, тетя? Мы состаримся рядомъ. Я вернусь сюда же, гдѣ столько выстрадала, гдѣ столько схоронила. Но вернусь уже другою,—сильной и мужественной, для работы и новой жизни. Не плачь... Въ долгіе зимніе вечера, когда дѣти заснутъ, а за окномъ запоетъ вьюга, мы будемъ сидѣть вдвоемъ у камина и говорить о *немъ*... и вспоминать всѣ мелочи счастливаго дѣтства, и плакать тихими слезами, безъ горечи и укоровъ...

Онѣ взялись за руки и пошли къ дому. Все спало въ усадьбѣ. Въ залѣ, озаренной луною, онѣ остановились.

— Оля... Оля... Ты даешь мнѣ послѣднюю иллюзію... Можно ли надѣяться, что послѣ жизни во Франціи и Бельгіи, увидавъ новыхъ людей, новую среду, окунувшись съ головой въ этотъ новый міръ, въ интересы, чуждые всему нашему семейному строю, всѣмъ укладамъ нашей жизни,—ты добровольно вернешься въ старое гнѣздо, гдѣ тебѣ всегда было тѣсно?.. Не ты ли жаловалась тогда, въ первый годъ замужества, что семья оторвала тебя отъ возникавшихъ интересовъ?

— Вернусь, хотя на время... Вся моя личная жизнь, всѣ мои радости будутъ только здѣсь, среди васъ. У меня здѣсь будутъ и

обязанности, не забудь... А теперь, тетя, прощай... Я уѣду на разсвѣтѣ, чтобъ попасть къ поѣзду. Береги дѣтей... Нѣтъ!.. Провожать меня не надо... Это дастъ намъ обѣимъ лишнія страданья. А намъ силы нужны. Поди, лягъ... засни... Адресъ моихъ парижскихъ друзей у тебя. Пиши мнѣ каждый день хоть строчку...

— А ты? — рыдая, крикнула Софья Григорьевна и крѣпко обняла невѣстку. Она забыла сейчасъ все, что выстрадала изъ-за нея, и помнила только радости, которыя дала ей эта горячо любимая Оля, ея лучшій другъ.

— Я напишу, тетя... Скоро... Когда уляжется, окончится этотъ процессъ броженія въ душѣ... когда пойму себя... Прощай, дорогая, и пожелай мнѣ успѣха! Куда приведетъ меня эта работа души? Не знаю... Чувствую одно, что назадъ дороги нѣтъ...

Шаги ея зазвучали по паркету. Ея воздушный силуэтъ мелькнулъ еще разъ въ полосѣ луннаго сіянья и исчезъ.

Софья Григорьевна осталась одна. Она сѣла на стулъ, захватила голову руками...

Она думала...

Вотъ онѣ новыя... Вотъ онѣ сильныя... не знающія смиренья, смѣло идущія въ міръ, на борьбу, навстрѣчу жизни, которой мы такъ боялись... Безъ страха, безъ страстей... безъ привязанностей... Ихъ мало пока. Ихъ будетъ много. Въ недалекомъ будущемъ онѣ принесутъ много страданій близкимъ, но дадутъ высокія радости чужимъ и далекимъ, о которыхъ мы никогда не думали въ своемъ уютномъ углу... *Имъ* суждено подвести итоги старымъ ошибкамъ и на развалинахъ создать новое, прочное, великое зданіе... Пошли имъ, Боже, силъ!!

А. Вербицкая.

9 ноября 1900 г.

Елена Николаевна Вилліамъ родилась въ Москвѣ, первое художественное образованіе получила въ Берлинѣ, у профессора *Гуссо* (Goussow) въ 1885 и 1886; въ 1888-мъ и 1889-мъ годахъ занималась въ Москвѣ, въ училищѣ Ж. В. и З., подъ руководствомъ *В. Е. Маковскаго* и *Е. С. Сорокина*; тутъ же, на ученической выставкѣ, выставила первую жанровую картину изъ русскаго быта «Разсказы гостя». Въ 1890-мъ году занималась въ Мюнхенѣ у художника *Дюрра* (Dürr) и *проф. Рота* (Roth). По возвращеніи стала самостоятельно работать и ежегодно выступала на *періодическихъ выставкахъ Московск. Общ. Люб. Худож.*, «Въ Богадѣльнѣ» (1891), «На произволъ судьбы», «Танцовщица» (1892), «Старые знакомые», «Да будетъ воля Твоя» (1893), «За работой» (1894), «Монахини» (1896), «Дѣти» и «Къ вечеру» (1897), (послѣдняя картина пріобрѣтена П. М. Третьяковымъ для городской галлереи) и т. д. Участвовала на этюдныхъ, пастельныхъ и акварельныхъ выставкахъ того же общества; кромѣ того, выставляла въ *Петербургѣ* на академической выст. (1893 и 1896), на передвижной (1897), въ *Нижнемъ-Новгородѣ* (1896), въ *Одессѣ*, въ *Ростовѣ на Дону*, на пастельной выст. Москов. Об. Л. Х. въ *Петербургѣ* (1899), и т. д...

Осень.

(*Рис. А. Ржевской*).

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX
TILDEN FOUNDATIONS

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ЧЮМИНА.

26 декабря 1864 г. въ Новгородѣ, въ старинной, дворянской семьѣ Чюминыхъ родилась дочка О. Н., столь извѣстная въ настоящее время поэтесса. Вскорѣ затѣмъ отецъ ея, командовавшій полкомъ, былъ переведенъ въ Финляндію и такимъ образомъ почти все ея дѣтство протекло въ странѣ «тысячи озеръ». Поэтическое дарованіе О. Н., вѣроятно, унаслѣдовала отъ отца и дѣда, также писавшихъ стихи. Какъ единственному ребенку, да притомъ еще слабому, ей дали домашнее образованіе, при чемъ особенное вниманіе было обращено на языки и музыку, къ которой у О. Н. оказались наклонности, что столько большія способности, что въ 1875 г., когда вся семья поселилась въ Новгородѣ, она подъ руководствомъ машей музыкантши, стала серьезно готовиться въ консерваторію. Но этому проэкту не суждено было осуществиться: родители побоялись отпустить молодую дѣвушку одну въ Петербургъ.

Къ литературѣ у О. Н. всегда было большое влеченіе, но писать она начала только съ 1882 г. Одно изъ ея первыхъ стихотвореній, безъ ея вѣдома, было напечатано знакомыми въ газетѣ «Свѣтъ». Только послѣ этого О. Н. рѣшила серьезно посвятить себя литературѣ. Не будучи лично знакома ни съ однимъ писателемъ или редакторомъ, она рѣшилась нѣкоторымъ изъ нихъ, которыхъ знала по именамъ, послать свои стихи и попросить дать ей совѣтъ. В. И. Немировичъ-Данченко, П. Н. Полевой, И. С. Аксаковъ и В. П. Буренинъ тотчасъ же откликнулись на просьбу начинающаго автора и не только напечатали ея стихи и прислали ей бла-

гопріятные отзывы о нихъ, но и дали нѣсколько полезныхъ указаній и совѣтовъ. Въ 1885 г. О. Н. познакомилась съ Плещеевымъ; благодаря ему, «Вѣстникъ Европы» въ 86 г. напечаталъ ея переводъ драмы Кюке «Le passant» (Мимолетно), что сразу открыло ей доступъ во всѣ большіе журналы. Въ 1889 г. вышла первая книжка ея стихотвореній, и въ томъ же году на Александринскомъ театрѣ была поставлена первая ея пьеса «Искушеніе». Затѣмъ одно за другимъ на той же сценѣ поставили еще четыре ея произведенія — «Жену собрата» (Банвиля), «Мечту», «Въ сѣтяхъ» и «Угасшую искру». Въ 98 г. вышла вторая книжка стихотвореній О. Н. Чюминой, удостоенная почетнаго отзыва академіи наукъ.

Читателямъ «Родины» г-жа Чюмина извѣстна какъ прекрасная переводчица поэмы Мильтона «Потерянный и возвращенный рай».

Изъ зимнихъ мелодій.

I.

Въ лѣсу стоятъ сѣдыя сосны;
Ихъ мѣдно-красная кора
Покрыта слоемъ серебра,
Имъ грезятся былыя вёсны,

—

Улыбка солнца въ небесахъ,
Броженье соковъ животворныхъ,
И звонкій бѣгъ ключей проворныхъ,
И гомонъ радостный въ лѣсахъ.

—

Но потрясенъ до основанья,
Застонетъ глухо темный боръ,
Когда порой среди молчанья
Вдругъ застучитъ въ лѣсу топоръ.

—

И пробѣжитъ тревожный шорохъ
Въ вершинахъ сосенъ вѣковыхъ,
Какъ вѣсть о смертныхъ приговорахъ
Неотвратимо роковыхъ.

2.

Залита луннымъ блескомъ,
За темнымъ перелѣскомъ
Вздымалась къ небу ель;
И ей шептала сказки,
Кружилась въ вихрѣ пляски
Лишь снѣжная метель.

Надъ ней въ иныя страны
Неслися караваны
Нависшихъ низко тучъ,
И солнце ей свѣтило,
И яркія свѣтила,
И робкій лунный лучъ.

Но въ темномъ перелѣскѣ
Ей грезилось о блескѣ
Сверкающихъ огней,
О пышномъ гордомъ залѣ,
О музыкѣ на балѣ
Въ ночи мечталось ей.

За свѣтлый мигъ веселья,
За краткое похмелье,
За ложь и мишуру—
Она отдать готова
Блескъ солнца золотого
И мѣсяца игру.

Пробужденіе.

Чѣмъ-то тревожнымъ и влажнымъ повѣяло,
Въ рощѣ безлиственной—трепетъ и гулъ,
Съ полночи градомъ и дождикомъ сѣяло,
Вѣтеръ морской потянулъ.

*

Къ сѣверу дикому съ юга прекраснаго
Онъ чрезъ долины и горы несетъ
Легкую зыбь дуновенія страстнаго,
Тянетъ куда-то, къ чему-то зоветъ.

*

Шепчетъ онъ рѣкамъ:—Разбейте холодныя
Тяжкія зимнія цѣпи свои,
Къ морю несите—отнынѣ свободныя—
Свѣтлыя ваши струи!—

*

Шепчетъ онъ сушѣ:—Отъ сна запоздалаго
Къ счастью и къ свѣту проснися, земля,
Сѣтью фіалокъ и вереска алаго
Пусть запестрѣютъ поля.

*

Шепчетъ могиламъ:—Утѣшьтесь, забытыя,
Солнышко глянетъ на васъ съ высоты,
Будутъ надъ вами, травой перевитые,
Плакать росою цвѣты.

150

Дубъ.

Выше иду я тропинкою горной,
Вотъ за уступомъ уступъ.
Возлѣ ущелья надъ бездною черной
Высится царственный дубъ.

***

Молніи блескомъ въ грозу опаленный,
Онъ подъ грозой не поникъ,
Лютую стужу и зной раскаленный
Бодро выноситъ старикъ.

***

Въ землю корнями врастая глубоко,
Вѣтви онъ къ небу простеръ
И надъ скалою раскинулъ широко
Темно-зеленый шатеръ.

***

Тучу спокойно онъ ждетъ грозовую,
Вѣтви подъемля въ просторъ голубой,
Такъ же, какъ прежде, стрѣлу огневую
Онъ вызываетъ на бой.

О. Чюмина.

ЕЛИЗАВЕТА ГАСПАРОВНА КРАСНУШКИНА.

Елизавета Гаспаровна родилась въ Таганрогѣ; отецъ ея былъ генералъ-маіоромъ войска Донского. Художественное образованіе получила въ Императорской академіи художествъ въ Петербургѣ, по классу батальной живописи, у профессора Виллевальде. Кончила курсъ съ двумя серебряными медалями. Сначала выставляла свои картины на академическихъ выставкахъ, потомъ перешла въ общество петербургскихъ художниковъ, гдѣ до сихъ поръ выставляетъ свои произведенія.

Госпожа Краснушкина занимается преимущественно офортами и получила Высочайшую благодарность за поднесенный ею Императору Александру III альбомъ. Коллекція ея гравюръ куплена петербургскимъ Эрмитажемъ. Въ настоящее время художница зимы проводитъ въ Римѣ, гдѣ имѣетъ свою мастерскую, и выставляетъ свои картины на заграничныхъ выставкахъ. Въ 1900 году ею полученъ въ Римѣ почетный отзывъ за картину «Тройка».

ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА.

Рисунокъ Е. С. Селивачевой.

НИНА ПАВЛОВНА АННЕНКОВА-БЕРНАРДЪ.

Нина Павловна Анненкова-Бернардъ (Дружинина) родилась въ 1864 г. Первоначальное образованіе получила въ петербургской Маріинской гимназіи, а по окончаніи ея курса поступила на драматическіе классы В. В. Самойловой, гдѣ сразу же обнаружились ея далеко не дюжинныя драматическія способности.

Уже въ 1880 г. она подъ руководствомъ своей учительницы впервые начинаетъ выступать на частныхъ сценахъ въ Петербургѣ и сразу же завоевываетъ симпатіи публики. Вскорѣ затѣмъ молоденькая артистка принимаетъ ангажементъ въ Вильну и съ этого момента, по 1890 г., когда она дебютировала на сценѣ Императорскаго Александринскаго театра, ея артистическая карьера была сплошнымъ тріумфомъ. Гдѣ бы ни появлялась Н. П.—въ Тифлисѣ ли, Самарѣ, Оренбургѣ или Москвѣ,—вездѣ она становилась любимицей публики. Тотъ же успѣхъ и тѣ же симпатіи выпали ей на долю и въ Петербургѣ. И тѣмъ не менѣе ей пришлось оставить Императорскую сцену. Почему—тайна дирекціи.

Съ 1896 г. Н. П. пробуетъ свои силы и на литературномъ поприщѣ, не оставляя въ то же время столь горячо любимой сцены. Первый ея разсказъ «Петля» появился на страницахъ «Недѣли», а послѣдующія произведенія печатались въ «Недѣлѣ», «Русской Мысли» и «Русскомъ Богатствѣ». Укажемъ на главныя изъ нихъ—«Юбилей артистки», «Кара», «Незабвенная» и «Она». Въ настоящее время ея разсказы появились отдѣльной книжкой.

Дорожная встрѣча.

(Изъ путевыхъ набросковъ.)

Нѣтъ въ мірѣ виноватыхъ.
Шекспиръ.

..... Войдя въ вагонъ, переполненный пассажирами, я едва могла отыскать свободную лавку.

— Вотъ тутъ садитесь, — раздался около меня чей-то мелодическій голосъ, и обладательница его указала на свободное противъ себя мѣсто.

Ночь. Тусклый фонарь едва освѣщаетъ внутренность купэ; въ окно врывается теплый, ароматный воздухъ; миріады звѣздъ блещутъ и мигая переливаются яркимъ свѣтомъ на темномъ куполѣ южнаго неба. Кругомъ степь и только кое-гдѣ скорѣе чувствуются, чѣмъ видятся группы деревьевъ. Сосѣдка моя—натура видимо безпокойная: то закроетъ окно, уляжется, покрывъ голову платкомъ, какъ бы собираясь уснуть, опять встанетъ, спуститъ стекло въ окнѣ—любуется звѣзднымъ небомъ, вновь уляжется, опять закроетъ окно... Точно что ее тревожитъ, безпокоитъ...

Усталость невольно смыкаетъ утомленныя вѣки и, убаюканная мѣрнымъ покачиваніемъ поѣзда, я засыпаю...

Солнце уже высоко стояло на небѣ, когда безсознательно поддаваясь какъ бы чьему-то внушенію, еще борясь со сномъ, я открыла глаза. Вагонъ былъ пустъ: вѣроятно, остальные пассажиры вышли на промежуточныхъ станціяхъ, кромѣ меня и безпокойной сосѣдки не осталось никого.

Это была женщина лѣтъ тридцати съ небольшимъ, блѣдная, съ лихорадочнымъ блескомъ черныхъ глазъ и злыми, красиво очерченными полными губами. Она, видимо, ждала моего пробужденія, чтобы удовлетворить, какъ мнѣ казалось, свое любопытство относительно того, кто я, куда и откуда ѣду.

— Мы съ мужемъ тоже въ Москвѣ были прошлую зиму,—торопливо заговорила она,—славный городъ, прелесть. Зато я минуты не пропустила даромъ: видѣла все, что только можно... Я больна была очень... Эта... знаете, болѣзнь... неврастенія... Мужъ и возилъ меня лѣчиться. А эту зиму мы въ Кіевѣ провели, въ Ростовъ съѣздили... теперь я изъ Харькова... Ѣздить, вѣрите ли, моя страсть: все другое, другое... смѣна впечатлѣній, какъ-то забываешься... Вотъ теперь домой возвращаюсь. Ахъ... тоска... невыносимая!..

Какая-то странная, почти болѣзненная возбужденность въ тонѣ говорившей невольно заинтриговала меня.

— А вы сами гдѣ живете?—обратилась я съ вопросомъ.

— Я? Въ NN—такъ, маленькій городишко, исключительно военный—казаки все. Я сама тоже казачка, родовая. И прадѣдъ, и дѣдъ, и отецъ казаки были; мужъ тоже казакъ, теперь въ отставкѣ. Вотъ недавно имѣніе получили: казакамъ, вѣдь, когда кончается срокъ службы, даютъ землю... Мы въ обмѣнъ на свою пріобрѣли у товарища на берегу моря. Что лѣтомъ заработаемъ — зимой проѣздимъ... Насъ двое, дѣтей нѣтъ... Лѣтомъ хорошо у насъ. Возьму книгу и цѣлый день сидѣть готова около моря. Мы съ мужемъ въ этомъ не сходимся: онъ степь любитъ, хозяйство, потому все больше тамъ, а захочетъ меня найти—идетъ прямо къ морю.

Лицо казачки вдругъ затуманилось.

— Дѣтей я очень люблю, — продолжала она, послѣ небольшой паузы взволнованнымъ голосомъ, — у моря ребятишекъ много собирается—играютъ, дерутся другой разъ, — она усмѣхнулась, — разнимать начнешь... я люблю...

— А у васъ своихъ дѣтей не было?—спросила я.

Казачка вспыхнула.

— Нѣтъ,—сухо, отрывисто прозвучалъ ея голосъ.

Она отвернулась и стала смотрѣть въ окно.

Мѣрно работая колесами, какъ-то вздрагивая по временамъ, тихо шелъ поѣздъ по новопроложеннымъ рельсамъ. Тепломъ и радостью вѣяло отъ открывавшихся глазу картинъ природы. Тихій, тихій вѣтерокъ, проникая въ окошко, ласково скользилъ по лицу, игралъ волосами... А въ груди сидѣвшей противъ меня казачки, казалось, бушевала цѣлая буря: грудь эта высоко поднималась подъ напоромъ волновавшихъ ее, очевидно, чувствъ... Брови злобно сдвинулись, образовавъ складку посрединѣ лба. Она повернула, наконецъ, ко мнѣ голову и, взглянувъ суровымъ взглядомъ, какъ бы рѣшившись на что-то, начала опять говорить, не то обращаясь ко мнѣ, не то куда-то въ пространство.

— Какъ это странно... я никому не говорила того, что сказала вамъ, именно вамъ... Отчего—не знаю... Точно подступило къ сердцу, не могу бороться... Хочется вотъ тутъ въ вагонѣ незнакомому че-

ловѣку, не спрашивая его имени, умалчивая о своемъ, высказаться, облегчить душу. Вы знаете, какія драмы бываютъ у самыхъ обыкновенныхъ людей? Какъ жизни разбиваются? И помочь нельзя, и исхода нѣтъ... Вотъ вы сейчасъ задѣли самое больное мое мѣсто: спросили о дѣтяхъ. Да... съ ними куда легче. Съ ними дѣтство, молодость какъ бы вновь переживаешь, о себѣ забудешь и уйдешь вся въ ихъ интересы и жизнь... А если нѣтъ цѣли, нѣтъ счастія ни въ прошломъ, ни впереди — что тутъ дѣлать? — какимъ-то стономъ вырвалось у казачки.

— А мужъ вашъ?

— Мужъ?...—горькая усмѣшка пробѣжала по ея губамъ.—Я его очень уважаю,—какъ бы спохватилась она,—онъ очень хорошій, честный человѣкъ, любитъ меня безъ памяти, готовъ все сдѣлать, что, по его мнѣнію, нужно для моего счастія... Я замужемъ шестнадцать лѣтъ, изъ нихъ пятнадцать онъ для меня другъ, братъ, но не мужъ—между нами большая разница: двадцать лѣтъ. Молодой я очень вышла за него, а онъ уже въ то время сильно попробовалъ жизни... Я хотѣла борьбы, онъ—покоя... Что жъ... каждый былъ правъ по-своему...

— Но зачѣмъ же вы вышли замужъ?—невольно вырвался у меня вопросъ.

— Зачѣмъ?.. Эхъ, нужно знать нашихъ стариковъ, какъ крѣпко держатся они своихъ понятій, очень странныхъ для развитого современнаго человѣка: казаки все — образованія настоящаго нѣтъ. Да не только старики—молодежь-то наша и посейчасъ образована мало. У родителей моихъ семья большая была — дѣтей много. Кое-какъ перебиваясь, все же они не оставили насъ съ сестрой неучами — отдали въ институтъ, въ Нижнемъ. Кончила я курсъ отлично и, вернувшись домой, рѣшила идти въ учительницы. Родители мои совсѣмъ переполошились: и угрожали-то, и плакались, и упрекали-то. Я совсѣмъ была сбита съ толку и до того замучилась, что мнѣ самой, наконецъ, стало казаться, будто я чѣмъ-то кровно хочу оскорбить дорогихъ, близкихъ сердцу людей... А тутъ мужъ сталъ свататься—казакъ, всѣми уважаемый, человѣкъ хорошій, мнѣ нравился, любилъ меня — и я рѣшилась,—она остановилась и съ саркастической улыбкой добавила,—утѣшить родителей. И вотъ съ тѣхъ поръ, — съ какой-то спокойной иронiей продолжала она разсказъ, — шестнадцать лѣтъ изображаемъ мы счастливое супружество, и среди дамъ нашего городка я возбуждаю зависть своимъ существованіемъ. Что же? Съ своей точки зрѣнія онѣ правы: у меня имѣніе, хорошенькій домикъ въ городѣ, обстановка, цвѣты, рояль, мужъ балуетъ... Чего же еще надо, чего?..

Казачка засмѣялась тихимъ, злымъ смѣхомъ.

— А какъ прожилось мнѣ въ эти шестнадцать лѣтъ... Эхъ, то знаетъ мое сердце только... Черезъ годъ я уже рѣзко почувствовала разницу между мной и мужемъ; мы ни въ чемъ не сходились: что

меня интересовало — ему казалось фантазіями... Молодость играла во мнѣ, жить хотѣлось всѣми нервами... Душа иной разъ рвалась на части, а отклика не было... Родись у меня въ то время ребенокъ, и все бы улеглось... Но вѣрно не судьба была... Тутъ наступилъ 77 г.— вспыхнула турецкая война. Я съ страшнымъ интересомъ слѣдила за событіями, наконецъ сама рѣшилась идти въ сестры милосердія. Мужъ сначала ничего—согласился. Я совершенно ожила—хлопочу, собираюсь въ дорогу. Наканунѣ отъѣзда вижу на мужѣ лица нѣтъ — ходитъ мрачный, молчитъ. Вечеромъ пришелъ прощаться. „Ну, прощай,—говоритъ,—только знаешь: ты за порогъ, а я себѣ ножъ въ сердце — все равно: жить не зачѣмъ". И онъ не шутилъ, не лгалъ—я знала. Что было дѣлать? Пробовала было убѣждать, говорила о святости цѣли, которой хочу служить — все равно, онъ стоялъ на своемъ. Въ груди моей поднялось злобное чувство: опять эта жизнь, думала я, монотонная, безъ всякаго проблеска, безъ счастія... Нѣтъ, ни за что, ни за что... Да взглянула на него: и жалко мнѣ его стало, жалко до боли. Это блѣдное лицо... умоляющіе глаза... Ну... и осталась... Осталась.

Спутница моя поникла головой и сидѣла блѣдная, закрывъ глаза, какъ бы отъ утомленія.

Я боялась нарушить теченіе ея мыслей. Нѣсколько минутъ длилось молчаніе. Казачка подняла, наконецъ, голову, провела рукою по глазамъ, глубоко вздохнула и, видимо желая казаться спокойною, спросила отрывисто:

— Вамъ надоѣлъ, должно быть, мой разсказъ?

Но не дожидаясь отвѣта, она быстрымъ движеніемъ схватила меня за руку и, приблизивъ ко мнѣ свое взволнованное лицо, стала снова говорить страстнымъ, прерывистымъ шопотомъ:

— Теперь... теперь я скажу самое страшное... Слушайте: я полюбила... полюбила человѣка тоже несвободнаго... Человѣкъ этотъ поставилъ на карту все... бросилъ семью, чтобы жить со мной... Голова моя пошла кругомъ, и вся жизнь перевернулась... Всѣ вѣрованія, всѣ убѣжденія куда-то рухнули—остался одинъ неумолкаемый крикъ сердца. Не давалъ онъ мнѣ покоя, и не знала я, что дѣлать,—подчи-

ниться ему или... Я не знала, въ чемъ грѣхъ: оставить мужа, идти объ руку съ любимымъ человѣкомъ, или задушить свое чувство, сгубить этого человѣка, ничего не сказать мужу, да такъ и остаться вѣковать съ нимъ. Какъ я тогда съ ума не сошла—не знаю. Я очень религіозна... конечно, для другой, можетъ быть, это было бы и не такъ мучительно, но... я, повторяю, религіозна, и мнѣ было очень тяжело разобраться во всемъ этомъ... Иногда казалось, что и вовсе грѣха нѣтъ... Вѣдь я любила—какой же это грѣхъ... А мужъ? Я какъ-то была увѣрена въ тѣ минуты, что онъ отнесется вполнѣ разумно; меня съ нимъ связывала не любовь—онъ это зналъ... Отношенія наши только дружескія—не болѣе... дѣтей нѣтъ... Мое личное счастье ничего не измѣнило бы... и въ моемъ воображеніи рѣшалось тогда все такъ легко, естественно. Съ облегченнымъ сердцемъ собиралась я идти къ мужу, говорить просто, по душѣ, но всякій разъ меня что-то останавливало, и я опять начинала мучиться... Но, слушайте: какъ никакъ рѣшилась я, наконецъ, объясниться... Я думала, онъ пойметъ, что я не властна въ своемъ чувствѣ, пойметъ мое горе и самъ придетъ на помощь...

— А онъ?.. что же?..

— Ничего онъ не понялъ и не захотѣлъ даже понять. Объясненіе было долгое, бурное. Онъ началъ такъ мягко, по-отечески уговаривать меня, старался убѣдить быть спокойной, провѣрить себя, даже уѣхать куда-нибудь, если это такъ серьезно. Его спокойный, сдержанный тонъ раздражалъ меня невыносимо. Я долго слушала молча, наконецъ, не выдержала и объявила, что пришла не за нравоученіями и не шутить... Рѣзкость моя его видимо огорчила, но онъ постарался овладѣть собой и продолжалъ все также нѣжно уговаривать меня, какъ больного ребенка. Я категорически потребовала свободы. Мужъ вздрогнулъ и потерялъ самообладаніе: онъ круто перемѣнилъ тонъ, сталъ упрекать, смѣяться, оскорблять мое чувство... Этого было довольно. Я, какъ дикій звѣрь, бросилась къ нему, ничего не соображая... Слова, какія-то безсмысленныя, несуразныя летѣли сами собой, а я даже не понимала, что говорила... Уваженіе, симпатія, привычка столькихъ лѣтъ—все это было сбито въ кучу и сброшено, въ груди ничего не осталось, кромѣ злобы, самой безпощадной: кажется, подверни мнѣ въ ту минуту что-нибудь подъ руку, я бы—не знаю—убила бы его и себя... Сколько времени продолжалось это—не помню. Помню себя уже на постели... Мужъ на колѣняхъ стоялъ подлѣ... Не могла я смотрѣть на него... лежала съ закрытыми глазами. Онъ просилъ прощенія, клялся никогда въ жизни не упрекнуть, не вспомнить даже о томъ, что было сейчасъ... Молилъ только не уходить, и опять объявилъ, что безъ меня ему нѣтъ жизни—одинъ исходъ покончить съ собой... Онъ плакалъ... плакала и я... И въ ту минуту мнѣ такъ невыносимо жалко стало мужа, себя и того... другого. Я ясно поняла, что мнѣ исхода нѣтъ.

Казачка остановилась, подступившія къ горлу слезы мѣшали ей говорить.

— Не жертвъ хотѣла я, хотѣла счастья,—черезъ минуту, овладѣвъ собой, произнесла она задумчиво.—А что же было дѣлать? Скажите, что? Ну, у кого хватитъ силъ такою цѣной купить счастье?.. Да и какъ тутъ разобраться... ну, какъ?.. И виноватыхъ нѣтъ, и правыхъ нѣтъ... Это проклятые вопросы... проклятые...

По лицу говорившей медленно, одна за другой, текли слезы. Она ихъ видимо не замѣчала и, устремивъ глаза въ одну точку, вся поглощенная своими мыслями, точно ждала отвѣта на эти вопросы.

— Вотъ такъ и осталась коротать дни,—проговорила она убитымъ голосомъ.—Одна утѣха—ѣздить. Если бы можно было, я такъ бы и не останавливалась... Заглянула бы не надолго домой... такъ... чтобы онъ успокоился: жива, молъ, жива... здорова и все та же... Да опять куда-нибудь дальше... дальше...

Глаза казачки вспыхнули и загорѣлись какимъ-то злобнымъ блескомъ.

— А забыть нельзя,—страстно вырвалось у нея,—забыть, когда жизнь вся разбита и... быть за это еще благодарной.—Голосъ у нея оборвался, и она быстро высунула голову въ окно.

Поѣздъ тихо подходилъ къ тоннелю. Оставленныя, вѣроятно по забывчивости кондуктора, безъ зажженнаго фонаря, мы очутились въ полутемнотѣ. Скудныя полосы свѣта едва освѣщали вагонъ, давая какія-то странныя очертанія окружающимъ предметамъ... Еще минута—и полный мракъ поглотилъ насъ. Совсѣмъ могила—нигдѣ нѣтъ просвѣта... вездѣ черная, непроницаемая мгла... Она давитъ, душитъ... сердце точно замерло и не бьется, и только шумъ колесъ идущаго поѣзда напоминаетъ о жизни... Но вотъ мелькнуло что-то сѣрое... еще... это стѣны—сырыя, покрытыя крупными каплями воды. Свистокъ. И точно узникъ, вырвавшійся изъ оковъ на свободу, быстро выноситъ насъ поѣздъ изъ тоннеля. Яркое солнце слѣпитъ глаза... Опять зелень, небо, свѣтъ... опять жизнь. Дышится легко, свободно...

Сидѣвшая противъ меня казачка молча глядѣла въ окно. Она казалась спокойной, и только покраснѣвшіе глаза да изрѣдка вздрагивающая грудь говорили о недавнемъ волненіи...

Н. Анненкова-Бернардъ.

Антонина Леонардовна Ржевская родилась въ 1861 г. въ семьѣ Поповыхъ, дочь дворянъ, помѣщиковъ Тверской губерніи, Зубцовскаго уѣзда. Начала свое образованіе въ тверской Маріинской гимназіи, окончила въ московской 5-й гимназіи. По окончаніи курса поступила вольнослушательницей въ москов. училище живописи и ваянія на Мясницкой, гдѣ и пробыла 4 года. Въ это же время занималась частнымъ образомъ рисованіемъ у художника Ник. Авениров. Мартынова, посвятившаго себя дѣлу преподаванія.

Первый разъ выставила этюдъ «Причетникъ» на этюдной выставкѣ общества любителей художествъ, членомъ котораго состоитъ и понынѣ. Затѣмъ участвовала (2 раза исключительно жанромъ) на ежегодныхъ выставкахъ того же общества. Въ 1897 году выступила экспонентомъ на передвижной 25-ой юбилейной выставкѣ, а въ 98—99 г. избрана членомъ товарищества передвижниковъ.

162

Поликсена Сергѣевна Соловьева, дочь историка С. М. Соловьева, родилась въ Москвѣ 20 марта 1867 г. Получила домашнее образованіе, при чемъ нѣсколько лѣтъ посѣщала художественные классы въ школѣ живописи, ваянія и зодчества. Стихи начала писать съ ранняго дѣтства. Въ первый разъ два ея стихотворенія были напечатаны въ «Нивѣ» въ 1883 г. Затѣмъ, послѣ большого промежутка, стихотворенія печатались подъ псевдонимомъ Allegro въ «Русскомъ Богатствѣ», въ «Мірѣ Божіемъ», въ «Журналѣ для всѣхъ» и въ нѣкоторыхъ другихъ журналахъ. Въ 1899 г. она издала тоже подъ псевдонимомъ сборникъ своихъ стихотвореній съ виньетками собственной работы. Весною 1900 г. написала драму въ стихахъ «Слѣпой», которая и напечатана въ «Вѣстникѣ Европы».

Одинъ.

Давно въ невѣдомой странѣ
Стоялъ чудесный храмъ.
Подъ кровомъ ночи и небесъ
Рядъ свѣтлыхъ, радостныхъ чудесъ
Порой свершался тамъ.
Но только тотъ умѣлъ войти
Въ таинственный чертогъ,
Кто самъ любилъ и былъ любимъ,
Кто все, чѣмъ въ жизни былъ томимъ,
Любовью превозмогъ.
Четы людей въ вечерній часъ
Изъ далей голубыхъ
Спѣшили въ храмъ, чтобъ тамъ узнать
Все, что не могутъ передать
Слова рѣчей земныхъ...
Прошли вѣка, въ сердцахъ людей
Огонь любви угасъ,
Померкъ сіяющій чертогъ,
Въ него никто войти не могъ
Въ полночный тихій часъ.
Но разъ въ невѣдомой странѣ
Таинственной тропой,
Лучомъ заката озаренъ,

Дорогой дальней утомленъ,
Шелъ путникъ молодой.
Въ сѣдой легендѣ онъ слыхалъ
Давно про дивный храмъ,
Онъ захотѣлъ его найти
И шелъ, не вѣдая пути,
По дебрямъ и горамъ.
И онъ нашелъ его въ тотъ мигъ,
Когда угасъ закатъ.
Предъ нимъ на землю онъ упалъ
И какъ безумный зарыдалъ,
Тревогою объятъ:
„Я долго жилъ среди людей,
Но всѣмъ я былъ чужой...
Мнѣ не могли они простить,
Что я одинъ умѣлъ любить
Любовью неземной.
О дайте, дайте мнѣ войти
Въ таинственный чертогъ!
Я знаю, не былъ я любимъ,
Но все, чѣмъ въ жизни былъ томимъ,
Любовью превозмогъ!..“
И вдругъ въ глубокой тьмѣ ночной
Храмъ засіялъ огнями,
Заколебался ѳиміамъ
Прозрачными волнами,
И видитъ путникъ, въ храмъ вступивъ
Съ восторгомъ небывалымъ:
Богиня передъ нимъ стоитъ,
Закрывшись покрываломъ.
И раздались въ тиши слова
Чудеснаго видѣнья,
Какъ дальней арфы легкій звонъ,
Какъ вѣтра дуновенье:
„За то, что ты умѣлъ любить
Любовью неземною —
Я предъ тобой на эту ночь
Лицо свое открою.
Ты будешь любоваться имъ,
Отъ счастья умирая,
Забудетъ сумракъ и печаль
Душа твоя больная.
Все то, что можно испытать
Неробкою душою,

Все чудо неба и земли
Пройдетъ передъ тобою...
Но лишь разсвѣта первый лучъ
Блеснетъ среди небесъ,—
Я отъ тебя сокроюсь вновь,
И никогда твоя любовь
Не вызоветъ чудесъ.
Опять на землю ты падешь
Съ заоблачныхъ вершинъ..."
„За что?" рыдая онъ спросилъ,
Отвѣтъ жестокъ и кратокъ былъ:
„За то, что ты одинъ".

П. Соловьева (Allegro).

Э. Фаллизъ

Эмилія Георгіевна Фаллизъ родилась въ 1861 г. Художественное образованіе получила въ академіи Лувена, откуда и имѣетъ дипломъ, а также брала уроки живописи у г. Куртуа въ Парижѣ. Пять лѣтъ выставляетъ свои картины на передвижныхъ выставкахъ. Изъ наградъ получила медаль изъ академіи художествъ г. Лежа (Бельгія), двѣ малыхъ медали отъ школы живописи и ваянія въ Москвѣ и одну большую серебряную оттуда же.

УГОЛОКЪ КЛАДОВОЙ
(съ картины **Э. Фаллизъ**).

ЖЕМЧУЖИНА.

(СКАЗКА.)

О дни славнаго Абдеррахмана Справедливаго жилъ въ Гренадѣ богатый купецъ Ибнъ-Альваръ. Никто изъ купцовъ гренадскаго халифата не могъ соперничать съ нимъ въ богатствѣ; караваны и корабли его ежедневно приносили и привозили ему сокровища изъ всѣхъ странъ земли: изъ жаркой Индіи, изъ каменистой Аравіи, изъ нѣдръ неизвѣданной Африки и изъ сѣверныхъ холодныхъ странъ, гдѣ суровыя волны разсыпаютъ по берегамъ прозрачный янтарь, гдѣ русоволосыя женщины ткутъ изо льна бѣлоснѣжныя полотна, гдѣ въ темныхъ лѣсахъ живутъ длинношерстые звѣри, шкуры которыхъ стоятъ дороже персидскихъ ковровъ. А другіе караваны и другіе корабли ежедневно отправлялись съ товарами во всѣ концы свѣта, и все дальше и дальше распространялась слава о богатомъ купцѣ Ибнъ-Альварѣ. Его знали въ обоихъ халифатахъ, и когда ему случалось бывать въ Багдадѣ, то Гарунъ-аль-Рашидъ всегда требовалъ его къ себѣ и любилъ бесѣдовать съ нимъ, потому что Ибнъ-Альваръ былъ такъ же мудръ, какъ и богатъ. Много пространствовалъ онъ на своемъ вѣку, много видѣлъ—и умѣлъ разсказать и про далекія страны, и про диковинныхъ звѣрей, и про многія дѣла людскія. И судилъ онъ обо всемъ не какъ легкомысленный юноша, который всему дивится, а какъ мужъ опытный, который постигъ всю людскую премудрость и всю людскую глупость и ничему уже не удивляется. Оттого и бесѣдовать съ нимъ было такъ же пріятно, какъ читать книги мудрѣйшихъ имамовъ, а слушаться его совѣтовъ такъ полезно, какъ если бы его устами вѣщала сама судьба, ибо онъ могъ впередъ предсказать, кто разорится и кто разбогатѣетъ,

кому можно повѣрить деньги въ долгъ и кому довѣрять нельзя. И всѣ купцы справлялись на базарѣ и на пристаняхъ: чѣмъ теперь торгуетъ Ибнъ-Альваръ, съ кѣмъ заключилъ сдѣлку, кому далъ денегъ подъ залогъ?

А самъ Ибнъ-Альваръ все расширялъ и расширялъ свои торговые обороты и не боялся онъ рисковать своими капиталами такъ, какъ не рисковалъ никто изъ его соплеменниковъ. Часто друзья его про себя осуждали его и ужасались, такъ какъ не разъ рисковалъ онъ чуть не всѣмъ своимъ состояніемъ, и если бъ его предпріятія не удались, онъ остался бы ни съ чѣмъ. Но именно потому-то ему все и удавалось, и все возрастали его барыши, кладовыя его ломились отъ мѣшковъ съ золотомъ и серебромъ, отъ ящиковъ съ жемчугомъ и самоцвѣтными каменьями,—и онъ все богатѣлъ и богатѣлъ.

Но Ибнъ-Альваръ съ неизмѣннымъ, одинаковымъ равнодушіемъ смотрѣлъ на то, выносили ли изъ его подваловъ цѣлые мѣшки золота, когда онъ затѣвалъ какое-нибудь новое предпріятіе, или вносили ихъ туда, когда предпріятіе удавалось,—и вдвое больше мѣшковъ, вдвое болѣе золота возвращалось къ нему. И никто не зналъ, что, когда онъ показывалъ свои богатства кому-нибудь изъ друзей и тотъ въ восторгѣ останавливался передъ ларцами, полными камней и слитковъ, что Ибнъ-Альваръ въ такія минуты презрительно говорилъ про себя: „Что стоятъ всѣ эти камешки, всѣ эти бусинки въ сравненіи съ моимъ сокровищемъ? Все это можно оцѣнить на деньги,—ему цѣны нѣтъ!".. И когда приходили къ Ибнъ-Альвару корабли съ новыми богатствами и люди ахали на пристаняхъ и завидовали счастливому купцу, онъ равнодушно считалъ мѣшки съ золотомъ и тюки съ товарами и говорилъ про себя: „Болѣе того, что у меня есть, мнѣ никакой корабль не привезетъ"... А когда ему приходили сказать, что корабли его погибли въ морѣ, или разбойники разграбили караванъ и много товару погибло, Ибнъ-Альваръ равнодушно слушалъ печальныя вѣсти и говорилъ про себя: „Моего сокровища у меня не могутъ отнять ни бури, ни разбойники"... А правовѣрные дивились на мудраго Ибнъ-Альвара и говорили:—„Человѣкъ этотъ воистину мудръ: ни счастье, ни несчастье не могутъ возмутить его спокойствія". И жена и домашніе его тоже толковали между собою: „Воистину господинъ нашъ мудръ, его ничѣмъ нельзя разсердить; что бы ни случилось—онъ улыбается и спокойно говоритъ:—„не стоитъ объ этомъ сокрушаться, друзья мои". О! Воистину, воистину, Аллахъ открылъ ему мудрость свою!"

Никто не зналъ, что всякій вечеръ, когда муэдзинъ пропоетъ вечернюю молитву съ бѣлаго минарета, когда опустѣютъ площади, и всѣ правовѣрные разойдутся по домамъ, и вездѣ потухнутъ огни, и всѣ заснутъ, кромѣ влюбленныхъ, и станетъ въ Гренадѣ такъ тихо, что слышно, какъ журчитъ вода, бѣгущая по мраморнымъ водопро-

водамъ съ Сіерры прямо въ сады халифа, да лишь изрѣдка перекликаются сторожа на башняхъ Альгамбры, тогда и для Ибнъ-Альвара настаютъ минуты счастья. И, можетъ быть, потому лишь онъ такъ равнодушенъ ко всему весь день, что весь день ждетъ лишь вечера. И вотъ, когда все затихнетъ и всѣ въ домѣ заснутъ, идетъ Альваръ съ маленькою лампочкой въ свою комнату, тщательно запираетъ двери и окна, спускаетъ на нихъ тяжелые пушистые ковры, потомъ зажигаетъ всѣ лампы, всѣ свѣтильники въ комнатѣ и открываетъ потайную дверь въ стѣнѣ. Онъ достаетъ съ полки небольшой желѣзный сундучокъ, отпираетъ его, вынимаетъ изъ него драгоцѣнный кипарисовый ларчикъ, весь выложенный сапфировымъ бархатомъ, открываетъ и его, вынимаетъ изъ него бархатную же подушечку—и предается восторгу созерцанія. Вотъ оно, вотъ оно, его богатство! его счастье! его безцѣнное сокровище, его жемчужина! Нѣтъ ей цѣны, нѣтъ равной въ цѣломъ мірѣ! Ни у Абдеррахмана, ни у Гарунъ-аль-Рашида, ни у имама москатскаго нѣтъ подобной! Ни одинъ ювелиръ Гренады или Дамаска не держалъ въ рукахъ жемчужины такой величины. Ни одинъ купецъ, торгующій съ роскошной Индіей, не видывалъ хотя бы и вдвое меньшей! О чудо Востока! О капля божественной росы! О лучъ радуги, спрятавшейся въ нѣдра океана! О молочно-лилейная звѣзда!...

Ибнъ-Альваръ долго стоялъ неподвижно, лишь слегка покачивая рукою, держащею подушечку, съ наслажденіемъ любуясь игрою и переливами свѣта громадной жемчужины. Потомъ онъ отходилъ на середину комнаты, потомъ направо, смотря, какъ жемчужина играетъ, освѣщенная справа, потомъ отходилъ налѣво, опять подходилъ ближе къ стѣнѣ, потомъ вытягивался во весь ростъ и опускалъ жемчужину внизъ, любуясь на нее сверху, потомъ садился на полъ и поднималъ ее высоко надъ головою, любуясь ею снизу. Онъ не зналъ, что̀ еще придумать, чтобы еще болѣе наслаждаться своимъ сокровищемъ. И онъ шепталъ: „моя! моя! моя!“...

Онъ былъ влюбленъ въ жемчужину, онъ обожалъ ее. И онъ былъ счастливъ, безмѣрно счастливъ тѣмъ, что кромѣ него никто не видѣлъ ея, никто не зналъ даже объ ея существованіи; никто не зналъ, отчего онъ такъ безмѣрно счастливъ, отчего всѣ остальныя сокровища потеряли для него цѣну, отчего онъ всегда спокоенъ и равнодушенъ; никто не зналъ, о чемъ онъ грезитъ, чѣмъ утѣшается, мечтою о чемъ онъ живетъ.

И потому, тонули ли его корабли и ему приходилось считать свои убытки,—онъ при всякомъ итогѣ прибавлялъ про себя: „Вѣдь жемчужина у меня!“.. Приносили ли ему караваны богатства безъ счета и числа, и онъ сосчитывалъ прибыли,—подводя итоги, онъ говорилъ про себя: „Но жемчужина уже была у меня“... Налагалъ ли Абдеррахманъ внезапныя пошлины на купцовъ,—Альваръ себя утѣшалъ

мыслью: „А жемчужина?!“.. Измѣнялъ ли ему другъ, обманывалъ ли его заимодавецъ,—онъ повторялъ: „А жемчужина?“... И что бы ни случилось, какая бы бѣда ни стряслась, „А жемчужина?“—твердилъ себѣ Альваръ. И какъ бы ни прошелъ день,—вечеромъ онъ видѣлъ ее и любовался ею. Въ далекихъ странахъ онъ мечталъ о свиданіи съ нею. Въ путешествіяхъ она издали сіяла ему, какъ путеводная звѣзда. Въ болѣзни она поддерживала его силы, въ несчастіи служила утѣшеніемъ. И ничего не просилъ Ибнъ-Альваръ у Аллаха, никакого другого счастья ему не надо было. У него была его жемчужина, и онъ былъ доволенъ своею жизнью и счастливъ.

Прошли года, Ибнъ-Альваръ посѣдѣлъ, и посѣдѣла его вѣрная Фарадже, сыновья его стали взрослыми мужами и давно уже помогали отцу въ торговлѣ. Потомъ умерла и Фарадже, умеръ и младшій сынъ. Потомъ настали и тяжелыя времена для купцовъ: война и разореніе. Потомъ Абдеррахманъ завоевалъ новыя провинціи у франковъ, и богатства опять потекли въ Гренаду. Смѣнялись дни хорошіе и дурные, а Ибнъ-Альваръ былъ все такъ же спокоенъ, кротокъ и равнодушенъ ко всему на свѣтѣ: у него была его жемчужина!

Умеръ Абдеррахманъ, и преемникъ его вступилъ на престолъ. И вотъ онъ собралъ посольство изъ самыхъ именитыхъ мужей халифата и отправилъ его въ Багдадъ къ халифу и въ Москатъ къ имаму объявить о своемъ восшествіи на престолъ и заявить о своихъ дружескихъ чувствахъ къ двумъ другимъ владыкамъ мусульманскимъ. Въ число пословъ назначенъ былъ и Ибнъ-Альваръ. Путешествіе не страшило его: въ свою долгую жизнь онъ столько изъѣздилъ, что спалъ въ корабельной каютѣ, въ шатрѣ среди степи и даже на спинѣ верблюда такъ же спокойно, какъ и въ своей прохладной гренадской комнатѣ. Дѣла онъ оставилъ сыновьямъ, снарядился, взялъ свои лучшія одежды, взялъ большую сумму денегъ на случай какой-нибудь выгодной сдѣлки и въ одинъ прекрасный день отплылъ изъ Альмеріи со всѣми своими спутниками.

Путешествіе ихъ было счастливое. Вѣтеръ все время дулъ попутный, они благополучно прибыли въ Яффу и благополучно проѣхали черезъ Палестину по дамасской дорогѣ. Въ Дамаскѣ Ибнъ-Альваръ успѣлъ выгодно продать цѣлую партію товара, а когда они прибыли въ Багдадъ, то не только успѣшно выполнили возложенное на нихъ порученіе, но еще были великолѣпно приняты халифомъ и попировали у него на славу.

Не то было на возвратномъ пути. Богато одаренные халифомъ, тщательно уложивъ подарки, посланные имъ къ его гренадскому сопернику и другу, путники весело и бодро ѣхали черезъ пустынную Палестину, какъ вдругъ около самаго Іерихона на нихъ напали разбойники, перебили многихъ изъ сопровождавшихъ посольство слугъ, отняли товаръ и подарки халифа и ранеными, оборванными, полу-

мертвыми отъ страха оставили посланцевъ безъ верблюдовъ и лошадей, среди сожженой солнцемъ и Богомъ пустыни. Съ трудомъ передвигая ноги, потащились несчастные мавры назадъ къ Дамаску и на исходѣ четвертаго дня, еле живые, добрались до городскихъ стѣнъ. Чтобы не умереть съ голоду, они попытались наняться носильщиками на базарной площади, но видъ у нихъ былъ такой жалкій, одежда такая оборванная, а произношеніе такое странное, что дамасскіе торговцы отнеслись къ нимъ съ подозрѣніемъ и отвращеніемъ, и вскорѣ ихъ забрали подъ стражу и посадили въ тюрьму. Двое изъ нихъ вскорѣ умерли отъ ранъ и истощенія. Остальные почти обрадовались, когда смотритель тюрьмы, не говоря дурного слова, взялъ ихъ къ себѣ въ домъ въ невольники и заставилъ ворочать жернова. Тутъ они хоть не умирали съ голода! Но каково было имъ, богатымъ, именитымъ гренадцамъ ворочать масленичные жернова!? Они проклинали часъ своего рожденія, тщетно пытались дать знать о своей жалкой судьбѣ своимъ домашнимъ, своему халифу или хоть въ Багдадъ, и часто даже молили Аллаха о смерти. Одинъ Ибнъ-Альваръ не падалъ духомъ. Онъ вспоминалъ о своей жемчужинѣ, надѣялся, что настанетъ день, когда онъ вновь увидитъ ее, и хорошо зналъ, что безъ него никто не найдетъ ея, что она въ безопасности. А товарищи его, видя, что онъ съ такимъ же спокойствіемъ вертитъ масленичные жернова, съ какимъ принималъ подарки халифа, говорили: „Воистину этотъ человѣкъ мудръ, ничто не возмущаетъ его душу!“..

Наконецъ, насталъ день освобожденія для несчастныхъ. Не дождавшись возвращенія своего посольства, гренадскій халифъ отправилъ новыхъ пословъ въ Багдадъ. Послы навели справки, узнали о несчастной судьбѣ первыхъ посланцевъ, отыскали ихъ и выкупили изъ неволи.

Нельзя описать радость, съ какою бѣдные мавры вступили на родную землю, счастье, которое охватило ихъ при видѣ бѣлыхъ башенъ Гренады! Они чуть съ ума не сошли отъ радости. Одинъ Ибнъ-Альваръ былъ спокоенъ и спокойно вернулся онъ въ домъ свой, гдѣ не было уже его, нѣкогда прекрасной, а потомъ такой дряхлой, Фарадже, гдѣ все измѣнилось въ его отсутствіе и гдѣ сыны его сыновъ уже стали полновластными хозяевами и почти съ неудовольствіемъ встрѣтили стараго главу дома. Ибнъ-Альваръ не сталъ препираться съ ними о главенствѣ, онъ уступилъ его безропотно, не сталъ требовать у нихъ отчета въ дѣлахъ, передалъ имъ всѣ свои гренадскія лавки; сдѣлка, заключенная въ Дамаскѣ, должна была доставить ему крупную сумму, и онъ рѣшился вновь начать наживать богатство. Тяжело ему было, но онъ надѣялся, и бодрость не покидала его. На одномъ настоялъ онъ—это, чтобы ему оставили его прежнюю комнату, и, хотя эта была самая лучшая комната въ домѣ, молодые хозяева, изъ уваженія къ старику отдали ему ее. Да, этотъ человѣкъ былъ

мудръ: всѣ свои привязанности, всѣ мечты онъ отдалъ сокровищу, котораго никто не могъ отнять у него, красавицѣ, всегда одинаково прекрасной, неизмѣнной, вѣчно юной красотѣ!..

Наступила ночь. Высоко въ синемъ небѣ плыла надъ Гренадой желтая, теплая луна; вѣтерокъ приносилъ сладкій запахъ апельсинныхъ цвѣтовъ изъ садовъ Генералифа, и слышно было, какъ журчала вода, бѣгущая со снѣговыхъ горъ въ дворцы халифа. Ибнъ-Альваръ заперъ двери и окна, зажегъ всѣ свѣтильники и, бережно вынувъ изъ-за пазухи ключъ, который онъ сумѣлъ сберечь во время всѣхъ своихъ злоключеній, дрожа отъ страха и радости, вставилъ его въ замокъ. Но напрасно поворачивалъ его Ибнъ-Альваръ, замокъ не отпирался. Вѣроятно, онъ заржавѣлъ отъ долгаго неупотребленія. Бился, бился Альваръ—такъ и не отперъ замка.

„Завтра достану масла и смажу ключъ,—сказалъ онъ себѣ,—теперь уже поздно; если я теперь пойду за масломъ, всѣ станутъ спрашивать меня, зачѣмъ мнѣ оно".

И онъ легъ спать. Но отъ досады и безпокойства онъ не могъ заснуть и до самой зари проворочался на своей постели. Настало утро. Въ домѣ всѣ поднялись. Всталъ и Альваръ и, прежде чѣмъ подумать о собственномъ завтракѣ, попытался поскорѣе достать у ключницы оливковаго масла, отнесъ его въ свою комнату и спряталъ. Весь день онъ провелъ въ лихорадкѣ ожиданья, едва могъ дождаться вечера. Вечеромъ онъ сказалъ, что у него болитъ голова, и пораньше ушелъ къ себѣ, чтобы заблаговременно очистить ключъ. Наконецъ, ключъ былъ вычищенъ на славу и заблестѣлъ, какъ серебряный. Въ домѣ всѣ улеглись, и Альваръ, заперевъ двери и окна, подошелъ къ завѣтной дверцѣ. Но какъ онъ ни вертѣлъ ключа, какъ ни бился,—шкапъ не открывался. Потъ выступилъ на лбу у Альвара, руки его дрожали, въ глазахъ рябило. Полчаса, часъ прошелъ, а онъ все бился съ ключомъ, и дверь не открывалась. Замокъ былъ испорченъ. Что дѣлать?! Позвать слесаря—невозможно: это значило бы открыть свою тайну. Альваръ рѣшилъ сломать дверь и затѣмъ устроить для своего сокровища тайникъ въ другомъ мѣстѣ.

Опять пришлось ждать утра, опять потянулись безконечные, мучительно-долгіе часы безсонной ночи.

Настало утро. Едва дождался его Ибнъ-Альваръ и съ первыми лучами вышелъ изъ дому, пошелъ въ желѣзную лавку и, къ великому удивленію знавшаго его хорошо хозяина лавки, купилъ себѣ ломъ, спряталъ его подъ полою платья и принесъ домой. Къ счастью, дома никого не было: всѣ разошлись,—кто въ лавки, кто на базаръ.

Бѣгомъ пробѣжалъ Альваръ въ свою комнату, заперъ двери, заперъ ставни и рѣшительно ударилъ въ стѣну ломомъ. Руки его тряслись, и инструментъ плохо повиновался ему, но послѣ получасовыхъ усилій замокъ былъ выломанъ—дверь подалась и шкапъ открылся.

Вотъ онъ, вотъ онъ драгоцѣнный ящикъ! Альваръ съ восторгомъ схватилъ его, открылъ, открылъ и кипарисный ларчикъ — и не увидѣлъ жемчужины. Подушечка лежала какъ всегда, но жемчужина завалилась и не сіяла, какъ всегда, всѣми своими радужными переливами прямо въ глаза Альвару. Онъ встряхнулъ подушечку, но и подъ подушечкой ея не было видно. Онъ подумалъ, что слишкомъ встряхнулъ ларчикъ, вынимая его, и вѣроятно жемчужина провалилась между двумя ящичками, и уже съ волненіемъ вынулъ кипарисный ларчикъ изъ желѣзнаго,—жемчужины и тутъ не было. Трясясь отъ волненія, провелъ онъ рукою по полкѣ, все еще надѣясь. Но жемчужины и тутъ не было. Альваръ упалъ на колѣни, сталъ шарить на коврѣ и подъ ковромъ, все еще убѣжденный, что жемчужина тутъ, близко, что она упала,—и вотъ-вотъ онъ найдетъ ее. Но жемчужины не было ни въ ящикахъ, ни въ шкапу, ни на полу. Жемчужина пропала!

Когда пропала она? Кто похитилъ ее? Кто открылъ тайну ея существованія? Не все ли это равно! Она пропала, она пропала!... Не было болѣе у Альвара его богатства, его счастья, его сокровища, не было молочно-блѣдной звѣзды, свѣтившей ему въ теченіе столькихъ лѣтъ, утѣшавшей его въ неволѣ, не было его ненаглядной, неизмѣнно-прекрасной красавицы!

Упалъ Ибнъ-Альваръ на землю и лежалъ неподвижно и неподвижнымъ взглядомъ смотрѣлъ передъ собою. Онъ не плакалъ, не вздыхалъ и не призывалъ имени Аллаха. Онъ сдѣлался словно каменнымъ, и только глубоко въ его груди словно кто-то огнемъ выжегъ: *Ея нѣтъ! Нѣтъ ея! Нѣтъ! нѣтъ! нѣтъ!*

Долго пролежалъ Ибнъ-Альваръ. Не слыхалъ онъ, какъ звали его домашніе, не слыхалъ, какъ они стали стучаться, потомъ ломиться къ нему въ двери, какъ выломали наконецъ двери и, съ испугомъ увидѣвъ, что старикъ лежитъ на полу, бросились къ нему, стали его оттирать, уложили въ постель и послали за врачомъ.

Ибнъ-Альваръ оставался все такъ же неподвиженъ и молчаливъ, и на всѣ вопросы домашнихъ не разомкнулись уста его. Но ему самому казалось, что все вокругъ него и въ немъ самомъ кричитъ: *Нѣтъ, нѣтъ ея болѣе!*

Долго проболѣлъ Ибнъ-Альваръ и хотя и всталъ съ постели, но окончательно никогда не поправился. Это былъ не прежній статный, величавый мужъ, исполненной спокойной мудрости, а жалкій, сгорбленный старикъ, равнодушный ко всему на свѣтѣ, словно одеревенѣвшій и въ тупой покорности ожидавшій своего смертнаго часа. И ему уже недолго оставалось ждать.

Бѣдный, безумный Ибнъ-Альваръ!..

Влад. Карекинъ.

М. Крестовская

Марія Всеволодовна Крестовская, по мужу Картавцева, родилась въ 1862 году. Сначала готовилась къ сценѣ и съ успѣхомъ играла въ частныхъ театрахъ. На литературное поприще выступила въ 1885 г., помѣстивъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» «Уголки театральнаго міра» и «Раннія грезы». Съ 1891 года помѣщаетъ свои произведенія въ «Вѣстникѣ Европы», гдѣ были напечатаны «Артистка» и «Сынъ», «Сѣверномъ Вѣстникѣ»—«Женская жизнь» и «Русской Мысли»—«Вопль» въ прошломъ году и въ нынѣшнемъ «Исповѣдь Мытищева».

СОНЪ ВЪ ЛѢТНЮЮ НОЧЬ.

...На суку извилистомъ и чудномъ
Пестрыхъ сказокъ пышная жилица
Вся въ огнѣ, въ сіяньѣ изумрудномъ,
Надъ водой качается жаръ-птица;
Расписныя раковины блещутъ
Въ переливахъ чудной позолоты,
До луны жемчужной пѣной плещутъ
И алмазной пылью водометы;
Листья полны свѣтлыхъ насѣкомыхъ,
Все растетъ и рвется вонъ изъ мѣры
. . . . . .
. . . . . .
Мигъ еще... и нѣтъ волшебной сказки...

Фетъ.

Теплая, лунная ночь тихо спускалась надъ старымъ помѣщичьимъ садомъ. Длинныя аллеи липъ и кленовъ окутывались таинственнымъ сумракомъ, отъ котораго онѣ казались еще глубже и длиннѣе, теряясь въ темнотѣ, и только на дорожкахъ кое-гдѣ, прорѣзываясь сквозь густую листву, трепетали, бѣлѣя и скользя, причудливыя, словно разорванное кружево, лунныя тѣни, да надъ прудкомъ серебрился прозрачный туманъ, легкимъ бѣлымъ облачкомъ запутавшійся между высокимъ тростникомъ и склонившимися вѣтвями плакучей ивы. Въ травѣ стрекотали кузнечики, а изъ пруда доносилось кваканье лягушекъ, и звуки эти сливаясь наполняли воздухъ какою-то грустною, но прекрасною гармоніей. Въ домѣ только что отужинали, и старики отправились спать, а молодежь разсыпалась по саду.

Въ столовой оставались только Митя, спѣшившій починить къ утру свои удочки, чтобы поспѣть на разсвѣтѣ, вмѣстѣ съ поваренкомъ Гришкой, идти на рыбную ловлю, да Аграфена Ильинишна, убиравшая въ буфетъ оставшіяся закуски и бутылки съ наливками.

Аграфена Ильинишна уже лѣтъ десять завѣдывала въ домѣ всѣмъ хозяйствомъ, поступивъ туда ключницей послѣ смерти мужа, и за эти десять лѣтъ такъ здѣсь обжилась, такъ ко всѣмъ привыкла и къ ней всѣ такъ привыкли, что мало-по-малу она обратилась совсѣмъ въ члена семьи. Это была полная и красивая еще, несмотря на свои со-

рокъ съ лишнимъ лѣтъ, женщина, тою типичной свѣжей и здоровой красотой, которая нерѣдко встрѣчается среди русскихъ женщинъ, проведшихъ большую часть жизни на вольномъ деревенскомъ воздухѣ.

— Ну, Митенька,—спать пора!.. Я сейчасъ огонь здѣсь потушу,—сказала она привычнымъ, не допускающимъ возраженій голосомъ, котораго и „большіе“ не всегда рѣшались ослушиваться.

— Сейчасъ!..—отвѣчалъ недовольно Митя,—дайте вотъ только эту удочку кончить.

— Чего тутъ годить!.. Ужъ двѣнадцатый часъ скоро, только керосинъ попусту жжете; хотите чинить, такъ въ гостиную идите, тамъ лампа горитъ.

— Очень мнѣ нужно въ вашу гостиную!.. Тамъ мнѣ ваши дѣвчонки только мѣшать будутъ,—заговорилъ Митя тѣмъ задирчивымъ и пренебрежительнымъ тономъ, какимъ говорилъ всегда, какъ только рѣчь заходила о дѣвочкахъ.

— Ну, коли въ гостиную не хотите,—рѣшила Аграфена Ильинишна,—такъ спать идите!

Рис. А. Хотяинцевой.

И, къ полному негодованію Мити, преспокойно потушила въ лампѣ огонь.

Въ первую минуту Митя такъ разсердился, что въ головѣ его пронеслась даже мысль—не поколотить ли Аграфену Ильинишну? Но,

къ счастію, Аграфена Ильинишна уже ушла, да и колотить ее, все равно, было нельзя, какъ нельзя было колотить бабушку или тетю Машу и, къ сожалѣнію Мити, даже и старшихъ сестеръ.

Митѣ кончался уже четырнадцатый годъ, но онъ былъ такой маленькій, пухлый и розовый, что на видъ ему казалось не больше двѣнадцати, да и по натурѣ онъ былъ еще совсѣмъ ребенокъ, и по цѣлымъ днямъ возился съ деревенскими мальчишками; онъ набралъ себѣ изъ нихъ цѣлую шайку и учинялъ съ нею чрезвычайно интересныя облавы то на лягушекъ и ужей, во множествѣ водившихся въ прудѣ подъ мостомъ, то на собственныя яблоки, росшія въ ихъ же саду, то на деревенскихъ дѣвчонокъ, которыхъ преслѣдовалъ съ еще большимъ жаромъ и ожесточеніемъ, чѣмъ самыхъ большихъ ужей, и которыя смертельно боялись его и удирали вразсыпную, едва его завидѣвъ.

Въ душѣ онъ былъ страшный женоненавистникъ. Всѣхъ женщинъ, начиная отъ дѣвочекъ, барышень и кончая вполнѣ солидными барынями, онъ окрестилъ однимъ позорнымъ именемъ: „дѣвчонокъ“, и никакого дѣла съ ними, кромѣ маленькихъ потасовокъ время отъ времени съ младшими изъ нихъ, имѣть не желалъ, находя, что настоящему мужчинѣ, какимъ онъ считалъ себя, особенно послѣ того, какъ дядя Петръ Николаевичъ сталъ брать его съ собою на охоту,—возиться съ дѣвчонками неприлично и унизительно. Онъ даже нарочно велъ себя съ ними всегда такъ грубо и дерзко, что онѣ поминутно жаловались на него, чѣмъ еще больше убѣждали его, что всѣ онѣ созданы только для кляузъ, сплетенъ и вообще разныхъ непріятностей. Но онъ рѣшилъ рано или поздно доказать всему міру и даже самимъ дѣвчонкамъ, что всѣ онѣ злы и глупы, а потому для благополучія мужчинъ и процвѣтанія государства ихъ всѣхъ слѣдуетъ уничтожить. Положимъ, уничтожить совсѣмъ, то-есть убить или казнить какъ-нибудь, было все-таки какъ-то неудобно, и потому, въ порывѣ великодушія, онъ, такъ и быть, дарилъ имъ жизнь, но зато придумывалъ построить огромнѣйшую, въ нѣсколько верстъ, тюрьму, куда дѣвчонокъ запрятывали бы прямо съ рожденія на всю жизнь, сбирая ихъ для этого со всего міра.

Но больше оскорбляла и сердила Митю измѣна его старшаго брата Пети и его товарища Миронова, передъ которыми онъ прежде невольно преклонялся, сознавая, что они еще больше его самого „настоящіе мужчины“. Года четыре тому назадъ они первые же внушали ему подобныя идеи, а теперь не только измѣннически отреклись отъ нихъ, но съ тѣхъ поръ, какъ перешли въ послѣдній классъ гимназіи, и сами, по мнѣнію Мити, совершенно обабились. Вздумали вдругъ дружиться съ дѣвчонками, отъ него и прежнихъ игръ и забавъ совсѣмъ отстали, а съ тѣми завели какіе-то шушуканья и секреты, бѣгали по ихъ порученіямъ, исполняли всѣ ихъ дурацкія приказанія

и даже огорчались, если тѣ смѣли на нихъ еще дуться. Вмѣсто того, чтобы вставать, какъ прежде, на зарѣ да отправляться въ далекія прогулки или на рыбныя ловли, шатались теперь съ дѣвчонками до поздней ночи по саду, распѣвая разные дурацкіе романсы и декламируя стихи; а днемъ, вмѣсто чтенія прежнихъ Робинзоновъ и другихъ интересныхъ путешествій, читали вслухъ дѣвчонкамъ какіе-то глупѣйшіе романы и восхищались вмѣстѣ разными влюбленными героями и героинями, казавшимися Митѣ просто какими-то идіотами. Словомъ, вели себя совсѣмъ позорно и унизительно для каждаго порядочнаго мужчины и все больше разочаровывали въ себѣ Митю.

И теперь, отправляясь поневолѣ спать, послѣ того какъ Аграфена Ильинишна такъ безцеремонно потушила лампу, Митя, проходя чрезъ гостиную, услышалъ вдругъ голосъ Любочки, декламировавшей на террасѣ свое любимое стихотвореніе ***Кузнечикъ - Музыкантъ***. Въ послѣднее время она декламировала его особенно часто, вѣроятно вслѣдствіе того, что Мироновъ восхищался имъ, находя, что это стихотвореніе она читаетъ „артистичнѣе и художественнѣе“ всѣхъ прочихъ. Такіе глупые отзывы бывшаго пріятеля ужасно сердили Митю, и ему давно уже надоѣли и Любочка съ ея декламаціей, и Мироновъ, восхищавшійся ею, и даже самый ***Кузнечикъ-Музыкантъ***, раньше очень ему нравившійся.

Словомъ, онъ пришелъ наверхъ въ свою комнату въ самомъ сердитомъ расположеніи духа. Лунный свѣтъ косыми лучами падалъ на середину комнаты, а въ распахнутыя окна лился ароматъ липы и цвѣтовъ.

Митя пошелъ къ окну и заглянулъ внизъ. Весь садъ словно дремалъ, и на деревьяхъ не дрожалъ ни одинъ листъ. Только въ травѣ, казавшейся совсѣмъ черною, блестѣли кое-гдѣ огоньки свѣтляковъ Митя прислушался къ ночной тишинѣ и, вглядываясь въ залитый мѣсяцемъ садъ, невольно задумался о чемъ-то смутномъ и неясномъ еще для него самого, но что порой уже охватывало его вдругъ какою-то странною не то тоской, не то радостью, надъ которою онъ, впрочемъ, никогда долго не задумывался и которая проходила почти прежде, чѣмъ онъ замѣчалъ ее...

Вдругъ подъ окномъ послышался шорохъ и чьи-то тихіе голоса. Прямо подъ нимъ, въ тѣни сиреневыхъ кустовъ, сидѣли на маленькой скамейкѣ Петя и Дашенька, подруга Любочки. Свѣтлое платье ея бѣлѣло на лунномъ свѣтѣ, а бѣлокурая головка казалась почти сѣдою. Рука ея лежала въ рукѣ Пети, и онъ что-то говорилъ ей, наклоняясь совсѣмъ близко къ ея лицу, точно шепча ей на ухо, а она тихо смѣялась, покачивая своею хорошенькою головкой.

Но Петя наклонился къ ней еще ближе, такъ близко, что лицомъ своимъ совсѣмъ коснулся ея лица, — и на мгновеніе звукъ поцѣлуя слился съ стрекотаніемъ кузнечиковъ, заливавшихся гдѣ-то въ травѣ.

Митя быстро отшатнулся отъ окна, и чувство не то негодованія, не то любопытства охватило его. Ему было противно и досадно на Петю, который дошелъ до такого идіотизма, что началъ даже уже цѣловаться съ дѣвчонками, а въ то же время, какъ будто хотѣлось подслушать, о чемъ они говорятъ и не поцѣлуются ли опять. Онъ снова выглянулъ въ окно, но Дашенька, испуганная вѣроятно поцѣлуемъ, убѣжала, а за ней побѣжалъ и Петя, и черезъ минуту ихъ звонкіе, смѣющіеся голоса, нарушая торжественную тишину ночи, уже громко раздавались на террасѣ, вмѣстѣ съ голосами Любочки и Миронова.

Митя постоялъ еще у окна, словно поджидая, не вернутся ли они опять, но вдругъ разсердился и на себя за то, что заинтересовался такими пустяками, и на Петю съ Мироновымъ, возившихся съ этими дурами-дѣвчонками, и на самихъ дѣвчонокъ, изъ-за которыхъ портились такіе славные мужчины, какими были когда-то Петя и Мироновъ, и, мысленно выругавъ ихъ дураками, Митя сердито захлопнулъ окно и рѣшилъ ни съ кѣмъ изъ нихъ больше не связываться.

Онъ спалъ уже около часу, когда вдругъ услышалъ, что дверь его комнаты тихо скрипнула и отворилась. Митя лѣниво, сквозь сонъ, подумалъ, что это вѣрно вернулись Петя съ Мироновымъ, и, не желая съ ними разговаривать, только плотнѣе надвинулъ на голову одѣяло и повернулся къ стѣнѣ. Но оказалось, что это были не они, такъ какъ ни шаговъ, ни голосовъ ихъ Митя больше не слышалъ, а чувствовалъ только какой-то тихій шорохъ, какъ будто слегка шелестила кисейная занавѣска распахнувшагося окна...

Тогда Митя снова раскрылъ глаза и поднялъ голову уже съ нѣкоторою тревогой; но въ комнатѣ никого не было, и только по полу безшумно ползали трепещущія тѣни, да въ отворенное окно громче раздавалось кваканье распѣвавшихъ лягушекъ.

Митя нѣсколько удивился, почему это окно оказалось растореннымъ, когда онъ самъ съ вечера затворилъ его; онъ нехотя поднялся съ постели, чтобы снова его запереть. Но, заглянувъ по привычкѣ въ садъ, вдругъ замѣтилъ, что тамъ совершается что-то необыкновенное... Въ чемъ собственно заключалось это необыкновенное, Митя не сумѣлъ бы сказать; на первый взглядъ все казалось такимъ же, какъ и всегда. Все такъ же тонули въ сумракѣ аллеи, а на темно-синемъ, звѣздномъ небѣ рѣзко вырѣзывались высокіе, чуть-чуть задумчиво покачивавшіеся, пирамидальные тополи; все такъ же стрекотали въ травѣ кузнечики и искрились кое-гдѣ свѣтляки...

Все было какъ вчера, какъ третьяго дня, какъ бывало въ каждую лѣтнюю лунную ночь; но все это стало почему-то вдругъ совсѣмъ инымъ и необыкновенно страннымъ.

Митя съ любопытствомъ всматривался вглубь сада, прислушиваясь къ какимъ-то неяснымъ, едва уловимымъ звукамъ ночи... и

вдругъ ему ужасно захотѣлось сбѣжать внизъ... Въ травѣ все чаще вспыхивали огненныя точки свѣтляковъ, и, удивляясь, откуда это столько набралось ихъ, Митя началъ считать, но чѣмъ дольше онъ считалъ, тѣмъ больше являлось ихъ, и черезъ минуту не только трава, но и деревья, и кустарники, и даже клумбы съ цвѣтами заблестѣли ихъ огненными точками, и весь садъ засвѣтился, точно разукрашенный какою-то волшебною иллюминаціей.

Тогда Митя, окончательно пораженный и восхищенный, рѣшилъ сейчасъ же бѣжать въ садъ и уже хотѣлъ кинуться вонъ изъ комнаты,

Рис. А. Хотяинцевой.

но комната вдругъ стала точно чужою, незнакомою и такою холодною и мрачною, что Митѣ сдѣлалось въ ней жутко и онъ даже хотѣлъ крикнуть... Но отъ крика онъ удержался, вспомнивъ, что это позоръ для настоящаго мужчины кричать по всякимъ пустякамъ и сейчасъ же звать на помощь разныхъ нянюшекъ, какъ маленькому... Онъ храбро кинулся впередъ, натыкаясь впотьмахъ на столы и стулья и ушибаясь о нихъ, но ни стѣнъ, ни дверей найти не могъ: онѣ точно совсѣмъ исчезли, и хотя окно свѣтилось какимъ-то яркимъ желтовато-зеленымъ блескомъ, озарявшимъ весь садъ, но комнату свѣтъ этотъ почему-то не освѣщалъ, и отъ него она казалась только еще угрюмѣе и мрачнѣе. Тогда окончательно струсившему Митѣ пришла вдругъ счастливая мысль спуститься прямо черезъ окно, хотя до сихъ

поръ, онъ этого еще никогда не пробовалъ, такъ какъ оно помѣщалось довольно высоко, во второмъ этажѣ, но на этотъ разъ, къ удивленію его самого, онъ спустился совсѣмъ легко и удобно, точно по воздушной лѣстницѣ.

Спустившись, въ первую минуту Митя стоялъ совсѣмъ пораженный, не понимая, въ чемъ собственно дѣло, но чувствуя только, что весь садъ сталъ чѣмъ-то живымъ и одушевленнымъ. Всюду кругомъ него кружились всевозможные бабочки, жуки, стрекозы и кузнечики, сдѣлавшіеся почему-то необычайно большими, почти одного съ нимъ роста; не обращая на него вниманія, они спѣшно пропархивали мимо, видимо куда-то торопясь и такъ близко, что почти задѣвали его своими мягко шуршавшими крыльями.

Митя молча слѣдилъ за ними, придумывая, что̀ бы это могло все значить, и вдругъ, внезапно озаренный просвѣтлѣніемъ, радостно захлопалъ въ ладоши.

Онъ понялъ, что все это ни болѣе, ни менѣе какъ свадьба того самаго кузнечика-музыканта, съ которымъ Любочка такъ надоѣдала ему по вечерамъ. Положимъ, въ чтеніи Любочки все это представлялось ему только невѣроятною чепухой, но зато теперь, въ дѣйствительности, онъ понялъ, какъ все это прекрасно и интересно. Конечно, подобное зрѣлище немногіе изъ простыхъ смертныхъ удостоивались видѣть въ своей жизни; для этого требовался вѣрно цѣлый рядъ геройскихъ подвиговъ,— въ чемъ собственно состояли геройства самого его, Митя помнилъ довольно смутно, но не сомнѣвался, что они были, иначе онъ, очевидно, сюда бы не попалъ.

Гордый сознаніемъ собственныхъ подвиговъ и достиженіемъ чудной награды, онъ радостно побѣжалъ впередъ по аллеѣ, къ большой круглой лужайкѣ, гдѣ въ обыкновенное время бабушка съ Аграфеной Ильинишной варили варенье и гдѣ теперь, по его предположенію, должно было сосредочиваться главное торжество...

И онъ не ошибся: еще только подбѣгая къ ней, онъ долженъ былъ на минуту зажмурить глаза отъ того ослѣпительнаго свѣта, которымъ она была залита.

Не только всѣ самые крупные и яркіе свѣтляки увѣшивали своею причудливою иллюминаціей деревья и кусты, но и сама луна, низко спустившись надъ срединой лужайки, горѣла брильянтовымъ блескомъ, а тысячи стрекозъ и бабочекъ кружились вокругъ нея въ какихъ-то фантастическихъ танцахъ, подъ кваканье лягушекъ и оглушительное стрекотанье цѣлаго оркестра изъ кузнечиковъ.

Поминутно подлетали все новыя бабочки, встрѣчаемыя при входѣ большими черными жуками съ перетянутыми таліями и воинственными усами, напоминавшими портретъ того гусара, который висѣлъ надъ письменнымъ столомъ тети Маши, и тотчасъ же пышно распустивъ свои нарядныя крылышки, точно какія-то воздушныя, блестящія

юбочки, красивыя бабочки упархивали со своими кавалерами, кокетливо поглядывая на нихъ своими круглыми глазками, тогда какъ неповоротливыя и неуклюжія ночныя бабочки, вѣроятно ихъ маменьки и тетушки, завернувшись въ длинныя пестрыя крылья, какъ въ турецкія шали, степенно и важно сидѣли вокругъ лужайки, ужасно походя, по мнѣнію Мити, на тѣхъ маменекъ и тетушекъ, которыя каждое 11 іюля привозили къ нимъ на лѣтній балъ своихъ дочекъ и племянницъ.

Но что болѣе всего поразило Митю, такъ это Аграфена Ильинишна, величественно сидѣвшая на тѣхъ самыхъ мѣдныхъ тазахъ, въ которыхъ въ обыкновенное время варили варенье; теперь изъ нихъ былъ устроенъ великолѣпный тронъ, горѣвшій какъ золото подъ лунными лучами и въ которомъ вмѣсто изумрудовъ и рубиновъ сіяли настоящіе самые лучшіе и разнообразные жуки, переливавшіе всѣми цвѣтами радуги.

Какъ попала сюда Аграфена Ильинишна, да еще взгромоздилась на тронъ, Митя не могъ понять и былъ положительно возмущенъ и оскорбленъ, потому что ужъ за ней-то онъ, конечно, никакихъ геройскихъ подвиговъ признать не могъ. Повидимому, она даже играла тутъ важную роль, такъ какъ всѣ жуки и бабочки обращались съ ней чрезвычайно почтительно и, проходя мимо, низко кланялись ей, на что она отвѣчала едва замѣтнымъ, снисходительнымъ кивкомъ головы. Эти всеобщія стрекозиныя почести разсердили Митю, и ему хотѣлось крикнуть всѣмъ этимъ глупымъ, пустоголовымъ жукамъ, что всѣ они дураки и лебезятъ предъ этою Аграфеной Ильинишной, которая вовсе совсѣмъ не царица, а просто ключница, но объявить объ этомъ во всеуслышаніе онъ все-таки не рѣшался, начиная уже и самъ сомнѣваться, не была ли она въ самомъ дѣлѣ какой-нибудь тайной царицей, а ключницей только притворялась? И Митя благоразумно старался не попадаться ей на глаза, сознавая, что кто бы она тамъ ни была—ключница ли, царица ли,—а выгнать его, если захочетъ, все-таки можетъ, вѣроятно, отлично.

Видъ Аграфены Ильинишны былъ такъ поразителенъ, что Митя невольно глядѣлъ въ ея сторону: на головѣ у нея была корона—вся изъ тѣхъ же жучковъ и бабочекъ, а станъ драпировало какое-то необычайное, ослѣпительно бѣлое одѣяніе, отъ котораго она и въ самомъ дѣлѣ казалась настоящею королевой.

Вдругъ явившіеся откуда-то Любочка съ Мироновымъ и Дашенька съ Петей начали танцовать мазурку и танцовали ее такъ удивительно хорошо, что и у самого Мити ноги невольно начали выдѣлывать какія-то па и ему смертельно захотѣлось тоже танцовать, да только не было дамы. Но взглянувъ снова на Аграфену Ильинишну, онъ рѣшилъ, что если плясать, такъ ужъ конечно съ ней—и смѣло направился къ ней, думая осчастливить ее своимъ выборомъ, но по мѣрѣ того, какъ онъ шелъ, смѣлость его все уменьшалась, уменьшалась и наконецъ исчезла совсѣмъ.

Она сидѣла передъ нимъ такая величественная и прекрасная, какою онъ никогда еще не видалъ ее, и улыбалась ему... Но какъ улыбалась! Глаза ея, смотрѣвшіе прямо на него, горѣли какъ звѣзды и словно звали и притягивали его къ себѣ какою-то неодолимою силой,—и онъ шелъ, не отводя очарованнаго взгляда отъ ея блистающаго красотой лица, но шелъ робко и застѣнчиво, съ какою-то странною, жуткою радостью въ груди.

Вотъ онъ подошелъ къ ней совсѣмъ близко, близко, вотъ она протянула ему руку, и онъ радостно схватилъ эту руку, но вдругъ все дрогнуло, смѣшалось и исчезло... Все: жуки, бабочки, луна, тронъ, Любочка, Мироновъ—все исчезло и кругомъ разлилась темнота; но рука ея, мягкая и теплая, осталась въ его рукѣ и влекла его куда-то въ темное пространство. Онъ бѣжалъ за ней, уже не видя ея и только мучительно боясь выпустить и потерять ее; онъ крѣпко сжималъ ея руку въ своихъ рукахъ и все бѣжалъ, бѣжалъ, почти задыхаясь, падая, едва поспѣвая за ней и съ ужасомъ чувствуя, что сейчасъ, сейчасъ выпуститъ ее и не найдетъ уже никогда, никогда...

Но вдругъ на востокѣ блеснулъ первый лучъ розовой зари и освѣтилъ Аграфену Ильинишну... Она остановилась, и Митя снова увидѣлъ ея прекрасное лицо. Она все такъ же глядѣла на него своими манящими, лукавыми глазами, все такъ же улыбалась ему, но теперь на ней уже не было ни короны, ни блестящаго одѣянія... Она стояла передъ нимъ въ той самой розовой ситцевой блузѣ, въ которой онъ привыкъ видѣть ее чуть не каждый день, съ гладко-причесанною темною косой, и только красные корольки трепетали на ея пышной груди.

Онъ, радостно вскрикнувъ, бросился къ ней, а она наклонилась къ нему и поцѣловала его, крѣпко, крѣпко, въ самыя губы... сердце его забилось... и онъ проснулся...

Розовая заря играла на оконныхъ стеклахъ, бросая лучистый отблескъ во внутрь комнаты.

Но вѣроятно было еще очень рано, такъ какъ ни въ домѣ, ни на дворѣ не слышалось движенія, и только гдѣ-то подъ окномъ, въ кустахъ сирени, заливался соловей.

Митя вскочилъ съ постели и съ недоумѣніемъ оглядывался кругомъ, почти не узнавая знакомой комнаты и не понимая, что съ нимъ такое сейчасъ было. Сердце его еще билось взволнованно и радостно, какъ забилось минуту назадъ, когда Аграфена Ильинишна поцѣловала его, и ощущеніе этого поцѣлуя было такъ живо и ясно въ немъ, что онъ какъ бы чувствовалъ еще на губахъ своихъ прикосновеніе ея горячихъ устъ. Ему казалось, что она, дѣйствительно, только что была здѣсь и только спряталась отъ него теперь, чтобы подразнить его нарочно. Онъ усиленно протиралъ глаза, оглядывая всю комнату, и самъ не понималъ—проснулся ли онъ наконецъ, или это все еще продолжается его чудесный сонъ.

Но мало-по-малу, съ какою-то почти обидой, Митя убѣдился, что онъ дѣйствительно проснулся и не увидитъ больше Аграфену Ильинишну, то-есть не увидитъ ее такою, какою она сейчасъ приснилась ему, и это показалось ему такъ досадно, такъ несправедливо и грустно, что онъ чуть не заплакалъ.

Заснуть снова онъ уже не могъ, хотя и вспомнилъ, что съ вечера собирался было ѣхать на зарѣ съ поваренкомъ Гришкой на рѣку удить рыбу, но теперь ему даже и этого не хотѣлось. Послѣ такого дивнаго сна онъ могъ думать только о немъ, вспоминая въ мельчайшихъ подробностяхъ. Но какъ онъ ни старался, а вся первая половина этого сна представлялась ему какъ-то туманно и спутанно: онъ помнилъ только, что видѣлъ цѣлую массу разныхъ мухъ и жуковъ, которые вертѣлись и плясали передъ нимъ, но вся живость и прелесть этой картины, такъ восхитившей его во снѣ, теперь ускользала и онъ даже не понималъ, что ему могло нравиться во всей этой чепухѣ. Но зато вторая!.. въ ней сосредоточивался весь интересъ и вся прелесть этого необыкновеннаго сна: вѣдь Аграфена Ильинишна существовала и въ дѣйствительности и почти такая же красивая, какъ и во снѣ... развѣ только самую чуточку похуже... Отчего же ей и въ самомъ дѣлѣ не поцѣловать его когда-нибудь?.. Но мысль эта однимъ представленіемъ подобной возможности совсѣмъ смущала его почему-то; онъ застѣнчиво вспыхивалъ и пряталъ голову въ подушки, точно стыдясь и прячась отъ самого себя, но она упорно носилась въ его разгоряченномъ воображеніи, и онъ положительно не могъ думать ни о чемъ другомъ. Тогда онъ нарочно зажмуривалъ глаза, чтобы еще яснѣе вызвать въ воображеніи всю картину своего сна, а главное— ощущеніе того страннаго восторга, отъ котораго даже и во снѣ у него такъ заколотилось сердце...

Солнце уже ярко озаряло всю комнату и по ней безшумно рѣяли десятки мухъ, точно плавая и играя въ воздухѣ и гоняясь другъ за другомъ въ перегонки. Весь садъ наполнился птичьимъ гамомъ, смѣнившимъ соловьиныя трели, а на скотномъ дворѣ раздавался звонкій голосъ скотницы Марѳуши, выгонявшей ягнятъ и бранившей по дорогѣ свою внучку Машутку. Домъ мало-по-малу оживалъ, а Митя все лежалъ и думалъ. Онъ думалъ, какъ бы было хорошо сидѣть, пока еще никто не всталъ, гдѣ-нибудь въ глубинѣ сада, хоть у прудка на дерновой скамеечкѣ, вдвоемъ съ Аграфеной Ильинишной и держать ея теплую руку въ своей рукѣ, какъ сегодня во снѣ, и глядѣть на нее... и говорить... О чемъ собственно они стали бы говорить, Митя не могъ придумать и рѣшилъ, что лучше бы они просто такъ сидѣли и молчали, молчали бы и сидѣли, и онъ бы все глядѣлъ на нее, а она на него... а потомъ она наклонилась бы къ нему и поцѣл... Но тутъ Митя снова вспыхивалъ, зарывался въ подушки и жмурился отъ восторга.

„Вотъ,—вспоминалъ онъ,—тетя Маша говоритъ, что Мироновъ и сосѣдъ Левицкій влюблены въ Любочку, а Дашенька въ Петю, а сама тетя Маша до сихъ поръ еще влюблена въ того гусара съ длинными черными усами и перетянутою таліей, портретъ котораго виситъ въ ея комнатѣ, а бабушка, вѣроятно, была влюблена въ дѣдушку, а отецъ—въ покойницу мамашу, и всѣ, всѣ навѣрное ужъ въ кого-нибудь влюблены... Что если бы и ему... еслибы и ему влюбиться въ Аграфену Ильинишну!“

Но при этой мысли сердце его заколотилось такъ часто, что его бросило даже въ жаръ; онъ безпокойно вскочилъ съ постели и въ ужасномъ волненіи спрашивалъ себя: неужели это правда? И ему сдѣлалось такъ стыдно и страшно чего-то, точно онъ сильно напроказилъ... Онъ не хотѣлъ объ этомъ думать, но, помимо воли, его все-таки охватывало какое-то новое, странное, непостижимое для него чувство, поднимавшее въ душѣ его цѣлый сумбуръ и смятеніе; но смятеніе это было какое-то пріятное, отъ котораго въ груди что-то сладко и радостно замирало.

Внизу, въ столовой, пробило семь часовъ, и почти тотчасъ же явился садовникъ Ипатъ, исполнявшій заодно, Богъ знаетъ почему, и лакейскія обязанности. Поставивъ передъ постелями барчатъ ярко вычищенные сапоги, онъ безцеремонно растолкалъ сладко спавшихъ Петю и Миронова и, стуча своими огромными подкованными сапожищами, принялся ходить по комнатѣ, приготовляя платья и воду для умыванья. Мироновъ нехотя проснулся и потягивался, лѣниво зѣвая, а Петя, не обращая ни малѣйшаго вниманія на понуканье Ипата и грохотанье его сапожищъ, только плотнѣе завернулся въ одѣяло и, повернувшись къ стѣнѣ, заснулъ еще слаще.

Зато Митя сейчасъ же вскочилъ и принялся быстро одѣваться и умываться.

Обыкновенно, онъ вступалъ при этомъ съ Ипатомъ въ длинныя разсужденія по самымъ разнообразнымъ вопросамъ, но сегодня онъ избѣгалъ даже смотрѣть на него, чувствуя себя передъ нимъ какъ-то неловко и смутно опасаясь въ душѣ, не проникъ бы Ипатъ какъ-нибудь въ его неожиданную тайну.

Когда Ипатъ ушелъ, а Мироновъ снова задремалъ, Митя подошелъ къ зеркалу и началъ передъ нимъ причесываться, чего не дѣлалъ еще никогда, потому что былъ увѣренъ, что зеркала придуманы нарочно только для дѣвчонокъ, которыя по три часа кривляются передъ ними каждое утро. Но сегодня, приглаживая мокрою щеткою свои непослушные волосы, привыкшіе торчать во всѣ стороны самыми разнообразными вихрами, онъ пристально разсматривалъ свое лицо; къ сожалѣнію, у него не только не было еще молодой кудрявой бородки, какъ у Миронова, придававшей его обладателю внушительный видъ, но даже и на верхней губѣ не замѣчалось еще ни малѣйшихъ

признаковъ растительности, тогда какъ у Пети уже въ прошломъ году показались маленькіе усы, благодаря которымъ онъ сразу сталъ гораздо мужественнѣе и красивѣе.

„Вихры“ его, какъ называла ихъ бабушка, привели Митю совсѣмъ было въ отчаяніе и уныніе: какъ онъ ни старался, они все-таки упрямо вставали опять торчкомъ. Наконецъ, ему надоѣло съ ними возиться; онъ бросилъ щетку и, горя желаніемъ какъ можно скорѣй увидѣть Аграфену Ильинишну, поспѣшно сбѣжалъ внизъ. Но передъ дверью въ столовую, изъ которой доносился „ея“ голосъ, Митя вдругъ остановился и долго не рѣшался отворить ее, въ одно и то же время и желая, и боясь увидѣть „ее“. Онъ стоялъ такъ, пока прибѣжавшія изъ сада Любочка и Дашенька, еще совсѣмъ розовыя и свѣжія отъ утренняго воздуха, не распахнули передъ нимъ дверь и, толкнувъ его впередъ, съ веселымъ щебетаньемъ молодыхъ, радостныхъ голосовъ, шумно ворвались въ столовую. Тамъ уже сидѣли бабушка въ бѣломъ какъ снѣгъ тюлевомъ чепцѣ на головѣ и тетя Маша, раскладывавшая прямо съ утра свой любимый пасьянсъ, а Аграфена Ильинишна, засучивъ рукава, стояла подлѣ самовара въ той самой розовой блузѣ, только перевязанной теперь передникомъ, въ которой приснилась Митѣ, и, что-то разсказывая бабушкѣ о новыхъ курахъ кохинхинкахъ, намазывала на ломти домашней еще теплой булки желтое, только что сбитое, деревенское масло.

При видѣ ея сердце Мити страшно забилось, но взглянуть на нее пристальнѣе, несмотря на страшное желаніе, онъ не отважился. Весь красный отъ волненія и смущенія, молча поцѣловалъ онъ руку у бабушки и тети Маши и, не здороваясь съ Аграфеной Ильинишной, усѣлся, ни на кого не глядя, на свое обычное мѣсто за чайнымъ столомъ.

Дѣвочки о чемъ-то перешептывались и хохотали, но это почему-то уже не раздражало Митю; напротивъ, онъ присматривался къ нимъ сегодня съ нѣкоторымъ любопытствомъ, и онѣ казались ему словно какими-то новыми. Его интересовало, видятъ ли и онѣ когда-нибудь такіе сны, какой приснился ему, и если видятъ, то съ кѣмъ онѣ цѣлуются, съ Мироновымъ ли, съ Петей, съ сосѣдомъ Левицкимъ или съ нимъ, Митей? Отчего же бы и не съ нимъ, чѣмъ онъ хуже Миронова или Пети?

Ему ужасно хотѣлось разсказать всѣмъ про свой сонъ и посмотрѣть, что̀ скажетъ Аграфена Ильинишна и какъ поглядитъ на него, когда онъ признается, что поцѣловался съ ней во снѣ?

Но сдѣлать этого онъ не рѣшился бы ни за что, даже еслибъ его за это безъ переэкзаменовки перевели въ четвертый классъ; онъ только молча слѣдилъ, какъ бѣлыя, полныя руки Аграфены Ильинишны поминутно мелькали въ воздухѣ, передавая то чашки съ чаемъ, то хлѣбъ.

Наконецъ явились Петя и Мироновъ, но уже умытые, причесанные и совсѣмъ непохожіе на тѣхъ заспанныхъ, растрепанныхъ и сердитыхъ „балбесовъ“, какъ называла ихъ старуха няня, являвшаяся будить ихъ иногда вмѣсто Ипата, и какими Митя видѣлъ ихъ каждое утро при вставаніи.

Они вошли развязно и даже граціозно, хотя видимо стараясь быть гораздо развязнѣе и граціознѣе, чѣмъ были на самомъ дѣлѣ; поцѣловали ручки у бабушки и тети Маши, а дѣвочкамъ и Аграфенѣ Ильинишнѣ просто пожали руки, при чемъ особенно усердно стискивали руку той, за которою ухаживали; затѣмъ каждый изъ нихъ усѣлся подлѣ „своей дамы“, какъ говорила бабушка. А „дамы“, какъ только вошли кавалеры, окончательно расцвѣли и защебетали еще звонче и веселѣй прежняго.

Митя вдругъ ужасно огорчился.

„Ахъ, какой я дуракъ!— говорилъ онъ себѣ съ досадой,— ну отчего и я ей тоже руки не пожалъ: вѣдь пожали же Петя и Мироновъ, отчего же мнѣ нельзя! И мнѣ, значитъ, тоже можно!“

И онъ рѣшилъ сдѣлать это непремѣнно, когда будетъ уходить.

— А что вы видѣли во снѣ?—спросила вдругъ у Миронова Любочка, лукаво взглядывая на него.

Мироновъ не могъ сразу припомнить, что онъ такое видѣлъ; за то Митя весь вспыхнулъ и подозрительно посмотрѣлъ на сестру, съ ужасомъ подумавъ, ужъ не узнала ли она какъ-нибудь про его сонъ.

— Ахъ, вотъ что я видѣлъ!—вспомнилъ наконецъ Мироновъ,— я видѣлъ будто я опять въ приготовительномъ классѣ, а Степановъ, бывшій нашъ учитель математики, вызываетъ меня къ доскѣ, а я урока не приготовилъ, испугался ужасно и путаю ему страшно, а онъ будто и говоритъ мнѣ: „стыдитесь молодой человѣкъ, вамъ ужъ въ университетѣ пора быть, а вы даже и для приготовительнаго класса неудовлетворительны!“

— Ну, совсѣмъ не то, не то!—воскликнула, смѣясь, но съ видимымъ разочарованіемъ Любочка и даже замахала почему-то руками.

Тетя Маша тоже вспомнила свой сонъ и прервала ее.

— А я видѣла,—начала она своимъ пѣвучимъ, растягивающимъ всѣ слова, голосомъ,—будто на мнѣ все платье распоролось, ну все, все какъ есть, такъ и расползлось по швамъ...

— Ахъ, это нехорошо!—замѣтила Аграфена Ильинишна, слывшая за большую мастерицу разгадывать сны.—Это вы что-нибудь потеряете! Хуже нѣтъ, какъ видѣть разорванное платье, либо башмаки рваные! Ужъ это завсегда къ потерѣ.

— Ахъ, Боже мой, неужели?—воскликнула суевѣрная тетя Маша и, совсѣмъ разогорчившись, даже поблѣднѣла... Но тутъ Митя не выдержалъ и рѣшилъ, что первую половину сна, во всякомъ случаѣ, разсказать можно.

— А я видѣлъ,—началъ онъ, стараясь подбодрить самого себя,— будто я на стрекозиномъ балѣ!..

Но всѣ такъ расхохотались при этихъ словахъ, что онъ опять смутился и обидѣлся.

— Ну, что́ же тутъ смѣшного!—сердито сказалъ онъ, обращаясь къ Любочкѣ, положительно захлебывавшейся отъ хохота! — Вѣдь ты же восхищаешься своимъ *Кузнечикомъ-Музыкантомъ*. Ну и я точно такъ же все, какъ тамъ описано, видѣлъ! И ничего тутъ смѣшного нѣтъ.

— Да вѣдь то поэма! — воскликнула на минуту Любочка, — все равно, что сказка!

— Ну такъ что же, что поэма, вѣдь и я не на яву это видѣлъ! Не разберешь еще, а ужъ хохочешь... Только это было очень хорошо и интересно,—продолжалъ Митя, снова увлекшись при воспоминаніи о своемъ снѣ:—на большой лужайкѣ, гдѣ варенье варятъ, собрались всякіе жуки, бабочки, кузнечики и танцовали, въ родѣ того, какъ мы видѣли тогда зимой въ балетѣ, а Аграфена Ильинишна,—проговорилъ онъ дрогнувшимъ голосомъ и застѣнчиво взглядывая на нее,—была ихъ царица и сидѣла на золотомъ тронѣ, нарядная такая, съ короной на головѣ...

— Вотъ тебѣ и разъ!—воскликнула разводя руками, Аграфена Ильинишна, никакъ не ожидавшая подобнаго конца.

Всѣ снова засмѣялись и принялись поздравлять ее съ новымъ титуломъ, а Мироновъ даже вскочилъ и, принявъ смиренную позу, просилъ ее не оставить ихъ, грѣшныхъ, своими милостями.

— Что значитъ дитя-то!—сказала бабушка, покачивая головой и и съ доброю улыбкою поглядывая, поверхъ очковъ, на своего любимца.—Дитяти дѣтское и снится! Нѣтъ, ужъ въ наши годы стрекозинаго бала не приснится.

И она о чемъ-то печально вздохнула и ласково потрепала Митю по щекѣ своею старческою, морщинистою, но нѣжною рукой. Митя совсѣмъ обидѣлся и сердито вырвался отъ нея.

— Совсѣмъ я не дитя!—воскликнулъ онъ запальчиво, чувствуя что слезы уже щекотятъ ему горло и въ то же время мучительно боясь расплакаться и еще больше уронить себя въ глазахъ Аграфены Ильинишны.

— Ну, ну, не дитя, не дитя,—ласково согласилась бабушка,—не хорохорься только, пѣтухъ ты этакій! Весь въ покойницу Любочку!— добавила она съ грустнымъ вздохомъ, невольно вспомнивъ о покойницѣ дочери.

Наконецъ, чай отпили и изъ-за стола начали вставать.

„Когда всѣ уйдутъ,—думалъ Митя,—я встану, подойду къ ней, протяну ей руку и... и кто знаетъ, можетъ быть, она тогда и поцѣлуетъ меня“...

Но ушли только бабушка да тетя Маша, а Любочка съ Дашенькой, какъ нарочно, выдумали вышивать и остались въ залѣ, болтая со своими кавалерами.

Аграфена Ильинишна принялась мыть чайную посуду и молчала, видимо поглощенная хозяйственными соображеніями и заботами, которыхъ у нея было не мало, а Митя глядѣлъ на нее и поражался. Поражался тѣмъ, какъ онъ раньше не замѣчалъ, какая необыкновенная красавица Аграфена Ильинишна и какія у нея великолѣпныя брови, густыя, густыя, почти сросшіяся на переносицѣ, а лобъ бѣлый, точно фарфоровый. Но лучше всего Митѣ все-таки казались ея алыя, крупныя губы, и особенно когда онъ вспоминалъ, какъ она крѣпко поцѣловала его ими сегодня ночью... Онъ даже вздрагивалъ отъ этого воспоминанія, и ему казалось, что если этого никогда больше не повторится, то это будетъ такъ обидно и горько, что лучше и совсѣмъ ужъ не жить тогда. Руку-то ея онъ во всякомъ случаѣ пожметъ и нарочно такъ крѣпко и такъ взглянетъ на нее при этомъ, что она все пойметъ и догадается...

И принявъ развязный видъ, Митя слегка откашлялся, обдернулъ свою гимназическую блузу, всталъ и подошелъ къ Аграфенѣ Ильинишнѣ.

— Благодарю васъ!—сказалъ онъ громко, нарочно придавая себѣ тѣмъ храбрости и смѣло протянулъ ей руку.

Но Аграфена Ильинишна благодарности его не разслышала и замѣтила только, что онъ зачѣмъ-то протягиваетъ ей руку.

— Чего вамъ?—спросила она недоумѣвая,—молока, что ли?

— Совсѣмъ не молока,—сказалъ Митя, весь краснѣя и въ то же время обижаясь и смущаясь еще больше.—Зачѣмъ мнѣ молока, очень мнѣ его нужно!.. Я просто... просто благодарю васъ... и хочу пожать вашу руку!

И говоря это, Митя сознавалъ самъ, что говоритъ совсѣмъ глупо, вовсе не то, что нужно бы и что теперь все безвозвратно погибло...

— Господи, Боже ты мой! Да ужъ къ добру ли! — разсмѣялась Аграфена Ильинишна, съ удивленіемъ смотря на него,—когда это бывало, чтобы Митенька за чай вздумалъ поблагодарить? Да еще и ручку пожать проситъ! Совсѣмъ чудеса! Идите, батюшка, идите съ Богомъ, не стоитъ благодарности!

И она смѣясь, но все-таки не протягивая руки, подняла подносъ съ вымытыми чашками и пошла съ ними къ буфету.

Митя стоялъ совершенно уничтоженный, чувствуя себя такимъ жалкимъ, несчастнымъ и оскорбленнымъ, что ему стыдно было поднять глаза и взглянуть не только на Аграфену Ильинишну и Любочку и Миронова, но даже и въ пустой уголъ.

А Любочка, слышавшая этотъ разговоръ, уже хохотала, крича Аграфенѣ Ильинишнѣ, что Митя, вѣрно, влюбился въ нее, послѣ того

какъ увидалъ ее стрекозиною царицей, и предлагаетъ ей теперь свою руку и сердце, чтобы чрезъ нея и самому сдѣлаться стрекозинымъ принцемъ.

Вся кровь хлынула Митѣ въ голову отъ стыда и отъ Любочкиныхъ оскорбленій, казавшихся ему такими возмутительными и ужасными, что въ первую минуту онъ чуть было не бросился на Любочку, чтобъ хорошенько „проучить“ ее, но вдругъ передумалъ и, ничего не сказавъ, круто повернулся и побѣжалъ вонъ изъ столовой, наверхъ въ свою комнату.

Прибѣжавъ туда, онъ кинулся на постель и горько зарыдалъ.

Онъ плакалъ, чувствуя себя въ концѣ опозореннымъ, униженнымъ и совершенно несчастнымъ и отъ того, что Любочка смѣла при всѣхъ смѣяться надъ нимъ, и отъ того, что Аграфена Ильинишна не только не дала ему руки, но еще надъ нимъ же и посмѣялась, и отъ того, что всѣ считаютъ его все тѣмъ же ничтожнымъ десятилѣтнимъ мальчишкой и никто не хочетъ замѣтить, что онъ давно уже выросъ, а бабушка даже треплетъ его по щечкѣ, какъ пятилѣтняго, да еще при Аграфенѣ Ильинишнѣ, и всѣ теперь навѣрное догадаются, что онъ влюбился въ Аграфену Ильинишну, и еще больше станутъ дразнить его и смѣяться надъ нимъ, а главное... главное, онъ окончательно убѣдился, что никогда Аграфена Ильинишна не захочетъ поцѣловать его на яву такъ, какъ поцѣловала во снѣ... Это было обиднѣе и горче всего остальнаго, и онъ долго еще плакалъ, жалобя самого себя своею несчастною судьбой и тѣми несмываемыми обидами, которыя всѣ наносили ему...

Такъ неудачно начался для Мити первый день его первой любви...

1901 годъ.
С.-Петербургъ.

В. І. Дмитріева

АВТОБІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

Я родилась 28 апрѣля 1859 года въ слободѣ Ворониной, Балашовскаго уѣзда, Саратовской губ. Отецъ мой былъ крѣпостнымъ крестьяниномъ Э. Д. Нарышкина и служилъ у него въ имѣніи, но послѣ освобожденія крестьянъ онъ покинулъ Воронино, и съ этого времени началась наша скитальческая жизнь. Мы переѣзжали съ одного мѣста на другое и, наконецъ, поселились въ с. Соломенномъ Заводѣ, Тульской губ., гдѣ и прожили до 1870 года. Это время было самое тяжелое въ жизни нашей семьи, потому что отецъ былъ постоянно въ разъѣздахъ и поискахъ какой-нибудь работы, а мать оставалась съ дѣтьми часто безъ всякихъ средствъ къ существованію. Я была самая старшая и поэтому должна была помогать матери въ ея трудахъ и заботахъ. Помощь моя главнымъ образомъ состояла въ няньченіи моихъ маленькихъ братьевъ, и въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ я помню себя не иначе, какъ съ младенцемъ на рукахъ, что, впрочемъ, нисколько не мѣшало мнѣ принимать самое дѣятельное участіе во всѣхъ уличныхъ забавахъ и приключеніяхъ. При этомъ питомцы мои, разумѣется, подвергались разнымъ непріятнымъ случайностямъ и нерѣдко вмѣстѣ съ ними я скатывалась подъ кручу, падала въ рѣчку или теряла ихъ въ лѣсу. Однако, несмотря на это, всѣ мои питомцы какимъ-то чудомъ выжили и здравствуютъ до сихъ поръ.

Жили мы на квартирѣ у крестьянки Надежды, и въ тѣсной избѣ ея, кромѣ нея и нашего многочисленнаго семейства, помѣщались еще ея взрослый сынъ и золовка, горбатая вѣковуша-Аннушка, а иногда это населеніе еще увеличивалось новорожденными телятами и ягнятами. Лѣтомъ было ничего, потому что мы цѣлые дни проводили на улицѣ, въ полѣ или на

рѣчкѣ, но зима переживалась тяжело, и однажды мы всѣ перехворали тифомъ отъ мала до велика. Впрочемъ, и зимой у насъ были свои развлеченія и, забившись на печь или на полати, подъ непрерывное пѣніе прялки и постукиваніе ткацкаго станка, мы любили слушать разсказы Надежды объ ужасахъ крѣпостнаго права и повѣствованія горбатой Аннушки о святыхъ мѣстахъ. Фантазія разыгрывалась, воображеніе работало, и въ тѣснотѣ и духотѣ полатей мерещились какія-то широкія и яркія картины... Къ этому же времени относятся и мои первыя попытки къ сочинительству, хотя, впрочемъ, первое мое произведеніе въ стихахъ было написано гораздо раньше, подъ впечатлѣніемъ красоты Волги, на пароходѣ, и памятно мнѣ потому, что оно возбудило въ публикѣ смѣхъ, который меня очень обидѣлъ и огорчилъ. Читать я выучилась рано и рано же пріобрѣла пристрастіе къ книгѣ. Читала безъ разбора все, что попадалось подъ руку, начиная съ «Житія Святыхъ» и кончая «Гуакомъ» и «Францылемъ-Венціяномъ». У насъ были и свои книги, разрозненные журналы, соч. Пушкина, Гоголя и др., но все это было перечитано по нѣскольку разъ и приходилось добывать книги на сторонѣ, что было очень трудно. Собственное сочинительство восполняло недостатокъ въ книгахъ, но зато сопряжено было съ большими затрудненіями. Часто не было бумаги и чернилъ; приходилось писать дневникъ на чайныхъ обертках и вывернутыхъ конвертахъ, а изъ-за огрызка карандаша происходили настоящія драмы съ потоками слезъ.

Въ 1870 году мы переѣхали снова въ Саратовскую губ., въ с. Завьялово, гдѣ и поселились у дѣда. Съ этого времени жизнь наша измѣнилась къ лучшему: дѣдушка былъ человѣкъ зажиточный, и мы уже не терпѣли такой вопіющей нужды, какъ прежде. Тутъ у насъ произошло знакомство, которое имѣло большое вліяніе на мою судьбу. У нашего сосѣда, богатаго мельника, сынъ готовился въ гимназію, и мой братъ началъ учиться вмѣстѣ съ нимъ. Ихъ постоянные разговоры о гимназіи возбудили во мнѣ желаніе учиться тоже, и я принялась потихоньку и безъ всякой посторонней помощи знакомиться съ грамматикой и ариѳметикой, о которыхъ не имѣла раньше никакого понятія. Мнѣ много помогла внучка нашего сосѣда, ученица Тамбовской гимназіи, Апоницкая, пріѣхавшая на каникулы. Она достала мнѣ учебники, совѣтовала готовиться въ гимназію и обѣщала устроить меня, если я выдержу экзаменъ. Не буду разсказывать, какихъ трудовъ стоило мнѣ произойти премудрость 3 классовъ гимназіи, какъ я, сидя на чердакѣ, зубрила по ночамъ исторію и географію и какъ, наконецъ, держала экзаменъ, поразивъ своимъ дикимъ видомъ и дикими отвѣтами всѣхъ учителей. Разумѣется, я почти ничего не знала, но во вниманіе къ моему происхожденію и особенно къ моему желанію учиться, проявленному такимъ экстраординарнымъ образомъ, меня приняли въ IV классъ.

По окончаніи курса гимназіи въ 1877 году, я служила одну зиму учительницей въ слободѣ Песчанкѣ и отсюда писала корреспонденціи и мелкіе разсказы въ саратовскія газеты. Эти мои первые печатные труды

навлекли на меня цѣлое гоненіе со стороны волостного писаря. Въ корреспонденціяхъ описывались разныя его плутни и неправильныя дѣйствія, и, подозрѣвая, что, кромѣ меня, писать объ этомъ некому, онъ постарался выжить меня изъ Песчанки. Тогда я исхлопотала себѣ земскую стипендію и поступила на женскіе врачебные курсы. Въ Петербургѣ я познакомилась съ покойнымъ Л. О. Котелянскимъ, извѣстнымъ авторомъ «Чинщевиковъ», и онъ, прочитавъ кое-что изъ моихъ рукописей, совѣтовалъ мнѣ писать. Но первыя мои хожденія по петербургскимъ редакціямъ были неудачны, и только въ 1880 году одинъ мой разсказъ былъ помѣщенъ въ «Мысли», при чемъ издатель этого журнала Л. Е. Оболенскій такъ ободрилъ меня своимъ отзывомъ о разсказѣ и сердечнымъ отношеніемъ къ начинающему автору, что я совсѣмъ воспрянула духомъ. Слѣдующій разсказъ, «Ахметкина жена», появился въ «Русскомъ Богатствѣ», и этому разсказу я обязана знакомствомъ съ Н. Д. Хвощинской. Она написала мнѣ по поводу его письмо и позвала меня къ себѣ: знакомство съ нею оставило глубокій слѣдъ въ моей душѣ, и я многимъ обязана этой необыкновенной женщинѣ и замѣчательной писательницѣ. Вообще, я считаю себя очень счастливой: на жизненномъ пути своемъ я встрѣтила столько замѣчательно хорошихъ людей, что одно воспоминаніе о нихъ въ самыя трудныя минуты моей жизни поддерживаетъ во мнѣ бодрость духа, и никакія невзгоды, никакія неудачи не могутъ поколебать во мнѣ вѣры въ «человѣка»...

По окончаніи курса въ 1885 году, я полтора года прожила въ деревнѣ и занималась «вольной практикой», при чемъ на практикѣ убѣдилась въ полной несостоятельности подобнаго рода дѣятельности. Жить приходилось буквально въ шалашѣ, а питаться—картошкой, которую привозили иногда мужики въ видѣ платы за медицинскіе совѣты и лѣкарства. Больше платить имъ было нечѣмъ, а мнѣ скоро не на что стало покупать лѣкарства, такъ у насъ это дѣло и не выгорѣло. Въ концѣ 1886 г. я переселилась въ Москву, чтобы усовершенствоваться въ акушерствѣ, и занималась въ Голицынской больницѣ, но черезъ годъ по независящимъ обстоятельствамъ должна была переѣхать въ Тверь и, вмѣсто усовершенствованія въ акушерствѣ, работала по статистикѣ. Въ Твери я прожила почти три года, а когда началась холера, я уѣхала на службу въ Воронежскую губ. и съ тѣхъ поръ окончательно поселилась въ Воронежѣ и посвятила себя исключительно литературной работѣ.

В. Л. Дмитріева.

29 апрѣля 1900 г.
Воронежъ.

Черезъ стѣну.

РАЗСКАЗЪ.

Однажды, въ концѣ зимы передъ воротами громаднаго дома на Невскомъ проспектѣ остановилась молодая дѣвушка и внимательно стала просматривать объявленія, густо налѣпленныя на бо́льшой черной доскѣ. Одно изъ нихъ, нацарапанное кривымъ почеркомъ на четвертушкѣ сѣрой бумаги, гласило, что въ третьемъ этажѣ, ходъ со двора, второй подъѣздъ налѣво, отдается небольшая комната для одинокой за 9 рублей съ прислугой, и дѣвушка послѣ нѣкотораго раздумья отправилась по указанному адресу.

На звонокъ ей отворила кухарка съ засученными рукавами и довольно непривѣтливо спросила:—что вамъ?

— Нельзя ли комнату посмотрѣть?

Кухарка пристально оглядѣла дѣвушку съ ногъ до головы и, повидимому удовлетворившись осмотромъ, пропустила ее въ переднюю.

— Пожалуйте! -сказала она и, на ходу вытирая мокрыя руки о фартукъ, повела дѣвушку въ самый конецъ узкаго и темнаго коридора. — Вотъ! — отрывисто проговорила она, отворивъ ногою самую послѣднюю дверь.

Дѣвушка оглядѣлась. Комнатка была крошечная, въ одно окно, у одной стѣны кровать, у другой табуретка съ умывальникомъ и два стула, передъ окномъ столъ, накрытый клеенкой. Больше ничего не было, да и ничего больше не помѣстилось бы здѣсь, но дѣвушка осталась довольна.

— Хорошо, комната мнѣ нравится,—сказала она.—Черезъ часъ я перекду.

— Задатокъ пожалуйте. И пачпортъ. Хозяйка велѣла сейчасъ же пачпортъ спрашивать.

Дѣвушка вручила кухаркѣ и то, и другое, и обѣ вышли изъ комнаты. Въ эту минуту сосѣдняя дверь пріотворилась, и оттуда выглянула чья-то голова, утыканная бумажными папильотками.

— Кто это здѣсь живетъ?—спросила дѣвушка.

— А такъ... барышня одна...—неопредѣленно отвѣчала кухарка.

— У васъ жильцовъ много?

— Нѣтъ, всего трое. Старичокъ одинъ, да вы, да вотъ эта барышня. У насъ тихо, будьте покойны! Хозяйка у насъ тишину любитъ.

— Очень рада. Я сама люблю тишину, мнѣ надо много заниматься. Ну, такъ я черезъ часъ буду, а вы мнѣ самоварчикъ приготовьте.

Не успѣла за нею затвориться дверь, какъ барышня въ папильоткахъ, все время выглядывавшая изъ своей комнаты, выскочила въ коридоръ и, шлепая туфлями безъ задковъ, побѣжала въ кухню. Это была высокая, очень полная дѣвушка, лѣтъ 20 съ лишкомъ, съ густыми русыми волосами, скрученными на затылкѣ въ толстый узелъ, съ большими черными глазами и большимъ ярко-краснымъ ртомъ, который особенно рѣзко выдѣлялся на ея полномъ, бѣломъ, сильно напудренномъ лицѣ. Одѣта она была очень небрежно—въ красную шелковую юбку и бѣлую ночную кофту съ кружевами, и отъ нея сильно пахло какими-то головокружительными духами. Все это вмѣстѣ—и небрежность костюма, и неестественная бѣлизна лица, и пунцовый ротъ, и духи—все производило какое-то раздражающее впечатлѣніе, точно диссонансъ въ оркестрѣ или грубый мазокъ на картинѣ.

— Ну что, наняла?—спросила она, торопливо и какъ-то неумѣло дымя папиросой.

— Сейчасъ переѣдетъ. Самоваръ велѣла ставить,—отвѣчала кухарка.

— Изъ какихъ?

— Да кто ее знаетъ. Должно, изъ студентокъ.

— Ну ужъ, нашли кого!—презрительно фыркнула барышня.—Прощалыга какая-то! Пальтишко драное, на плечахъ какой-то платчишка болтается, стриженая! Терпѣть не могу этихъ студентокъ!

— А намъ что? Лишь бы деньги платила.

— Будетъ она платить, какъ же!

— Ну, ужъ это дѣло хозяйское. Она вонъ и задатокъ дала, и пачпортъ.

— Гдѣ? Покажи!

Барышня съ любопытствомъ выхватила у кухарки бумагу и прочла вслухъ не особенно твердо: „предъявительница сего, слушательница женскихъ врачебныхъ курсовъ, Надежда Семеновна Рокотова...“

— Ну, такъ и есть, студентка! Изъ энтихъ, которыя на Пескахъ покойниковъ потрошатъ! Убили бобра, нечего сказать. Лучше бы студентика пустили, молоденькаго, да хорошенькаго...

— Чтобы опять шкандалъ вышелъ?—усмѣхнулась кухарка.—Нѣтъ ужъ, хозяйка вовсе не велѣла мущиновъ пущать.

— Дура она, больше ничего!—захохотала барышня и, затушивъ ногой окурокъ, вернулась въ свою комнату.

У нея комната была большая, свѣтлая и меблирована съ нѣкоторыми претензіями на комфортабельность. На окнахъ висѣли кисейныя занавѣски, широкая кровать была накрыта краснымъ шелковымъ одѣяломъ, на полу разостланъ коверъ, и въ простѣнкѣ между окнами большое трюмо. У двери, сообщавшейся съ сосѣднею комнатой и теперь наглухо забитой, стоялъ диванъ, обитый узорчатымъ плисомъ, а передъ нимъ круглый столъ и пара мягкихъ креселъ. И все это было насквозь пропитано тѣми же крѣпкими духами и табачнымъ дымомъ, отъ чего атмосфера въ комнатѣ была удушливая и какая-то приторная.

Барышня подошла къ трюмо и начала пристально себя разсматривать. Поправила одну папильотку, подпудрилась, потомъ, видимо очень довольная своею наружностью, улыбнулась себѣ въ зеркало и, закуривъ новую папиросу, легла на диванъ. Въ эту минуту послышался звонокъ, загремѣлъ дверной крюкъ, и въ коридорѣ началась какая-то возня, говоръ и топотня ногъ. Что-то несли, и грубый мужской голосъ громко спрашивалъ:—сюда, что ль?

— Перетзжаетъ!—съ пренебреженіемъ сказала барышня и подбѣжала къ двери посмотрѣть.

Интереснаго однако ничего не было. Извозчикъ протащилъ небольшой чемоданчикъ и узелъ съ подушкой; за нимъ шла сама „стриженая", неся въ рукахъ маленькую лампу съ абажуромъ и связку книгъ. Затѣмъ извозчикъ прослѣдовалъ обратно, дверь за нимъ захлопнулась и въ квартирѣ снова все затихло.

— Ну ужъ имущество!—проговорила барышня, смѣясь.—Одна никакъ подушёнка, да и за ту татаринъ пятака не дастъ. Студентка тоже...

Она съ удовольствіемъ посмотрѣла на свое шелковое одѣяло и кружевныя наволочки и снова улеглась на диванъ. Но ее почему-то интересовала новая жилица, и она не переставала о ней думать. „Что-то она теперь дѣлаетъ? Небось, тоже разбирается..." Барышня вскочила на диванѣ и приставила ухо къ дверной щели. Ничего... точно мышь возится. Да она и вправду на мышь похожа, вся какая-то сѣренькая, худая, робкая, волосенки изъ-подъ шапочки точно мочалки торчатъ... совсѣмъ противная!

Между тѣмъ Надежда Семеновна Рокотова устраивалась на новой квартирѣ. Она разобрала чемоданъ, разложила на столѣ свои книги и тетради, застлала постель тоненькимъ байковымъ одѣяломъ и, развѣсивъ по гвоздикамъ свою одежду, состоявшую изъ одного чернаго платья и двухъ-трехъ ситцевыхъ косоворотокъ, осмотрѣлась. Ничего, все вышло недурно. Главное—тихо и, кажется, тепло. Кухарка принесла самоваръ, и въ комнаткѣ стало еще уютнѣе.

— Можетъ, за булкамъ сходить?—предложила кухарка.

— Нѣтъ, у меня есть.

— То-то, а то я бы сбѣгала. У насъ булочная внизу. А обѣдать у насъ будете?

— Тоже нѣтъ. Я обѣдаю на Пескахъ, въ нашей столовой.

— То-то. А то у насъ барышня кушаетъ, ничего, довольна. 12 рублей три блюда.

Рокотова промолчала, она обѣдала въ столовой за 4 рубля въ мѣсяцъ и поэтому ничѣмъ не могла утѣшить кухарку, угощавшую ее своимъ 12-тирублевымъ обѣдомъ. Кухарка постояла, постояла, потомъ тяжко вздохнула почему-то и ушла. Надежда Семеновна допила чай и тоже ушла въ госпиталь на практическія занятія.

Часу въ девятомъ вечера, возвращаясь домой, она лицомъ къ лицу столкнулась на лѣстницѣ съ своею сосѣдкой. Барышня была уже безъ папильотокъ и въ полномъ великолѣпіи, въ какой-то фантастической кофточкѣ, отороченной бѣлымъ мѣхомъ и со шнурами на манеръ венгерки, въ не менѣе фантастической шляпѣ съ красными цвѣтами и бѣлыми перьями, въ кудряхъ, бантахъ и духахъ. Лицо ея блистало необыкновенною бѣлизной, брови рѣзко чернѣли, ярко-красный ротъ горѣлъ, какъ рубинъ. Столкнувшись со студенткой, она метнула на нее быстрый и горячій взглядъ, потомъ сдѣлала насмѣшливую гримасу и, шурша крахмальными юбками, сбѣжала внизъ. Рокотовой показалось даже, что она тамъ, внизу, засмѣялась...

„Какая странная особа!—подумала Надежда Семеновна.—Издали точно кукла. Но прехорошенькая“...

И ей вдругъ почему-то пришли на память фантастическіе разсказы о странныхъ тропическихъ цвѣтахъ, которые своею яркою и странною

красотой будто бы привлекаютъ къ себѣ птицъ и другихъ животныхъ и, медленно отравляя ихъ своимъ ядомъ, потомъ пожираютъ ихъ.

Въ коридорѣ ярко горѣла лампа, и кухарка встрѣтила Рокотову уже совсѣмъ какъ своего человѣка.

— Пришли?—сказала она дружелюбно.—Ну вотъ! А сосѣдка ваша только что ушла.

— Да, я ее встрѣтила сейчасъ на лѣстницѣ.

— Гулять пошла!..—подмигивая и какъ-то хитро улыбаясь, проговорила кухарка.

— Что же, погода хорошая. А эта барышня чѣмъ же занимается?

Кухарка опять лукаво усмѣхнулась.

— Да извѣстно чѣмъ: гуляетъ!.. — сказала она, но, сейчасъ же спохватившись, прибавила другимъ тономъ:—только вы не безпокойтесь, барышня, у насъ тихо: хозяйка оченно тишину обожаютъ...

Надежда Семеновна прошла къ себѣ, зажгла лампу и, разложивъ на столѣ атласъ Гейтцмана, погрузилась въ изученіе анатоміи. Въ квартирѣ дѣйствительно было тихо, только изрѣдка въ передней хлопала дверь, за стѣной слышались шаги и сдержанные голоса, потомъ опять хлопала дверь и опять все затихало. Проработавъ часовъ до 12, Рокотова улеглась спать и скоро заснула. Въ коридорѣ еще долго ходили, разговаривали, стучали дверьми, но она уже ничего больше не слыхала: на новомъ мѣстѣ крѣпко спится.

Съ этого же дня жизнь ея на новой квартирѣ наладилась совершенно такъ же, какъ шла она и раньше. Надежда Семеновна вставала въ 7 часовъ утра, пила чай и шла на лекціи. Послѣ обѣда въ студенческой столовой на Таврической улицѣ она возвращалась домой, пила чай и отдыхала. Потомъ опять шла въ госпиталь, если была работа въ препаровочной или въ гистологическомъ кабинетѣ; если же работы тамъ не было, она засаживалась за книги и занималась часовъ до 12. Кромѣ того у нея два раза въ недѣлю былъ урокъ на петербургской сторонѣ, и въ эти дни она прямо съ лекцій отправлялась туда и приходила домой только часамъ къ 10 вечера. Урокъ этотъ мучилъ ее порядочно, но Рокотова никакъ не могла безъ него обойтись: изъ дому ей присылали всего 15 рублей въ мѣсяцъ, и лишніе 8 рублей были очень кстати. По крайней мѣрѣ она теперь имѣла возможность жить въ теплой и сухой комнатѣ, между тѣмъ какъ раньше помѣщалась за 5 рублей въ мѣсяцъ въ страшно холодной и сырой конурѣ, гдѣ у нея на окнѣ даже росли отъ сырости грибы, къ сожалѣнію, не съѣдобные. И, продрогнувъ до костей на пронзительномъ петербургскомъ вѣтру, въ своемъ легонькомъ пальтецѣ и протертомъ пледѣ, котораго давно уже нигдѣ не принимали въ закладъ, Надежда Семеновна чувствовала себя совершенно счастливой, когда входила въ свою жарко натопленную комнатку съ кипящимъ самоваромъ на столѣ.

Квартира дѣйствительно оказалась очень тихая. Старичокъ-жилецъ, какой-то отставной военный, безвыходно сидѣлъ въ своей комнатѣ; хозяйка тоже почти не показывалась, а сосѣдку свою Надежда Семеновна встрѣчала только по вечерамъ на лѣстницѣ, когда она, нарядившись въ свою голубую венгерку и умопомрачительную шляпу, уходила „гулять". Въ другое время онѣ почти что не встрѣчались, потому что въ тѣ часы, когда Надежда Семеновна давно уже была на курсахъ и успѣвала прослушать двѣ-три лекціи, сосѣдка ея только поднималась съ постели, завивала себѣ передъ зеркаломъ кудряшки и съ папиросой въ зубахъ садилась пить утренній кофе.

Изрѣдка, впрочемъ, проходя по коридору, Рокотова изъ-за пріотворенной двери видѣла два блестящихъ и, какъ ей казалось, насмѣшливо устремленныхъ на нее глаза, но это было только на мгновеніе; сейчасъ же дверь шумно захлопывалась, и сосѣдка исчезала. Такое поведеніе казалось Надеждѣ Семеновнѣ немножко загадочнымъ, но ей некогда было въ это вникать, да и вообще сосѣдка ее мало интересовала. Она знала только изъ разговоровъ, долетавшихъ до нея изъ коридора, что ее зовутъ Дуней, что она очень любитъ конфеты и наряды и ведетъ очень веселую жизнь. По крайней мѣрѣ каждый вечеръ, какъ только зажигались на улицѣ огни, въ передней слышались звонки за звонками, начиналась ходьба, хлопанье дверей, за стѣной сдержанно разговаривали и смѣялись, а иногда къ этому примѣшивались какіе-то странные звуки, похожіе на откупориванье бутылокъ. Вотъ и все. Но если она не интересовалась сосѣдкой, зато сосѣдка интересовалась ею, и Надежда Семеновна не подозрѣвала, что за каждымъ шагомъ ея слѣдятъ со жгучимъ и нетерпѣливымъ любопытствомъ, такъ, какъ можетъ слѣдить только женщина за женщиной...

—

Каждый день, напившись кофе и наглядѣвшись на себя въ зеркало, Дуня приходила въ кухню и начинала бесѣду съ кухаркой.

— Ну, что? Ушла ужъ?—спрашивала она, дымя папироской.

— Давно-о! Нынче еще раньше велѣла самоваръ подавать.

— Да что жъ она дѣлаетъ эдакую рань?

— Да что дѣлаетъ? Все съ книжкой сидитъ. А то пишетъ чего-й-то.

— Ха! И вечеромъ то же самое?

— Да, и вечеромъ.

— Ха! Ученая!.. Ну ужъ жизнь тоже! Да я бы повѣсилась...

— Какъ кому,—философски замѣчала кухарка.—Кто любитъ весело, а кто тихо. Это ужъ по человѣку.

— Что жъ, по-твоему, это хорошо, эдакъ жить-то?

— Да что жъ, оно и не плохо. Въ тишинѣ жить—къ Богу ближе.

Дуня швыряла окурокъ на полъ и заливалась рѣзкимъ смѣхомъ.

— Ахъ, чортъ!..—говорила она сквозь смѣха.—Вотъ ужъ скажетъ... Э, ну тебя совсѣмъ, къ монахамъ... Поперхнулась изъ-за тебя.

И, напѣвая про себя: „Безъ женщины мужчина какъ безъ паровъ машина", она удалялась изъ кухни, ложилась на кровать и съ непонятною злобою и въ то же время со жгучимъ нетерпѣніемъ ждала, когда въ передней раздастся нерѣшительный звонокъ и по коридору, мимо ея комнаты, прошелестятъ знакомые, мелкіе шажки. Дуня уже изучила и этотъ звонокъ, и эти шажки и, приникнувъ ухомъ къ дверной скважинѣ, начинала слушать, что будетъ дѣлать ненавистная „студентка". Ничего... все то же. Сначала—легкій шорохъ, осторожное покашливанье, потомъ—глубокая тишина.

„Ну ужъ жизнь,—иронически думаетъ Дуня, закуривая новую папиросу.—Ни гостей никогда, ни въ театръ, все книжки, да книжки. Каторга, а не жизнь. Неужто онѣ всѣ такъ живутъ? Прикидываются, небось. Тоже, небось, гдѣ-нибудь тамъ со студентами хвосты-то треплютъ. Ахъ, тихони проклятыя!" И ей вдругъ приходитъ въ голову дикая мысль: взять и закричать во все горло, застучать сосѣдкѣ въ стѣну или пустить ей вдогонку, когда она будетъ проходить мимо, какое-нибудь самое циническое ругательство... „Интересно, что бы она тогда сдѣлала?—смѣется про себя Дуня.—А впрочемъ, нѣтъ, не стоитъ... Еще отъ квартиры откажутъ изъ-за нея. И вообще, ну ее къ чорту... стоитъ о ней еще думать? Штука какая!.. Вонъ ужъ седьмой часъ,—пора на Невскій идти".

Дуня торопливо вскакиваетъ, поправляетъ передъ зеркаломъ прическу, подрумянивается, подкрашивается и уходитъ... А на другой день опять бѣжитъ къ кухаркѣ.

— Ну, какъ твоя тихоня поживаетъ? Все читаетъ?

— Ахъ, Господи, да что же ей еще дѣлать-то?

— Хоть бы хахаля какого-нибудь завела отъ скуки!

— Ну ужъ это не мое дѣло.

— А ты думаешь, у нея нѣтъ? Непремѣнно есть хахаль, вотъ увидишь. Въ тихомъ омутѣ, матушка, черти водятся!

— Ну что же, можетъ, и есть. Человѣкъ молодой.

— А ты ничего не замѣчала?

— Есть мнѣ когда замѣчать! А похоже, что никого нѣту.

— Что жъ, она святая, что ли?—насмѣшливо восклицала Дуня и, помолчавъ, прибавляла съ пренебреженіемъ:—А и то правда, кто на эдакую польстится? Худищая, да конопатая, подолишко обтрепанный,—настоящая синяя ворона!

— Да вѣдь не всѣмъ же красавицами быть, какъ ты,—замѣчала кухарка.

— Ну ужъ, ты скажешь тоже... Развѣ ужъ я красавица?

Кухарка критически оглядывала Дуню съ ногъ до головы, точно никогда раньше ее не видала, и говорила съ убѣжденіемъ:

— Извѣстно, ты у насъ отмѣнная! Чего другого, а ужъ насчетъ красоты—надо чести приписать—чистая ягода-малина!

Дуня смѣялась и самодовольно охорашивалась.

— Красавица тоже... помеломъ писанная!—возражала она, хотя въ душѣ была совершенно согласна съ мнѣніемъ кухарки.—Ну, а насчетъ нашей синей вороны, помяни мое слово, у ней хахаль есть! Потому, всякая шушвора найдетъ свою нору...

Однако, сколько она ни подслушивала, какъ ни наблюдала за своей сосѣдкой, хахаль не появлялся, и „синяя ворона" продолжала тихонько и одиноко копошиться у себя за стѣнкой. Дуня злилась и ждала.

И вотъ разъ, когда она, по обыкновенію, лежала на диванѣ, въ темнотѣ, чтобы глаза были свѣтлѣе, въ передней позвонили, и незнакомый мужской голосъ спросилъ, здѣсь ли живетъ Рокотова. Дуня такъ и подпрыгнула. Она бросила недокуренную папироску куда попало, не успѣла надѣть свои шлепанцы и въ однихъ чулкахъ ринулась къ дверямъ. Она поспѣла во время и, пріотворивъ дверь, увидѣла молодого человѣка въ пледѣ, въ широкополой шляпѣ, съ длинными волосами и въ очкахъ. Онъ стоялъ передъ сосѣдкиной комнатой и спрашивалъ, можно ли войти. Знакомые шажки послышались за стѣной, щелкнулъ ключъ, и посѣтитель исчезъ въ комнатѣ, а черезъ минуту кухарка пронесла туда самоваръ.

— А что, я тебѣ говорила!—задыхаясь, прошептала ей Дуня, когда она возвращалась обратно въ кухню.—Хахаль...

Она радостно и злобно разсмѣялась и, вернувшись къ себѣ, заняла свой обычный наблюдательный постъ на диванѣ. На часахъ въ коридорѣ давно уже пробило 7 часовъ, но Дуня и не думала идти на Невскій. Въ самой неудобной позѣ, скорчившись въ три погибели, она сидѣла передъ дверною щелью и жадно прислушивалась къ разговору за стѣной. Гость сидѣлъ около двери, и ей очень хорошо былъ слышенъ его голосъ и каждое слово, которое онъ произносилъ. Но Дуню сначала вовсе не интересовало то, что они говорили; она плохо вслушивалась, многое пропускала и съ злораднымъ чувствомъ ждала, когда „они" начнутъ цѣловаться. Время шло, часы пробили 8, у Дуни совсѣмъ затекли ноги, а поцѣлуевъ все не было слышно, и молодые люди все говорили, говорили... Они, кажется, спорили: студентъ что-то доказывалъ; сосѣдка горячо ему возражала. И мало-помалу Дуня начала вслушиваться въ ихъ споръ, совершенно забывъ о поцѣлуяхъ. Но странно,—говорили они по-русски, и слова, кажется, были все знакомыя, а между тѣмъ Дуня плохо понимала, о чемъ они говорятъ, и чѣмъ менѣе она понимала, тѣмъ сильнѣе разгоралось въ ней желаніе непремѣнно вникнуть и понять. Какое-то „человѣчество"... народъ... капиталъ... что за капиталъ такой? Сами обтрепанные ходятъ, у „синей вороны" и башмачишки-то худые-расхудые, а туда

же—капиталы считаютъ. Дуня даже засмѣялась въ темнотѣ, и еще напряженнѣе стала слушать. Говорила больше студентка, да такъ твердо, громко,—откуда голосъ взялся, а вѣдь, поглядѣть, тише воды, ниже травы, даже на кухарку никогда не крикнетъ, а все „пожалуйста", да „будьте такъ добры"... Потомъ вдругъ про какой-то „женскій вопросъ" заговорили,—какъ женщинѣ трудно живется и какъ ей никуда ходу не даютъ, а все оттого, что несправедливость и экс-плу-а-тація... Вотъ такъ словечко выковырнули, и что оно такое значитъ—Богъ его знаетъ. „Женщины, говоритъ „синяя ворона", несчастнѣе мужчинъ; мужчину, говоритъ, нужда притѣсняетъ, а женщина страдаетъ и отъ нужды и оттого, что она женщина"... А что же, вѣдь и вѣрно!—думаетъ Дуня, чувствуя, какъ у нея въ душѣ закипаетъ что-то горькое и ядовитое.— Да развѣ мужчина, будь онъ хоть самый послѣдній нищій, можетъ такое безобразіе переносить, какъ женщина, когда она съ своей дороги сбилась? Гдѣ имъ... Они, подлые, только смѣяться умѣютъ, да норовятъ какъ бы тебя изобидѣть всячески, да въ самое больное мѣсто сольцы посыпать. Какая-нибудь дрянь, плюгавка, глядѣть противно, а тоже гримасничаетъ, куражится, будто ужъ если онъ рубль заплатилъ, такъ всего человѣка купилъ. А то еще и не заплатитъ... и такіе подлецы бываютъ. Насмѣется, обидитъ и уйдетъ... Одинъ такой даже сказалъ Дунѣ однажды, что паукъ и публичная женщина—это все равно и что если убить паука и бабу—77 грѣховъ простится... Дуня тогда за это ему бутылкой въ физіономію запустила и сама же потомъ въ участкѣ отсидѣла, а ему ничего... Эхъ, тоже вѣдь и жизнь,—нигдѣ живого мѣста нѣтъ, все болячки, только повороши!.." И Дуня, сидя на корточкахъ на диванѣ и глядя въ темноту полными слезъ глазами, день за днемъ, часъ за часомъ вспоминала все свое прошлое: какъ она мерзла на Невскомъ, словно собаченка, дожидаясь, когда ее позовутъ, какъ ее били и таскали по трактирамъ, какъ приходилось ей унижаться передъ всякимъ полицейскимъ, чтобы не попасть въ участокъ, за рѣшетку, вмѣстѣ съ разными бродягами и пьяницами, подобранными на улицѣ. И все-таки приходилось и за рѣшеткой сидѣть,— всего было, всякой грязи, всякой мерзости, и такъ много этой мерзости накопилось, что Дуня даже и забыла, когда она чистая была. А вѣдь была... и въ глаза всѣмъ прямо смотрѣла, а не пряталась отъ людей, какъ сова, и въ церковь ходила, и батюшка, бывало, по головкѣ гладилъ, а теперь и молитвы-то всѣ забыла, и въ церковь стыдно ходить... Ей вдругъ такъ стало жаль этой прежней Дуни,—не въ пашльоткахъ, не въ шелковой юбкѣ и страусовыхъ перьяхъ, а простой, обтрепанной, вѣчно голодной дѣвчонки Дуни,—что она упала ничкомъ въ подушку и заплакала...

Кто-то постучалъ къ ней въ дверь.

— Дуня, а Дуня!—послышался голосъ кухарки.—Ты что же это, заспалась, что ли? 9 часовъ на дворѣ, пойдешь гулять-то, что ли?

Дуня притаилась и молчала.

— Должно быть, заснула,—продолжала кухарка.—Вставай, ягода,—пора! Сама послѣ ругаться будешь, что не разбудила.

И она пріотворила дверь. Дуня стремительно вскочила.

— Пошла ты... къ чорту!—неистово закричала она и, захлопнувъ дверь передъ носомъ изумленной кухарки, два раза повернула ключъ.

— Сбѣсилась!—проговорила кухарка, качая головой.—Зубы, что ли, разболѣлись. Чудила-мученица тоже: давеча грохотала, какъ полоумная, а теперь на козѣ не подъѣдешь. Удивленье!

Утромъ Дуню разбудили солнце и звонъ колоколовъ въ Знаменской церкви. Этотъ звонъ напомнилъ ей вчерашнее, и она недовольно поморщилась. „Чего это я разнюнилась?—подумала она.—Вотъ еще тоже,—дурь нашла". Она засмѣялась, стараясь отогнать отъ себя непріятныя мысли, и закурила съ жадностью, потому что вчера цѣлый вечеръ не курила. „Ахъ, батюшки мои, да вѣдь я сегодня именинница!—вспомнила она вдругъ, и ей стало весело.—Надо бы пирогъ заказать у Филиппова, да закусокъ разныхъ купить, да въ Гостиный сходить за новой шляпкой... Ну, да я еще успѣю".

Она умылась, озабоченно посмотрѣлась въ зеркало, не распухли ли глаза, и, убѣдившись, что все въ порядкѣ, еще больше развеселилась. День былъ солнечный, совсѣмъ весенній,—въ Петербургѣ, какъ и въ жизни бѣдняка, бываютъ такіе счастливые дни,—хотя и рѣдко, но бываютъ. Весенняя шляпка была положительно необходима... Дуня заварила себѣ кофе на спиртовкѣ, а сама легла на диванъ и стала обдумывать вопросъ о весеннемъ костюмѣ. И ей вспомнился опять вчерашній разговоръ за стѣной, но теперь ей было уже не грустно, а смѣшно. „Вотъ чудаки-то! — думала она.—Все разобрали, разсудили, тѣ—несчастные, эти—несчастные, всѣмъ помочь надо, всѣхъ жалко, а сами чуть не голые. Студентишка этотъ чахоточный какой-то,—все кашлялъ потомъ, а она передъ нимъ такъ и разсыпалась... Жалко, не дослушала, какъ они прощались... неужто такъ-таки и не поцѣловались ни разу? Чудные..."

Дуня вскочила и побѣжала въ кухню.

— Ну, что, прочухалась?—дружелюбно спросила кухарка.—Чего ты на меня вчера зыкнула?

— Не твое это дѣло. Ну, что, долго сидѣлъ вчера хахаль-то?

— Ничего не долго. И десяти часовъ не было, ушелъ.

— Ну, что же?—съ любопытствомъ продолжала Дуня.—Какъ же они? Ты видѣла, что они дѣлали?

— Да какъ же, я имъ самоваръ подавала, французскую булку купила. Подала самоваръ, они посидѣли, поговорили, все чинно-благородно. Потомъ онъ ушелъ, я за нимъ заперла, больше ничего.

— А ты бы въ щелку посмотрѣла, какъ они тамъ.

— Слава тебѣ, Господи, да мнѣ-то какое дѣло? Что я за шпіонка тебѣ?

— Дура!—воскликнула Дуня, смѣясь, и пошла къ себѣ одѣваться. Она нарядилась въ лучшее свое платье, подвила шпилькой волосы (вчера даже папильотки забыла сдѣлать!) и ушла. Было уже около пяти часовъ, когда она вернулась раскраснѣвшаяся, усталая, но веселая и съ цѣлымъ ворохомъ разныхъ свертковъ, коробокъ и картонокъ. Разложивъ всѣ свои покупки, Дуня достала новую шляпку и стала ее примѣривать. Шляпка была очаровательная... У „синей вороны", небось, сроду такой не было. Дунѣ захотѣлось похвастаться передъ нею своей обновкой, и она приложила ухо къ двери. Сосѣдка была дома, потому что Дуня разслышала легкій шелестъ перевертываемыхъ страницъ книги.

— Агаѳья! А Агаѳья!—позвала Дуня кухарку.— Поди-ка посмотри, какую я себѣ шляпку купила!

Кухарка вошла.

— Ну, что, хороша? 25 рублей заплачено! — нарочно громко, чтобы сосѣдка слышала, сказала Дуня.

— О, Господи!—ахнула кухарка.—25 рублей! Да это доброму мужику цѣлую лошадь купить можно. Эдакая пропасть денегъ! Да на кой тебѣ такую дорогую?

— Ну вотъ еще, на кой! Жить-то, небось, одинъ разъ.

— Ну и купила бы цѣлковыхъ за два. Тоже деньги хорошія.

— Мнѣ нельзя, подруги засмѣютъ. А тутъ, матушка, однихъ перьевъ на 15 рублей... за версту видно.

— Да вѣдь все равно, поносишь и бросишь!

— Брошу и еще куплю!—сказала Дуня самодовольно.

— Охъ, видно, что у тебя деньги-то легкія!—вздохнула кухарка и пошла изъ комнаты.—25 рублей... вѣдь это что такое!.. Другой за эти деньги полгода служитъ, а она, гляди, въ одинъ часъ провела... О, Господи, Господи!..

А Дуня, надѣвъ новую шляпку и весело напѣвая, опять куда-то исчезла. Надежда Семеновна, которая въ это время одѣвалась въ передней, видѣла только, какъ мимо нея пронеслось что-то розовое, голубое, зеленое, и снова она подумала о таинственныхъ, ядовитыхъ цвѣтахъ-пожирателяхъ.

Когда она поздно вечеромъ вернулась съ курсовъ, балъ у сосѣдки былъ уже въ полномъ разгарѣ. Кухарка сбилась съ ногъ, безпрестанно таская къ ней въ комнату самовары и бутылки съ пивомъ, а за стѣной слышался безпорядочный говоръ мужскихъ и женскихъ голосовъ, звонъ посуды, взрывы визгливаго хохота и непрерывная щелкотня разгрызаемыхъ орѣховъ. Повидимому, было очень пьяно и очень весело.

— Что это у васъ такое?—спросила Надежда Семеновна кухарку, подававшую ей самоваръ. Отъ кухарки тоже сильно попахивало виномъ.

— Барышня наша именины справляетъ,—нѣсколько заплетающимся языкомъ отвѣчала она.—Нельзя же... день ангела... Только вы не извольте безпокоиться!—по привычкѣ прибавила она.—У насъ все чинно-благородно... а въ случаѣ чего, сейчасъ вѣдь и дворника можно... онъ сейчасъ выставку сдѣлаетъ...

Успокоивъ такимъ образомъ Надежду Семеновну, кухарка исчезла, потому что въ коридорѣ давно уже слышался повелительный голосъ Дуни: „Агаѳья, Агаѳья, ты что же это?..Тащи скорѣе еще пива!“...

Рокотова налила себѣ стаканъ чаю и развернула „Діагностику“ Гутмана, которую ссудила ей подруга на вечерокъ. „Систолическая пульсація въ надчревной области“, читала она. А за стѣной въ это время раздался оглушительный хохотъ, и фальшивый женскій голосъ ухарски запѣлъ:

Вѣстникъ горести и бѣдъ,
Я объѣхалъ цѣлый свѣтъ!..
Гопъ-ля-ля, гопъ-ля-ля...

И вслѣдъ затѣмъ послышались звуки, похожіе на щелканіе бича, вперемежку со свистомъ и притопываніемъ ногъ.

Надежда Семеновна заткнула уши и продолжала читать. „Систолическая пульсація можетъ явиться вслѣдствіе пульсацій абдоминальной аорты...“

— „Паулина, Паулина, ошалѣла, ошалѣла!“—заревѣлъ за стѣной хриплый мужской басъ, а другой мужской голосъ вторилъ ему.

— „Что же это, чортъ васъ возьми, пива не даютъ... Дунька, п-пива!..“

Заниматься не было никакой возможности. Рокотова съ сожалѣніемъ закрыла книгу, потушила огонь и легла въ постель, закрывшись съ головой одѣяломъ. Нѣкоторое время безпорядочный шумъ и пьяное пѣніе безпокоили ее, но мало-по-малу все это начало куда-то уходить, сознаніе потемнѣло, и Надежда Семеновна крѣпко уснула.

...Разбудилъ ее страшный трескъ, грохотъ и какой-то дикій ревъ. Въ первую минуту Рокотовой показалось, что она вмѣстѣ со своею кроватью проваливается въ пропасть, и, дрожа отъ страха, вся въ холодномъ поту, дѣвушка вскочила на ноги. Но, придя въ себя, она увидѣла, что въ комнатѣ ея все благополучно, и кровать стоитъ на своемъ мѣстѣ, а катастрофа происходила у сосѣдки. Тамъ слышалась какая-то возня, со звономъ падали и разбивались стаканы, гремѣли стулья, ревѣли и визжали женскіе и мужскіе голоса,—кого-то тащили и выталкивали, кто-то кричалъ: „караулъ... регистратора убили!“ И надъ всѣмъ этимъ висѣла самая безстыдная и отвратительная ругань.

Дрожащими руками Надежда Семеновна зажгла лампу, наскоро одѣлась и выскочила въ коридоръ, чтобы бѣжать куда-нибудь поскорѣе изъ этой кабацкой атмосферы. Но то, что происходило въ коридорѣ, заставило ее остановиться. Два дюжихъ дворника въ лиловыхъ вязаныхъ фуфайкахъ влекли къ дверямъ какого-то растерзаннаго господина, который изъ всѣхъ силъ упирался, размахивалъ руками и изрыгалъ цѣлые потоки ругани. Изъ передней выглядывали испуганная физіономія хозяйки въ ночномъ чепцѣ и еще чьи-то растерянныя женскія лица, а Дуня въ измятой прическѣ, въ залитомъ пивомъ платьѣ, величественно, хотя и не совсѣмъ твердо, стояла у дверей своей комнаты и кричала вслѣдъ влекомому господину:

— Бродяга босоногая!.. Чинушка несчастный!.. Шпакъ! У самого копейки съ дырочкой въ карманѣ нѣтъ, а туда же... форситъ! Ты спасибо скажи, что тебя накормили-напоили, а не то что ругаться да безобразничать въ благородномъ домѣ. Тащи его, ребята, на водку дамъ!.. Въ шею!

— Нѣтъ, ты постой!—вопіялъ господинъ, дѣлая неимовѣрныя усилія вырваться изъ желѣзныхъ лапъ лиловыхъ дворниковъ.—Ты не имѣешь права въ шею... Я—регистраторъ!.. меня безъ экзекутора ни-ни!.. Господа, у меня часы вытащили!.. Я ее шампанскимъ поилъ... Караулъ!.. Регистратора убили!

— Иди, иди!—говорили дворники, толкая его въ шею.—Вотъ тамъ въ участкѣ тебѣ дадутъ шенпанскаго.

— А цилиндръ? Гдѣ мой цилиндръ?—взревѣлъ регистраторъ.—У меня цилиндръ былъ, пять цѣлковыхъ заплаченъ... Караулъ, цилиндръ украли!..

— Вотъ твой цилиндръ скверный, на тебѣ его!—крикнула Дуня и швырнула, дѣйствительно, довольно скверный цилиндръ въ спину регистратору.

Этой обиды онъ уже стерпѣть не могъ. Онъ сдѣлалъ страшное усиліе, вырвался изъ державшихъ его рукъ и, подбѣжавъ къ Дунѣ, со всего размаха ударилъ ее въ лицо. Дуня вскрикнула и сѣла на полъ, закрывая лицо руками, по которымъ ручьями бѣжала кровь.

— „Мнѣ отмщеніе, и азъ воздамъ!“—торжественно воскликнулъ регистраторъ, но его подхватили, нахлобучили ему на голову цилиндръ и увели, а всѣ оставшіеся съ испугомъ окружили рыдавшую Дуню.

— Пойдемте ко мнѣ,—сказала Надежда Семеновна, пытаясь поднять дѣвушку.—У меня примочка есть, и все... Ахъ, Боже мой, какъ все это ужасно!..

— Глазъ-то, глазъ-то цѣлъ ли!.. Не въ глазъ ли онъ ее!—почему-то страшно волновалась и безпокоилась хозяйка, которая наконецъ осмѣлилась выползти въ коридоръ. За нею появились и двѣ дѣвицы

изъ числа Дуниныхъ гостей, которыя все это время просидѣли за шкапомъ въ трепетѣ и страхѣ и успѣли даже протрезвиться. Остальные гости разбѣжались въ самомъ началѣ скандала, потому что каждый изъ нихъ имѣлъ серьезныя основанія избѣгать всякихъ соприкосновеній съ полиціей и спѣшилъ устраниться до ея появленія. Съ помощью этихъ двухъ молодыхъ дѣвицъ Надежда Семеновна подняла Дуню съ пола и повела ее къ себѣ въ комнату. Тамъ она усадила ее на кровать, потомъ налила изъ остывшаго самовара воды въ полоскательную чашку, намочила полотенце и подошла къ Дунѣ.

— Ну, что, очень вамъ больно?—съ участіемъ спросила она.—Давайте, я вамъ лицо обмою.

Дуня уткнула свое окровавленное лицо въ колѣни и еще громче зарыдала.

— Не плачьте, голубушка... что же дѣлать? Гдѣ вамъ больно? Здѣсь? Поднимите голову, я посмотрю. Вотъ такъ...

Дуня подняла голову и тупо посмотрѣла на Рокотову. Полупьяная, вся въ крови, съ разсѣченною губой, съ развившимися волосами, безобразно торчавшими во всѣ стороны, она была жалка и ужасна... Надежда Семеновна осторожно обмыла ея лицо, залѣпила ранку пластыремъ и, наливъ въ стаканъ какихъ-то капель, дала ей выпить.

— Ну вотъ, теперь вамъ лучше будетъ,—говорила она, суетясь около Дуни, поправляя ей волосы и подкладывая подушку.—Теперь прилягте и успокойтесь.

Но Дуня не ложилась и, поймавъ на лету руку Надежды Семеновны, со страстными рыданіями припала къ ней губами.

— Что вы... зачѣмъ это... за что?—смущенно пробормотала студентка.

— А за то, что я подлая...—рыдала Дуня.—Вѣдь я васъ ругала... „синей вороной“ называла... а вы... вы... меня... такую...

— Ну, что вы это... какую—„такую“?

— Гадину!... Дѣвку гулящую!.. Вотъ какую!..—выкрикнула Дуня.

На мгновеніе въ комнатѣ наступило молчаніе, нарушаемое только всхлипываньями Дуни и шипѣньемъ огня въ лампѣ.

— А развѣ вы...—начала наконецъ Рокотова и не договорила.

— Ну-да... Нешто вы не знали... Гулящая, извѣстно... изъ энтихъ, которыя на Невскомъ кавалеровъ зазываютъ... Ха-ха-ха!.. А вы за эдакой ухаживаете... ручки свои мараете... на кровать свою кладете... Ха-ха! Что, не очень пріятно, небось? Такъ пустите меня, уйду я, нечего мнѣ здѣсь у васъ дѣлать...

И Дуня рванулась къ двери, смѣясь и плача въ одно и то же время. Но Надежда Семеновна удержала ее, посадила снова на кровать и сама сѣла рядомъ съ нею.

— Успокойтесь, успокойтесь же пожалуйста,—ласково сказала она,

гладя Дуню по головѣ.—Ну, что же дѣлать?.. ну, мало ли съ кѣмъ несчастье можетъ случиться?.. Ахъ, бѣдная вы моя... несчастная...—приговаривала она шопотомъ, точно убаюкивала больного ребенка.

Дуня во всѣ глаза смотрѣла на Рокотову, и пьяный угаръ выходилъ изъ ея головы. Со своимъ просвѣтлѣвшимъ лицомъ, на которомъ не оставалось и слѣда притираній, съ приглаженными волосами и заплаканными глазами она теперь совершенно не похожа была на ту наглую, раскрашенную дѣвицу, которая „гуляла“ по Невскому, и въ душѣ ея просыпалось что-то давно забытое, чистое и хорошее, какъ дѣтскій сонъ...

— Господи Боже мой, да что же это такое?—шептала она какъ въ бреду.—Барышня вы моя милая, да какъ это вы со мной говорите?.. Вѣдь я сколько годовъ ни отъ кого эдакихъ словъ не слыхала... вѣдь нашу сестру, уличную дѣвку, никто и за человѣка-то не считаетъ. Сами видѣли, какая мразь меня обидѣла... и ничего, и жаловаться на него некому, потому—я публичная, стало быть, самая послѣдняя изъ послѣднихъ, стало быть, и измываться надо мной можно безъ всякой опаски. Бьютъ! Всѣ бьютъ... походя бьютъ, кто пинкомъ, кто кулакомъ, и заступы нигдѣ нѣту...

— Нигдѣ!..—машинально проговорила Рокотова.

— Нигдѣ, барышня милая, никто нашу сестру не пожалѣетъ, никто не заступится... пропащія мы всѣ... А вы думаете, сладкая наша жизнь? Вы думаете, что мы по панелямъ юбками-то крахмальными шуршимъ, такъ намъ и весело? Хорошо веселье!.. Иная можетъ, цѣлый день не ѣмши, дрожмя дрожитъ отъ холоду да отъ голоду, не гляди, что на ней шляпка въ 20 цѣлковыхъ, а тоже улыбается, да глазами подмигиваетъ, да всякія умильныя рожи строитъ, потому нельзя, никто тебѣ гроша не дастъ, коли ты невесело смотришь. Говорятъ, деньги наши легкія... Ахъ, черти подлые! Пускай бы сами попробовали, какія онѣ легкія... Получишь какой-нибудь цѣлковый, на него и глядѣть-то противно... ну, возьмешь его, да скорѣе и пропьешь...

— Но зачѣмъ же вы...—начала Надежда Семеновна.

— Зачѣмъ?—съ жаромъ перебила ее Дуня и продолжала все тѣмъ же страстнымъ шопотомъ:—А что же дѣлать-то, барышня вы моя милая? Куда я пойду такая, кто меня возьметъ? Да идти некуда... Эхъ, всего я испробовала прежде, чѣмъ на Невскій-то пошла... Привезли меня изъ деревни по десятому году, отдали къ мадамѣ въ ученье. А какое это было ученье... не ученье, а мученье! Я на печкѣ не была, а печка на мнѣ была. Кормили объѣдками, да опивками, подъ лѣстницу спать клали... Зимой всѣ ноги себѣ обморозила, въ больницѣ рѣзать хотѣли, да на горе свое отлежалась... а то одинъ разъ мадама горячимъ утюгомъ по головѣ съѣздила, до кости прожгла... до сей поры знакъ остался, вотъ поглядите.

Дуня схватила руку Рокотовой и провела ею по своему темени.

На темени дѣйствительно оказалась глубокая борозда. Дуня блестящими глазами посмотрѣла на студентку.

— Ну...—прошептала она задыхаясь.—Что же мнѣ дѣлать было, по-вашему?.. Взяла и сбѣжала... прямо на улицу... а ужъ на улицѣ дорога извѣстная—въ портерную да въ номера... Жрать-то тоже, небось, хочется... Эхъ, да что тутъ и толковать! Такое дѣло наше бабье,—какъ половикъ у двери: кто ни пройдетъ, тотъ ноги оботретъ...

Она умолкла и вдругъ какъ-то вся ослабѣла и распустилась. Рокотова тихонько положила ея голову на подушку, прикрыла Дуню пледомъ и загасила лампу. Блѣдный разсвѣтъ заглянулъ въ окно; въ убогой комнатѣ было холодно и непривѣтно. Дуня крѣпко спала, а Рокотова сидѣла около нея и, глядя въ ея избитое, измученное лицо, думала о томъ, что если бы между людьми не существовало никакихъ стѣнъ и перегородокъ, то, можетъ быть, на свѣтѣ не было бы ни равнодушныхъ, ни несчастныхъ.

Проснувшись на слѣдующій день въ чужой комнатѣ, Дуня не сразу пришла въ себя и съ удивленіемъ глядѣла на незнакомую обстановку, окружавшую ее. Въ первую минуту ей показалось даже, что она въ участкѣ ночевала, и съ испугомъ вскочила съ кровати, но, увидавъ книги на столѣ, она сейчасъ же все вспомнила, и ей стало сначала стыдно, потомъ смѣшно. По привычкѣ она хотѣла было подойти къ зеркалу, но зеркала въ комнатѣ не оказалось. Тогда она съ любопытствомъ осмотрѣлась вокругъ. Вѣроятно, Рокотова давно уже ушла, потому что ни пальто ея, ни пледа не было. На стѣнѣ висѣло только одно платье, должно быть, парадное, и нѣсколько ситцевыхъ кофточекъ. Дуня обѣжала всю комнату, потрогала книги, посмотрѣла на портреты какихъ-то серьезныхъ мужчинъ, приколотые булавками къ обоямъ, и вернулась къ платью. Пощупала матерію,—дешевенькая, небось, копеекъ по 30 аршинъ... и вдругъ въ порывѣ какой-то бѣшеной нѣжности, со слезами, съ біеніемъ сердца Дуня схватила подолъ этого поношенаго платьица и прижала его къ губамъ.

Въ дверь заглянула кухарка, нѣсколько опухшее лицо которой носило несомнѣнные слѣды вчерашняго пиршества.

— Что, поднялась, безстыдница?—сказала она насмѣшливо.—Съ прошедшимъ ангеломъ васъ... Опять вчера кавардакъ устроила?

— Какой тамъ еще кавардакъ?—нѣсколько смущенно вымолвила Дуня.

— Какой, какой... нечего фасоны-то строить! Хозяйка страсть серчаетъ. Говоритъ, ежели еще эдакій скандалъ будетъ,—сгоню.

— Ну и чортъ съ ней...

— То-то, чортъ... Ну, иди, что ли кофій-то пить. Эхъ, матушки мои, вывѣску-то, вывѣску-то тебѣ какъ испортили!

— А что, развѣ очень замѣтно?—съ испугомъ спросила Дуня.

Кухарка съ укоризной покачала головой, а Дуня поспѣшила къ себѣ въ комнату. Тамъ уже не оставалось никакихъ слѣдовъ бывшаго погрома, и только противный запахъ пива, табаку и духовъ стоялъ въ воздухѣ. Дуня подошла къ зеркалу. „Вывѣска“ дѣйствительно была сильно повреждена: подъ глазомъ огромный синякъ, губа распухла, щеку вздуло. Дуня энергично выругалась и начала тщательно припудривать и подкрашивать изъяны.

Звонокъ въ передней заставилъ ее вздрогнуть и насторожиться. Кое-какъ Дуня сунула пуховку въ пудреницу, наскоро пригладила волосы и прислушалась. Она... Пойти къ ней или не пойти? А что если выгонитъ? Вѣдь „то“ было вчера, а сегодня уже совсѣмъ другое... Сколько разъ уже случалось, что сегодня Дуню пожалѣютъ и приласкаютъ, а завтра выкинутъ цѣлковый и велятъ убираться на всѣ четыре стороны. Положимъ, это были мужчины, но вѣдь и женщины тоже на ихнюю сестру какъ на паршивую собаку смотрятъ.

„А, все равно, пойду!“ — рѣшила Дуня и, выйдя въ коридоръ, робко постучалась къ сосѣдкѣ.

— Войдите! — послышалось.

Дуня вошла и остановилась на порогѣ, задыхаясь отъ волненія и не смѣя поднять глазъ.

— Вы ужъ извините меня...— начала она нерѣшительно.—Я вчера васъ... обезпокоила...

— Чѣмъ обезпокоили? Нисколько,—возразила Рокотова.—Садитесь пожалуйста.

— Ничего, я и постою... Какъ же не обезпокоила!.. Вы, небось, всю ночь не спали...

— Какъ не спала? Отлично на стульяхъ выспалась. Ну, что, какъ вамъ теперь? Не больно?

— Наплевать... въ первый разъ что ль... Спасибо вамъ, барышня... Чѣмъ только мнѣ отблагодарить васъ?

— Что вы, да за что?—воскликнула Надежда Семеновна съ удивленіемъ.

Дуня подняла на нее свои полные слезъ глаза, и эта невзрачная, маленькая студентка показалась ей въ эту минуту какимъ-то необыкновенно прекраснымъ существомъ.

— Какъ за что?—съ жаромъ вымолвила Дуня и ударила себя въ грудь кулакомъ.—Господи Боже мой, да какъ же... да я теперь... я за васъ всякому горло перегрызу... вотъ что! Скажите только: Дунька, сдѣлай то и это, сейчасъ хоть въ воду брошусь... Вотъ вамъ крестъ!

— А если я васъ попрошу... не ходить больше на Невскій?—тихо сказала Надежда Семеновна.

Дуня оторопѣла, и весь жаръ ея остылъ. Она уныло поглядѣла на Рокотову и безнадежно махнула рукой.

— Нѣтъ ужъ, барышня... съ Невскаго не воротишься... Знаю я, жалѣете вы меня, а только нѣтъ... это дѣло не выйдетъ. Что потеряно, того не найдешь... Прощайте!

Она пошла къ двери, но у порога остановилась и прибавила:

— Только вы, барышня, въ случаѣ если меня гдѣ повстрѣчаете, и виду не подавайте, что меня знаете. И для васъ лучше, и для меня спокойнѣе.

И прежде, чѣмъ Надежда Семеновна успѣла что-либо возразить на это, Дуня исчезла, оставивъ свою сосѣдку въ тяжеломъ раздумьи.

Въ коридорѣ Дуня столкнулась съ кухаркой, которая посмотрѣла на нее съ насмѣшливымъ изумленіемъ.

— Никакъ съ „синей вороной“ подружилась?—прошептала она.

— Цыцъ!—прошипѣла Дуня свирѣпо и такими страшными глазами взглянула на кухарку, что та въ испугѣ отшатнулась.—Не смѣй ее такъ называть... никогда, слышишь? Вотъ тебѣ!..

И, показавъ ей кулакъ, Дуня скрылась въ свою комнату и заперлась.

— Тьфу!—плюнула кухарка ей вслѣдъ.—И что за дѣвка шутоломная такая... Сама же выдумала, а теперь кулакомъ грозится... Ну, дѣвка!

Тѣмъ же вечеромъ, возвращаясь съ урока, Надежда Семеновна на углу Невской и Литейной столкнулась съ цѣлымъ роемъ разряженныхъ барышень, толпившихся у ярко освѣщенныхъ оконъ магазина. Среди нихъ особенно выдѣлялась одна своимъ высокимъ ростомъ и вычурною шляпкой, и Рокотова сейчасъ же узнала въ ней Дуню. Она была густо набѣлена и нарумянена; пунцовый ротъ, какъ рубинъ, алѣлъ на бѣломъ лицѣ, подведенные глаза нагло и вызывающе сверкали изъ-подъ шляпки.

— Душка-военный, дай рубликъ на память!—крикнула она какому-то прохожему и громко захохотала.

Но въ эту минуту глаза ея встрѣтились съ другими, печальными и добрыми глазами, и наглый хохотъ замеръ въ ея горлѣ. Обѣ дѣвушки быстро обмѣнялись безмолвными взглядами и разошлись,—каждая по своей дорогѣ. Между ними опять стояла высокая и глухая стѣна...

В. Л. Дмитріева.

ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА КАРЗИНКИНА.

Е. А. родилась въ Москвѣ и свое первоначальное художественное образованіе получила въ московской школѣ живописи и ваянія. Окончивъ въ ней курсъ въ 93 году съ двумя медалями, она ѣздила вмѣстѣ съ Е. Д. Полѣновой заграницу, гдѣ продолжала заниматься живописью сначала въ Италіи, а потомъ въ Парижѣ подъ руководствомъ m-me Vitti, Merson и Aman-Jean. Картина Елены Андреевны «Первое горе» была на ученической выставкѣ; слѣдующія же («Фрукты», «Кружевницы», «Вѣсти изъ Ниццы») появлялись большею частью на періодическихъ выставкахъ. Въ школѣ живописи и ваянія художница занималась подъ руководствомъ В. Е. Маковскаго и В. Д. Полѣнова.

Урокъ анатоміи.

Съ картины Е. Д. Поленовой.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX
TILDEN FOUNDATIONS

ЛЕГЕНДА.

(РАЗСКАЗЪ.)

Немногіе изъ дачниковъ знали о существованіи лѣсного озера, а если и знали, то рѣдко избирали его цѣлью своихъ прогулокъ. Надо было идти полемъ, завернуть на заросшую, всегда сырую тропу густой березовой заросли и затѣмъ углубиться въ самую глушь сосноваго лѣса, мрачнаго, болотистаго и безжизненнаго. Дорога была неровная, извилистая, покрытая колеями, и самый фактъ ея существованія казался загадкой, такъ какъ на ней никогда нельзя было встрѣтить ни одной души. Лѣтними жаркими днями здѣсь пахло смолой и какъ-то особенно жгло и припекало солнце, вечеромъ поднимался густой, голубоватый туманъ и неподвижно стоялъ въ воздухѣ между высокихъ, голыхъ стволовъ, точно обгорѣлыхъ снизу и съ красноватымъ оттѣнкомъ выше, до первыхъ, всегда сухихъ, обнаженныхъ вѣтвей. Дорога вела все дальше и дальше и, казалось, все тѣснѣе сдавливалась окружающимъ лѣсомъ, становившимся еще болѣе дикимъ и безпросвѣтнымъ. И вдругъ, неожиданно, картина мѣнялась: деревья рѣдѣли, подъ ногами желтѣлъ сухой глубокій песокъ, и пораженному взору представлялась широкая площадь, вся покрытая нѣжной зеленой травой, а за этою площадью– поверхность озера, свѣтлая, спокойная и неподвижная.

Но какое странное и загадочное было это озеро! Ни одинъ

всплескъ не нарушалъ его таинственнаго молчанія, ни одна вѣтвь не дотягивалась до него, чтобы поглядѣться въ его неподвижной глади, и даже небо, казалось, не хотѣло отражать свою лазурь въ его водахъ, такъ что поверхность озера всегда оставалась одинаковой: свѣтлой, чистой и безжизненной. Быть можетъ, эта неподвижность и мертвенность были только кажущимися, потому что никто никогда не могъ наблюдать озера вблизи: зеленая травка прикрывала болото, при первыхъ же шагахъ по этому заманчивому мягкому ковру ноги людей и животныхъ погружались въ воду, почва уходила, измѣняла и тогда становилось яснымъ, что озеро недоступно, что попытка узнать его ближе, воспользоваться хоть одной каплей его чистой, свѣтлой воды поведетъ къ несчастію или къ гибели.

— Неужели нѣтъ доступа нигдѣ? никакъ?—съ любопытствомъ и молодымъ задоромъ спрашивала высокая, красивая дѣвушка, и она то оглядывалась кругомъ, то смотрѣла на свои ноги, обутыя въ туфли съ тонкими подошвами, черезъ которыя она уже чувствовала сырость и подозрительную зыбкость почвы.

— Не дѣлай глупостей, Мара! не ходи дальше! — крикнула ей старшая сестра.

Подъ сосной былъ разостланъ пледъ, и гуляющіе дачники расположились отдыхать.

— Мара!—продолжала кричать Софья Васильевна.— Это невозможно! Куда ты идешь?

Она растянулась на пледѣ въ спокойной, непринужденной позѣ, курила папироску и тревожно слѣдила за сестрой. Рядомъ съ ней, неподвижно глядя въ небо, лежалъ на спинѣ мужчина, длинный, худой, съ блѣднымъ, нервнымъ лицомъ. Онъ закинулъ руки за голову, глаза его были наполовину сомкнуты, а плотно сжатыя губы выражали упрямство и раздраженіе.

— Да оставьте вы ее! чего вы волнуетесь! — неожиданно сказалъ онъ.

Софья Васильевна съ удивленіемъ поглядѣла на него.

— Послушайте! Вы поссорились?—конфиденціально спросила она.

— Нѣтъ!—сухо отвѣтилъ онъ.

Такъ что же съ вами?— продолжала допытывать Софья Васильевна и даже придвинулась къ нему, заглядывая сверху въ его лицо.

— Ничего новаго, Софья Васильевна. Все то же.

Она вздохнула, поспѣшно затянулась нѣсколько разъ подъ рядъ и отбросила папиросу.

— Скажите мнѣ, вы объяснились съ ней?—спросила она.—Я не допытываю васъ, Игнатій Александровичъ, но вы мнѣ другъ, а она мнѣ сестра, и вы понимаете...

— Къ чему тутъ объясненія!—сказалъ онъ и пожалъ плечами.— Я знаю ея взгляды. Я показался бы ей только жалкимъ и смѣшнымъ.

— Взгляды...—задумчиво повторила Софья Васильевна.

— Да, я тоже знаю ихъ, но вообразите, что я лично не теряю надежды. Я наблюдаю за нею и мнѣ кажется, что она ни съ кѣмъ не бываетъ такой ласковой и привѣтливой, какъ съ вами.

Игнатій Александровичъ раздраженно махнулъ рукой и отвернулся.

— Не могу я говорить и не буду!—глухо сказалъ онъ.

Оба долго молчали.

— Странные люди! — съ новымъ вздохомъ замѣтила Софья Васильевна.—Она мнѣ сестра, я люблю ее, но и она странная. Это, вы знаете, новое вѣяніе, новое направленіе.

— Въ чемъ же оно выражается,позвольте васъ спросить?

— Какъ въ чемъ? вотъ... въ этомъ.

— Да въ чемъ же?—чуть не крикнулъ онъ.—Въ нетерпимости? въ безсердечности?

— Ахъ, нѣтъ! вы не такъ понимаете...—съ мольбой и упрекомъ въ голосѣ заговорила Софья Васильевна.—Это не нетерпимость, а возрастающая требовательность къ окружающимъ и къ себѣ. И требовательность хорошая, чистая, проистекающая изъ чистой, честной души. Помните „Перчатку“ Бьернсона. Ну, вотъ... Не выдумалъ же онъ свою героиню, а взялъ ее изъ жизни, и такихъ все больше и больше. И въ нихъ говоритъ не жестокость, а, понимаете ли, какъ вамъ сказать?.. говоритъ жажда облагородить жизнь, внести въ нее больше идеальнаго, чистаго.

— Да, понимаю!—перебилъ ее молодой человѣкъ.—Ужъ какъ не понять! Да вотъ представляется мнѣ, что не тѣмъ путемъ онѣ идутъ. И эта самая Бьернсоновская героиня и послѣдовательница ея, сестрица ваша, Марья Васильевна. Вы, конечно, думаете сейчасъ, что я, менѣе чѣмъ кто-либо, способенъ быть безпристрастнымъ въ этомъ вопросѣ. Вы это думаете? да?

— Да!—съ мягкой, виноватой улыбкой подтвердила Софья Васильевна и, какъ бы извиняясь за откровенность своего отвѣта, ласково улыбнулась ему своимъ добрымъ, уже не молодымъ лицомъ.

— Да!—горячо повторилъ онъ и порывисто поднялся съ своего мѣста,—такъ я же скажу вамъ, что вы ошибаетесь! Этотъ вопросъ близко касается меня, онъ захватилъ и измучилъ мою душу, а вижу я въ немъ все ясно, ясно. Я старше вашей сестры на 10 лѣтъ, но, вообразите, я люблю въ первый разъ. Клянусь вамъ, это такъ. Я пораженъ тѣмъ, что испытываю теперь, потому что я даже не представлялъ себѣ ничего подобнаго раньше. Я сходился съ женщинами, я даже привязывался къ нимъ, но развѣ есть что-либо общее между моимъ отношеніемъ къ нимъ и теперь... къ ней?—кивнулъ онъ въ сторону молодой дѣвушки.—Все ново! все неизвѣданно, прекрасно и чисто! И легче бы мнѣ было поднять руку на самого себя, чѣмъ

обрызгать одной каплей грязи это дорогое для меня, священное чувство. Вѣдь только оттого, что оно такъ свято и чисто, только оттого оно и захватило меня такъ! только оттого оно стало моей второй жизнью, моей второй душой, а мнѣ говорятъ, что мое прошлое уже обрекло меня на смерть, что я уже погрязъ, погибъ безвозвратно. И вотъ мнѣ, Софья Васильевна, мнѣ болѣе чѣмъ кому-либо, судить о томъ, справедливо ли то, что меня обрекаютъ на смерть,— задыхаясь продолжалъ онъ,—я чувствую... здѣсь... свою душу, она... она не утратила способности любить, прощать, и она отказывается понять, что другія чище, выше ея, отрицаютъ прощеніе, отрицаютъ милосердіе, жалость.

Онъ замолчалъ и, сжимая голову руками, глядѣлъ впередъ сосредоточеннымъ, разсѣяннымъ взглядомъ.

— И если бы еще она сказала мнѣ, что не любитъ меня, что я противенъ ей,—заговорилъ онъ опять немного охрипшимъ отъ волненія голосомъ.—Я бы понялъ тогда, я бы сумѣлъ устраниться, покориться судьбѣ.

Горькая усмѣшка пробѣжала по его лицу.

— Самолюбіе у меня еще есть, Софья Васильевна, и оно не измѣнило бы мнѣ. Такъ нѣтъ же! Это гордость въ ней, гордость непобѣдимая. Она сама и изъ себя же создала себѣ кумира и поклоняется ему и приноситъ ему жертвы, и этотъ кумиръ, созданный изъ чистоты, непорочности... до чего онъ жестокъ! сколько въ немъ сухости, нетерпимости, осужденія!

— Она идетъ!—шепнула Софья Васильевна.—Будемъ говорить о другомъ. Ахъ, Игнатій Александровичъ, привыкли мы къ жизни, приглядѣлись къ ней и вотъ уже не чувствуемъ протеста, возмущенія, брезгливости.

Игнатій Александровичъ поднялъ голову, разсчиталъ, что дѣвушка еще не могла слышать словъ его, и съ тихой усмѣшкой повернулся къ Софьѣ Васильевнѣ.

— Полноте!—ласково сказалъ онъ.—Это вы-то не чувствуете ни протеста, ни возмущенія? Но дѣло въ томъ, что вы возмущаетесь противъ зла, а не противъ людей, вы сами ищете виноватому оправданій, потому что осудить человѣка—больно и страшно.

— Ты не промочила ногъ, Мара?—крикнула Софья Васильевна, стараясь скрыть густой румянецъ, который вдругъ покрылъ ея лицо.

Молодая дѣвушка подошла къ сестрѣ и легкимъ, изящнымъ движеніемъ опустилась на землю рядомъ съ ней.

— Ты знаешь?—сказала она.— Я слышала, что на берегу этого озера когда-то стояла усадьба и село. Должно быть, это было очень давно. Помѣщикъ почему-то вздумалъ переселиться подальше отъ озера, въ лѣсъ, и выселилъ за собой всѣхъ крестьянъ. Но священникъ не захотѣлъ переносить церкви и остался одинъ на берегу. Свя-

щенникъ давно умеръ, а церковь обветшала и обвалилась, но еще и теперь, по временамъ, можно слышать тихій колокольный звонъ, какъ будто умершій пастырь еще сзываетъ къ молитвѣ и покаянію свою невѣрную разсѣявшуюся паству.

Всѣ трое долго молчали, занятые каждый своей отдѣльной думой.

— Да,— наконецъ сказала Софья Васильевна и глубоко вздохнула,—люди, а въ особенности простой народъ, любятъ украшать мѣстности и зданія преданіями и легендами. Иногда онѣ красивы, большею частью печальны. Я не думаю, чтобы въ нихъ осталась хотя бы доля правды, но я люблю слушать ихъ, потому что онѣ дѣйствуютъ на нервы, на воображеніе и всегда отражаютъ маленькій, духовный уголокъ тѣхъ людей, которые ихъ сложили.

— Такъ если хотите, я разскажу вамъ другую легенду,—нервно улыбаясь и пощипывая свою жиденькую бородку, предложилъ Игнатій Александровичъ.—Марья Васильевна слышала одну, а я—другую.

— Да? есть еще?—удивилась Мара, и ея большіе серьезные глаза скользнули по лицу молодого человѣка и мечтательно устремились вдаль.

Софья Васильевна долго искала свой карманъ, наконецъ нашла его, вытащила портсигаръ и спички и стала закуривать.

— Что же вы?—напомнила она.—Хотѣли разсказывать, а молчите.

— Ахъ, да!—встрепенулся Игнатій Александровичъ.—Я припоминалъ... Я немножко забылъ...

— Такъ вотъ...— началъ онъ все съ той же улыбкой, которая придавала его лицу печальное, утомленное выраженіе.—То, о чемъ я разскажу вамъ, было тоже давно, очень давно, въ тѣ времена, когда къ жизни еще примѣшивались чудесныя явленія, когда все было возможно, какъ возможны звонъ не существующаго колокола и призывъ умершаго священника. И жила на этомъ берегу молодая дѣвушка, до того прекрасная и добродѣтельная, что природа одѣлила ее особымъ, отличительнымъ свойствомъ: казалось, она свѣтилась насквозь, и отъ лица ея распространялось легкое, едва уловимое сіяніе. Жила она здѣсь, въ лѣсу, одна, и только изрѣдка выходила къ людямъ. И вотъ, когда она только впервые увидала людей, ее удивило, что они, во всемъ остальномъ похожіе на нее, не свѣтятся и не сіяютъ, какъ она, и поэтому они показались ей непріятными, грубыми, и она рѣшила избѣгать ихъ общества. Но рѣшить было легко, а исполнить трудно. Ей стало скучно; одиночество тяготило ее, и она опять пошла къ людямъ и стала проводить съ ними большую часть своего времени. И странное дѣло! Прежде она часто и горячо мечтала о томъ, чтобы найти такихъ же чистыхъ и свѣтящихся людей; она тосковала по нимъ и думала, что только съ ними почувствовала бы себя легко и свободно; она не знала только, куда идти, чтобы встрѣтить ихъ. И вдругъ,

поживши среди грубыхъ, простыхъ людей, она перестала тосковать, перестала мечтать о встрѣчѣ съ подобными ей и вполнѣ довольствовалась обществомъ, которое прежде пугало и отталкивало ее. Вы, можетъ быть, подумаете, что она пожалѣла бѣдныхъ, грубыхъ людей, полюбила ихъ и простила имъ ихъ недостатки? Нѣтъ! люди попрежнему возмущали ее, но она замѣтила то особое впечатлѣніе, которое она производила среди нихъ, и это нравилось ей и радовало ее. Грубыя, жалкія существа не всегда замѣчали ея превосходства надъ ними, но тѣ, которыя видѣли ея сіяніе, окружали ее такой почтительной нѣжностью и любовью, что она чувствовала себя превознесенной, почти боготворимой ими, и тогда, не переставая презирать людей, она уже не могла обойтись безъ нихъ, потому что они позволяли ей любоваться собой въ сравненіи съ ними, а это любованіе стало большою и необходимою радостью ея жизни. Тотъ, кто больше всѣхъ удивлялся ей и превозносилъ ее, тотъ былъ ей ближе и дороже другихъ, но больше всего дорожила она своимъ сіяніемъ и такъ боялась утратить его, что, если бы человѣкъ погибалъ и просилъ протянуть ему руку, она отказалась бы изъ страха, что онъ случайно могъ бы запятнать край ея одежды.

„Пусть они только глядятъ на меня и удивляются мнѣ,—думала она,—мнѣ больше отъ нихъ ничего не нужно!“

И люди глядѣли и удивлялись; но, наконецъ, она встрѣтилась съ человѣкомъ, который полюбилъ ее.

Игнатій Александровичъ на минуту замолчалъ, порывисто вытеръ лобъ платкомъ и принялъ другое положеніе.

— При чемъ тутъ озеро?—сухо спросила Мара.

— Подождите!—нетерпѣливо отвѣтилъ онъ.

— ...Она встрѣтилась съ человѣкомъ, который полюбилъ ее. Онъ больше другихъ оцѣнилъ ее: значитъ, онъ былъ лучше другихъ, и она не отвернулась отъ него. Въ знакъ особаго расположенія и милости она стала называть его братомъ и требовала, чтобы онъ называлъ ее сестрой. Часто, очень часто сидѣли они на берегу этого озера, онъ глядѣлъ на нее восторженными, обожающими глазами, а она снисходительно улыбалась ему.

— Разскажи мнѣ, какъ ты любишь меня?—иногда спрашивала она.

— У меня нѣтъ словъ, чтобы передать это чувство,— печально отвѣчалъ онъ.—Я знаю только одно: съ тѣхъ поръ, какъ я увидѣлъ тебя, я тоскую о тебѣ. Я несчастливъ даже тогда, когда я съ тобой. Вся душа моя истомилась отъ боли, и жизнь стала мнѣ ненавистна, потому что я недостоинъ того счастія, котораго я хочу и ищу.

— Отчего же ты несчастливъ, если ты можешь видѣть меня, быть со мною?—спрашивала она.

— Я хочу, чтобы ты любила меня!—крикомъ отчаянія отвѣчалъ онъ.

Она гордо и холодно качала головой.

— Развѣ ты таковъ, какъ я?—говорила она.— Развѣ ты безукоризненъ? Гдѣ твое сіяніе? Отчего ты не кажешься такимъ же прозрачнымъ и чистымъ, какъ я?

— Сестра!—молилъ онъ.—Вся моя боль, вся моя любовь порукой въ томъ, какъ я преклоняюсь передъ лучезарностью твоего образа. Развѣ ты не видишь, какъ я горюю о томъ, что я потерялъ, о томъ, что я уже не могу быть равнымъ тебѣ. Пусть мой вѣнецъ мученичества замѣнитъ мнѣ сіяніе чистоты, которое я утратилъ!

— Неси же его!—съ жестокой улыбкой отвѣчала она.

Иногда, лежа у ея ногъ, онъ чувствовалъ необъяснимые порывы возмущенія и протеста.

— Скажи мнѣ, кто ты?—спрашивалъ онъ, не спуская съ нея лихорадочнаго, возбужденнаго взора.

— Я сестра твоя!—съ холодною ласковостью отвѣчала она.

— Кто же далъ тебѣ право судить меня?—недоумѣвалъ онъ.

— Я сама. Я имѣю право судить, потому что я ни въ чемъ не могу упрекнуть себя.

— Но кому и зачѣмъ нужна твоя безупречность, если она заставляетъ тебя быть жестокой и несправедливой?

Тогда ея прекрасные глаза темнѣли, а лицо принимало такое жесткое и надменное выраженіе, что сіяніе его скрывалось такъ же, какъ скрываются лучи, когда солнце подергивается облакомъ.

— Вы, люди, слишкомъ ничтожны и грубы, чтобы понять значеніе личнаго совершенства,—говорила она.—Вамъ недостаточно видѣть красоту, вы требуете пользы. Но польза уже въ томъ, что красота открывается вамъ, что вы можете любить ее и поклоняться ей.

— Красота не можетъ быть бездушна! — въ изступленіи выкрикивалъ онъ. — Нѣтъ! Люди грубы, ничтожны, но у нихъ есть свое представленіе о настоящей, вѣчной, незыблемой красотѣ. Это—красота любви! Это—Богъ, которому мы поклоняемся.

Она готовилась возразить ему, возразить запальчиво и злобно, но сейчасъ же вспомнила, что гнѣвъ портилъ и искажалъ ея прекрасныя черты.

— Такъ уйди же отъ меня!—кротко говорила она.—Ищи ту, которая совершеннѣе и выше меня. Ты свободенъ, братъ, я не удерживаю тебя. Иди!—съ торжествомъ, настойчиво повторяла она.

Ей уже ясно было, что онъ никуда не уйдетъ, что ему некуда идти, что его протестъ опять смѣнится безнадежной мольбой, его возмущеніе—раскаяніемъ и покорностью.

— Прости!—робко шепталъ онъ и цѣловалъ край ея одежды.

— Ничего нельзя простить! — говорила она. — Каждый проступокъ—неизгладимое пятно на душѣ человѣка. Прощать—это значитъ мириться со зломъ.

Прошло еще нѣкоторое время, и дѣвушка почувствовала, что ей скоро суждено умереть. Какая-то непонятная болѣзнь овладѣла ея тѣломъ, и она стала быстро таять и терять силы.

Братъ приносилъ ее на рукахъ на берегъ озера, укладывалъ ее на мягкое ложе изъ травы и цвѣтовъ, и она по цѣлымъ часамъ лежала неподвижно, глядѣла въ небо или на поверхность воды и думала какую-то грустную, упорную думу.

— О чемъ ты думаешь?—наконецъ, спросилъ онъ ее.

Она положила руку на его голову и тяжело вздохнула.

— Я умираю, братъ,—сказала она.—Да, я скоро умру, и я много, много думаю о томъ, что будетъ со мной послѣ смерти. Какъ бы хорошо ни было тамъ, куда теперь должна будетъ уйти моя душа, мнѣ невыносимо сознавать, что меня не станетъ на землѣ. Меня не станетъ, и люди забудутъ обо мнѣ; я уже не буду служить имъ примѣромъ своею чистотой и непорочностью; а тамъ, куда я иду, тамъ всѣ такъ же чисты и непорочны, какъ я. Братъ мой! я хотѣла бы остаться на землѣ. Я хотѣла бы, чтобы духъ мой воплотился въ природѣ и принялъ бы тотъ образъ, который болѣе всего достоинъ его. Ты много страдалъ, братъ; ты много любилъ. Я слышала, что молитва такихъ людей, какъ ты, бываетъ услышана. Молись, чтобы я осталась на землѣ! Молись, чтобы тотъ Богъ, о которомъ ты говорилъ мнѣ, избралъ бы мнѣ образъ, въ которомъ я продолжала бы быть такъ же чиста и прозрачна, какъ теперь.

— О, да! если бы ты осталась!—воскликнулъ онъ.

И онъ сталъ молиться, молиться за нее о томъ, чего она желала для себя.

— Молишься ли ты? — слабѣя все болѣе и болѣе спрашивала она. —Останусь ли я?

— Останешься! — съ твердой вѣрой и убѣжденіемъ отвѣчалъ онъ.—Останешься! я чувствую это! я хочу этого всѣми силами своей души! Вѣдь я люблю тебя, а любовь—это сила, которая дѣлаетъ чудеса.

— Я умираю!—шептала она.

— Нѣтъ, ты не умрешь! не бойся... Ты только перемѣнишь образъ, и я найду тебя.

И она умерла. А ея „братъ“ ушелъ искать ее. Онъ былъ такъ увѣренъ, что чудо его любви совершилось, что духъ ея уже опять воплотился въ достойный ея образъ, что онъ глядѣлъ на лучи солнца и думалъ:

„Не она ли?“

Но лучъ пригрѣвалъ его, проникалъ до самаго его сердца, и оно шептало:

— Нѣтъ... нѣтъ...

Онъ видѣлъ на лугахъ цвѣты бѣлые и нѣжные и опять спрашивалъ:

„Не она ли это?“

Но пчелка собирала съ нихъ медъ и жужжала:

— Нѣтъ... нѣтъ...

И онъ смотрѣлъ вверхъ, на облака, прозрачныя и воздушныя.

„Не она ли это?“

Но облака соединялись въ тучку, кропили землю благодатнымъ дождемъ, и, шурша по листьямъ деревьевъ, капли отвѣчали ему:

— Нѣтъ... нѣтъ...

Но онъ не терялъ надежды, онъ зналъ, что непремѣнно найдетъ ее, и все, что онъ видѣлъ прекраснаго и чистаго, все напоминало ему ее, и каждый разъ онъ спрашивалъ себя:

„Не она ли это?“

Но слышалъ тихій, шелестящій отвѣтъ:

— Ея здѣсь нѣтъ... нѣтъ...

Тогда онъ вернулся къ озеру, чтобы еще разъ видѣть тѣ берега, на которыхъ такъ часто сидѣли они вдвоемъ, гдѣ онъ такъ много страдалъ и гдѣ эти страданія преобразили его до неузнаваемости. Но когда онъ увидалъ эти знакомые, милые ему берега, онъ растерялся отъ неожиданности и неясной тревоги. Озеро точно ушло отъ нихъ, углубившись въ себя. Далеко отступили деревья и кустарники, и всюду кругомъ царила мертвая, непробудная тишина. Въ сторонѣ попрежнему, прошло стадо, но животныя не прибавили шагу при видѣ свѣтлой, зеркальной поверхности воды. Мучимыя жаждой, они только поворачивали къ нему головы и жалобно мычали, но шли дальше, даже не пытаясь попрежнему спуститься по отлогому берегу, войти въ воду по колѣно и, уже напившись досыта, продолжать свой путь. Скрылось стадо, и гдѣ-то вдали сиротливо прокуковала кукушка.

„Отчего такая перемѣна? въ чемъ перемѣна?“ спрашивалъ онъ себя и шелъ по мягкой, зеленой травкѣ, которая теперь одна облегала кругомъ ушедшее отъ своихъ береговъ озеро. Его тоже мучила жажда, и онъ думалъ утолить ее и освѣжить пылающее отъ утомленія и жара лицо. Но съ первыхъ же шаговъ подъ ногами его тихо захлюпала вода, а по всему тѣлу пробѣжала нервная, леденящая дрожь.

Инстинктивно онъ высвободилъ ноги и вернулся на сушу, но тревога его все усиливалась, сердце билось мучительными, безпорядочными ударами.

Вдругъ ужасная мысль молніей блеснула въ его головѣ, и громадная, невыносимая, всепоглощающая жалость ударила въ его сердце.

— Это ты?—вскрикнулъ онъ, глядя на близкое, но недоступное озеро.—Это ты, моя чистая, моя прекрасная, моя безупречная?

И онъ уже не ждалъ отвѣта, онъ уже чувствовалъ его. Онъ уже зналъ навѣрно.

— Это твой образъ! Это ты!—съ горечью и отчаяніемъ воскликалъ онъ.—Но если всѣ отступились отъ тебя, я пойду за тобой! Я...

И, не чувствуя ничего, кромѣ своей жалости и любви, онъ бросился бѣжать по зеленому, зыбкому ковру.

— Я иду къ тебѣ! я иду!—повторялъ онъ, какъ безумный.

Но онъ не могъ дойти. Онъ только протянулъ къ ней руки. И, медленно, медленно погружаясь въ болото, онъ все время видѣлъ передъ собой ея образъ, близкій и недоступный, чистый и холодный.

И погибая онъ думалъ только о ней, и ему казалось, что вода, просачиваясь изъ почвы и булькая близко, близко около его ушей, говорила ему то дивное, желанное слово, о которомъ онъ тосковалъ всю жизнь:

— Люблю... люблю...

Игнатій Александровичъ замолчалъ, закашлялся и, не смѣя оглянуться на женщинъ, пристально, съ выраженіемъ тоски и ожиданія глядѣлъ на озеро.

Теплая, нѣжная рука взяла его руку и пожала ее, и въ то же время послышался молодой, спокойный и самоувѣренный голосъ:

— Что же? если онъ погибъ, значитъ, онъ долженъ былъ погибнуть, — сказалъ голосъ. — Вы слишкомъ много придаете значенія раскаянію. Ваша героиня права: ничего нельзя простить. Прощать— это примиряться со зломъ.

Игнатій Александровичъ понялъ, что голосъ принадлежалъ Марѣ, а рука—Софьѣ Васильевнѣ.

— А не пора ли домой?— съ горькой улыбкой замѣтилъ онъ.— Холодно!

Л. Авилова.

Мнѣ минуло 32 года, когда я впервые взяла кисть въ руки. Раньше я не подозрѣвала въ себѣ способности къ живописи, хотя съ самаго дѣтства меня тянуло къ картинамъ, особенно къ пейзажу. Я и тогда не могла примириться со взглядомъ большинства публики на пейзажъ...

Мнѣ всегда какъ-то жаль людей, которые проходятъ мимо природы и не замѣчаютъ всей ея красоты и тонкости; жаль печальныхъ критиковъ, которые на выставкахъ только и обращаютъ вниманіе на людскія фигуры и часто безсодержательные жанры, а о пейзажѣ въ своихъ замѣткахъ иронически говорятъ: «небеса голубыя, небеса сѣрыя, березки, первый снѣгъ, послѣдній снѣгъ—все это скучно, скучно!»

Бѣдные люди! А между тѣмъ все это такъ вѣчно, такъ мощно, что переживетъ всѣхъ насъ! Какой-нибудь владѣлецъ крохотнаго кусочка земли любитъ свой жалкій лѣсокъ, свой садикъ, увѣряетъ, что у него «чудный видъ». И сколько бы лѣтъ онъ ни смотрѣлъ на этотъ видъ, онъ его любитъ, любитъ и это деревцо, и этотъ прудъ, то озаренный яркимъ солнцемъ, то облитый тихимъ свѣтомъ луны... И, конечно, видѣть передъ собой «напоминаніе» въ видѣ картины этого лѣсочка, воды и проч. пріятнѣе, нежели ничего не говорящую ни вашему уму, ни вашему сердцу головку съ неизбѣжной улыбкой на губахъ. Между тѣмъ на выставкахъ публика чаще всего причисляетъ подобныя головки къ излюбленному ею жанру. Или, наприм., немощи человѣчества (отъ которыхъ мы въ жизни чаще всего отворачиваемся, не подавая даже нужной помощи), но на выставкахъ это желанныя гости! Помилуйте! Скорбь человѣчества — пять минутъ раздумья для зрителя, пятнадцать минутъ—для мыслителя-критика!

Но возвращусь къ себѣ. Дочь помѣщиковъ стараго закала, я въ продолженіе всего дѣтства проводила въ имѣніи болѣе половины года. На зиму меня возили въ Петербургъ, но всѣ мои мечты и стремленія всегда были направлены на нашъ красивый уголокъ, гдѣ приходилось быть въ постоянномъ общеніи съ природой и ея красотами.

Тамъ было мое царство среди полей, лѣсовъ, цвѣтовъ, снѣга... все это тянуло меня къ себѣ, всюду я усматривала какую-то тайну, еще никѣмъ не понятую, не разгаданную...

Отецъ былъ страстнымъ охотникомъ, и мнѣ доставляло величайшее наслажденіе сопровождать его на всякаго рода охоты.

А время шло... Мать готовила изъ меня «свѣтскую барышню», и все вниманіе было обращено на музыку, языки и проч. Къ живописи она меня ревновала, считая ее неотъемлемою собственностью старшаго брата, который и теперь продолжаетъ заниматься ею и скульптурой. Выйдя замужъ, я продолжала ходить на охоту съ мужемъ и вотъ тогда-то все чаще и чаще стала задавать себѣ вопросъ: «почему это я не умѣю передать въ краскахъ все, что вижу, запечатлѣть на полотнѣ себѣ на память всю эту красоту?» И вотъ однажды мнѣ пришлось какъ-то, скуки ради, пойти съ братомъ и его пріятелемъ на этюдъ; они уговорили меня попробовать набросать уголокъ рѣки, набросокъ показался имъ талантливымъ. А вскорѣ встрѣча и знакомство съ Исаакомъ Левитаномъ рѣшили остальное: Левитану приглянулись мои первые наброски, и онъ предложилъ мнѣ свое руководство.

Первая поѣздка на этюды по Волгѣ и Окѣ съ Левитаномъ и симпатичнымъ жанристомъ Степановымъ дала мнѣ то, что любая школа не можетъ дать въ пять-шесть лѣтъ... Ежедневно работая на натурѣ, обмѣниваясь впечатлѣніями, совѣтами съ этими даровитыми товарищами, я шла быстро впередъ... Уже въ 1888 году (второй годъ занятій живописью) мой этюдъ «Внутренность древней церкви въ Плесѣ» былъ пріобрѣтенъ въ галлерею Павла Михайловича Третьякова.

Восемь лѣтъ мнѣ пришлось быть ученицей, товарищемъ по охотѣ и другомъ Левитана. Мои работы ежегодно появлялись на періодическихъ выставкахъ общества любителей художествъ въ Москвѣ. Это же общество избрало меня въ члены-художники, принявъ взносъ моей картины «Монастырскія ворота». Четыре раза я участвовала на петербургскихъ выставкахъ академіи художествъ.

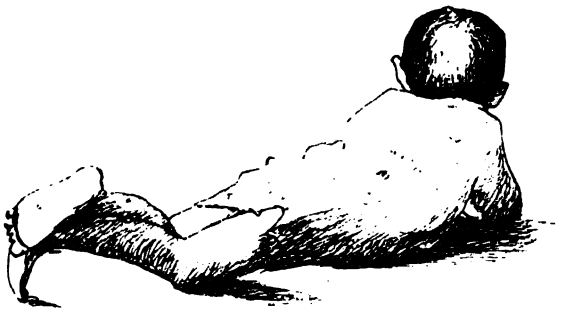
Восемь лѣтъ, посвященныхъ практическому изученію природы подъ руководствомъ Левитана,—это выше всякой школы... Въ силу обстоятельствъ потомъ уже пришлось одной продолжать такъ удачно начатое... Въ лицѣ молодого, но очень талантливаго Гославскаго, Петра, я пріобрѣла новаго товарища по этюдамъ и, благодаря его настояніямъ, усиленно занялась рисункомъ, чего у меня часто не хватало и на что менѣе всего обращалъ вниманіе Левитанъ. «Мотивъ», «тонъ»—вотъ что ему было важно въ моихъ работахъ.

Что еще сказать о себѣ? Пришлось бы сказать слишкомъ много, такъ какъ жизнь шла шумно, разнообразно, часто необычайно, внѣ всякихъ условностей...

Поклоняясь театру, музыкѣ, всему прекрасному, доблестному, я часто сталкивалась съ очень интересными людьми. Имѣя мужа, человѣка на рѣдкость гуманнаго, великодушнаго, такъ же глубоко любящаго искусство, какъ и я, и не только не ставившаго мнѣ преградъ для занятій имъ, но, наоборотъ, всячески помогавшаго въ этомъ отношеніи, будетъ понятно, если я скажу, что жизнь моя была почти сплошнымъ праздникомъ... Если и омрачалась эта жизнь, то лишь тѣмъ мракомъ, который похожъ на осень... Но при видѣ того, какъ по естественному, высшему закону съ могучаго дерева падаютъ листья, обнажая его, я вѣрю, что на этомъ обнаженномъ стволѣ, этихъ вѣтвяхъ снова появится жизнь и красота... и всегда и во всемъ такъ!

Софья Хувшинникова,
урожденная Сафонова.

1900 г.



СТАРУХА.

Разсказъ **Пьера Лоти.**

Тихимъ лѣтнимъ вечеромъ по горной дорогѣ плелась старуха, согнувшись въ три погибели подъ тяжестью огромной вязанки хвороста, которую она тащила на спинѣ.

Мѣсто, гдѣ я встрѣтилъ эту старуху, было пустынно и прекрасно, какъ рай, о которомъ можно только грезить. Это было въ Гипюскоа, посреди испанскихъ Пиренеевъ съ ихъ буковыми лѣсами. Со всѣхъ сторонъ поднимались къ небу горныя вершины, величавыя и безмолвныя въ своемъ мягкомъ зеленомъ одѣяніи. Внизу, въ глубинѣ долины серебрилась быстрая рѣка, отражая берега, поросшіе плющомъ, папоротниками и роскошною іюньскою зеленью. Въ красотѣ и великолѣпіи распустившихся свѣжихъ цвѣтовъ было что-то необыденное, что-то праздничное, точно природа намѣренно разукрасилась такъ для прохода какой-нибудь королевы или волшебницы.

А угрюмые, тусклые глаза старухи, придавленной тяжелою ношей, точно и не видѣли праздничнаго убранства цвѣтущей долины. Куда шла бѣдняга своей старческой походкой, низко наклонивъ голову и лобъ, изрытый морщинами страданія? Въ какую-нибудь убогую лачугу, гдѣ никто не встрѣтитъ ея ласковой или радостной улыбкой? А видъ у старухи былъ такой добрый и честный, такой смиренный и покорный... Поровнявшись со мною, она посторонилась и отошла на самый край дороги, чтобы какъ можно болѣе увеличить разстояніе между такимъ ничтожнымъ существомъ, какимъ она себя считала, и такимъ бариномъ, какъ я.

Мнѣ стало жаль ее, когда я встрѣтилъ ея добрый, измученный взглядъ. Чѣмъ помочь ей? Не могу ли я что-нибудь сдѣлать для нея? Безъ сомнѣнія, этотъ ворохъ негодныхъ сучьевъ, который она съ такимъ усиліемъ тащитъ на своей старой спинѣ, стоитъ грошъ. Легче всего было бы сказать ей: „брось, бабушка, свою вязанку и бери-ка лучше эти деньги“...

Но если это обидитъ ее? Вѣдь она не мало потрудилась, собирая въ лѣсу вѣтку за вѣткой для своей вязанки. Да и чѣмъ больше я всматривался въ старуху, тѣмъ труднѣе казалось мнѣ предложить ей милостыню. Платье ея, хоть и бѣдное и заплатанное, было чисто и прилично. Конечно, она не была нищей. Скорѣе это была какая-нибудь бѣдная труженица, состарѣвшаяся на работѣ, бабушка съ небогатой мызы, живущая въ пренебреженіи у своихъ родныхъ, грубыхъ и жадныхъ крестьянъ, которые ждутъ ея смерти, какъ избавленія. Бѣдная!

А горный путь, по которому она медленно влачила свою усталость, былъ такъ дивно, такъ райски хорошъ! Мнѣ казалось, что я въ какой-то счастливой очарованной странѣ, въ которой живѣе чѣмъ гдѣ-либо ощущается восторгъ и упоеніе жизнью! Къ очарованію лѣта, этого лучшаго времени года, присоединялось еще очарованіе лучшаго часа дня, приближеніе заката.

Кругомъ виднѣлись безконечные буковые лѣса, свѣжіе, ровные, зеленые... Они покрывали и горныя вершины, почти достигающія неба, и красивые горные склоны вплоть до луговъ, пестрѣющихъ цвѣтами, и до быстро текущихъ водъ.

Свѣтлая рѣчка была покрыта островками, которые можно было принять издали за роскошно убранныя цвѣточныя корзины: такъ густо поросли они кустами лиловыхъ, бѣлыхъ и розовыхъ цвѣтовъ. Сейчасъ же за дорогой разстилался густой косматый коверъ изъ мховъ и травъ, которые растутъ только въ такихъ глухихъ затишьяхъ, на нетронутой дѣвственной почвѣ. Эта мощная почва казалась старой какъ міръ. Казалось, что эти таинственныя чащи буковъ, что эти свѣжіе лѣса съ могучими сѣрыми стволами и вѣтками не видали еще никого, кромѣ пастуховъ и животныхъ, что ничья нога не ступала по этому плотному, мягкому ковру. Тишиной и миромъ древнихъ временъ вѣяло отъ этого прекраснаго зеленаго края.

По странной аномаліи крестьяне, которые живутъ въ такихъ райскихъ уголкахъ, не понимаютъ и не цѣнятъ ихъ красоты и прелести. И старуха, согнувшись въ три погибели подъ тяжелою ношей, ковыляла, не любуясь окружающею ее природой, и выглядѣла такой убогой и несчастной, точно она пробиралась въ какой-нибудь глухой трущобѣ большого города, между мрачными стѣнами грязной улицы.

Дорога шла все вверхъ и становилась круче и тяжеле. Шаги путницы дѣлались все болѣе неровными и невѣрными. Изъ-за вязанки долетѣлъ до меня тяжкій вздохъ изнеможенія. Эхъ, бѣдняга! Надо бы въ самомъ дѣлѣ какъ-нибудь помочь ей.

Къ счастію показалась деревня, и совсѣмъ близко отъ насъ, за поворотомъ дороги. Очевидно, это была ея деревня, конецъ и цѣль ея пути.

На высотѣ, среди горъ и неожиданно разступившихся лѣсовъ

вставалъ силуэтъ живописнаго селенія съ темными домами и темной колокольней въ старинномъ стилѣ Басковъ. Очевидно, никакія перемѣны и передѣлки не касались этихъ построекъ и онѣ стояли такъ въ теченіе двухъ-трехъ вѣковъ, понемножку ветшая другъ подлѣ друга, подъ дождемъ и на солнцѣ. И трудно было бы сгруппировать эти старые дома съ большимъ изяществомъ, съ большимъ искусствомъ.

Я замедлилъ шаги, чтобы не разставаться съ тихо плетущейся старухой. Мы шли рядомъ и въ тихій часъ заката, немножко раньше призыва къ вечерней молитвѣ (Angelus), мы вошли съ ней въ деревню.

Двѣ-три узкія темныя улицы, двѣ-три жалкія лавчонки съ холстинками, съ посудой, съ сбруей для муловъ и еще кое-какимъ грубымъ и примитивнымъ товаромъ, дальше церковь и кладбище.

И со всѣхъ сторонъ, точно отдѣляя непроницаемой стѣной отъ остального міра это древнее человѣческое поселеніе, вставали молчаливыя темныя горы и лѣса, лѣса...

Что же могъ я сдѣлать для моей случайной спутницы, для этой бѣдной старухи? Мнѣ было такъ жаль ее!

Вотъ сейчасъ она войдетъ въ одинъ изъ этихъ темныхъ домишекъ, сброситъ въ уголъ измучившую ее ношу и, встрѣтивъ самый грубый, отталкивающій пріемъ со стороны пренебрегающихъ ею родственниковъ, съ новымъ тяжкимъ вздохомъ завалится на убогое ложе съ тѣмъ, чтобы завтра снова продолжать свою горькую жизнь никому ненужной старой бабки, грустно ожидающей смерти, безъ надежды на смягченіе, на нѣжность окружающихъ. И такъ до конца, до минуты послѣдней предсмертной тоски, до послѣдней предсмертной судороги!.. Бѣдная, бѣдная старуха! Мнѣ все вспоминался ея тяжелый вздохъ по дорогѣ, и я продолжалъ жалѣть ее.

Но вотъ въ концѣ пустынной улицы показался ребенокъ, топочущій ножками по каменной мостовой. Онъ точно вышелъ кому-то навстрѣчу, точно ждалъ кого-то... И едва онъ узналъ старуху, едва убѣдился въ томъ, что это точно она, какъ пустился бѣжать къ ней, покрикивая:

— Бабушка!..

Это былъ бѣдный мальчуганчикъ лѣтъ двухъ или трехъ, хиленькій, растрепанный, очень невзрачный, но похожій на нее: тѣ же добрые, честные глаза, то же выраженіе. Очевидно, это маленькое существо приступало съ улыбкой къ той же суровой, полной нужды и лишеній жизни, которую, кряхтя и вздыхая, доживала его бабушка.

— Бабушка!..

Она усмѣхнулась, и лицо ея внезапно просіяло. Не бѣда, что ноша была такъ тяжела и дорога такъ утомительна, не бѣда, что дома встрѣтятъ грубо и непривѣтливо, какъ стараго человѣка, который не можетъ болѣе работать. Этотъ мальчикъ все-таки любитъ ее!

Морщины старухи разгладились. И угадывая, и чувствуя, вѣроятно, какъ я все время жалѣлъ ее, она оглянулась въ мою сторону, какъ бы желая удостовѣриться въ томъ, что и я вижу ея мальчугана.

„А что,—говорилъ ея оживши́й взглядъ,—развѣ это не чудесный ребенокъ?.. Ну-ка, повтори теперь, что тебѣ меня жалко... Повтори-ка это теперь, когда ты видѣлъ, какой у меня внучекъ!..“

Я хотѣлъ уже отойти отъ нея, унося мое ненужное и неумѣстное состраданіе; но въ эту минуту на колокольнѣ раздался первый ударъ благовѣста... Angelus—вечерняя молитва!.. Въ тишинѣ полились звуки колокола. Старуха остановилась, чтобы перекреститься. Она наклонила голову, и лицо ея приняло выраженіе глубокой вѣры, той наивной, сильной, твердой вѣры, которой не одолѣетъ ни старость, ни смерть...

Тогда въ тишинѣ забытаго мирнаго селенія, дремлющаго въ лѣтнихъ сумеркахъ, среди своихъ лѣсовъ, и мнѣ, вѣчному скитальцу, случайно, на одинъ вечеръ попавшему къ этимъ простымъ людямъ.— и мнѣ захотѣлось смириться и сказать бѣдной старухѣ:

— Пожалѣй же и ты меня въ свою очередь и помолись, бабушка, какъ умѣешь, за мою душу, потому что изъ насъ двухъ, конечно, я гораздо болѣе жалокъ!

Переводъ В. Микулича.

кимъ-то безыменнымъ порывомъ, мучительнымъ и сладкимъ, отчаяннымъ и нѣжнымъ и безконечно грустнымъ. Слезы обильныя и горячія брызнули у нея изъ глазъ и побѣжали по щекамъ крупными алмазными каплями.

А вокругъ нея попрежнему все было тихо.

Но тишина эта, задумчивая и грустная, мятежная и страстная, имѣла свои звуки. „Живи и мечтай, и борись, — казалось, говорили эти звуки. — Отдавай твое трепетное сердце тѣмъ ранамъ, которыя милы ему, которыхъ оно смутно жаждетъ и безъ которыхъ не можетъ жить... Живи и мечтай, и страдай, страдай!.. Быть можетъ, въ концѣ концовъ страданье твое породитъ состраданіе и ту любовь, жалостливую и самоотверженную, великую и безгрѣшную, которая одна только даетъ тоскующей душѣ счастіе и миръ, и свѣтлую, небесную радость“.

А. Крандіевская.

А. Крандіевская

Анастасія Романовна Крандіевская родилась въ декабрѣ 1865 года въ г. Ставрополѣ, на Кавказѣ. Воспитывалась въ ставропольской Ольгинской женской гимназіи; по окончаніи ученія поступила въ Москвѣ на высшіе историко-словесные курсы Герье. Писать начала будучи на курсахъ, но написала всего 5 или шесть мелкихъ разсказовъ, которые были помѣщены въ «Русскомъ Курьерѣ» Ланина, и послѣ этого не писала лѣтъ семь. Первая вещь ея, напечатанная въ журналѣ, была «Золотая медаль», помѣщенная въ «Русской Мысли» въ 1896 году, и затѣмъ появился рядъ разсказовъ въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», въ «Русской Мысли», въ «Сынѣ Отечества», въ «Курьерѣ» и въ «Жизни». Въ 1900 году разсказы ея вышли отдѣльнымъ сборникомъ, озаглавленнымъ названіемъ повѣсти ея «То было раннею весной». Въ апрѣлѣ того же года повѣсть эта была переведена на французскій языкъ въ фельетонахъ «La Fronde» подъ заглавіемъ «C'etait au Printemps».

НОЧЬ.

Ночь была великолѣпная: свѣтлая, влажная, ароматная... Низко на небѣ стояла полная луна, яркая и блестящая, и свѣтъ отъ нея разливался по землѣ блѣдно-голубымъ туманомъ, прозрачнымъ и легкимъ. Все было видно кругомъ, все рисовалось въ блѣдно-голубомъ воздухѣ ясно, четко. Деревья и кусты, цвѣты и трава бросали отъ себя черныя тѣни, и при каждомъ дуновеніи вѣтра тѣни трепетали и шевелились на бѣлой землѣ, какъ живыя... И небо было ясное, беззвѣздное, золотисто-бѣлое вокругъ мѣсяца и дымчато-свѣтлое по краямъ. Все молчало, но не спало, а дремотно мечтало, очарованное красотою ночи. Вверху надъ темными деревьями проносился легкій ласковый вѣтеръ, и тонкія вѣтви березъ медленно покачивались изъ стороны въ сторону съ тихимъ однообразнымъ шумомъ, а листья шелестѣли и отливали серебромъ. Стройно стояли въ клумбахъ высокіе кусты никоціаны съ безчисленными бѣлыми звѣздами, душистыми и нѣжными. Цвѣтущія липы испускали сладкій ароматъ. И весь садъ, съ его широкими аллеями, обрамленными кустами сирени и жасмина, съ высокими и развѣсистыми липами и стройными березами, съ темными бесѣдками и прихотливыми клумбами цвѣтовъ, весь этотъ садъ, таинственный и благовонный, облитый блѣдно-голубымъ туманомъ ночи, дышалъ сказочною красотою.

И было странно отъ этой красоты, какъ-то безотчетно-радостно и въ то же время и грустно. Все волновало, трогало до слезъ, умиляло и причиняло какую-то ноющую боль, которую нельзя было ни назвать, ни опредѣлить и отъ которой не хотѣлось избавиться... Толпы неясныхъ желаній, мечтаній и грезъ медленно и непрерывно бередили душу, раздражали ее... И эта непрерывная и смутная тревога была отрадна и томительна до муки. Она не кончалась, не увеличивалась и не уменьшалась, а держалась все въ одномъ и томъ же состояніи неопредѣленной радости и такой же неопредѣленной тоски.

— Нѣтъ, нѣтъ, объ этомъ не надо говорить... Я слабая... Гораздо слабѣе васъ... Я ничего не могу... Пожалѣйте меня...— Она отвернулась и заплакала; вся ея гибкая, тоненькая фигурка судорожно заколыхалась.

И слезы эти пронзили ему душу, тронули до того, что онъ самъ едва не заплакалъ отъ жгучей жалости къ ней. Жалость эта парализовала его порывъ, смирила его, успокоила.

Онъ робко прикоснулся рукою къ ея платью и сказалъ съ тою мягкою ласковостью, съ какою нѣжная мать утѣшаетъ любимое дитя свое:

— Ну, ну... Не мучьте себя, успокойтесь... Я сдѣлалъ вамъ больно, вы плачете... Простите меня... Я больше ничѣмъ и никогда не встревожу васъ. Для вашего счастія и покоя я радъ отдать по каплѣ всю кровь свою... Забудьте мой порывъ!..

Она, наконецъ, смолкла, вытерла слезы ладонями рукъ, подняла голову и взглянула на него взглядомъ какого-то необъяснимаго выраженія, отъ котораго все лицо ея, и безъ того милое, дорогое ему, стало еще милѣе, еще дороже.

И, боясь причинить ей новую боль, боясь вызвать новый припадокъ слезъ, онъ подавилъ въ себѣ страстное желаніе говорить съ нею, даже глядѣть на нее.

Молча дошли они до поворота аллеи, молча подалъ онъ ей руку холодную и дрожащую. Едва прикоснулась она къ его ладони своими тонкими пальцами, тоже трепещущими и холодными.

Онъ вздохнулъ подавленно и тяжко, бросилъ на нее послѣдній взглядъ, которымъ онъ и прощался съ ней, и ласкалъ ее горячо и нѣжно, повернулся и пошелъ по направленію къ калиткѣ сада, быстро-быстро, словно убѣгая отъ нея.

А она осталась одна, вся встревоженная, напряженная тоской и страхомъ и счастливая. Счастливая, торжествующая, несмотря на то, что все существо ея отчаянно и мучительно протестовало, сопротивляясь этому счастію, убѣгало отъ него, боролось съ нимъ и падало побѣжденное, безсильное.

Вотъ онъ ушелъ, не услыхавъ отъ нея ни одного слова сочувствія, ушелъ отвергнутый ею, а теперь ей уже жаль его... до того жаль, что она готова броситься слѣдомъ за нимъ, вернуть его и заласкать и успокоить... Она вся дрожитъ отъ стыда и страха, отъ предчувствія неизбѣжной бѣды и въ то же время внутри у нея, въ самыхъ глубокихъ и невѣдомыхъ тайникахъ сердца, что-то ноетъ и трепещетъ радостно, побѣдно.

— О, да какъ же все это примирить, согласовать?! Зачѣмъ радость живетъ на ряду съ мукою, со зломъ, съ чернымъ, безобразнымъ вѣроломствомъ?.. Зачѣмъ счастіе одного вызываетъ страданіе другого?..

И, взглянувъ на далекое небо, тихое и свѣтлое, на мѣсяцъ, величавый и безстрастный, она опять вся затрепетала, вся прониклась ка-

— Какъ вамъ сказать,— началъ Андреевъ, продолжая смотрѣть на луну и попрежнему улыбаться блаженно,— какъ вамъ сказать... Луна притягиваетъ къ себѣ воду. Мнѣ сдается, что такъ же точно дѣйствуетъ луна и на душу человѣка. Она тянетъ душу въ высь, къ небу, къ Богу. Но душа, отягченная грѣхами, не имѣетъ силъ оторваться отъ земли... Оттого бываетъ такъ томно, такъ странно, хорошо и въ то же время больно...

И, помолчавъ немного, Андреевъ продолжалъ мечтательно, съ оттѣнкомъ едва уловимой печали:

— Въ такую ночь человѣка тянетъ къ созерцанію... Хочется постигнуть великую тайну природы... Хочется ясности, гармоніи какъ въ самомъ себѣ, такъ и въ окружающемъ... Мысль человѣческая постоянно и неудержимо рвется къ высокому, къ вѣчному... А въ такую ночь, когда и небо и земля, цвѣты и деревья и эта мистическая тишина кругомъ, все, все говоритъ о премудрости силы творящей, силы великой, непостижимой,— въ такую ночь человѣкъ чувствуетъ себя особенно маленькимъ, сиротливымъ и безпомощнымъ...

Андреевъ вдругъ оборвалъ, словно вспомнилъ что-то, нахмурился и конфузливо примолкъ. Всякій разъ, когда онъ говорилъ о чемъ-нибудь длинно и цвѣтисто, ему бывало потомъ неловко, какъ-то не по себѣ. Онъ самъ себѣ казался болтливымъ и напыщеннымъ и потому обыкновенно послѣ длинной рѣчи долго молчалъ.

И Лидія Викторовна молчала, и Вишневскій. Всѣ трое двигались вдоль широкой аллеи сада медленно, какъ лунатики, а передъ ними такъ же медленно, какъ и они сами, двигались ихъ длинныя тѣни.

Дошли до конца аллеи и сѣли на деревянной лавочкѣ. Лидія Викторовна взглянула на Вишневскаго. Лицо его худое, продолговатое, съ тонкими, изящными чертами, въ лучахъ мѣсяца показалось ей мертвенно-блѣднымъ, злымъ и ослѣпительно-красивымъ. Онъ сидѣлъ, всѣмъ корпусомъ повернувшись въ ея сторону, въ позѣ неловкой, напряженной, словно ждалъ чего-то... ждалъ ея взгляда. И, наконецъ, поймавъ этотъ взглядъ, весь затрепеталъ съ головы до ногъ и въ свою очередь заглянулъ Лидіи Викторовнѣ прямо въ зрачки, въ самую душу, съ такою глубокою затаенною нѣжностью, съ такою жгучею ласкою, что у нея голова закружилась. Кровь прилила ей къ щекамъ, стало стыдно и страшно. Она нервно кашлянула, подвинулась ближе къ Андрееву, подняла руку и неловко закрыла ладонью лицо съ той стороны, съ которой сидѣлъ Вишневскій. Она пряталась, защищаясь отъ него, а ему было досадно и больно смотрѣть на нее.

Онъ быстро повернулся на мѣстѣ, нетерпѣливо откинулся на спинку лавочки, и лицо его стало еще блѣднѣе и злѣе.

Теперь онъ смотрѣлъ уже на Андреева, и взглядъ его горячихъ и острыхъ глазъ молча гипнотизировалъ Андреева, страстно внушая ему одно только слово: „уйди, уйди, уйди“. Присутствіе этого чело-

вѣка весь вечеръ раздражало его, дѣлало почти больнымъ. Но Андреевъ не только не уходилъ, но всѣмъ своимъ созерцательно-блаженнымъ видомъ говорилъ, что ему хорошо подъ этими бѣлыми лучами. Онъ смотрѣлъ на небо, золотисто-свѣтлое вокругъ мѣсяца, смотрѣлъ на высокія, темныя деревья сада, на эту прихотливую игру свѣта и тѣни на землѣ, и ему такъ же, какъ и Вишневскому и Лидіи Викторовнѣ, не хотѣлось говорить.

Всѣ трое молчали и каждый думалъ о своемъ.

„Зачѣмъ мнѣ мучить себя вопросами, есть Богъ или нѣтъ Бога,—думалъ Андреевъ,—зачѣмъ доискиваться, что тамъ, за луною, за звѣздами... Достаточно уже и того, что я вотъ чувствую всѣмъ существомъ своимъ, что надо мною есть что-то огромное и властное,

съ чѣмъ я связанъ и безъ чего не могъ бы существовать... И это чувство говоритъ мнѣ гораздо убѣдительнѣе, чѣмъ всѣ мои разсужденія...“

„Все въ жизни проходитъ, исчезаетъ какъ сонъ,—думала Лидія Викторовна,—ничего нѣтъ постояннаго, прочнаго. Вотъ сидитъ со мною рядомъ человѣкъ, который когда-то любилъ свою жену и дочь. А теперь онъ забылъ ихъ ради меня... А я-то сама? У меня есть женихъ, которому я клялась въ вѣчной любви... Можетъ быть, онъ сейчасъ томится, скучаетъ по мнѣ, думаетъ обо мнѣ. А я ему уже измѣнила... Измѣнила тѣмъ, что мысли мои не съ нимъ, а вотъ съ этимъ, что сидитъ рядомъ со мной и волнуетъ меня своимъ взглядомъ, всѣмъ видомъ своимъ... Онъ еще не сказалъ мнѣ ни слова о своей любви, но я уже вся дрожу и замираю, мнѣ стыдно, мнѣ страшно, мнѣ безконечно грустно и въ то же время отрадно до слезъ, и я не могу

стряхнуть съ себя очарованія... У меня нѣтъ силъ подняться и уйти отъ соблазна... Боже мой, Боже мой, да что же это такое?..“

„Когда любишь,— думалъ Вишневскій,— то не надо разсуждать: грѣшно это или не грѣшно, принесетъ счастіе или страданіе. Надо отдаваться своему чувству непосредственно, „безъ сомнѣнія, безъ думы роковой“... Надо забыться... А я все время только то и дѣлаю, что разсуждаю и всячески обсуждаю свое чувство... Вмѣсто того, чтобы упасть къ ея ногамъ и сказать, что я не хочу и не могу жить безъ нея, я только то и дѣлаю, что грызу самого себя, ѣмъ и день и ночь... Вѣдь я же насилую, уродую свою душу, лгу и себѣ самому и другимъ тѣмъ, что стараюсь что-то такое наладить въ отношеніяхъ своихъ къ женѣ, что-то вернуть, устроить... Что вернуть, что устроить— и самъ не знаю... Вѣдь не люблю же я жены, не люблю!.. Люблю эту... Эта вся и душой и тѣломъ вкралась въ мои мечты и грезы... Она снится мнѣ, не даетъ покою ни днемъ, ни ночью!.. Она преслѣдуетъ меня повсюду, гдѣ бы я ни былъ, что бы ни дѣлалъ. Я люблю ее безпредѣльно... И въ то же время, на ряду съ этимъ обаяніемъ, вѣчною, неумолимою угрозою стоитъ во мнѣ мысль о женѣ и маленькой Лялькѣ. Я думаю: вотъ жена узнаетъ и изойдетъ слезами, зачахнетъ въ тоскѣ... А Лялька вырастетъ и проклянетъ отца. И я борюсь съ самимъ собою, по клочкамъ разрываю свое сердце и страдаю и злюсь, злюсь безъ конца... Самъ сознаю, что погибаю и въ то же время ничего не дѣлаю для спасенія своего, ничего не могу!“

Вишневскій поставилъ локти на колѣни и отчаянно захватилъ голову обѣими руками. Лидія Викторовна взглянула на эту его убитую позу и почувствовала еще большее смятеніе. Она хотѣла было уже подняться и уйти, какъ вдругъ откуда-то издали, вмѣстѣ съ ароматнымъ дыханіемъ вѣтра поплыли глухіе аккорды рояля.

— Это сестра Ольга сѣла за рояль,—сказалъ Андреевъ, словно просыпаясь.

И тотчасъ же сильное, молодое сопрано красиво зазвенѣло въ чутко-дремлющемъ воздухѣ. Тихо и стройно поплыли задумчивые звуки.

Лидія Викторовна выпрямилась, повернула голову въ ту сторону сада, гдѣ за густыми, темными акаціями бѣлѣла крыша одноэтажнаго дома. Въ окнахъ дома не было свѣта, и на балконѣ было темно. Очевидно Ольга пѣла въ темнотѣ, сама себѣ аккомпанируя, пѣла, быть можетъ, смотря въ открытыя двери балкона, на луну, на небо, вотъ такъ же мечтательно и вдохновенно, какъ смотритъ и ея братъ, Андреевъ. И, быть можетъ, она тоже думала о великомъ и невѣдомомъ Богѣ, потому что въ пѣніи ея было что-то необычное, была красота и сила, и страстная печаль и жалоба, и порывъ. Она тоже воспѣвала ночь, задумчивую и блѣдную, тихую и грустную, такую же точно ночь, какая сейчасъ трогательно и нѣжно обнимала сиротливую и грѣшную землю.

Лидія Викторовна сидѣла, словно завороженная, съ поблѣднѣвшимъ лицомъ, съ широко открытыми глазами, въ которыхъ свѣтились изумленіе и восторгъ.

— „Все успо-ко-и-и-лось“,— тянула Ольга упоенно и страстно...

И мѣсяцъ глядится
Въ чистыя воды рѣки...
Надъ блѣдной землею туманъ серебрится,
И спятъ надъ водой тростники...
Все успокоилось!..

Вишневскій на минуту забылъ самого себя, свои муки, и тоже замеръ, весь превратившись въ слухъ. Онъ продолжалъ сидѣть все въ той же позѣ, захвативъ голову обѣими руками, но теперь во всемъ существѣ его на мгновеніе разлилась тишина, усталая и сладкая.

Андреевъ же хотя и слушалъ, но не съ такимъ самозабвеніемъ, мысль его продолжала работать попрежнему.

„Каждый человѣкъ, одинъ сознательно, другой безсознательно, стремится найти свою цѣль въ царствѣ цѣлей... Все направлено къ одному... И этотъ міръ — лучшій изъ міровъ, не потому, чтобы былъ дѣйствительно совершеннымъ, а потому, что онъ стремится къ совершенству, идетъ къ нему непрестанно, и зло непрестанно побѣждается благомъ... Все идетъ къ одному... И эти звуки волнуютъ насъ, умиляютъ, восхищаютъ потому только, что они—слабый намекъ на ту конечную цѣль, на то большое и главное, къ чему мы идемъ безсознательно...“

А вдохновенная пѣсня съ каждымъ мгновеніемъ становилась все мятежнѣе, все страстнѣе... И, наконецъ, оборвалась въ отчаянномъ порывѣ и замерла изнеможенная, тоскующая.

Хочется плакать, любить и молиться,
Хочется съ грезой чарующей слиться
Мнѣ въ эту дивную ночь!..

Вишневскій поднялъ голову и взглянулъ на Лидію Викторовну. Та очнулась не сразу, провела рукою по лбу, какъ бы отгоняя очарованіе, и оглядѣлась кругомъ, словно спрашивая, гдѣ она и что съ ней.

Попрежнему было тихо и странно, и сказочно-красиво. Звуки чарующей пѣсни какъ будто бы еще рѣяли въ прозрачной бѣлой мглѣ ночи и повсюду встрѣчали взволнованный и одобрительный шопотъ. Радостно трепетали тонкія вѣтви березъ, солидно и тихо дѣлились впечатлѣніемъ высокія, развѣсистыя липы. Блѣдныя звѣзды никоціаны, пышныя настурціи, флоксы, резеда и левкои слагали цѣлые гимны изъ аромата, пронзительнаго и остраго, одуряющаго и сладкаго...

У Лидіи Викторовны голова кружилась съ какимъ-то страннымъ внутреннимъ звономъ и было тѣсно въ груди. Опьяненная, насыщенная поэзіей душа была напряжена до тоски, почти до физической боли. Хотѣлось вскрикнуть и заплакать...

Она порывисто встала и молча пошла вдоль аллеи, сама не зная куда.

Вишневскій тоже всталъ и двинулся за ней. И вдругъ они очутились вдвоемъ. Оба не замѣтили, какъ свернули съ широкой, свѣтлой аллеи въ узенькую и темную, и пошли рядомъ.

— Наконецъ, вы одна,—сказалъ Вишневскій, и голосъ его прозвучалъ глухо и неровно.—Цѣлый вечеръ подлѣ васъ кто-нибудь: то Ольга, то этотъ Андреевъ... Ахъ, до чего же я его возненавидѣлъ сегодня!.. Чего онъ ходитъ за вами? Ему не о чемъ съ вами говорить... Это — фанатикъ, изувѣръ какой-то... Только и слышишь отъ него, что — грѣхъ да Богъ...

— Андреевъ чистый, какъ ребенокъ—промолвила Лидія Викторовна тоже тихо и дрожащимъ отъ внутренней тревоги голосомъ,— всѣ помыслы у него чистые...

— Ну, и прекрасно,—съ оттѣнкомъ горечи и раздраженія перебилъ ее Вишневскій.— Не будемъ о немъ говорить, а вотъ... давайте говорить о себѣ... о васъ... обо мнѣ...

Онъ сильно волновался, голосъ у него то и дѣло вздрагивалъ, срывался. Это волненіе передавалось и ей. Страхъ суевѣрный, дикій охватывалъ ее. Казалось, что оба они уже совершили что-то ужасное, преступное, и имъ ужъ нѣтъ спасенія. Темнота узенькой дорожки, со всѣхъ сторонъ закрытой деревьями, дѣлала испугъ ея еще болѣе пронизывающимъ, рѣзкимъ. Она инстинктивно бросилась впередъ въ полосу луннаго свѣта и остановилась передъ нимъ, тяжело дыша. Сильная дрожь, холодная и мелкая, какъ въ ознобѣ лихорадки, пробѣгала по ея тѣлу. А онъ, увлеченный своимъ порывомъ, не замѣчалъ ея страха и торопился открыть ей то, что до сихъ поръ носилъ въ себѣ, какъ тайну. Съ сильно бьющимся сердцемъ, съ отвагою и рѣшимостью, съ какою обыкновенно подходитъ человѣкъ къ неизбѣжной катастрофѣ, онъ приблизился къ ней, заглянулъ въ ея глаза съ мольбою, съ грустною нѣжностью и сказалъ:

— Не уходите... Выслушайте меня... Дайте мнѣ сказать, какъ я страдаю!.. Сердце мое истекаетъ кровью... Ахъ, да неужели же вы не видите, какъ я люблю васъ!..

Она встрепенулась, словно отъ удара, и закрыла лицо руками.

— Не надо, не надо!..— прошептала она съ мукою.— Не надо... Мнѣ страшно... И вы, и я — оба связаны... У васъ—жена, ребенокъ... О, какое это горе!.. Какой ужасъ то, къ чему мы идемъ съ вами... Жена ваша любитъ меня, вѣритъ мнѣ... Маленькая Лялька ласкается ко мнѣ такъ трогательно... Не надо, умоляю васъ!.. Нельзя строить собственное счастіе на страданіи самыхъ близкихъ, дорогихъ людей!..

Онъ какъ-то вдругъ весь опустился, поникъ головою.

— Я знаю это... но... но что же мнѣ дѣлать, что?—спросилъ онъ отчаянно, страстно.—Давайте вмѣстѣ рѣшимъ что-нибудь... помогите мнѣ...

— Нѣтъ, нѣтъ, объ этомъ не надо говорить... Я слабая... Гораздо слабѣе васъ... Я ничего не могу... Пожалѣйте меня...— Она отвернулась и заплакала; вся ея гибкая, тоненькая фигурка судорожно заколыхалась.

И слезы эти пронзили ему душу, тронули до того, что онъ самъ едва не заплакалъ отъ жгучей жалости къ ней. Жалость эта парализовала его порывъ, смирила его, успокоила.

Онъ робко прикоснулся рукою къ ея платью и сказалъ съ тою мягкою ласковостью, съ какою нѣжная мать утѣшаетъ любимое дитя свое:

— Ну, ну... Не мучьте себя, успокойтесь... Я сдѣлалъ вамъ больно, вы плачете... Простите меня... Я больше ничѣмъ и никогда не встревожу васъ. Для вашего счастія и покоя я радъ отдать по каплѣ всю кровь свою... Забудьте мой порывъ!..

Она, наконецъ, смолкла, вытерла слезы ладонями рукъ, подняла голову и взглянула на него взглядомъ какого-то необъяснимаго выраженія, отъ котораго все лицо ея, и безъ того милое, дорогое ему, стало еще милѣе, еще дороже.

И, боясь причинить ей новую боль, боясь вызвать новый припадокъ слезъ, онъ подавилъ въ себѣ страстное желаніе говорить съ нею, даже глядѣть на нее.

Молча дошли они до поворота аллеи, молча подалъ онъ ей руку холодную и дрожащую. Едва прикоснулась она къ его ладони своими тонкими пальцами, тоже трепещущими и холодными.

Онъ вздохнулъ подавленно и тяжко, бросилъ на нее послѣдній взглядъ, которымъ онъ и прощался съ ней, и ласкалъ ее горячо и нѣжно, повернулся и пошелъ по направленію къ калиткѣ сада, быстро-быстро, словно убѣгая отъ нея.

А она осталась одна, вся встревоженная, напряженная тоской и страхомъ и счастливая. Счастливая, торжествующая, несмотря на то, что все существо ея отчаянно и мучительно протестовало, сопротивляясь этому счастію, убѣгало отъ него, боролось съ нимъ и падало побѣжденное, безсильное.

Вотъ онъ ушелъ, не услыхавъ отъ нея ни одного слова сочувствія, ушелъ отвергнутый ею, а теперь ей уже жаль его... до того жаль, что она готова броситься слѣдомъ за нимъ, вернуть его и заласкать и успокоить... Она вся дрожитъ отъ стыда и страха, отъ предчувствія неизбѣжной бѣды и въ то же время внутри у нея, въ самыхъ глубокихъ и невѣдомыхъ тайникахъ сердца, что-то ноетъ и трепещетъ радостно, побѣдно.

— О, да какъ же все это примирить, согласовать?! Зачѣмъ радость живетъ на ряду съ мукою, со зломъ, съ чернымъ, безобразнымъ вѣроломствомъ?.. Зачѣмъ счастіе одного вызываетъ страданіе другого?..

И, взглянувъ на далекое небо, тихое и свѣтлое, на мѣсяцъ, величавый и безстрастный, она опять вся затрепетала, вся прониклась ка-

кимъ-то безыменнымъ порывомъ, мучительнымъ и сладкимъ, отчаяннымъ и нѣжнымъ и безконечно грустнымъ. Слезы обильныя и горячія брызнули у нея изъ глазъ и побѣжали по щекамъ крупными алмазными каплями.

А вокругъ нея попрежнему все было тихо.

Но тишина эта, задумчивая и грустная, мятежная и страстная, имѣла свои звуки. „Живи и мечтай, и борись, — казалось, говорили эти звуки. — Отдавай твое трепетное сердце тѣмъ ранамъ, которыя милы ему, которыхъ оно смутно жаждетъ и безъ которыхъ не можетъ жить... Живи и мечтай, и страдай, страдай!.. Быть можетъ, въ концѣ концовъ страданье твое породитъ состраданіе и ту любовь, жалостливую и самоотверженную, великую и безгрѣшную, которая одна только даетъ тоскующей душѣ счастіе и миръ, и свѣтлую, небесную радость".

А. Крандіевская.

242

Н. МИРОВИЧЪ.

Г-жа Мировичъ (Зинаида Сергѣевна Иванова) получила воспитаніе въ пансіонѣ г-жъ Дюмушель. Кончила образованіе на высшихъ женскихъ курсахъ Герье въ 1887 году.

Первая ея самостоятельная работа, біограф. очеркъ «Г-жа Роланъ», появилась въ журналѣ «Пантеонъ Литературы» и отдѣльною книжкой въ 1891 году. Изъ другихъ ея историческихъ работъ статья о Сенъ Жюстѣ была напечатана въ 1894 г. въ «Историческомъ Обозрѣніи». Около того же времени были напечатаны статьи г-жи Мировичъ о Генрикѣ Ибсенѣ (въ журналѣ «Современникъ» въ 1891 г. и въ «Пантеонѣ Литературы» въ 1892 году), а также переводы наиболѣе извѣстныхъ драмъ этого писателя: «Сѣверные Богатыри»—въ «Артистѣ» 1892 г.; «Столпы Общества»—въ «Вѣстникѣ Европы» 1892 г.; «Ингеръ изъ Эстрота»—во «Всемірной Библіотекѣ» 1892 г.; «Докторъ Штокманъ»—въ «Артистѣ» 1891 г.

Въ виду цензурныхъ затрудненій, сопряженныхъ съ печатаніемъ изслѣдованій по французской революціи, г-жа Мировичъ съ 1896 г. перешла къ работамъ изъ области публицистической. Въ 1896—99 гг. былъ напечатанъ рядъ ея статей: «Жанъ Масэ», «Демократизація образованія во Франціи»—въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ»; «Національный союзъ домашняго чтенія въ Англіи»—въ «Мірѣ Божьемъ»; «Праздникъ просвѣщенія въ Англіи» и «Организація University Extension въ Англіи»—въ «Вѣстникѣ Воспитанія», «Изъ Исторіи Женскаго Образованія въ Россіи»—въ «Русской Мысли» и т. д.

Съ 1897 года г-жа Мировичъ присоединила къ литературнымъ занятіямъ лекторскую дѣятельность. Въ 1897—99 гг. ею были прочтены (въ Нижнемъ-Новгородѣ, Рязани, Твери, Калугѣ, Борисоглѣбскѣ и Москвѣ) слѣдующія лекціи: «Генрикъ Ибсенъ», «Женское движеніе въ современной Англіи», «Университетскія поселенія въ Англіи», «Трагедія человѣческой жизни въ современной драмѣ».

Два конгресса женской фроды.

(Изъ воспоминаній 1899 и 1900 гг.)

29-го іюня н. ст. 1899 года, въ 7 ч. вечера, около величественнаго зданія Queen's Hall, въ центрѣ Лондона, замѣчалось особенное оживленіе. Массы народа, большая часть дамы, подъѣзжали—кто въ собственныхъ экипажахъ, кто на извозчикахъ или въ омнибусѣ, а кто и пѣшкомъ. Въ этой пестрой женской толпѣ трудно сначала уловить что-либо общее; но, приглядываясь, зритель замѣчалъ нѣчто общее, связывающее въ единое цѣлое многочисленныхъ представительницъ различныхъ націй, соціальныхъ положеній, возрастовъ... На всѣхъ лицахъ замѣчалось сосредоточенное, напряженное ожиданіе чего-то особеннаго, выходящаго изъ круга обыденной жизни.

Половина 8-го, а громадная зала Queen's Hall, партеръ и амфитеатръ уже полны народа. Изъ глубины освѣщенной a giorno залы несутся густые, величественные звуки органа. Во всей атмосферѣ ощущается нѣчто торжественное, невольно захватывающее даже посторонняго, не посвященнаго зрителя. Какое же событіе, какой общій интересъ привлекъ сюда столько народа? Что соединило и связало сегодня эту разнохарактерную толпу?

Сегодня самыя талантливыя и даровитыя представительницы женской интеллигенціи въ Англіи, члены „Національнаго союза для предоставленія женщинамъ политическихъ правъ", вновь публично заявляютъ протестъ противъ политическаго безправія женщинъ,—противъ исключенія ихъ изъ области англійской конституціи. Годичный митингъ союза имѣетъ сегодня тѣмъ болѣе торжественный характеръ, что онъ является отчасти интернаціональнымъ: на него приглашены многія иностранныя делегатки, съѣхавшіяся въ Лондонъ на международный женскій конгрессъ.

Уже 30 лѣтъ идетъ въ Англіи борьба женщинъ за юридическія, соціальныя и политическія права, борьба то тихая и медленная—на почвѣ литературы и устной проповѣди, то болѣе активная—посред-

ствомъ петицій и биллей въ палатѣ общинъ. Со времени Джона-Стюарта Милля, положившаго начало движенію, не мало политическихъ дѣятелей съ широкими, истинно либеральными взглядами выступали за идею равноправности. Усилія ихъ до сихъ поръ разбивались о каменную стѣну вѣковыхъ предразсудковъ. Да, какъ это ни странно на первый взглядъ, но типичный англичанинъ, по существу своему, консервативенъ. Гордясь политическими учрежденіями, богатствомъ и могуществомъ своей страны, дорожа болѣе всего индивидуальной свободой, онъ въ то же время недовѣрчиво относится ко всякимъ новшествамъ, ко всякимъ радикальнымъ, быстрымъ перемѣнамъ. Счастливый и довольный своимъ statu quo, онъ съ равнымъ презрѣніемъ относится какъ къ неподвижной системѣ автократическихъ режимовъ, такъ и къ политическимъ бурямъ, прототипомъ коихъ является для него французская революція 1789 г. Но самодовольство, порождая эгоизмъ, нерѣдко суживаетъ умственный кругозоръ. И англійская нація, при всемъ развитіи политическаго сознанія, не вполнѣ доросла еще до понятія истинной свободы и равенства, яркой иллюстраціей чего является исторія женскаго движенія въ Англіи.

Правда, идея женской равноправности, политической и юридической, не замерла здѣсь; и въ практической области уже многое завоевано, благодаря неустанной энергичной пропагандѣ. Женщины имѣютъ теперь право голоса въ мѣстномъ областномъ и въ городскомъ самоуправленіи, а это первый шагъ на пути къ осуществленію общей политической реформы. 30-тилѣтній опытъ убѣдилъ сторонницъ женскаго движенія въ необходимости терпѣнія и мужества. Ихъ поддерживаетъ вѣра въ идею, убѣжденіе, что—рано или поздно—справедливость восторжествуетъ. Притомъ, если 30 лѣтъ—громадный періодъ въ жизни индивидуальной личности, въ исторіи движенія—это моментъ, не болѣе. Итакъ, дѣятельно продолжая пропаганду въ литературѣ и обществѣ, представительницы женскаго движенія приняли выжидательный образъ дѣйствія. Но тактика эта не исключаетъ публичныхъ, открытыхъ демонстрацій, и, съ цѣлью заявить передъ страной свое credo, подтвердить свои требованія, общество женскихъ политическихъ правъ ежегодно устраиваетъ торжественный публичный митингъ. Это какъ бы рекогносцировка партіи и въ то же время публичный протестъ противъ соціальныхъ и политическихъ несправедливостей, тяготѣющихъ надъ половиной человѣческаго рода.

Такой смыслъ имѣлъ и нынѣшній годичный митингъ „Національнаго союза для предоставленія женщинамъ политическихъ правъ“, къ которому мы и возвратимся.

Торжественной обстановкѣ соотвѣтствовало общее приподнятое настроеніе аудиторіи. Къ 8-ми часамъ весь амфитеатръ и партеръ пестрѣлъ яркими элегантными туалетами, среди которыхъ рѣзко выдѣлялись строгія фигуры въ черныхъ платьяхъ и въ бѣлыхъ чепчи-

кахъ: это сестры - члены различныхъ братскихъ и миссіонерскихъ обществъ. Во всей громадной залѣ едва ли можно было встрѣтить одно незанятое мѣсто. На эстрадѣ, расположенной амфитеатромъ, размѣстились совѣтъ „Общества женскихъ политическихъ правъ", члены его и делегаты многочисленныхъ филіальныхъ отдѣленій общества. Около предсѣдательскаго кресла заняли мѣста наиболѣе извѣстныя представительницы женскихъ обществъ. Изъ нихъ рѣзко выдѣляется брюнетка съ крупными, своеобразными чертами лица, выражающими непреклонную волю и энергію. Это—еврейка, г-жа Уинфордъ Филлипсъ, основательница женскаго института въ Лондонѣ, извѣстная своимъ ораторскимъ талантомъ, страстнымъ краснорѣчіемъ, прорывающимся какъ потокъ вулканической лавы и увлекающимъ публику. Около самаго предсѣдательскаго кресла заняла мѣсто маленькая тщедушная старушка за 80 лѣтъ, съ мелкими чертами лица, освѣщенными прелестными полными ума и жизни глазами. Это—миссъ Антони, знаменитая американская феминистка, 50 лѣтъ тому назадъ, первая, давшая толчокъ женскому движенію въ Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ и теперь, на склонѣ лѣтъ, переплывшая океанъ, чтобы сказать слово ободренія своимъ единомышленницамъ. Появленіе г-жи Антони было привѣтствовано громомъ рукоплесканій; и маленькая фигурка старушки на минуту исчезла за громадной корзиной поднесенныхъ цвѣтовъ.

Ровно въ 8 часовъ на эстраду вступила предсѣдательница собранія, г-жа Фауссетъ, извѣстная политико-экономистка и защитница женскихъ политическихъ правъ. Среднихъ лѣтъ, въ простомъ сѣромъ платьѣ, безъ всякихъ украшеній, съ гладко зачесанными волосами, г-жа Фауссетъ поражаетъ простотой обращенія и полнымъ отсутствіемъ всего показного. Самые ярые скептики, оплакивающіе утрату „женственности" въ современныхъ общественныхъ дѣятельницахъ, принуждены смолкнуть при видѣ миссъ Фауссетъ: столько въ ней благородной простоты, столько скромности въ соединеніи съ спокойнымъ достоинствомъ.

Засѣданіе открылось рѣчью предсѣдательницы. Очертивъ въ краткихъ словахъ женское движеніе за послѣднія 30 лѣтъ, г-жа Фауссетъ остановилась на послѣднемъ эпизодѣ въ его исторіи—на парламентскомъ актѣ, исключающемъ женщинъ изъ лондонскаго муниципальнаго правленія. Актъ этотъ, ничѣмъ не мотивированный, является новымъ доказательствомъ, что политическія права—главнѣйшее орудіе противъ несправедливости, и въ этомъ отношеніи онъ послужитъ лишь дальнѣйшей поддержкой движенія.

Послѣ г-жи Фауссетъ небольшую рѣчь произнесъ г. Фэтфуль-Бэггъ, адвокатъ женскихъ правъ въ палатѣ общинъ. Онъ прочелъ слѣдующее постановленіе собранія, привѣтствованное общими аплодисментами: „Митингъ стоящихъ за политическія права женщинъ Ве-

ликобританіи и Ирландіи привѣтствуетъ собравшихся на международный конгрессъ делегатокъ изъ всѣхъ частей свѣта. Многія изъ нихъ, добившись для женщинъ политическихъ правъ, содѣйствовали возбужденію великаго движенія—признанія гражданскихъ правъ женщины. Мы благодарны имъ за руководство, и въ свою очередь мы желаемъ оказать содѣйствіе тѣмъ колоніямъ и націямъ, которыя отъ насъ отстали. Мы сознаемъ, что на Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ и на Великобританіи съ ея колоніями лежитъ обязанность провести и довершить принципъ представительныхъ учрежденій; показать всему свѣту, что народное представительство означаетъ представительство всего народа и что оно не соотвѣтствуетъ своему значенію, пока изъ него исключены женщины—половина всей націи".

Слово было затѣмъ предоставлено г-жѣ Уинфордъ Филлипсъ, Дантону современнаго женскаго движенія, и звучный низкій контральто ея, какъ густой звонъ колокола, наполнилъ все громадное пространство залы, отъ партера до высшихъ рядовъ амфитеатра. Боевымъ кликомъ, смѣлымъ вызовомъ прозвучали слова ея. Г-жа Уинфордъ Филлипсъ въ краткой рѣчи отмѣтила несостоятельность аргументовъ враговъ женской равноправности, преобладаніе въ нихъ чувства надъ логикой. Женщины,—говорятъ они,—стоятъ слишкомъ высоко и въ то же время слишкомъ низко, чтобы принимать участіе въ общественной и политической жизни... Женщинъ принято называть ангелами,—такъ зачѣмъ же связывать имъ крылья? Говорятъ также, что появленіе женщинъ на политической аренѣ вызоветъ раздоры; но когда же мужчины были между собой согласны?.. Г-жа Уинфордъ Филлипсъ закончила рѣчь воззваніемъ къ аудиторіи: „Помните,—сказала она,—что политическія права—главное средство, основа для добра. Политическій голосъ—это совѣсть націи".

Слѣдующій ораторъ, г-жа Лительтонъ, указала на соціальныя и экономическія условія, требующія предоставленія женщинамъ политическихъ правъ. Прошли тѣ дни, когда поэтъ Китсъ воспѣвалъ женщинъ „какъ бѣлоснѣжныхъ ягнятъ, жалобно взывающихъ къ покровительству мужчины". Ягнята теперь выросли, они уже не нуждаются въ опекѣ и покровительствѣ.

Общимъ энтузіазмомъ была встрѣчена слѣдующая рѣчь г-жи Антони, ветерана женскаго движенія. Г-жа Антони, указавъ на мотивы, вызвавшіе женское движеніе, представила картину настоящаго положенія женщины въ различныхъ американскихъ штатахъ. Всего въ 4-хъ штатахъ предоставлены имъ политическія права; но какъ великъ совершившійся въ наше время прогрессъ, если взглянуть лѣтъ за 50 тому назадъ! Для иллюстраціи г-жа Антони разсказала эпизодъ изъ своей жизни въ качествѣ школьной учительницы; это было въ половинѣ настоящаго вѣка. Однажды, когда въ школьномъ совѣтѣ—въ одной нью-іоркской школѣ—дебатировались важные вопросы, она по-

просила слова у предсѣдателя совѣта, профессора Девисъ. Просьба эта вызвала общее удивленіе, и совѣтъ полчаса обсуждалъ вопросъ позволить ли ей говорить или нѣтъ? Очевидно, профессоръ Девисъ полагалъ, что предоставленіе женщинѣ слова унизитъ ее до уровня мужчины. Тотъ же взглядъ встрѣчаемъ мы въ настоящее время по отношенію къ политическимъ правамъ женщинъ.

Слѣдующій ораторъ, г. Ривсъ, изъ Новой Зеландіи, указалъ на вліяніе парламентской реформы въ этой странѣ. Предоставленіе женщинамъ политическихъ правъ совершилось $5^1/_2$ лѣтъ тому назадъ. Но хотя реформа эта и юная по количеству лѣтъ, она уже превзошла всѣ ожиданія. Введеніе ея не сопровождалось бурей и революціей, она прошла спокойно и тихо. Женщины внесли въ управленіе страны здравый смыслъ и дѣловитость, и парламентъ, избранный съ ихъ участіемъ, первый провелъ билль о короткихъ спичахъ въ парламентѣ. Вообще Новая Зеландія много выиграла отъ участія женщинъ въ политической жизни. Метрополія,— замѣтилъ ораторъ,— вообще гордится своими колоніями; но когда представляется случай воспользоваться примѣромъ, говорятъ, что та или другая колонія слишкомъ мала, юна и т. д. Но вѣдь колонисты, мужчины и женщины, мало чѣмъ отличаются отъ британцевъ: та же религія, тѣ же законы, обычаи, та же литература и тѣ же предразсудки. Почему же не испробовать и тѣ же политическія реформы?

Фрау Стритъ, депутатка изъ Германіи, указала на положеніе женскаго вопроса въ этой странѣ. Женщина въ Германіи давно сознала необходимость политическихъ правъ *), но до сихъ поръ она терпѣливо ждала изъ опасенія возстановить противъ себя мужчинъ. Такая выжидательная тактика длится уже 30 лѣтъ. Въ настоящее время германская женщина сознала, что чрезмѣрная осторожность можетъ перейти въ неосторожность: все доказываетъ, какъ мало интересы ея принимаются въ расчетъ мужчинами. Несмотря на такое сознаніе, никакого билля о политическихъ правахъ женщинъ еще не было представлено въ парламентъ; ибо существуетъ въ Германіи законъ, воспрещающій подросткамъ и женщинамъ принимать участіе въ политикѣ.

Послѣ Фрау Стритъ слово было предоставлено леди Сомерсетъ, вице-предсѣдательницѣ „World's Women's Christian Union", одной изъ наиболѣе выдающихся піонерокъ современнаго гуманитарнаго движенія въ Англіи. Мы приведемъ большую часть ея талантливой рѣчи. „Требованіе политическихъ правъ для женщины,—такъ начала она,— было первымъ организованнымъ протестомъ противъ несправедливости, отмѣчающей судьбу половины человѣческаго рода... Это единственный въ исторіи примѣръ, когда предъявляется требованіе сво-

*) Мать феминистскаго движенія въ Германіи—Луиза Отто.

боды и правъ во имя половины человѣческаго рода". „Слова эти,— замѣтила леди Сомерсетъ,— принадлежатъ не женщинѣ, протестующей противъ своихъ обидъ или требующей правъ, но одному изъ самыхъ выдающихся и безпристрастныхъ представителей настоящаго поколѣнія, человѣку съ свѣтлымъ умомъ и широкимъ кругозоромъ, Венделю Филлипсъ.

„Окидывая медленнымъ взоромъ исторію каждаго просвѣщеннаго правительства, мы видимъ эволюцію, изъ которой оно постепенно развивалось подъ вліяніемъ религіи и цивилизаціи; и каждая реформа при ея появленіи должна была бороться противъ эгоизма тѣхъ, кто желалъ сохранить statu quo наперекоръ справедливости и праву. Сначала предстояло установить свободу всѣхъ классовъ, затѣмъ—матеріальнаго обезпеченія, далѣе—свободу мысли и слова, наконецъ—свободу религіозныхъ убѣжденій.

„Шагъ за шагомъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе велась эта борьба за свободу. И соціальное зданіе прошлаго всегда возставало противъ прогрессивнаго движенія будущаго. Можно ли поэтому дивиться, что реформа, наносящая ударъ всему зданію каждой націи, приближается лишь медленно, такъ медленно, что движеніе это кажется иногда незамѣтнымъ?—Но хотя съ каждымъ годомъ многія изъ насъ теряютъ надежду увидѣть торжество справедливости, я, съ съ своей стороны, не сожалѣю объ этомъ замедленіи. Отсрочка реформы имѣетъ важное значеніе для женщины въ настоящемъ кризисѣ: отсрочка дастъ ей время пополнить образованіе, усвоить пониманіе истинныхъ принциповъ, на которыхъ основано требованіе реформы, и болѣе глубокое убѣжденіе въ ея необходимости.

„Мужчина имѣетъ право голоса во имя того принципа, что уплата податей и привилегій должна идти рука объ руку. Это—основа правительствъ всѣхъ свободныхъ государствъ. Женщина по уму можетъ отличаться отъ мужчины, но никто не станетъ отрицать, что средняго уровня женщина стоитъ на одномъ уровнѣ съ среднимъ мужчиной; и если послѣдній пользуется привилегіями независимо отъ его умственнаго уровня, то и женщина, имѣющая право собственности, право опеки надъ своими дѣтьми,—и она способна вотировать наравнѣ съ мужчиной, который несетъ тѣ же отвѣтственности.

„Исторія даетъ намъ фактическія доказательства, что женщина оказывается на высотѣ возложенной на нее отвѣтственности. Взгляните на королевъ, прославившихся въ исторіи, занявшихъ въ ней мѣсто наравнѣ съ величайшими монархами. Королевы эти не были исключительными женщинами, избранными за умственное превосходство; нѣтъ, отвѣтственность пала на нихъ, благодаря случайности рожденія. Между тѣмъ можно ли отрицать государственныя ихъ способности, имѣя такіе примѣры, какъ королева Елизавета, королева Анна, Марія Терезія, Екатерина II, Маргарита австрійская, а въ наше

время—королева Викторія? Итакъ, тамъ, гдѣ на женщину падала отвѣтственность, она оказывалась равной мужчинѣ.

„Есть другой, болѣе спеціальный аргументъ. Говорятъ, женщина можетъ ввѣрить свои интересы заботливой охранѣ мужчины. Никто болѣе меня не сознаетъ, насколько мы обязаны мужчинамъ. Никто болѣе меня не осуждаетъ стремленіе выставить интересы женщинъ какъ бы въ противоположность интересамъ мужчинъ. Весь status женщинъ утратилъ бы значеніе въ моихъ глазахъ, если бы онъ не явился частью великаго гуманитарнаго вопроса, съ которымъ связаны счастіе и благополучіе всего человѣчества. Вопросъ не въ томъ только, „что лучше всего для женщинъ", но также—„что лучше всего для мужчинъ". И я убѣждена, что хотя мужчины во многихъ случаяхъ устанавливали справедливые законы по отношенію къ женщинамъ, тѣмъ не менѣе они не въ состояніи понять сложные вопросы въ ея положеніи такъ, какъ она ихъ понимаетъ.

„Но мужчины указываютъ на суетность громаднаго большинства женщинъ. „Взгляните,—говорятъ они,—на модные журналы, любимую литературу женщинъ, и скажите, можетъ ли женщина средняго уровня пользоваться правомъ голоса?" Я не стану сравнивать пустоту женщины съ пустотой мужчины (иногда хотѣлось бы, чтобы погрѣшности мужчинъ носили столь же невинный характеръ), но я хочу подчеркнуть фактъ, что отвѣтственность самое могущественное орудіе воспитанія. Мы всѣ видали, какъ люди пустые, мужчины и женщины, совершенно мѣнялись съ той минуты, какъ на нихъ возлагалась какая-нибудь серьезная отвѣтственность. Легкомысліе исчезало, отвѣтственность содѣйствовала образованію характера, и тѣ самые вопросы, которые прежде казались неинтересными и неважными, пріобрѣтали жизненное значеніе. А если это такъ, по какому праву отказывать женщинѣ въ воспитательномъ вліяніи отвѣтственности? Мужчина, быть можетъ, готовъ представлять ее въ политическомъ отношеніи, но онъ не несетъ ни одной изъ отвѣтственностей, сопряженныхъ съ ея гражданскимъ положеніемъ. Когда на рукахъ женщины остается семья—дѣти, ни одинъ мужчина не является, чтобъ уплачивать за нее подати. Когда женщина осуждена закономъ, ни одинъ мужчина не вызовется нести за нее наказаніе. Женщины въ Германіи и Италіи работаютъ на большихъ дорогахъ, жнутъ въ поляхъ; во Франціи онѣ пашутъ. Я не замѣчала, чтобы мужчины считали нужнымъ облегчать имъ бремя труда. Они ничего не имѣютъ противъ того, чтобы женщина взяла на себя часть міровой работы...

„Какіе вопросы сопряжены съ управленіемъ каждой страны? Сношенія съ иностранными государствами, финансы; затрогивающіе общественную жизнь—религіозные, воспитательные и нравственные вопросы; санитарное положеніе городовъ и т. п. Едва ли кто-нибудь признаетъ удовлетворительными условія, которыхъ мы достигли даже при

— Нѣтъ, нѣтъ, объ этомъ не надо говорить... Я слабая... Гораздо слабѣе васъ... Я ничего не могу... Пожалѣйте меня...— Она отвернулась и заплакала; вся ея гибкая, тоненькая фигурка судорожно заколыхалась.

И слезы эти пронзили ему душу, тронули до того, что онъ самъ едва не заплакалъ отъ жгучей жалости къ ней. Жалость эта парализовала его порывъ, смирила его, успокоила.

Онъ робко прикоснулся рукою къ ея платью и сказалъ съ тою мягкою ласковостью, съ какою нѣжная мать утѣшаетъ любимое дитя свое:

— Ну, ну... Не мучьте себя, успокойтесь... Я сдѣлалъ вамъ больно, вы плачете... Простите меня... Я больше ничѣмъ и никогда не встревожу васъ. Для вашего счастія и покоя я радъ отдать по каплѣ всю кровь свою... Забудьте мой порывъ!..

Она, наконецъ, смолкла, вытерла слезы ладонями рукъ, подняла голову и взглянула на него взглядомъ какого-то необъяснимаго выраженія, отъ котораго все лицо ея, и безъ того милое, дорогое ему, стало еще милѣе, еще дороже.

И, боясь причинить ей новую боль, боясь вызвать новый припадокъ слезъ, онъ подавилъ въ себѣ страстное желаніе говорить съ нею, даже глядѣть на нее.

Молча дошли они до поворота аллеи, молча подалъ онъ ей руку холодную и дрожащую. Едва прикоснулась она къ его ладони своими тонкими пальцами, тоже трепещущими и холодными.

Онъ вздохнулъ подавленно и тяжко, бросилъ на нее послѣдній взглядъ, которымъ онъ и прощался съ ней, и ласкалъ ее горячо и нѣжно, повернулся и пошелъ по направленію къ калиткѣ сада, быстро-быстро, словно убѣгая отъ нея.

А она осталась одна, вся встревоженная, напряженная тоской и страхомъ и счастливая. Счастливая, торжествующая, несмотря на то, что все существо ея отчаянно и мучительно протестовало, сопротивляясь этому счастію, убѣгало отъ него, боролось съ нимъ и падало побѣжденное, безсильное.

Вотъ онъ ушелъ, не услыхавъ отъ нея ни одного слова сочувствія, ушелъ отвергнутый ею, а теперь ей уже жаль его... до того жаль, что она готова броситься слѣдомъ за нимъ, вернуть его и заласкать и успокоить... Она вся дрожитъ отъ стыда и страха, отъ предчувствія неизбѣжной бѣды и въ то же время внутри у нея, въ самыхъ глубокихъ и невѣдомыхъ тайникахъ сердца, что-то ноетъ и трепещетъ радостно, побѣдно.

— О, да какъ же все это примирить, согласовать?! Зачѣмъ радость живетъ на ряду съ мукою, со зломъ, съ чернымъ, безобразнымъ вѣроломствомъ?.. Зачѣмъ счастіе одного вызываетъ страданіе другого?..

И, взглянувъ на далекое небо, тихое и свѣтлое, на мѣсяцъ, величавый и безстрастный, она опять вся затрепетала, вся прониклась ка-

кимъ-то безыменнымъ порывомъ, мучительнымъ и сладкимъ, отчаяннымъ и нѣжнымъ и безконечно грустнымъ. Слезы обильныя и горячія брызнули у нея изъ глазъ и побѣжали по щекамъ крупными алмазными каплями.

А вокругъ нея попрежнему все было тихо.

Но тишина эта, задумчивая и грустная, мятежная и страстная, имѣла свои звуки. „Живи и мечтай, и борись, — казалось, говорили эти звуки. — Отдавай твое трепетное сердце тѣмъ ранамъ, которыя милы ему, которыхъ оно смутно жаждетъ и безъ которыхъ не можетъ жить... Живи и мечтай, и страдай, страдай!.. Быть можетъ, въ концѣ концовъ страданье твое породитъ состраданіе и ту любовь, жалостливую и самоотверженную, великую и безгрѣшную, которая одна только даетъ тоскующей душѣ счастіе и миръ, и свѣтлую, небесную радость“.

А. Краждіевская.

достаточно: ярлыкъ, официальное званіе замѣняетъ способности, умъ, талантъ!.. Какое печальное явленіе, особенно когда встрѣчаешься съ нимъ въ странѣ свободы и равенства!

Итакъ, пресса или умолчала о митингѣ 29 іюня, или констатировала его официально, какъ обыденный заурядный фактъ, — какъ фактъ, не имѣющій болѣе значенія, чѣмъ десятки и сотни другихъ, ежедневно происходящихъ митинговъ. Съ своей точки зрѣнія, англійская пресса, быть можетъ, и права. Сторонники женскаго движенія составляютъ пока меньшинство,—правда, избранное, передовое меньшинство, но все-таки количество незначительное; а печать вѣдь работаетъ для большинства—для массы. Но какое дѣло массѣ до женскихъ правъ и вообще до какихъ-либо правъ, кромѣ непосредственно затрогивающихъ ея интересы? Газета, притомъ, читается не для поученія, а для развлеченія. Не интереснѣе ли прочесть о скандальномъ процессѣ, сенсаціонномъ убійствѣ, о скачкахъ и призахъ,—чѣмъ вдумываться въ политическое и общественное profession de foi нѣсколькихъ сотенъ тысячъ женщинъ? И откуда,—недоумѣваетъ читатель изъ толпы,—откуда это новшество? Откуда всѣ эти безпокойные элементы, чѣмъ-то недовольные, чего-то добивающіеся? Вѣдь обходились же наши прабабушки и бабушки безъ всякихъ политическихъ и соціальныхъ взглядовъ!

Такъ думаетъ масса, такъ вторитъ, угождая ей, пресса. И въ такомъ отношеніи къ женскому вопросу нѣтъ рѣзкой демаркаціонной линіи, отдѣляющей въ Англіи либеральную партію отъ консервативной. Не то видимъ мы у насъ въ Россіи. У насъ либерализмъ, практически, по необходимости суженный, отвлеченно обнимаетъ гораздо болѣе широкое понятіе: для него не существуетъ границъ расы, касты или пола.

Въ Англіи нѣтъ либеральной партіи въ томъ широкомъ, отвлеченно-идеальномъ смыслѣ, какъ у насъ. Въ Англіи есть много различныхъ либеральныхъ партій, и каждая имѣетъ болѣе или менѣе строго выработанную программу, которая служитъ рулемъ въ общественно-политическомъ образѣ дѣйствій каждой изъ нихъ. Женскій вопросъ пока стоитъ на знамени лишь сравнительно немногочисленной либеральной группы. Но стоитъ лишь приглядѣться, чтобы убѣдиться, что движеніе прогрессируетъ, хотя и медленно,—прогрессируетъ количественно и качественно. Живая струя его постепенно захватываетъ все новыя общественныя волны. Не мало, правда, встрѣчается на пути подводныхъ камней и мелей, задерживающихъ непрерывное, спокойное теченіе волнъ, препятствующихъ впаденію ихъ въ океанъ общечеловѣческаго, братскаго единенія. Но если оглянуться 30 лѣтъ назадъ, какъ громадно пройденное разстояніе!

30 лѣтъ назадъ для женщины закрыты были въ Англіи почти всѣ отрасли дѣятельности, за исключеніемъ домашней; теперь уже

сотнями насчитываются области, гдѣ примѣняется женскій трудъ. Одна за другой постепенно падаютъ соціальныя преграды, тормозившія путь женщины, преобразовываются несправедливые законы и обычаи...

Въ этомъ поступательномъ движеніи главная заслуга принадлежитъ женскимъ политическимъ и соціальнымъ организаціямъ. Не даромъ прошли для нихъ уроки отечественной исторіи: учительницей ихъ является исторія развитія политическихъ партій въ Англіи. Поборницы женскаго движенія черпаютъ изъ нихъ уроки гражданской мудрости, познаютъ главныя качества, обезпечивающія конечный успѣхъ: умѣніе терпѣливо ждать, стойко переносить временныя невзгоды, жертвовать собой во имя долга, цѣнить торжество идеи выше временнаго личнаго торжества. Счастлива страна, гдѣ процвѣтаютъ такія гражданскія добродѣтели!

Такъ писала я лѣтомъ 1899 г. подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ политическаго митинга въ Queen's Hall. Митингъ этотъ, какъ уже было замѣчено, характеризуетъ общее направленіе и настроеніе представительницъ женскаго движенія въ Англіи. Отличительныя черты его— отсутствіе всякихъ личныхъ, эгоистичныхъ мотивовъ, глубокая вѣра въ идею, серьезное, вдумчивое къ ней отношеніе, самоотверженная преданность намѣченной цѣли...

Отрадныя впечатлѣнія женскаго конгресса въ Лондонѣ 1899 г. естественно вызвали желаніе взглянуть на другой женскій конгрессъ. Во время парижской всемірной выставки прошлаго лѣта было организовано три интернаціональныхъ женскихъ конгресса. Вниманіе наше особенно привлекъ 3-й „Congrès International de la condition et des droits des femmes", гдѣ, казалось, должны были затронуться наиболѣе серьезные, животрепещущіе вопросы.

Конгрессу 5-го сентября 1900 г. предшествовала долгая, хлопотливая переписка. Организаціонный комитетъ обращался съ торжественными воззваніями къ иностраннымъ дѣятельницамъ по женскому вопросу, начиная съ сосѣднихъ странъ и кончая Соединенными Штатами, Мексикой и т. д., приглашая ихъ на интернаціональный конгрессъ, долженствовавшій сблизить между собой женщинъ разныхъ странъ, помочь имъ сплотиться и дружно дѣйствовать во имя общей цѣли. Были выработаны и правила, устанавливавшія порядокъ занятій, преній, при чемъ каждому члену конгресса предоставлялось для слова 10 минутъ; а женская газета „Фронда", являвшаяся душой конгресса, обѣщала дать точный отчетъ преній и всего происходившаго на конгрессѣ. И вотъ, увѣровавъ во всѣ эти обѣщанія, заинтересовавшись обширной, многорѣчивой программой, весьма многія горячо отозвались на призывъ организаціоннаго комитета. Не малое количество прислано было рефератовъ; съѣхалось къ 5-му сентября не малое число иностранныхъ делегатокъ и приглашенныхъ. У всѣхъ еще свѣжо было

воспоминаніе предыдущаго конгресса въ Лондонѣ и всѣ съ нетерпѣніемъ вновь ждали горячаго обмѣна мыслей, преній, интересныхъ сообщеній... Но исторія не любитъ повтореній. И новый конгрессъ явился для иностранокъ цѣлымъ рядомъ неожиданностей.

5-го сентября состоялось, во Дворцѣ Конгрессовъ, открытіе ***Международнаго конгресса по вопросу о положеніи и правахъ женщинъ.*** Всѣхъ иностранныхъ делегатокъ торжественно разсадили на эстрадѣ; торжественно прочли имена ихъ и полномочія, при чемъ для большей важности въ число делегатокъ были включены и частныя лица, ничего общаго съ делегаціями не имѣвшія, и... этимъ почти ограничилось участіе въ конгрессѣ иностранныхъ элементовъ. Ради экономіи времени изъ каждаго реферата было взято нѣсколько фразъ для внесенія въ общій докладъ той или другой секціи, при чемъ выводы получались иногда самые неожиданные и противорѣчивые. Подлинные же рефераты безслѣдно куда-то исчезли, куда—никто изъ организаторовъ конгресса не могъ выяснить. Наконецъ, принадлежавшее по регламентамъ каждому члену право слова въ теченіе 10 минутъ оказалось почти исключительной прерогативой представительницъ французской націи: хозяйки конгресса, очевидно, считали, что для иностранокъ достаточно чести присутствовать на ихъ торжествѣ, выслушивать ихъ рѣчи, пренія и пожеланія („voeux"). Но, спрашивается, къ чему же, при такомъ отношеніи къ дѣлу,—къ чему было разсылать пригласительныя письма, тратить столько времени на корреспонденцію, печатать регламенты, не предназначавшіеся къ практическому примѣненію?

Вопросъ объясняется весьма просто. Международные конгрессы вошли за послѣдніе годы въ моду, и кружокъ „Фронды" не захотѣлъ отстать отъ времени. И вотъ иностранныя делегатки были привлечены въ качествѣ неизбѣжнаго аккомпанемента всякаго современнаго конгресса. Онѣ сыграли на эстрадѣ Дворца Конгрессовъ роль декораціи, замѣнивъ собой цвѣты и зелень, которыми прежде было принято украшать торжественное собраніе.

Такой постановкѣ международнаго женскаго конгресса соотвѣтствовалъ и общій его характеръ. Въ программѣ его стояло не мало интересныхъ вопросовъ, но не было ни порядка, ни строгой послѣдовательности въ ихъ обсужденіи. Въ числѣ ближайшихъ участницъ конгресса было нѣсколько лицъ убѣжденныхъ и симпатичныхъ, но словомъ безпрестанно завладѣвали не призванные и не признанные ораторы, болѣе всего упивавшіеся звукомъ собственныхъ словъ. Слова, слова и слова!.. О, какъ часто вспоминалась на этомъ конгрессѣ (да и на многихъ другихъ конгрессахъ, ознаменовавшихъ всемірную французскую выставку) одна изъ лучшихъ и практически наименѣе примѣняемыхъ во Франціи поговорокъ: „la parole est d'argent, le silence—d'or!"

Духъ легкомыслія, столь присущій французской націи, какъ неуловимый микробъ, незамѣтно вкрадывался въ самые серьезные вопро-

сы и обсужденія: вопросы о совмѣстномъ образованіи, о бракѣ, о женскомъ костюмѣ—часто, рядомъ съ серьезными мыслями, вызывали юмористическія замѣчанія, остроты, шутки. Безъ такихъ intermezzo не обошлась даже предсѣдательница конгресса, одна изъ наиболѣе серьезныхъ дѣятельницъ по женскому вопросу, г-жа Поньонъ, сообщившая между прочимъ въ своей торжественной рѣчи при открытіи конгресса, что важные общественные вопросы отнюдь не мѣшаютъ женщинѣ быть хорошей хозяйкой; что сама она, г-жа Поньонъ, такъ прекрасно варитъ варенье, что пріятельницы ея безпрестанно присылаютъ къ ней за рецептами, такъ что она даже думала представить конгрессу образцы своихъ произведеній, но побоялась, чтобы варенье не отвлекло собранія отъ серьезныхъ его задачъ, и т. п....

Шутка имѣетъ свою хорошую сторону,—она часто поддерживаетъ благодушное, веселое настроеніе; но—всему свое мѣсто и свое время. И печально, если вниманіе интеллигентнаго собранія поддерживается лишь при помощи остротъ и шутокъ, часто весьма банальныхъ и пошлыхъ.

Наиболѣе скромное мѣсто на этомъ своеобразномъ конгрессѣ пришлось на долю наиболѣе интересовавшаго насъ вопроса—о политическихъ правахъ женщинъ, — вопроса, который (какъ заявила сама предсѣдательница), резюмируя собой всѣ прочіе, является самымъ важнымъ. И между тѣмъ, благодаря отнявшимъ массу времени словопреніямъ и безпорядочному веденію дѣла, изъ 4-хъ дней конгресса обсужденію политическихъ и общественныхъ правъ было посвящено не болѣе $^3/_4$ часа! Уже это одно даетъ мѣрило серьезности собранія и отношенія его къ поставленной задачѣ!

Мы не остановились бы на характеристикѣ женскаго конгресса 5-го сентября, если бы имъ произвольно не было присвоено названіе „интернаціональнаго“ и если бы его не сопровождали громкія рекламы и хвалебныя оды, вызвавшія цѣлый рядъ недоразумѣній. Въ значительной степени на конгрессѣ этомъ отразились спеціальныя черты, свойственныя тѣмъ элементамъ, которые его создали. Конгрессъ по вопросу о положеніи и правахъ женщинъ возникъ по иниціативѣ частнаго кружка, группирующагося вокругъ извѣстной женской газеты „La Fronde“ и его издательницы г-жи Дюранъ. Весьма возможно, что кружокъ этотъ принесъ свою долю пользы, распространяя полезныя свѣдѣнія и идеи. Къ сожалѣнію, на дѣятельности его темными пятнами легли индивидуальныя свойства главныхъ дѣйствующихъ лицъ: безмѣрное честолюбіе, стремленіе выдвинуться, играть роль quand même. И часто въ устахъ этихъ лицъ прекрасныя гуманныя слова являлись—увы!—румянами и бѣлилами, прикрывающими весьма некрасивыя индивидуальныя черты; хорошія мысли затемнялись узкими партійными стремленіями; серьезные вопросы отстранялись ради мелкихъ эгоистичныхъ побужденій... Всего прискорбнѣе то, что подобные факты даютъ оружіе въ руки враговъ прогресса, доставляя по-

водъ къ превратнымъ сужденіямъ и толкамъ о такъ наз. женскомъ вопросѣ. Мы думаемъ, что единичный фактъ не даетъ права дѣлать какіе-либо общіе выводы. Конгрессъ въ Лондонѣ 1899 г. дѣйствительно былъ конгрессомъ интернаціональнымъ, выражавшимъ принципы, идеи и стремленія передовыхъ общественныхъ дѣятельницъ въ Англіи и другихъ странахъ. Онъ явился важнымъ этапомъ въ развитіи женскаго вопроса, — этапомъ, память о которомъ надолго сохранится въ исторіи культуры. Онъ оставилъ намъ въ наслѣдіе и важный литературный трудъ — печатный матеріалъ всѣхъ представленныхъ на конгрессъ работъ, такъ же, какъ протоколовъ засѣданій.

Въ этихъ двухъ женскихъ конгрессахъ 1899 и 1900 гг. ярко выразились характерныя черты интеллигенціи англо-саксонской, съ ея болѣе высокою степенью культуры, съ ея серьезнымъ, вдумчивымъ отношеніемъ къ намѣченнымъ вопросамъ, съ уваженіемъ къ индивидуальнымъ взглядамъ и интересамъ, съ ея широкимъ гостепріимствомъ; и интеллигенціи французской—гораздо болѣе односторонней и узкой, болѣе всего озабоченной собственными интересами, разсѣянно глядящей на все, что выходитъ за предѣлы Франціи.

Мы назвали конгрессы 1899 — 1900 гг. „конгрессами женской Фронды“. Терминъ этотъ показываетъ, на нашъ взглядъ, двѣ разныя стороны медали, выражаетъ два весьма различныхъ отношенія къ тому теченію, которое онъ собой представляетъ. Женскій конгрессъ въ Лондонѣ явился грандіозной манифестаціей лучшей женской интеллигенціи почти всѣхъ странъ, протестомъ во имя справедливости и правды. Это было собраніе, такъ сказать, идейной Фронды. Второй женскій конгрессъ въ Парижѣ былъ манифестаціей ограниченнаго кружка, центральными фигурами въ которомъ явилось нѣсколько лицъ, будирующихъ вслѣдствіе неудовлетвореннаго честолюбія, во что бы то ни стало стремящихся выйти на авансцену общественной дѣятельности. Это былъ конгрессъ Фронды мелко эгоистичной, буржуазной. Менѣе всего заслуживая названіе „интернаціональнаго“, конгрессъ этотъ показалъ, какъ женщина еще мало развита во Франціи сравнительно съ Англіей и мало проникнута духомъ общественной солидарности, о которой столько теперь толкуютъ во Франціи; и какъ мало она еще подготовлена къ выполненію лежащей на ней миссіи прогресса. Таковы заключенія, которыя мы имѣемъ право вывести изъ парижскаго конгресса.

Въ исторіи женскаго движенія конгрессъ этотъ явился незначительнымъ, преходящимъ эпизодомъ — и только. И мы надѣемся, что впечатлѣніе этого эпизода вскорѣ изгладится; что французская женщина съ развитіемъ образованія и при правильномъ общественномъ воспитаніи—вскорѣ войдетъ въ новую эру и вступитъ на путь единенія съ женской интеллигенціей другихъ образованныхъ странъ.

Н. Мировичъ.

И. Гриневская

Изабелла Аркадьевна Гриневская начала свою дѣятельность переводами романовъ и повѣстей съ иностранныхъ языковъ, затѣмъ выступила на самостоятельный литературный путь критическими статьями, очерками и беллетристическими произведеніями. Послѣднія вышли въ текущемъ году отдѣльнымъ сборникомъ подъ названіемъ «Огоньки» (разсказы, стихотворенія, пьесы). Большинство пьесъ И. А. поставлено были на сценахъ Императорскихъ театровъ и литературно-артистическаго общества и друг. въ Петербургѣ, а также въ провинціи. Изъ критическихъ очерковъ назовемъ: «Мишель Монтэнь и его Essais» (журн. «Образованіе», 1896 г.) и «Гергардтъ Гауптманъ и мотивы его драмъ» («Журналъ Журналовъ», 1898 г.).

Изъ Асныка.

Зачѣмъ назадъ глядѣть уныло?
Зачѣмъ о прошломъ сожалѣть?
Ахъ, что взяла у насъ могила,
То будетъ въ ней навѣки тлѣть!

—

И что ушло, то не вернется.
Не въ силахъ ни огонь, ни мечъ
Земли, что вдаль, какъ мысль, несется,
Движенье мощное пресѣчь.

—

Зачѣмъ впередъ глядѣть сурово?
Дай мертвымъ мертвыхъ хоронить!
Зачѣмъ въ увядшій листъ лавровый
Чело упрямое рядить?

—

Встрѣчай все новое съ привѣтомъ,
Уйми тоску, безсильный гнѣвъ,
И пѣсню пой одну со свѣтомъ,
Забудь старинный твой напѣвъ!

—

Ахъ, что ушло, то не вернется!
Не въ силахъ ни огонь, ни мечъ, –
Земли, что вдаль, какъ мысль, несется,
Движенье мощное пресѣчь.

К. Гриневская.

ЕЛЕНА ИВАНОВНА АРДОВА.

Е. И. родилась въ 1846 году въ Оренбургѣ. Отецъ ея, генералъ-лейтенантъ, по происхожденію французъ, а мать—гречанка. Получивъ домашнее образованіе, она впослѣдствіи держала экзаменъ на домашнюю учительницу при петербургскомъ университетѣ, а затѣмъ слушала лекціи на философскомъ факультетѣ въ Женевѣ. Начало литературной дѣятельности Е. И. можно отнести къ половинѣ 70-хъ годовъ. До 1890 года жила много за границей, въ Крыму и Петербургѣ; съ этого времени окончательно поселилась въ Средней Азіи. Печаталась въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», «Русской Мысли», «Нивѣ» и многихъ другихъ газетахъ и журналахъ. Отдѣльными изданіями вышли «Руфина Козодоева», романъ въ 5 ч., и «Эскизы». Очерки среднс-азіатской жизни, печатающіеся въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», еще не окончены. Въ Петербургѣ литературно-артистическій кружокъ поставилъ драму Е. И. «Битые черепки». Главными произведеніями Е. И. считаются «Руфина Козодоева», «Безъ вины виноватые», «Выдающаяся женщина» и «Крымскіе очерки».

Натуся Кузьмы Кузьмича.

РАЗСКАЗЪ.

Дачники кронштадтской колоніи прекрасно знали отставного капитана 2-го ранга, Кузьму Кузьмича Автономова. Нѣсколько лѣтъ подъ рядъ нанималъ онъ у колонистки Анны Мауреръ крошечную дачку, куда, въ концѣ мая, переѣзжалъ изъ Кронштадта въ сопровожденіи Плехоты, стараго матроса, нѣкогда плававшаго съ нимъ по морямъ и океанамъ, старой собаки Лэди и стараго кота Чорта.

Зачѣмъ прозвали такъ мирнаго, жирнаго, рыжаго кота, никто не зналъ. По всей вѣроятности, прозвище это было дано ему въ дни его ранней юности, когда онъ, неизвѣстно кѣмъ подкинутый, водворился въ кухнѣ у Плехоты и оказался первостатейной блудней: то котлетку со стола стащитъ, то рыбу, то сливочникъ опрокинетъ. Плехота всплескивалъ руками и яростно вскрикивалъ: „Ахъ ты, чортъ этакій!.. Вотъ я тебя ужо!...“ Котенокъ улепетывалъ, задравъ хвостъ, изъ кухни, но немного погодя возвращался, какъ ни въ чемъ не бывало, и, скромно присѣвъ на заднія лапки, умильно посматривалъ щурясь на Плехоту, который, бывало, погрозитъ ему кулакомъ и только проворчитъ сквозь зубы: „Чортъ, право чортъ!.. Ужо попадись ты мнѣ въ другой разъ!..“

Чортъ да чортъ—иной клички блудливый котенокъ не слыхалъ, хотя современемъ превратился въ упитаннаго, откормленнаго, степеннаго кота, не только равнодушно относившагося къ съѣстному, безъ призора оставленному на кухонномъ столѣ, но даже къ приготовленному для него въ латкѣ вкусному обѣду подходившаго медленно, важно потягиваясь, будто только изъ вѣжливости уступая нѣжному призыву Плехоты. Однимъ словомъ, Чортъ сталъ примѣрнымъ котомъ. Плехота привыкъ къ коту, и котъ привыкъ къ Плехотѣ. Куда Плехота, туда и Чортъ по пятамъ за нимъ идетъ, чѣмъ старый матросъ не мало гордился.

— Умный котъ!.. хоша и животное, а все понимаетъ,—замѣчалъ онъ.

Какъ Чортъ не отставалъ отъ Плехоты, такъ Лэди не отставала

отъ Кузьмы Кузьмича. Лэди жила въ комнатахъ и спала на мягкомъ креслѣ у кровати Кузьмы Кузьмича. Чортъ жилъ въ кухнѣ и спалъ на жесткой постели Плехоты. Но это не мѣшало имъ быть въ большой дружбѣ, грѣться рядышкомъ въ саду на солнышкѣ и ѣсть изъ одной тарелки.

Плехота готовилъ незатѣйливый обѣдъ Кузьмы Кузьмича; онъ же убиралъ комнаты, чистилъ ему платье. Анна Мауреръ поставляла молоко и стирала бѣлье капитана и его матроса. Никакого другого соприкасательства она со своими жильцами не имѣла.

Кузьма Кузьмичъ, старый закоренѣлый холостякъ, не терпѣлъ женскаго пола; не терпѣлъ его и Плехота, хотя и женатый нѣкогда, но такъ давно овдовѣвшій, что успѣлъ забыть о краткой брачной жизни, предшествовавшей его матросской службѣ.

— Бабы!—цѣдилъ онъ сквозь зубы, сплевывая на сторону.—Кой въ нихъ толкъ... Одна съ ними маята...

Кузьма Кузьмичъ и Плехота состарились вмѣстѣ. Когда Кузьма Кузьмичъ, наживъ въ плаваньяхъ суставной хроническій ревматизмъ, вынужденъ былъ подать въ отставку и тѣмъ обречь себя на сухопутное житье, Плехота къ тому времени тоже получилъ чистую отставку и остался при своемъ капитанѣ, сопровождая его и въ Крымъ, и на Кавказъ, и за границу, куда врачи посылали капитана для излѣченія ревматизма.

Въ концѣ-концовъ Кузьма Кузьмичъ водворился въ Кронштадтѣ, наѣзжая оттуда лѣтомъ въ колонію.

Знакомые удивлялись выбору дачнаго пребыванія на сѣверѣ, убѣждали капитана ѣхать на югъ, но Кузьма Кузьмичъ съ ожесточеніемъ отвѣчалъ:

— Былъ-съ и на югѣ... Всюду былъ-съ... Можно сказать, весь скопленный капиталъ порастрясъ на эти вздорныя поѣздки... Никакого облегченія не получилъ... Здѣсь, по крайней мѣрѣ, я поблизости къ моей родинѣ...

— Развѣ Кронштадтъ ваша родина?—спрашивали его.

— Морское крещеніе въ немъ получилъ,—торжественно отвѣчалъ Кузьма Кузьмичъ.—Юнцомъ безбородымъ въ плаванье изъ него вышелъ.

Морское дѣло онъ считалъ выше всего; морскому дѣлу онъ отдалъ всю жизнь и морскому дѣлу были посвящены его помыслы, когда ему навсегда пришлось разстаться съ моремъ. Весь досугъ, всѣ часы одиночества въ промежуткахъ между острыми пароксизмами ревматизма были посвящены на составленіе обширной записки „О преобразованіи русскаго флота въ виду могущихъ произойти осложненій на Востокѣ“. Этому труду онъ придавалъ большое значеніе; этимъ трудомъ хотѣлъ закончить свое земное, многотрудное существованіе.

Въ городѣ общественныя условія отрывали его отъ любимаго

труда. Сѣдые моряки охотно навѣщали всѣми уважаемаго капитана; охотно навѣщала его и безусая молодежь. Кузьма Кузьмичъ былъ радушнымъ, рѣчистымъ, веселымъ хозяиномъ съ неистощимымъ запасомъ анекдотовъ и разсказовъ о быломъ.

Но на дачѣ Кузьма Кузьмичъ весь отдавался своему труду.

Уже пятый годъ жилъ капитанъ мирно въ колоніи съ Плехотой, Лэди и Чортомъ. Ничто, кромѣ жестокихъ приступовъ ревматизма въ ненастные дни, не нарушало единообразнаго существованія.

Однажды послѣ цѣлой серіи такихъ дней, когда іюньское небо, покрытое тонкими, сѣрыми облаками, напоминало безотрадную осеннюю пору, Кузьма Кузьмичъ, заснувъ только съ разсвѣтомъ, проснулся поздно.

Сквозь неплотно притворенную ставню проникъ лучъ солнца и весело разсыпался блестками на свѣтлыхъ обояхъ спальни, пропитанной запахомъ скипидара и сосноваго масла.

„А, проглянуло наконецъ!“ мрачно подумалъ капитанъ, слѣдя тусклымъ взоромъ за прыгавшими въ солнечномъ лучѣ пылинками.

Въ дверь заглянулъ Плехота и бочкомъ пролѣзъ въ нее съ кувшиномъ горячей воды.

— Что, поздно?—угрюмо спросилъ Кузьма Кузьмичъ.

— Не рано,—такъ же угрюмо отвѣчалъ Плехота, отворачивая въ сторону опухшее лицо съ посоловѣлыми глазами.

Онъ неувѣреннымъ шагомъ подошелъ къ умывальнику, поставилъ на него кувшинъ, открылъ ставни, потомъ приблизился къ капитану. Кузьма Кузьмичъ, опираясь на руку Плехоты, кряхтя, приподнялся на постели и спустилъ худыя, старческія, обмотанныя фланелью ноги на мѣхъ барса, лежавшій у кровати. Рука Плехоты была менѣе тверда, чѣмъ обыкновенно, и онъ какъ-то подозрительно отворачивалъ голову. Несмотря на эту предосторожность, рѣзкимъ запахомъ сивухи пахнуло въ лицо капитана. Кузьма Кузьмичъ выпустилъ руку матроса.

— Плехота!—грозно произнесъ онъ.

Старый матросъ, привычный къ командѣ, вытянулся и, продолжая держать голову въ бокъ, сипло пробормоталъ:

— Виноватъ, ваше вскобродіе!..

Капитанъ помолчалъ.

— Пошелъ вонъ, пьяница!—крикнулъ онъ еще болѣе грозно.

Плехота, держа руки по швамъ, повернулся, какъ во фронтѣ, вышелъ изъ спальни и, не останавливаясь, храня злобное выраженіе въ плотно сжатыхъ губахъ, прошелъ черезъ дворъ къ кухнѣ колонистки Анны Мауреръ. Здѣсь, не переступая порога открытой двери и презрительно глядя на хозяйку, чистившую у стола картофель, злобно спросилъ:

— Лоботрясъ дома?

— Кого ви такъ називайтъ?—съ достоинствомъ спросила хозяйка.

— Кого!.. Извѣстно кого!.. Сына твоего Іохана...

— Ви пьянъ!—съ отвращеніемъ промолвила хозяйка.

— Ну, пьянъ!—вдругъ бѣшенно закричалъ Плехота, подаваясь впередъ.—Тебѣ-то што?.. Не на твои деньги выпилъ!..

Замѣтивъ однако, что на лицѣ колонистки выразился испугъ и она отъ него попятилась, онъ заговорилъ хоть и заплетающимся языкомъ, но сдержанно:

— Твоего лоботряса, слышь, пошли къ нему, къ капитану моему... Меня, слышь, выгналъ... Гритъ, пьяница!.. Пшелъ вонъ, гритъ... А таперича, вишь, сидитъ... Кто ему таперича сапоги натянетъ?..

Онъ вопросительно посмотрѣлъ на колонистку, но, видя на ея кругломъ румяномъ мясистомъ лицѣ все то же выраженіе испуга, смѣшанное съ отвращеніемъ, махнулъ рукой и, слегка покачиваясь, зашагалъ обратно.

Немного погодя, неповоротливый, неуклюжій Іоганнъ прошелъ мимо него черезъ кухню въ спальню капитана.

Плехота, сидя на своей кровати, на которой, свернувшись клубочкомъ, спалъ котъ, мрачно посмотрѣлъ ему вслѣдъ. Чортъ проснулся и, выгибая спину, придвинулся къ матросу. Плехота положилъ ему заскорузлую руку на голову.

— Да, вотъ ты, братъ, понимаешь,—проговорилъ онъ.—Ты, братъ, знаешь... Ты не той глупой бабѣ чета... Ви пьянъ!.. Ну, пьянъ!.. Да вѣдь не до безчувствія... И воды ему нагрѣлъ... И кофей сварилъ... Нѣтъ, ты вотъ посиди-ка около него шесть сутокъ,—возвышая голосъ и грозя кому-то кулакомъ, продолжалъ онъ.—Повозжайся съ нимъ, когда онъ стонетъ, такъ стонетъ, ажно сердце захватитъ...

Слезы вдругъ закапали изъ глазъ стараго матроса.

— Обидѣлъ онъ меня,—слезливо продолжалъ Плехота, все такъ же обращаясь къ Чорту, который сладко мурлыкая, терся о его руку.—Пьяница, гритъ... Пшелъ вонъ, гритъ... Рази такіе пьяницы бываютъ... Одинъ-другой шкаликъ пропустилъ и вотъ...

Плехота, отирая глаза ладонью, забормоталъ что-то совершенно непонятное, повалился на подушку и захрапѣлъ. Котъ прыгнулъ ему на плечо, повалился у небритой щеки, помурлыкалъ и тоже заснулъ.

Кузьма Кузьмичъ сидѣлъ между тѣмъ у раскрытаго окна, выходившаго въ маленькій палисадникъ, гдѣ цвѣли ипомеи и благоухали левкои, гвоздика и резеда. Халатъ на сѣромъ мѣху облекалъ немощное, худое тѣло капитана, нѣкогда коренастое, крѣпкое, плотное; мягкіе бархатные сапоги согрѣвали ноги; фланелью обвязанная лѣвая рука лежала на ручкѣ кресла. Солнце стояло высоко. Нагрѣтый полуденный воздухъ теплой пахучей струей вливался въ окно, обвѣвая большую голову Кузьмы Кузьмича, обрамленную на затылкѣ, словно вѣнчикомъ, полоской волосъ, заканчивающейся на вискахъ густыми съ

просѣдью короткими завитками. Отросшая за недѣлю, щетинистая сѣдая борода покрывала щеки, обыкновенно тщательно выбритыя; потемнѣвшее, все въ глубокихъ морщинахъ лицо съ крупнымъ носомъ и нависшими бровями было угрюмо, и печально и угрюмо слѣдилъ усталымъ взоромъ Кузьма Кузьмичъ за скользившей вдали на взморьѣ лодкой. Передъ нимъ на мраморномъ столикѣ стоялъ подносъ съ кофейникомъ, стаканомъ въ серебряномъ подстаканникѣ, сливочникомъ и корзинкой съ сухарями; тутъ же лежали накопившіяся за недѣлю не распечатанныя газеты, а рядомъ бѣлѣлось полученное съ почтой письмо. Кузьма Кузьмичъ, опускаясь въ кресло, мелькомъ оглядѣлъ столикъ съ подносомъ и убѣдился, что Плехота ничего не забылъ, все разставилъ въ обычномъ порядкѣ. Ни къ кофе, ни къ письму капитанъ не притронулся. Онъ сидѣлъ, откинувъ широкую голову на спинку кресла, погруженный въ думы, и думы эти были невеселыя. Тяжкій недугъ все больше и больше подтачивалъ силы; одиночество сказывалось все сильнѣе.

„Нашелъ время напиться, скотина!“ подумалъ онъ, сознавая однако въ душѣ, что старый вѣрный матросъ сбился съ ногъ и ради подкрѣпленія силъ прибѣгъ къ старому испытанному средству, но не выдержалъ и хватилъ черезъ край.

Было время, когда въ плаваніи Плехоту приволакивали съ берега на бортъ судна мертвецки пьянымъ; было время, когда никакая порка не дѣйствовала; когда всякая побывка на берегу сопровождалась состояніемъ полной невмѣняемости. Но это время прошло давно. Плехота далъ зарокъ трезвости, не полной впрочемъ. Раза два въ годъ онъ напивался „не до безчувствія“, по его словамъ, и почти всегда это случалось послѣ особенно острыхъ приступовъ ревматизма Кузьмы Кузьмича.

— Безъ обѣда оставитъ!—сказалъ себѣ капитанъ, крупно мысленно выругавшись, и, вздохнувъ, потянулся къ туго набитому раскрытому портсигару, вынулъ толстую крученую папиросу и зажегъ ее о спиртовую лампочку, горѣвшую подъ кофейникомъ. Взоръ его снова остановился на письмѣ.

„Кому это понадобилось мнѣ писать, — мнѣ, старому обломку негоднаго корабля?“ съ горечью подумалъ онъ, положилъ закуренную папиросу на край подноса, медленно налилъ себѣ одною рукой кофе, сливки и, попивая и покуривая, поглядывалъ на письмо, раздумывая, какъ онъ его, безъ помощи Плехоты, вскроетъ, какъ вынетъ пенснэ изъ лежавшаго на газетахъ футляра.

Послѣ многихъ безплодныхъ усилій ему удалось надѣть пенснэ и разорвать конвертъ.

Въ заголовкѣ письма стояла помѣтка „Рязань“.

Кузьма Кузьмичъ нахмурился. Передъ нимъ всталъ жирный расплывчатый образъ его сестры, Матрены Кузьминичны, давно овдовѣвшей и живущей въ усадебкѣ близъ Рязани.

Кузьма Кузьмичъ не любилъ, да и мало зналъ свою единственную сестру. Они были дѣти одного отца, но разныхъ матерей. Онъ учился уже въ корпусѣ, когда она появилась на свѣтъ Божій. Затѣмъ они видѣлись рѣдко, мимолетно, а послѣ смерти отца и вовсе перестали видѣться. Въ памяти капитана Матрена Кузьминична рисовалась слезливою толстушкой, всегда кѣмъ-то и чѣмъ-то обиженною, всегда жаловавшеюся на судьбу, хотя судьба была къ ней благосклонна, давъ ей добраго, снисходительнаго мужа, безбѣдное существованіе и недурную наружность. За волоокіе глаза, румяный ротъ, съ сочными губами и бѣлое лицо ее даже называли красавицей. Послѣ смерти мужа Матрена Кузьминична широко пользовалась независимостью вдовьяго положенія, появляясь на всѣхъ модныхъ курортахъ и всюду таская за собою малютку-дочь. Въ письмахъ къ брату она краснорѣчиво писала, что молодость провела безотрадно, мужъ, прекрасный человѣкъ, не понималъ ея, а теперь у нея выросли крылья и она жаждетъ жить... Письма эти обыкновенно заканчивались мольбой прислать денегъ, такъ какъ по неопытности она вошла въ долги и теперь... теперь ей грозятъ ужаснымъ скандаломъ.

Кузьма Кузьмичъ на письма не отвѣчалъ, но деньги высылалъ въ Ялту, Кисловодскъ или другой подобный Монрепо. Уплативъ однако однажды солидную сумму, онъ въ краткихъ словахъ объявилъ, что высылать денегъ больше не будетъ, и сдержалъ слово. Всѣ письма вдовы, и слезныя, и полныя горькихъ упрековъ, оставались безъ отвѣта. Письма прекратились. И вотъ послѣ трехлѣтняго молчанія снова письмо.

Кузьма Кузьмичъ, съ трудомъ переворачивая одною рукой страницы, пробѣгалъ, морщась какъ бы отъ физической боли, омоченное слезами посланіе, наполненное жалобами на его жестокосердіе и заканчивающееся неожиданно словами:

„Да, братецъ, повторяю, я умираю. Письмо это вы получите послѣ моей смерти... Натуся, дочь моя, этотъ ангелъ, который я завѣщаю вамъ беречь и хранить, передастъ вамъ его, когда меня не станетъ... Пріютивъ мою крошку, вы тѣмъ загладите свое безсердечіе... Молю Бога простить вамъ прегрѣшенія, какъ я ихъ вамъ прощаю, и остаюсь, несмотря на все, любящая, но тяжко, не по дѣламъ страдающая сестра ваша Мотя“.

— Здравствуйте!—невольно вырвалось у капитана обычное восклицаніе, когда онъ, дочитавъ до подписи, опустилъ письмо на колѣни.—Завѣщать мнѣ Натусю... Прошу покорно... Сколько лѣтъ этой Натусѣ?..

Капитану вспомнилась трехлѣтняя, въ нелѣпой шляпѣ, большеглазая дѣвочка, страшно худая, напоминающая голыми ногами и руками паука и привезенная Матреной Кузьминичной изъ Ялты въ Саки, гдѣ онъ пользовался грязевыми ваннами. По словамъ Матрены Кузь-

миничны, дѣвочка горѣла желаніемъ навѣстить больного дядю. То было лѣтъ двѣнадцать, тринадцать назадъ.

— Этому ангелу должно быть лѣтъ шестнадцать...

Кузьма Кузьмичъ саркастически усмѣхнулся.

— Матренѣ Кузьминичнѣ захотѣлось поиграть на новой струнѣ... Въ заключеніе ждите слѣдующаго письма съ требованіемъ денегъ...

Храня саркастическую усмѣшку на губахъ, Кузьма Кузьмичъ свернулъ письмо и попытался вложить его обратно въ конвертъ, но высунувшійся изъ конверта листикъ, раньше не замѣченный, мѣшалъ этимъ попыткамъ. Капитанъ вытащилъ листикъ и развернулъ его. На немъ другимъ почеркомъ были начертаны слѣдующія строки:

„Посылаю письмо, чтобы не застигнуть врасплохъ... Вчера похоронили маму... Я обѣщала попытаться жить съ вами... Пишу „попытаться“, потому что не знаю, сойдемся ли мы съ вами, дядя... Мама говорила, что у васъ ужасный характеръ... У меня тоже онъ не мягкій... Впрочемъ, поживемъ—увидимъ... У насъ продали все, рѣшительно все... Пріѣду около 15-го іюня.

Натуся“.

— Здравствуйте!—воскликнулъ снова капитанъ.

На этотъ разъ въ восклицаніи слышался невыразимый испугъ. Онъ схватилъ письмо покойной сестры. Помѣчено: 5-го мая... Взглянулъ на листочекъ Натуси... Никакой помѣтки... На штемпелѣ: іюнь, а число стерто... Кузьма Кузьмичъ перевелъ взглядъ на стѣнной отрывной календарь. Плехота аккуратно отрывалъ ежедневно листикъ протекшаго дня и сегодня машинально его оторвалъ. Крупная цифра *15* запрыгала передъ глазами капитана.

— Сегодня!.. Уже сегодня... Что же это такое!.. За что?.. Но я не потерплю такого насилія... не потерплю!..

Кузьма Кузьмичъ, забывъ всякую осторожность, поднялся было на ноги и, застонавъ отъ боли, упалъ снова въ кресло.

„Этакое животное!.. Не нашелъ другого времени напиться!“ подумалъ онъ, обращая весь свой гнѣвъ на Плехоту, богатырскій храпъ котораго раздавался по всему дому.

Прошелъ часъ, прошли два часа, капитанъ неподвижно лежалъ въ креслѣ и скорбно смотрѣлъ вдаль, гдѣ синевато-свинцовой полоской разстилался заливъ. Кофе остался недопитымъ. Во рту горчило. Никогда Кузьма Кузьмичъ не чувствовалъ себя такимъ безпомощнымъ, какъ теперь.

Среди дня сердобольная Анна Мауреръ рѣшила навѣдаться къ капитану и предложить „dem alten Herrn“ сваренный ею для своего Іоганна картофельный супъ. Она, осторожно ступая, прошла кухню, мимоходомъ укоризненно поглядѣвъ на спящаго Плехоту, и осторожно пріотворила дверь въ кабинетъ Кузьмы Кузьмича. Дверь скрипнула.

— Кто тамъ?—спросилъ онъ.

— Это я, Анна Мауреръ, господинъ капитанъ.

— Анна Мауреръ, пойдите сюда.

Колонистка приблизилась и почтительно предложила откушать тарелочку супа.

— Eine sehr gute Suppe,—прибавила она убѣдительно.

Капитанъ нетерпѣливо повелъ головой и отрывисто спросилъ:

— У васъ есть комната здѣсь въ мезонинѣ?

Колонистка отвѣтила утвердительно.

— Приличная?

— До того, что господинъ капитанъ занялъ этотъ домъ, въ мезонинѣ жила дама... Eine anständige Dame... Она была ошень довольна, ошень хвалилъ die schöne Ansicht...

Капитанъ снова нетерпѣливо повелъ головой.

— Приготовьте сейчасъ эту комнату для барышни...

Колонистка выразила на толстомясомъ лицѣ крайнее удивленіе. Кузьма Кузьмичъ сурово посмотрѣлъ на нее.

— Моя племянница проведетъ тамъ одну ночь, да, одну ночь, не больше... Позаботьтесь, чтобы все было, какъ слѣдуетъ...

Удивленіе застыло въ круглыхъ глазахъ Анны Мауреръ, но она не осмѣлилась предлагать вопросы и только промолвила:

— Sehr gut, Herr Capitain... Aber die Suppe?..

— Благодарю... Сейчасъ не голоденъ... Можетъ потомъ...

Анна Мауреръ вышла и, немного погодя, надъ головой Кузьмы Кузьмича послышалось ерзанье половой щетки и передвиганіе стульевъ. Кузьма Кузьмичъ тяжко вздохнулъ, протянулъ руку къ газетѣ и, съ неимовѣрнымъ усиліемъ разорвавъ обложку, попытался читать. Солнце грѣло сильнѣе; въ сирени подъ окномъ неумолкаемо чирикала какая-то птичка; подъ крышей ворковали голуби; на письменномъ столѣ тикали часы въ кожаномъ футлярѣ. Газета выпала изъ рукъ капитана. Онъ заснулъ. Спитъ старый капитанъ; спитъ старая Лэди у его ногъ на мягкой подушкѣ; спятъ Плехота и Чортъ въ кухнѣ. Никто изъ четырехъ обитателей дачки не слыхалъ стука ручной телѣжки, которую подкатилъ къ воротамъ одинъ изъ колонистовъ.

Іоганнъ вышелъ принять небольшой потертый чемоданъ и подушку, завернутую въ пледъ. Оглянувшись вокругъ себя, онъ вопросительно посмотрѣлъ на привезшаго поклажу колониста.

Колонистъ указалъ пальцемъ на остановившуюся вдали, какъ бы въ раздумьѣ, черную женскую фигурку и ушелъ, пробормотавъ:

— Binn bezahlt.

Солнце спускалось къ закату. Плехота проснулся отъ долгаго тяжелаго сна и, покряхтывая и отхаркиваясь, поднялся на постели, тупо посмотрѣлъ передъ собой, потомъ вдругъ вскочилъ, быстрыми, рѣшительными шагами подошелъ къ кадкѣ съ водой, захватилъ пол-

ный ковшикъ воды и вылилъ ее на порогѣ себѣ на голову, послѣ чего тотчасъ же сталъ разводить плиту. Лицо его хранило мрачное выраженіе; туманъ разстилался передъ глазами; голова трещала. Однако онъ по привычкѣ дѣлалъ свое обычное дѣло. Сходилъ въ погребъ за мясомъ, принесъ овощи и началъ готовить поздній обѣдъ.

— Какъ же можно лить на порогѣ воду! — проговорилъ звонкій голосъ.—Пройти нельзя.

Плехота обернулся. У дверей, приподнявъ черную суконную юбку и занеся надъ лужицей маленькую въ кожаную грубой работы туфлю обутую ногу, стояла тоненькая юная фигурка въ черной кофточкѣ и черной соломенной матросской шляпѣ. Черные, какъ смоль, волосы крупными завитками падали на шею; темно-сѣрые глаза строго смотрѣли изъ-подъ полей шляпы, и строгость выражали тонкія блѣдныя губы.

— Вы кто такія будете?—съ неудовольствіемъ спросилъ Плехота, недружелюбно оглядывая черную фигурку, которая между тѣмъ шагнула черезъ лужицу и, отряхая юбку, вошла въ кухню.

— Здѣсь живетъ Автономовъ?

— Здѣсь проживаетъ мой баринъ, капитанъ 2-го ранга, господинъ Автономовъ,—внушительно возразилъ Плехота, очищая ножомъ мясо отъ жилокъ.

— Какъ къ нему пройти?

— Капитанъ мой боленъ... чужихъ не примутъ... Особливо барыню или барышню,—угрюмо произнесъ Плехота, переворачивая мясо на другую сторону.

— Я не чужая... я Палицина, Анастасія Александровна .. развѣ дядя не получилъ моего письма?..

Плехота съ ножомъ въ рукѣ обернулся и оглядѣлъ нежданную посѣтительницу съ ногъ до головы.

— Не могу знать... Пожалуйте черезъ парадный,—молвилъ онъ отрывисто.

Парадная дверь долго не открывалась, такъ долго, что дѣвушка устала стоять и присѣла на верхнюю ступеньку подъѣзда. Слезы досады и обиды наполняли большіе глаза; тонкія губы вздрагивали; гнѣвный румянецъ вспыхнулъ на продолговатомъ лицѣ съ заостреннымъ подбородкомъ и длиннымъ носомъ. Подпирая щеки узкими ладонями обѣихъ рукъ, она сквозь слезы смотрѣла передъ собой.

„Сижу здѣсь словно нищенка,—съ негодованіемъ думала она. — Очень онъ мнѣ нуженъ... Очень нужно было исполнять обѣщаніе... Что ей теперь до того... Видитъ ли она меня, какъ я вотъ тутъ сижу на приступочкѣ и жду, пока имъ угодно будетъ пустить меня... Ни одного дня, ни одного часа не останусь я у него... Отдамъ кольцо и уйду... Въ лѣсу буду ночевать, а у него не останусь...

— Пожалуйте,—проговорилъ Плехота.

Дѣвушка медленно поднялась со ступеньки, украдкой смахнувъ слезы, неторопливо, гордо откинувъ назадъ маленькую голову, прошла мимо стараго матроса въ раскрытую имъ настежь дверь и съ вызывающимъ выраженіемъ лица предстала передъ лежавшимъ въ креслѣ капитаномъ. Кузьма Кузьмичъ, окинувъ племянницу испытующимъ взглядомъ, протянулъ ей руку.

— Здравствуй, Натуся... Какъ ты измѣнилась!

— Дурнушка была, дурнушкой и осталась... Вотъ перстень дѣдушки... Мама почему-то хотѣла, чтобы я вамъ передала его изъ рукъ въ руки.

Проговоривъ это рѣзко, сухо, не глядя на дядю, дѣвушка торопливо вытащила изъ-за ворота серебряную цѣпочку съ образками, медальономъ и мужскимъ чугуннымъ перстнемъ тульской работы, сняла перстень и подала его дядѣ.

— Мама увѣряла, что онъ вамъ дорогъ, — торопливо говорила она, запрятывая цѣпочку за воротъ.—Она съ нимъ не разставалась... Кажется, она вѣрила, что это талисманъ... отъ порчи глазъ и отъ разрушенія времени,—язвительно прибавила она.

Кузьма Кузьмичъ вопросительно посмотрѣлъ на нее.

— Очень просто... Мама не хотѣла стариться... Я была для нея, по мѣрѣ того какъ вырастала изъ короткихъ платьевъ, вѣчнымъ не-

пріятнымъ напоминаніемъ о надвигающейся старости... Впрочемъ, впослѣдствіи я служила repoussoir'омъ, что ее нѣсколько примиряло со мной.

Кузьма Кузьмичъ опустилъ глаза.

„Дѣйствительно дурнушка,—подумалъ онъ.—И чернушка, и дурнушка, и худа, и желта... Въ кого?.. У матери полноты хоть отбавляй... да и отецъ былъ въ тѣлѣ".

Дѣвушка стояла вполоборота къ дядѣ, исподлобья поглядывая на него. Поля низко надвинутой на лобъ шляпы отбрасывали тѣнь на узкое, какъ клинушекъ, лицо; тонкія ноздри остраго съ горбинкой носа слегка вздрагивали; предательски вздрагивали и губы, сложенныя въ презрительную усмѣшку.

— Ну-съ,—заговорила она, строптиво вздергивая вверхъ голову,—моя миссія окончена... Прощайте!..

— Какая миссія?.. Какъ прощайте!—вскрикнулъ Кузьма Кузьмичъ, встрепенувшись и невольно застонавъ отъ боли.

— Передача изъ рукъ въ руки кольца—такова была моя важная миссія,—съ короткимъ смѣхомъ промолвила дѣвушка.—Вы больны, дядя?.. Что съ вами?—порывисто, но тѣмъ же сухимъ, надтреснутымъ голосомъ спросила она.

— Все то же... Ревматизмъ проклятый,—раздражительно возразилъ Кузьма Кузьмичъ съ перекошеннымъ отъ боли лицомъ.—Плехота!

— Есть!—откликнулся старый матросъ, появляясь въ дверяхъ.

— Проводи барышню въ ихъ комнату,—приказалъ капитанъ, въ изнеможеніи откидываясь на спинку кресла.

— Вы приготовили для меня комнату!—съ недовѣрчивымъ изумленіемъ сказала дѣвушка.—Знаете, это очень мило съ вашей стороны!

Кузьма Кузьмичъ сдѣлалъ неопредѣленный жестъ здоровой рукой и, стиснувъ зубы, закрылъ глаза.

— Пожалуйте,—вполголоса произнесъ Плехота.—Они таперича не могутъ разговаривать...

Дѣвушка въ глубокомъ смущеніи послѣдовала за старымъ матросомъ и поднялась по узенькой лѣстницѣ въ приготовленную для нея комнату.

— Мы, барышня, женскій полъ не держимъ,—заговорилъ не безъ замѣшательства Плехота, пропустивъ впередъ гостью и не переступая порога.—Я пошлю хозяйку... Можетъ, что нужно приказать...

И, не дожидаясь отвѣта, Плехота повернулся по-военному, осторожно, не щелкнувъ, притворилъ дверь, и Натуся осталась одна въ маленькой низенькой свѣтелкѣ съ чисто вымытымъ дощатымъ поломъ и свѣтло-голубыми обоями. Кровать, комодъ, кресло, обтянутое веселенькимъ ситцемъ; на комодѣ—складное зеркало въ желтой деревянной оправѣ; на единственномъ окнѣ бѣлая кисейная занавѣсь и осыпанная краснымъ цвѣтомъ герань.

Дѣвушка, не снимая шляпы, все еще стояла посреди комнаты, когда въ дверь постучали, и, не дожидаясь приглашенія войти, появилась Анна Мауреръ.

Колонистка, присѣдая, добродушно предложила свои услуги.

— Благодарю... Сейчасъ ничего не надо... Помыться?.. Да... Потомъ... Вода вѣдь есть въ кувшинѣ... Я сама... Кофе?.. Сейчасъ не хочу... Благодарю...

Все это было проговорено сухо, рѣзко, отрывисто. Анна Мауреръ съ недоумѣніемъ смотрѣла на худенькое существо, и плечи, и руки, и губы котораго вздрагивали, какъ въ лихорадкѣ, а глаза, большіе, слишкомъ даже большіе, смотрѣли такъ неласково, почти злобно.

Добродушная улыбка исчезла съ толстаго, румянаго лица колонистки. Она обиженно сдѣлала короткій книксенъ и вышла.

Дѣвушка подошла къ комоду и сняла шляпу. Черные, волнистые, прекрасные волосы густыми кольцами упали на крутой гладкій лобъ. Натуся нетерпѣливо откинула ихъ назадъ.

„Создастъ же Богъ такого урода!“ подумала она, мелькомъ взглянувъ въ зеркало, отразившее смуглое, хмурое лицо съ плотно стиснутыми губами и огромными, сумрачными глазами.

За величину и блескъ этихъ глазъ домашніе прозвали ее дикой кошкой.

„Кошка и есть... У, противная!—думала она и показала себѣ языкъ. — Страшилище для себя... Страшилище для всѣхъ... Первою мыслью дяди было: какая образина!.. И эта нѣмка тоже...“

Губы Натуси задрожали. Она поспѣшно сложила зеркало, отодвинула его подальше къ стѣнѣ и снова оглядѣла комнату.

— Какая свѣтленькая, уютненькая!.. Остаться бы здѣсь...

Но головка съ крутымъ лбомъ и черными кудрями тотчасъ же гнѣвно откинулась назадъ.

— Съ какой стати!

Натуся сняла кофточку, вымыла руки, освѣжила лицо и подошла къ раскрытому окну. Долгій іюньскій день клонился къ вечеру. Солнце еще не заходило, но уже отбрасывало косые лучи на яснѣющій вдали жемчужною гладью заливъ, на песчаный берегъ, на сосновый лѣсъ, по зеленой хвоѣ котораго скользили вечернія тѣни. Ласточки рѣяли въ вышинѣ; подъ крышей возились голуби, чирикали воробьи. Одинъ сизокрылый голубь слетѣлъ съ гнѣзда и довѣрчиво опустился на подоконникъ. Натуся затаила дыханіе, чтобы не спугнуть его. Голубь, наклоняя голову то вправо, то влѣво, внимательно съ боку поглядывалъ на дѣвушку, потомъ, словно что-то вспомнивъ, взмахнулъ крылами и полетѣлъ. Натуся слѣдила за его полетомъ, пока онъ не скрылся изъ виду. Губы ея разжались; злобное, старообразное выраженіе лица исчезло; исчезъ сумрачный блескъ огромныхъ глазъ. У окна стояла

теперь юная, не сложившаяся дѣвочка, съ наивнымъ любопытствомъ озирающая незнакомую мѣстность.

„Вонъ чайка!—разсуждала она сама съ собой.—Какъ красиво летитъ... Чайка на берегу предвѣщаетъ бурю... Пустяки, должно быть... Море такое гладкое... Сѣсть бы въ лодку и плыть... плыть... Подальше отъ людей... На Ледовитомъ океанѣ нѣтъ людей, но тамъ холодно... Зато сѣверное сіяніе... Хорошо!.. Брильянтовый снѣгъ... На небѣ огненныя полосы... А вокругъ такъ тихо, такая чистота и... никого... Нѣтъ есть... Бѣлый медвѣдь... Что жъ, это ничего... Этотъ не злой... Его можно приручить... А вотъ теперь двѣ чайки, три, четыре... Сколько ихъ!.. Что онѣ тамъ ищутъ... Вѣрно рыбу выкинуло на берегъ".

Узенькая грудь Натуси дышала свободно; губы сложились въ улыбку, и улыбка свѣтилась въ каждой чертѣ худенькаго дѣтскаго личика, скрашивая и худобу его и странную несоразмѣрность общаго склада. На мгновеніе она забыла, гдѣ она, по-дѣтски всецѣло отдаваясь внѣшнимъ впечатлѣніямъ. Стукъ въ дверь вывелъ ее изъ забытья.

— Пожалуйте кушать,—предложилъ Плехота, пріотворяя дверь.

Натуся, оправляя рюшъ чернаго гладкаго лифа, съ плотно сжатыми губами и сумрачнымъ взглядомъ прошла мимо стараго матроса.

„Сурьезная барышня", подумалъ Плехота и, опередивъ ее на послѣдней ступенькѣ лѣстницы, поспѣшно отворилъ дверь въ столовую.

Здѣсь на кругломъ столѣ кипѣлъ самоваръ и дымилось блюдо котлетъ, а въ глубокомъ креслѣ сидѣлъ Кузьма Кузьмичъ, тщательно выбритый и переодѣтый въ черное широкаго покроя пальто съ погонами. Лэди, какъ всегда, помѣщалась у его ногъ.

— Ты меня извини,—заговорилъ капитанъ, лишь только Натуся твердыми, неторопливыми шажками приблизилась къ нему.—Встать не могу... Калѣка я съ ногъ до головы... Закуси, чѣмъ Богъ послалъ... Письмо твое получилъ только сегодня... Не успѣлъ и приготовиться къ встрѣчѣ тебя...

— Не стоило и безпокоиться,—жестко произнесла Натуся.—Я вѣдь не надолго...

— Объ этомъ послѣ... Закусимъ сначала... Я тоже охотно поѣмъ... Хорошій признакъ... Скоро, вѣрно, снова оживу...

— Можетъ, вамъ нарѣзать?—нерѣшительно предложила дѣвушка и, не дожидаясь отвѣта, быстро и ловко разрѣзала приготовленный отдѣльно для капитана кровяной бифстексъ, поставила передъ нимъ тарелку и, не подымая глазъ на дядю, сѣла за свой приборъ.

Молодой аппетитъ взялъ верхъ надъ всякими соображеніями, а котлеты Плехоты были такъ сочны, вкусны, поданная послѣ котлетъ земляника со сливками такъ ароматна!

„Стыдно, стыдно! — внутренно казнила себя Натуся.—Какъ я много ѣмъ".

Капитанъ украдкой наблюдалъ за племянницей.

„Глаза великолѣпны и волосы тоже, а въ общемъ дурнушка... Жалкая дѣвочка... Еще будь она привлекательна...“

Натуся вдругъ подняла глаза на дядю и поймала его соболѣзнующій взглядъ. Она оттолкнула тарелку съ не доѣденной земляникой и встала.

— Вы какой чай любите: крѣпкій или слабый? — сухо спросила она.

— Успѣю... Пожалуйста, кушай... Ты любишь землянику?

— Сейчасъ я все люблю,—съ боку недовѣрчиво посматривая на капитана, отрывисто промолвила Натуся.

— Ты еще не обѣдала сегодня?

— Не обѣдала,—такъ же отрывисто отвѣтила она, не считая нужнымъ объяснить, что не обѣдала, потому что нечѣмъ было заплатить за обѣдъ.

— Завтра, надѣюсь, мы угостимъ тебя получше... А теперь, прошу тебя, Натуся, подожди наливать чай и кушай, сдѣлай милость, свою землянику.

Натуся неохотно повиновалась, торопливо доѣла ягоды и такъ же торопливо встала и перешла къ самовару. Несмотря на угловатыя, рѣзкія движенія, она умѣло, осмотрительно налила чай въ большой граненый стаканъ дяди и поставила его передъ капитаномъ.

„Молоденькая, а дѣло свое знаетъ“, мысленно одобрилъ Плехота.

Краткіе отвѣты Натуси пришлись тоже по вкусу старому матросу.

„Сурьезная барышня“, повторилъ онъ про себя. „И знаетъ чѣмъ угодить... Мой капитанъ сорочьей стрекотни не любитъ...“

Убравъ со стола тарелки, Плехота удалился въ кухню.

Дядя и племянница остались одни. Наступило молчаніе. Натуся держалась на стулѣ за самоваромъ прямо какъ струнка и, мѣшая ложечкой въ чашкѣ, посматривала на дядю. Капитанъ не зналъ, съ чего начать разговоръ. Умные, пытливые, но злые глаза стройной дѣвочки смущали его.

— Который тебѣ годъ, Натуся?—спросилъ она наконецъ.

— Въ февралѣ минуло пятнадцать.

— Только!.. Какъ же тебя пустили одну въ такой дальній путь?

— А кому же было меня не пускать?.. Послѣ похоронъ мамы я перешла въ избу къ моей кормилицѣ... Когда все, все продали... за долги... На мою долю пришлось немного... только, чтобы проѣхать сюда... Это васъ однако ни къ чему не обязываетъ, дядя,—поспѣшно прибавила она, мѣняясь въ лицѣ и снова принимая строптивое выраженіе.

— Передай, пожалуйста, спички...

— Можетъ, зажечь?

И, не дожидаясь согласія, Натуся чиркнула спичкой. Кузьма Кузьмичъ поблагодарилъ наклономъ головы и закурилъ папиросу.

— Долго болѣла мама?—спросилъ онъ, помолчавъ.

— Съ годъ.

— Ты все время была при ней?

Натуся усмѣхнулась.

— А кому же было быть?.. Франтикъ исчезъ, лишь только она слегла... Правда, уже тогда у насъ все или почти все, кромѣ мебели и коровы, было продано...

— Франтикъ?.. Кто такой франтикъ?..

Натуся снова усмѣхнулась.

— Одинъ изъ многихъ...

— Ничего не понимаю... Что ты такое говоришь?..

Натуся исподлобья посмотрѣла на капитана. На смуглыхъ щекахъ ея выступилъ румянецъ.

— Ну, какъ же вамъ объяснить... Развѣ вы не знаете?..

Капитанъ усиленно затянулся папиросой и, выпуская изо рта клубы дыма, молчалъ. Натуся тоже замолкла, пытаясь сквозь сизый дымъ разглядѣть лицо дяди.

— Я думала, вы все знаете,—нервно заговорила она.—Оттого, вѣрно, и отказались помогать мамѣ... Конечно, она не должна была просить у васъ денегъ, особенно такъ какъ большую часть она отдавала всѣмъ... Но вы напрасно такъ строго осудили ее... Развѣ она виновата, что они ей нравились?—наивно замѣтила дѣвочка, вскидывая на дядю большіе и теперь совсѣмъ дѣтскіе, простодушные глаза.—И потомъ вѣдь она вѣрила, что они тоже...

Натуся запнулась.

— Любили ее... Вѣрила въ талантъ... У одного голосъ изумительный... У другого кисть великаго художника... Надо пригрѣть, приласкать, помочь таланту развиться...

— Сколько же ихъ было?— хотѣлъ было спросить капитанъ; но промолчалъ и выпустилъ густую струю дыма.

Развернувшаяся передъ нимъ картина семейной жизни Натуси ошеломила его.

— Послѣднимъ былъ франтикъ... Это я такъ его прозвала... Онъ мнилъ себя поэтомъ, носилъ волосы до плечъ, закатывалъ глаза къ небу и готовъ былъ отдать „все, все земное!..“ за... модный галстукъ...

— Несчастная дѣвочка!—вырвалось у капитана.

Странное выраженіе не то горечи, не то глубокой печали скользнуло по лицу Натуси. Она робко, какъ загнанный, замученный звѣрокъ посмотрѣла на дядю.

— Ну, зачѣмъ же!—неувѣренно проговорила она.—Мама по-своему любила меня...

— Вѣрю... Но... но какая твоя роль была при всемъ этомъ?

— Я хозяйничала... Съ тѣхъ поръ, какъ я научилась читать,

считать, писать, я вела счеты... При постоянныхъ разъѣздахъ это было не легко... Въ деревнѣ доила коровъ, шила, стряпала...

— Одна?

— Нѣтъ, когда были средства, это дѣлалось подъ моимъ присмотромъ, а когда пришлось держать одну прислугу, тогда надо было дѣлать многое самой...

— А воспитаніе?.. образованіе?...

— У меня была француженка, кажется, съ годъ... Но мама приревновала ее къ своему тенору... Потомъ была русская окончившая институтъ... Недолго... Та сама не захотѣла у насъ жить... Потомъ каждый училъ меня чему-нибудь... Одинъ пѣнію, другой рисованію, третій... Ну, мало ли чему учили... Въ результатѣ являлось новое прозвище... Была мартышкой, стала чертенкомъ, потомъ—дикой кошкой... Подъ конецъ отъ всѣхъ этихъ домашнихъ уроковъ я наотрѣзъ отказалась и обратилась къ нашему приходскому батюшкѣ... Старенькій, престаренькій старичокъ... Онъ обучалъ меня закону Божьему, русскому, географіи, исторіи и былъ мнѣ учителемъ и другомъ... Не будь его...

Голосъ Натуси задрожалъ. Она отпила нѣсколько глотковъ чаю.

— Онъ умеръ незадолго передъ смертью мамы,—звенящимъ голосомъ продолжала она.—Ну вотъ, кажется, все... Да, все... Остальное неинтересно...

Дверь пріотворилась. Вошелъ Плехота съ зажженной лампой въ рукѣ. За нимъ важно, степенно слѣдовалъ котъ.

— Какъ его зовутъ?—глотая подступившія слезы, порывисто спросила Натуся.

— Чортъ,—нѣсколько сконфуженно отвѣтилъ Плехота.

— Какое совпаденіе!.. Пойди-ка, братикъ, сюда,—поманила она его къ себѣ.

Жирный котъ, не спѣша, приблизился къ дѣвушкѣ, потерся о ножку ея стула и вскочилъ на колѣни.

— Ну, какой же ты чортъ!—трепетнымъ голосомъ говорила Натуся, проводя рукой по гладкой пушистой шерсткѣ кота.—Смиренный ты... Не мнѣ сродни... Не чертовской породы... А друзьями все-таки будемъ... и съ этой... какъ ее...

— Лэди,—подсказалъ Плехота.

— И съ Лэди тоже,—быстро подхватила она и вдругъ замялась, покраснѣла, и глаза ея пугливо остановились на дядѣ.

Кузьма Кузьмичъ сидѣлъ погруженный въ глубокое раздумье. Опустивъ голову на грудь, онъ смотрѣлъ пристально передъ собой и не слыхалъ шаговъ Плехоты, убиравшаго со стола, не видалъ Лэди, которая подошла къ Натусѣ и, виляя хвостомъ, лизала ей руку. Плехота унесъ самоваръ, вернулся, взялъ подносъ съ чайной посудой и снова вышелъ. Чортъ послѣдовалъ за нимъ. Натуся, лаская Лэди,

положившую голову ей на колѣни, пытливо всматривалась въ изможденное страданіями, суровое лицо дяди.

Кузьма Кузьмичъ поднялъ голову. Глаза его встрѣтились съ блестящимъ взоромъ дѣвушки. Онъ добродушно усмѣхнулся и протянулъ черезъ столъ руку.

— Ну что жъ, Натуся! если тебя не страшитъ жизнь съ калѣкой, то попытаемся пожить вмѣстѣ.

Натуся вспыхнула; губы ея задрожали. Она нерѣшительно положила узенькую ручку въ руку дяди.

— А васъ не страшитъ мой ужасный характеръ?

— Но у меня, писала ты, тоже ужасный характеръ...

Мучительное колебаніе выразилось на лицѣ Натуси.

— И потомъ... съ такимъ уродомъ... пріятно ли будетъ жить?

Огромные глаза Натуси расширились и жадно впились въ лицо дяди. И сколько затаеннаго горя, сколько мольбы о ласкѣ выражали эти дѣтскіе, полные непролитыхъ слезъ глаза!

— Ты будешь моя Натуся, если хочешь,—просто отвѣтилъ Кузьма Кузьмичъ.

Натуся хотѣла что-то сказать, но вдругъ залилась слезами.

— Я васъ такъ буду любить, дядя, такъ любить...—прошептала она едва внятно.

Кузьма Кузьмичъ осторожно освободилъ руку, погладилъ худенькую маленькую ручку и, подержавъ надъ лампой папиросу, пока она не затлѣлась, задымилъ сильнѣе прежняго...

— А барышня останется у насъ,—объявилъ онъ Плехотѣ, ложась въ постель.—Что подѣлаешь, Плехота... Круглая вѣдь сирота!..

— Такъ тошно, ваше вскобродье... Ничего не подѣлаешь.

— Хозяйка молодая у насъ будетъ... Приберетъ насъ съ тобой къ рукамъ... Это не мѣшаетъ, Плехота...

— Такъ тошно, не мѣшаетъ.

Плехота однако вздохнулъ и смущенно почесалъ за ухомъ.

— Оно конешно сподручнѣе было бы, если бъ онѣ, то-ись, были мужескаго полу... Но видно, такъ Богу угодно, ваше вскобродье!..

— Видно, такъ Богу угодно,—весело согласился капитанъ.

Плехота еще долго возился въ кухнѣ за уборкой того, другого и отъ времени до времени, покачивая головой, обращался съ краткимъ замѣчаніемъ къ Чорту, который, сидя на табуретѣ, старательно умывалъ лапкой рыжую мордочку, а Кузьма Кузьмичъ между тѣмъ крѣпко спалъ, не тревожимый въ эту ясную теплую ночь ревматическими болями, и крѣпкимъ безмятежнымъ сномъ спала въ свѣтелкѣ съ голубыми обоями обрѣтшая пріютъ Натуся.

Гуримаръ, 21 іюля 1900 г.
Отроги Тянь-Шаня.

Е. Арлова

Этюдъ
А. А. Хотяинцевой.

Сумерки.
(*Рис. А. Хотяинцевой*).

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX
TILDEN FOUNDATIONS

Зинаида Николаевна Гиппіусъ родилась въ 1867 г., по отцу шведскаго происхожденія; до замужества (за Д. С. Мережковскаго) жила на Кавказѣ. Съ начала 90-хъ г. помѣстила рядъ повѣстей и стихотвореній въ «Вѣстникѣ Европы», «Русской Мысли», «Сѣверномъ Вѣстникѣ», «Нивѣ», «Всемірной Иллюстраціи» и др. Часть ихъ вышла отдѣльнымъ изданіемъ подъ заглав. «Новые люди» (1896 г.).

Двѣ пѣсни русалокъ.

(Изъ драмы „Святая Кровь“.)

I.

(Изъ перваго дѣйствія).

Мы—бѣлыя дочери озера свѣтлаго,
отъ чистоты и прохлады мы родились;
пѣна, и тина, и травы насъ нѣжатъ,
легкій, пустой камышъ ласкаетъ;
зимой подо льдомъ, какъ подъ теплымъ стекломъ,
мы спимъ, и намъ снится лѣто.
Все благо: и жизнь! и сонъ! и явь!

—

Мы солнца смертельно горячаго
не знаемъ, не видѣли.
Но мы знаемъ его отраженія,
мы тихую знаемъ луну.
Милая, кроткая, влажная, чистая,
ночью серебряной вся золотистая,
она, какъ русалка—добрая...
Все благо: и жизнь! и мы! и луна!
У берега, межъ камышами,
скользитъ и таетъ бѣлый туманъ.
Мы вѣдаемъ: лѣто смѣнится зимою,
зима—весною много разъ,

и часъ наступитъ сокровенный,
какъ всѣ часы—благословенный,
когда мы въ бѣлый туманъ растаемъ,
и бѣлый туманъ растаетъ.
И новыя будутъ русалки,
и будетъ луна имъ свѣтить,
и такъ же съ туманомъ онѣ растаютъ.
Все благо: и мы! и жизнь! и смерть!

II.

(Изъ второго дѣйствія).

Вода въ тростникахъ колыхается,
въ небѣ загорѣлись зеленыя звѣзды...
Надъ лѣсомъ луна подымается.
Смотрите, сестрицы, гаснутъ звѣзды,
туманъ, какъ живой, извивается,
туманъ—это наша душа водяная...
Онъ рѣдѣетъ и, тая, скрывается...
Туманъ—это наша жизнь и наша смерть водяная.
Въ эту ночь всѣ мы живы да радостны,
веселье наше—какъ лунный свѣтъ.
Давайте жъ перекликнемся,
всѣ другъ дружкѣ голосъ подадимъ.
Мы, озерные, рѣчные, лѣсные,
долинные, пустынные,
наземные и подземные,
великіе и малые,
мохнатые и голые,
всѣ другъ другу голосъ подадимъ.
Отвѣчайте, братцы! Отвѣчайте, сестрицы!

Вода въ камышахъ колыхается,
у насъ радости и пѣсни—только ночныя;
все выше луна подымается.
Мы—твари добрыя, смертныя и ночныя.

З. Гиппіусъ.

Рис. О. Соловьевой.

Съ офорта М. В. Якунчиковой-Веберъ.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX
TILDEN FOUNDATIONS

Марко Вовчокъ

Марія Александровна Марковичъ, извѣстная подъ псевдонимомъ Марко-Вовчка, окончила институтѣ и по-
дахъ курсъ въ родственниковъ
селилась у своихъ затѣмъ она вы-
въ Орлѣ; вскорѣ 1857 г. послала
шла замужъ, а въ выхъ разсказа на
два своихъ пер- языкѣ изъ народ-
малороссійскомъ лишу, для помѣ-
ной жизни Ку- щенія въ «За- пискахъ о юж-
ной Россіи». Ку- лишъ пришелъ
отъ нихъ въ вос- торгъ, вступилъ
съ ихъ авторомъ въ переписку и
просилъ прислать ему еще разска-
зовъ. Въ 1885 г. онъ уже издалъ
ихъ отдѣльной книгой, имѣвшей
настолько выда- юшійся успѣхъ,
что самъ Турге- невъ перевелъ
ихъ на русскій языкъ. Въ этомъ
же году появи- лись ея первые
разсказы, писан- ные прямо по-
русски, о кото- рыхъ Добролю-
бовъ далъ весь- ма сочувствен-
ный отзывъ. Съ тѣхъ поръ произведенія Марко-Вовчка стали появляться на страницахъ «Русскаго Вѣстника», «Современника», «Русскаго Слова» и «Основы», а въ срединѣ 60-хъ годовъ, когда она, вернувшись изъ-за границы, уже окончательно поселилась въ Петербургѣ, Некрасовъ, бывшій въ то время редакторомъ «Отечественныхъ Записокъ», пригласилъ ее въ число ихъ сотрудниковъ. Тамъ-то одинъ за другимъ стали появляться ея крупныя произведенія «Живая душа», «Записки причетника», «Теплое гнѣздышко» и «Въ глуши».

Съ 67-го года начинается новый родъ дѣятельности Марко-Вовчка, а именно, переводческой и редакторской. Съ 71-го по конецъ 70-хъ годовъ она редактировала журналъ «Переводы лучшихъ иностранныхъ писателей», а затѣмъ, выйдя вторично замужъ, поселилась въ провинціи и оставила на весьма продолжительное время литературную дѣятельность.

Успѣхъ произведеній Марко-Вовчка объясняется ихъ гуманностью, искренностью, красотой слога и тѣмъ, что въ то боевое время писательница отважно встала въ ряды первыхъ бойцовъ за новые идеалы и сумѣла сказать: «Ein rechtes Wort zur rechten Stunde». Съ другой, весьма значительной стороной своего таланта, а именно богатымъ юморомъ, она ознакомила читающую публику сравнительно поздно, лишь въ послѣднихъ своихъ произведеніяхъ (наприм., «Тюлевая баба»).

Нѣкоторые ея разсказы, какъ-то «Маруся» и др., были переведены на нѣмецкій и французскій языки.

Составлено по энциклопедическому словарю **Брокгауза.**

Праздничный сонъ.

— Нѣтъ, знаешь, ты просто нестерпимъ! — сказала Валентина Алексѣевна Протасова (хорошенькая брюнетка въ измятомъ пенюарѣ и раздраженномъ состояніи) своему мужу Андрею Михайловичу.

Только что изгнанный изъ уголка гостиной, онъ было присѣлъ съ газетой въ столовой, подъ новой лампой, купленной къ празднику

и зажженной посмотрѣть, какъ она свѣтитъ: такъ ли ярко, какъ новая лампа Поликсены Владимировны, или ярче, или .. Этотъ магазинъ Шерстобойникова иногда ужасно мошенничаетъ!

— Что такое? — спросилъ обидчиво, но кротко Андрей Михайловичъ.

— Неужели ты не можешь сообразить, что вѣдь и столовую надо привести въ порядокъ! Ты разсѣлся съ газетой и знать ничего не хочешь! Я съ разсвѣта верчусь и мучаюсь, а ты сидишь, какъ кукла... Даша! погасите новую лампу... да идите сюда, обметите вотъ здѣсь, въ углу... Да гдѣ вы тамъ возитесь? Вы такую пыль и паутину вездѣ завели, что ни на что не похоже!

Появляется Даша.

Судя по вздернутому носу вѣеромъ, блестящимъ глазамъ подъ густыми, темными бровями и характерному изгибу губъ, это особа строптиваго нрава; но теперь, наканунѣ праздника, ея мятежныя чувства сдержаны, метелка изъ перьевъ въ ея рукахъ работаетъ плавно, безъ порывовъ, и о мятежности чувствъ можно догадываться только потому, что при каждомъ замѣчаніи барыни ея круглыя щеки вспыхиваютъ густымъ румянцемъ.

Андрей Михайловичъ переносится съ газетой къ камину, но проворная Даша уже потушила новую лампу, а въ каминѣ уголья чуть тлѣются,— газету надо отложить... Онъ посидитъ такъ, безъ чтенія... Да и что найдешь въ этихъ газетахъ!

Какъ, однако, Валенька иногда рѣзка! Измѣнилась она... Какъ измѣнилась! Сущіе пустяки ее раздражаютъ... И несправедлива... Развѣ онъ сидѣлъ „какъ кукла“ цѣлый день? Вѣдь она его разбудила и подняла до разсвѣта, въ шесть часовъ,—спорила, что сегодня всѣ магазины открыты съ четырехъ часовъ,— выгнала за покупками... даже чаю не успѣлъ выпить и только уже во второмъ часу забѣжалъ въ булочную и ухватилъ тамъ какой-то пирожокъ, да еще съ малиновымъ вареньемъ... И цѣлый день, до самаго вечера бѣгалъ, какъ угорѣлый, изъ лавки въ лавку, спорилъ, объяснялся... Два раза перемѣнялъ эту проклятую трюфованную пулярдку... (А она все-таки находитъ, что трюфели безобразно расположены и даже совсѣмъ не трюфели.) Домой притащился измученный, обѣда не было, безропотно выпилъ стаканъ съ утра налитаго холоднаго, какъ ледъ, кофе и съѣлъ плюшку, съ которой Маня сгрызла всю корку,—бѣдныя дѣтишки сегодня тоже порядкомъ не поѣли... А его такъ мучилъ голодъ, что онъ хлебнулъ молока, по которому Пати пускалъ бумажные кораблики... И вотъ... Эти быстро пролетающія мысли вдругъ прерываются. Онъ слышитъ:

— Послушай, вѣдь это невыносимо! Ушелъ отъ стола, усѣлся около камина! Пойми же, наконецъ, что тутъ надо убирать! Я хоть съ ума сойди, тебѣ все равно! Ради Бога, имѣй же ко мнѣ какое-нибудь состраданіе!

— Куда же мнѣ дѣваться?

— Куда хочешь, но, повторяю, ради Бога, имѣй ко мнѣ состраданіе!.. Только не въ кабинетъ! не въ кабинетъ! Тамъ уже прибрано и ты насоришь своими окурками...

— Куда же?

— Ахъ, Боже мой!.. Ну, иди въ спальню...

Андрей Михайловичъ уходитъ въ спальню, маленькую комнатку, тѣсно заставленную громаднымъ шкапомъ, до того завѣшаннымъ платьемъ, что дверки его не притворяются, огромнымъ комодомъ, туалетнымъ столомъ, двумя, нѣсколько грязноватыми, розовыми креслами и двумя кроватями съ пышными оборчатыми подушками; къ кроватямъ добраться и отъ кроватей удалиться, не ушибая колѣнъ и локтей, не возможно. Андрей Михайловичъ, въ своемъ волненіи получая удесятеренное количество контузій, протискивается къ креслу у туалетнаго стола, подъ окно, и спѣшитъ погасить лампочку, которая коптила передъ зеркаломъ въ розовыхъ рюшахъ и бантахъ.

„Это праздникъ! И что за пошлый обычай подводить генеральную чистку именно подъ праздникъ!“

— Нѣтъ! нѣтъ! Я хочу, чтобы завтра ты мнѣ надѣла съ зубчиками!.. и съ кружевцами!—доносится голосокъ Мани.

— Завтра кремъ и ты опять испачкаешься, какъ на Святой,— замѣчаетъ Пати.

— Не испачкаюсь!

— Испачкаешься! Ты вѣдь пачкунья!

— А ты дуракъ!

— Пачкунья! пачкунья!

— Дуракъ! болванъ! чортъ!

„Да, генеральная чистка, усиленное ряженье, обжорство до отвала,— въ этомъ и весь праздникъ!“ думаетъ Андрей Михайловичъ, точно все это ему въ новинку.

Онъ умостился въ креслѣ и глядитъ въ окно.

Окно, видимо, почти упиралось въ какую-то постройку, похожую на сарай, но сверху, въ промежуткѣ между зданіями, сверкала звѣздочка,— не та ли самая, на которую во дни оны они съ Валентиной Алексѣевной, когда бывали въ разлукѣ, смотрѣли въ извѣстный часъ... Да, смотрѣли на звѣздочку, встрѣчаясь мыслью...

Измѣнилась она, Валентина Алексѣевна! Какъ-то вдругъ погрязла въ мелочахъ... очерствѣла... Кто бы лѣтъ пять тому назадъ подумалъ, что она можетъ цѣлыя сутки кипятиться, если перепечена парадная ветчина... что будетъ готова растерзать Дашу за то, что та вмѣстѣ съ калошей сдернула и ботинку съ модной гостьи!

Да, измѣнилась! Даже лицо не то... Совсѣмъ другое выраженіе глазъ... Да, во дни оны не такая она была!

Дни оны!

А вѣдь житье тогда было убогое, безпріютное, чуть не впроголодь, нигдѣ ни въ чемъ личной удачи, сплошь и рядомъ горькая обида, вѣчная тревога, неувѣренность, благополучно ли минетъ день, нестерпимое сознаніе собственнаго безсилія... А между тѣмъ бывало

послѣ наплыва мучительнѣйшихъ чувствъ такой подъемъ духа... сердце горитъ и рвется... вдругъ почуешь что-то такое, словно у тебя вырастаютъ крылья... Теперь сердце не горитъ и ни къ чему не рвется. Никогда не бываетъ этого „словно у тебя вырастаютъ крылья“!

Онъ, Андрей Михайловичъ, разумѣется, въ сущности все тотъ же, что и во дни оны: тѣ же взгляды, тѣ же убѣжденія. Онъ только сталъ уравновѣшеннѣе, немного практичнѣе (чего тогда недоставало) и не такой пылкій... не такой... вѣрующій. Но въ сущности онъ все тотъ же, что и во дни оны.

Воспоминанія понеслись быстрою вереницей. Замелькали давно не виданныя мѣста, позабытыя лица, воскресали былыя событія, печали и радости.

Это были даже не воспоминанія въ точномъ смыслѣ,—при воспоминаніяхъ давно пережитаго сердце можетъ сжиматься и замирать, но бьется ровнѣе, горечь, какъ и радость, успѣла потерять первоначальную жгучесть,—это походило скорѣе на одинъ изъ тѣхъ сновъ, когда, напримѣръ, человѣку, давнымъ-давно покинувшему школьную скамью, снится, что онъ держитъ экзаменъ, и онъ въ этомъ снѣ съ такимъ же смятеніемъ ожидаетъ вопроса о какихъ-нибудь Меровингахъ, съ какимъ ожидалъ его во дни оны наяву.

Вотъ онъ (Андрей Михайловичъ дней оныхъ) просыпается на своей узенькой кроватенкѣ, носящей названіе мелилотнаго пластыря—все-таки мягчитъ, находитъ товарищъ Малюта, болѣе извѣстный подъ именемъ Панглоса—и вскакиваетъ какъ обожженый: неужели проспалъ? Кажется, нѣтъ: на дворѣ еще чуть брезжится и кругомъ тихо—сосѣдъ-учитель еще не кашляетъ за спиной. Не проспалъ, но... удастся ли?

Этотъ вопросъ онъ задаетъ себѣ на улицѣ, и сердце его больно сжимается. Неужели не удастся собрать эти семьдесятъ рублей? Ну, хоть шестьдесятъ? Вѣдь ихъ трое: Малюта, Прозоровскій и онъ.. Неужели втроемъ не соберутъ?

Погода мягкая и ему вовсе не холодно въ общипанномъ, сѣренькомъ пальто. Еще очень рано, такъ рано, что прохожіе встрѣчаются только изрѣдка, и то такіе, которые ничуть не шокируются аппетитомъ, съ какимъ онъ ѣстъ трехкопеечный ситникъ,—все боялся опоздать и вмѣсто чаю рѣшилъ захватить въ лавочкѣ фунтъ ситника,—ситникъ солиднѣе булки. Опасенье было напрасное—лавочница сказала, что всего семь часовъ, но это ничего, онъ успѣетъ забѣжать къ Прохорову: у франта Прохорова должны быть перчатки, а перчатки очень скрасятъ костюмъ, на который будутъ коситься швейцары и горничныя.

Мягкое утро, болѣе похожее на сумракъ, чѣмъ на утро; изъ мглы все яснѣе выступаютъ очертанія зданій; просыпается городское движеніе, поднимается уличный шумъ; вотъ медленно проѣзжаетъ, по-

качиваясь, высокій возъ зеленыхъ иглистыхъ деревцовъ и обдаетъ свѣжимъ смолистымъ запахомъ.

Прохорова невозможно сразу добудиться; сначала онъ отчаянно мычитъ, потомъ схватывается съ ложа, снова на него падаетъ и дикими глазами озирается, точно не узнаетъ своего кожанаго диванчика, книгъ и зеркальца на неустойчивомъ столикѣ и стула въ русскомъ стилѣ, на которомъ давняя позолота не помѣшала ему въ часъ досуга нарисовать бойкую сороку въ шляпкѣ съ эльзасскимъ бантомъ. Наконецъ, онъ приходитъ въ себя, уразумѣваетъ въ чемъ дѣло, однимъ скачкомъ уже у столика, только мелькомъ, и то искоса, заглядываетъ въ зеркальце—безъ этого онъ не можетъ—и между гильзами и сувенирами въ видѣ фотографическихъ карточекъ и цвѣтныхъ ленточекъ отыскиваетъ пару сѣрыхъ, точно пріувядшихъ, перчатокъ, которыя оказываются страшно широки и длинны, главное—длинны, такъ что представляютъ на пальцахъ подобіе какихъ-то совсѣмъ непрезентабельныхъ кисточекъ. Изощренный въ франтовствѣ, Прохоровъ совѣтуетъ концы пальцевъ понабить немножко ваткой, бѣжитъ къ хозяйкѣ и быстрѣе птицы возвращается съ клочкомъ ваты и вязальной спицей.

— Ты куда?—прежде всего спрашиваетъ Прохоровъ, мастерски приспособляя перчатки.

— Къ дядѣ.

— Развѣ она, тетка-то, за границей?

— Не знаю. Я его выжду на улицѣ, когда гулять пойдетъ.

— А! отлично придумалъ. А потомъ?

— Къ дѣйствительной.

— Ухъ!

— Пустяки!

— Да ты видалъ ее уже дѣйствительной?

— Я ее никогда отъ роду не видалъ.

— Ну, такъ изъ куколки такая вылетѣла бабочка...

— Все равно. Рѣшено къ ней идти.

— Впрочемъ, можетъ еще не совсѣмъ окаменѣла. А потомъ?

— Къ профессору.

— Этотъ дастъ. И профессорша за то не оторветъ ему головы, она добрая. А потомъ?

— Къ путейшѣ.

— Ухъ, ухъ!

— Пустяки!

Перчатки мастерски приспособлены (дѣло мастера боится! говоритъ лицо Прохорова), и онъ опять на улицѣ по дорогѣ къ дядѣ.

Какъ счастливо! Не успѣлъ онъ немножко походить взадъ и впередъ около подъѣзда, и только что усатый швейцаръ началъ за нимъ подозрительно слѣдить, какъ въ подъѣздѣ появилась бобровая бекеша, а въ бекешѣ дядя, отправляющійся на прогулку для моціона.

Онъ видитъ, что его появленіе нѣсколько пугаетъ дядю.

— Ахъ, Андрюша!.. я тебя не узналъ... вѣдь почти цѣлый годъ не видались,—говоритъ дядя, окидывая племянника тревожнымъ взглядомъ.—Жаль, что ты, голубчикъ, такъ спозаранку... Клавдія Петровна еще не вставала... впрочемъ...

Онъ спѣшитъ сказать, что ему некогда, что онъ только на минутку, по дѣлу.

— По дѣлу?—спрашиваетъ дядя, искоса окидывая племянника еще болѣе тревожнымъ взглядомъ, и замѣтно конфузится.—А я вотъ, по своему обычаю, на набережную...

Идутъ минуты двѣ молча.

Ну почему онъ не можетъ сразу выговорить?

Онъ волнуется, мысленно обзываетъ себя дуракомъ, мямлей... Фу!.. Наконецъ говоритъ дядѣ, что ему надо денегъ.

Дядя еще больше конфузится. Онъ бы очень радъ... очень бы радъ... И напрасно Андрюша всегда, когда только нужно, не обращается къ дядѣ... Дядя вѣдь родной и къ тому же крестилъ его... крестный отецъ... Очень бы радъ... но въ настоящую минуту немного съ собой захватилъ... шелъ дѣлать моціонъ... А вотъ завтра, въ два часа, онъ будетъ на выставкѣ картинъ и тамъ... А съ собой захватилъ пустяки...

Онъ успокаиваетъ дядю, что ему надо немного, но сегодня, сейчасъ... рубля хоть три...

Дядя проясняется, веселѣетъ,—не только три, можетъ дать вдвое и даже немножко больше.

Дядя останавливается, вытаскиваетъ великолѣпную сигарочницу съ иниціалами, вынимаетъ изъ ея тайника кредитныя бумажки (непремѣнно Клавдія Петровна когда-нибудь догадается объ этомъ тайникѣ) и говоритъ, подавая ихъ племяннику:

— Вотъ, голубчикъ, тутъ 11 рублей. Ты заходи когда-нибудь... Клавдія Петровна скоро уѣзжаетъ лѣчиться, у нея, знаешь, какъ у покойной тещи, все эти ваперы... Заходи, Андрюша...

11 рублей! Что за прелесть этотъ дядя! Вѣдь все отдалъ до копѣйки! А когда-то ему посчастливится что-нибудь утянуть у Клавдіи Петровны: не взирая на ваперы, она ухъ какъ бдительна!

Уже 11 рублей! Отличное начало!

Великолѣпный подъѣздъ дѣйствительной почему-то полуоткрытъ, и онъ быстро туда проникаетъ.

— Позвольте! Куда? Стойте! — кричитъ ему вслѣдъ швейцаръ, но онъ уже у дверей дѣйствительной, звонитъ и входитъ.

Надменная курносая горничная, съ высоко-взбитой челкой, въ фартукѣ съ прошивками и кружевами, медленно окидываетъ его критическимъ взглядомъ и генеральскимъ тономъ спрашиваетъ:

— Отъ кого? Есть письмо?

Онъ желаетъ видѣть барыню.

— Барыня не принимаютъ неизвѣстныхъ... хотя бы визитную карточку представили.

Если нельзя видѣть барыню, то онъ желаетъ написать барынѣ нѣсколько словъ.

— У насъ расписываются, по обыкновенію, у швейцара.

Онъ проситъ доложить барынѣ, что пришелъ отъ ея стараго знакомаго.

— Отъ ихъ знакомаго? — сомнительно повторяетъ горничная, снова медленно обводя его критическимъ взглядомъ.

Однако идетъ во внутренніе покои и возвращается съ листкомъ бумаги и карандашомъ.

— Напишите, отъ кого вы.

Онъ сдергиваетъ приспособленную Прохоровымъ перчатку, которая летитъ на полъ, торопливо пишетъ записку и вручаетъ горничной.

— Растеряли,—говоритъ горничная, указывая ногой на перчатку, и снова уходитъ во внутренніе покои.

Онъ схватываетъ съ пола перчатку и забиваетъ ее въ карманъ.

Ожидаетъ довольно долго. Въ полупритворенныя двери ему видна часть залы и гостиной, и онъ можетъ разсматривать золоченыя рамы, лѣпные потолки, люстры съ хрустальными подвѣсками, громадныя зеркала, мраморные бюсты, бархатъ, шелкъ, инкрустаціи.

Наконецъ горничная возвращается: барыня согласны принять.

Среди гостиной его встрѣчаетъ дама со шлейфомъ и густо напудреннымъ лицомъ, послѣднее ничуть не смягчаетъ ея холодныхъ глазъ на выкатѣ и сильно развитыхъ челюстей.

— Къ сожалѣнію, я не могу принять на себя хлопотъ по сбору денегъ,—твердо и ясно отчеканиваетъ дама,—во-первыхъ, потому, что въ настоящее время всѣ мои знакомые разъѣхались, а во-вторыхъ,

если бы даже знакомые нашлись, то каждый изъ нихъ мнѣ отвѣтитъ, что у него есть свои, извѣстные ему бѣдные, и я не найду на это возраженія, особенно послѣ того, какъ денежные сборы сдѣлались такъ часты и... даютъ поводъ къ страннымъ толкамъ. Что касается собственно меня, то я съ удовольствіемъ внесу, что могу.

Дама наклоняетъ голову въ знакъ окончанія аудіенціи, при чемъ подаетъ ему три рубля.

Онъ забываетъ поклониться и какъ взялъ три рубля, такъ съ ними въ рукѣ кидается въ переднюю, схватываетъ свое пальто и спускается по лѣстницѣ.

— Пустяки!

Разумѣется, пустяки, но его глупое сердце бьется больно и къ горлу такъ подступаетъ, что ни на что не похоже...

Впрочемъ, все-таки пустяки!

Очутившись на улицѣ и пройдя немножко при свѣжемъ ласковомъ воздухѣ и проблескахъ солнца изъ-за бѣлыхъ, словно кружевныхъ облачковъ, онъ оправляется.

Почти спокойно (по крайней мѣрѣ ему кажется, что почти спокойно) онъ приближается къ подъѣзду путейши.

При звукѣ отворяемой двери изъ швейцарской выставляется лысая голова съ густыми рыжеватыми баками, а за нею показывается весь корпулентный швейцаръ, и вовсе не нахмуренный, а какой-то просвѣтленный—ласковое, нѣсколько лукавое поблескиваніе глазъ и такая же улыбка говорятъ объ отмѣнномъ расположеніи духа.

— Вамъ кого?—спрашиваетъ швейцаръ, держа въ рукѣ стаканъ чаю, отъ котораго явственно распространяется спиртуозный запахъ, хотя въ немъ видны только скромныя ягодки какого-то варенья.

Онъ называетъ фамилію.

Швейцаръ отрицательно трясетъ головою.

— Не принимаютъ!

— Я попробую...

— Спеціально не приказано никого... Три рубля на чай дали, но чтобы никого... Кромѣ спеціальныхъ лицъ... Никого... Велѣно стать грудью... Ну, назвался грибомъ и... становись грудью!—улыбается швейцаръ, и вдругъ наклоняется и конфиденціально шепчетъ:

— По черной!

— По черной?

— Черезъ кухню... Только ни-гу-гу! Потому, мнѣ, случается, жаль молодыхъ людей, а существованіе жизни мнѣ тоже необходимо...

Онъ благодаритъ просвѣтленнаго швейцара, который отечески ему киваетъ, поднимается по невѣроятно сорной и грязной черной лѣстницѣ и отворяетъ дверь въ темноватую чадную кухню.

На раскаленной плитѣ трещитъ, шипитъ, клокочетъ; пожилая, рыхлая, красная, какъ огонь, повариха, съ микроскопическимъ носикомъ, невѣроятнымъ богатствомъ бюста и широкимъ бантомъ на чепцѣ, не переставая помѣшивать дымящійся на сковородѣ кофе, глядитъ на него вопросительно, а маленькая любопытная судомойка-чухонка навостряетъ уши. Изъ комнатъ доносятся звуки рояля, веселые голоса, пѣніе и смѣхъ.

Онъ желаетъ видѣть барыню? Невозможно. У нихъ гости и сейчасъ завтракъ, а послѣ завтрака—на тройкахъ...

Онъ все-таки проситъ доложить барынѣ.

— Что жъ, пожалуй. Вотъ сейчасъ придетъ Саша,—горничная.

Повариха отставляетъ кофе и начинаетъ повертывать шипящую въ кастрюлѣ дичь. Чухонка полощетъ посуду.

Онъ, впрочемъ, не особенно долго стоитъ въ ожиданіи. Изъ комнатъ влетаетъ вся въ оборкахъ, буфахъ и бантахъ горничная.

— Степановна, скоро у васъ готово? А ужъ въ гостиной веселье! И что за утѣшный этотъ новый знакомый! Ужь такое пред-

ставляетъ, что лопнуть со смѣху! И ужъ красавецъ! И ужъ щеголь—первый сортъ! И какъ поетъ! Вотъ-вотъ, слышите?

Изъ комнатъ доносится недурной баритонъ:

Я тотъ, которому внимала
Ты въ полуночной тишинѣ...

— Постой, постой, ускромись же на минутку!..—останавливаетъ Степановна.—Вонъ господинъ желаетъ доложиться барынѣ.

— Отъ кого?—спрашиваетъ горничная.

(Послѣ новаго барскаго знакомаго, утѣшнаго, красавца и щеголя, „господинъ“ очевидно производитъ на нее мизерное впечатлѣніе.)

— Отъ Познякова, насчетъ складчины... Пожалуйста, не забудьте: насчетъ складчины... отъ Познякова...

— Чего тутъ забывать!—фыркаетъ горничная, вздергивая плечами.—Слава Богу, не изъ деревни пріѣхали!

Она поправляетъ въ углу, передъ зеркальцемъ, завитушки на лбу, къ очевидному соблазну судомойки, — ея чухонскіе смышленые глаза мечутъ цѣлые пуки молній,—затѣмъ уходитъ.

— Это что жъ за складчина? На бѣдныхъ, что ль?—спрашиваетъ повариха.

— На бѣдныхъ!

— И большая семья?

— Большая.

— Ужъ сколько этихъ бѣдныхъ разводится!—вздыхаетъ повариха.—Да вы присядьте, господинъ. Тюта, подай, догадайся, табуретку господину.

Чухонка сердито толкаетъ къ нему табуретъ.

— Да, много бѣдностей... а все грѣхи наши, — продолжаетъ повариха, снова перевертывая дичь въ кастрюлѣ.

— Барыня очень сожалѣютъ, что не могутъ лично отвѣтить,— говоритъ возвратившаяся горничная, подавая ему рубль,—у нихъ страшная мигрень...

О жизни отрада, младая супруга,
Ужель ты не слышишь стенанія друга...

доносится изъ гостиной.

—...Страшная мигрень,—продолжаетъ горничная, едва удерживаясь отъ смѣха,—и у нихъ теперь докторъ... Какъ разъ прописываютъ рецептъ,—добавляетъ она, очевидно, уже отъ себя, фыркаетъ отъ смѣха и скрывается.

Казалось ему, что онъ готовъ ко всякому пріему, а между тѣмъ онъ ошеломленъ... что трогаетъ добродушную повариху, которая совѣтуетъ навѣдаться денька черезъ два, когда накатаются на тройкахъ.

Пустяки!

Вѣдь это не одинокая мука, не безпросвѣтное томленіе безъ воздуха и свѣта! Вотъ солнце, вотъ свободный путь по улицѣ...

А вотъ и оазисъ—подъѣздъ профессора.

Швейцаръ, правда, глядитъ генераломъ отъ инфантеріи, однако, получивъ въ отвѣтъ на свое строгое „кого надо?“ что надо профессора, безъ прекословій мрачно отвертывается, какъ человѣкъ, уже освоившійся съ злополучіемъ впускать профессорскую убогую молодежь.

Конечно, оазисъ! Горничная безъ гримасъ, учтиво говоритъ, что профессоръ дома, а изъ двери гостиной выглядываетъ профессорша.

(Профессорша изумительно походитъ на херувима... пожилого, который скрылъ крылья и облака подъ пенюаромъ цвѣта бордо, взбилъ кольца золотыхъ, значительно порѣдѣвшихъ кудрей, по прихоти моды, досыта напился кофе и не знаетъ, чѣмъ бы ему заняться.)

— Вы къ Кишѣ? По дѣлу? А! понимаю! Да идите въ столовую. Хотите кофе? Я сейчасъ позову Кишу. Киша! Киша! Онъ убѣжалъ, вообразилъ, что это звонитъ m-me Бубнова, а онъ въ неглиже... Ну, разскажите, что тамъ у васъ, какъ все идетъ... Говорите безъ стѣсненія. Мы хоть съ вами незнакомы, но это ничего... Киша такъ любитъ молодежь... такъ ей сочувствуетъ... Киша! Киша! иди же! Киша не такъ, какъ другіе профессора, которые только думаютъ объ отличіяхъ и чинахъ... онъ вполнѣ сочувствуетъ... Киша! Киша!

Выходитъ Киша, — профессоръ Кириллъ Кирилловичъ, видный брюнетъ, съ прекраснѣйшею, спрыснутою серебромъ, бородою, въ красивой русской рубахѣ, подаетъ руку и очень радъ... разумѣется, разумѣется... со всею готовностью... очень радъ...

Радъ, но глаза какъ-то безпокойно бѣгаютъ, всего какъ-то поводитъ, словно подъ русскую рубаху забрались муравьи... Подаетъ десять рублей и какъ будто ждетъ, что посѣтитель, какъ ихъ возьметъ, такъ и уйдетъ... Но профессорша уже начала анекдотъ о другой профессоршѣ, у которой мужъ молодежь не цѣнитъ и ей не сочувствуетъ.

Профессоръ кружитъ около стола, третъ лобъ, теребитъ свою прекрасную бороду, нетерпѣливо высылаетъ горничную, которая хотѣла было убрать кофейный приборъ; наконецъ замѣчаетъ профессоршѣ, что гость спѣшитъ,— нельзя такъ задерживать человѣка, которому время дорого.

— Сейчасъ, сейчасъ, вотъ только доразскажу,—говоритъ добродушный пожилой херувимъ.

Доразсказываетъ. Профессоръ стоитъ надъ разсказчицей и слушателемъ, какъ на булавкахъ. Вотъ-вотъ конецъ...

Въ этотъ самый моментъ трещитъ колокольчикъ, и появляется m-me Бубнова, нарядная дамочка, живо напоминающая ищейку, которая кричитъ профессору, чтобы отъ нея не прятался—русская рубашка ужасно ему идетъ,—цѣлуется съ профессоршей, спрашиваетъ, не помѣшала ли,—кажется, чѣмъ-то заняты? Ученое совѣщаніе? Однимъ взглядомъ охватываетъ профессорскаго гостя и не упускаетъ смущенія профессора и его старанія поскорѣе выпроводить этого гостя.

Послѣ оазиса—потому ли, что это послѣ оазиса, или потому, что горечь все накоплялась—успокоительное дѣйствіе воздуха довольно медленно.

Пустяки! У него уже въ рукахъ двадцать пять рублей—вотъ что важно. Если Малюта и Прозоровскій сберутъ по стольку же, то вотъ уже семьдесятъ пять рублей. Да онъ и не знаетъ, на что онъ не готовъ, чтобы собрать недостающіе рубли.

Онъ бодро вступаетъ въ новый великолѣпный подъѣздъ... и встрѣчаетъ совсѣмъ неожиданный пріемъ. Молодцеватый щеголь-швейцаръ съ вѣжливою, даже подобострастною улыбкой указываетъ ему бельэтажъ, будто хочетъ ему сказать: мы довольно знаемъ, что иногда подъ скромною одеждой скрываются тысячи и даже сотни тысячъ,—потому, зачѣмъ убогій, настоящій убогій, пойдетъ къ тому, кто безъ большой платы не принимаетъ?

Такимъ же радушіемъ отличается и лакей, скорѣе похожій на ласковаго кота, чѣмъ на цербера, отворяющій ему двери въ огромный ослѣпительный кабинетъ, гдѣ расхаживаетъ съ папиросой маленькій, плотный, чрезвычайно юркій и развязный хозяинъ.

Хозяинъ, очевидно, ожидалъ не такого посѣтителя, но что значитъ легонькое разочарованье тому, чье все существо кричитъ: преуспѣваю!

— Всеконечно, батенька, всеконечно! Примите лепту вдовицы...

Подходитъ къ великолѣпному письменному столу, отряхаетъ папиросу въ серебряный лапоть, беретъ изъ какой-то замысловатой шкатулочки съ инкрустаціями три рубли, подаетъ:

— Лепта вдовицы! И вмѣстѣ съ лептой болѣе цѣнный совѣтъ: ничѣмъ не увлекайтесь, юноша, безъ мѣры. Порядковъ грѣшнаго міра мы съ вами не перевернемъ на свой ладъ... Будемъ же трезво смотрѣть на вещи. Будемъ помнить старое предупрежденіе—vae victis!

Отвращаете отъ меня лицо свое, аки богохульствующаго? Ха-ха-ха! Когда-нибудь вспомните меня, юноша, вспомните и скажете: мудрость изрекала его устами! А впрочемъ, весьма вамъ сочувствую и желаю успѣха на поприщѣ самоотреченія...

Уже есть чуть не половина суммы.

* * *

Еще внушительный подъѣздъ,—послѣдній.

Сморчокъ-швейцаръ брезгливо замѣчаетъ, что на первой площадкѣ надо потише, — въ квартирѣ генерала Сахарова нездоровы; злющая, тонкая, желтая, какъ оса—горничная рѣшительно заявляетъ, что барыня не можетъ принять,—еще въ постели.

Онъ говоритъ, что обождетъ, и входитъ.

— Помилуйте, господинъ, какъ вы можете такъ врываться!— восклицаетъ оса, не успѣвшая заступить ему дорогу.— Говорятъ вамъ: барыня почиваютъ!

— Но она вѣдь проснется?

— Ахъ, Боже мой! Говорятъ вамъ...

Двери во внутреннія комнаты пріотворяются и въ нихъ показывается высокая темноглазая дѣвочка лѣтъ четырнадцати.

— Вотъ мамаша почиваютъ, а этотъ господинъ безпремѣнно рвутся,—сычитъ горничная.

— Войдите, прошу, и подождите, мама вѣрно скоро встанетъ,— говоритъ темноглазая дѣвочка; у нея тихій, ласкающій слухъ голосъ, и вся ея хрупкая фигурка точно проникнута дѣтскою, но чуткою добротою.—Вы къ мамѣ по дѣлу?

— Да, по дѣлу...

И вдругъ, самъ не зная какъ, онъ разсказываетъ ей „дѣло".

Она слушаетъ. Ея темные глаза все расширяются, и губы начинаютъ слегка дрожать.

— Подождите... я... сейчасъ...—шепчетъ она, быстро уходитъ, возвращается и трепещущими ручками подаетъ ему два золотыхъ и золотое колечко со сверкающимъ камешкомъ, очевидно только что снятое съ тоненькаго пальчика.

— Это мое... это папа мнѣ на булавки... Я мамѣ скажу... послѣ... Спрячьте...

Онъ недоумѣваетъ съ колечкомъ, но она такъ страстно настаиваетъ, что изъ ея темныхъ глазъ катятся слезы.

— Барыня нездоровы и не встанутъ сегодня съ постели,—говоритъ возвратившаяся горничная.—Вотъ вамъ рубль.

Дѣвочка вздрагиваетъ, точно ее ударили, вспыхиваетъ пурпу-

ромъ, пурпуръ смѣняется блѣдностью; она судорожно сжимаетъ свои хрупкія ручки.

— А вамъ, Лизавета Ивановна, мамаша приказываютъ сейчасъ же пожаловать къ нимъ,—продолжаетъ горничная.—Позвольте, господинъ, я запру за вами двери...

Онъ протягиваетъ дѣвочкѣ руку. Она схватываетъ ее обѣими похолодѣвшими ручками, хочетъ что-то выговорить и не въ силахъ...

— Позвольте, господинъ, нельзя же такъ очень безчинствовать!— выпроваживаетъ его горничная.

Онъ дома, въ своей комнатенкѣ. Никогда, кажется, въ нее не заглядывало столько солнца, — почти цѣлый столикъ въ солнечномъ свѣтѣ. Неужто тутъ когда-нибудь бывало мрачно и безотрадно?

Онъ не разъ пересчиталъ собранное сокровище и, измученный бѣготней, утомленный впечатлѣніями, блаженно отдыхаетъ.

— Дома?—раздается у дверей чудесно свѣжій голосъ, и появляется чернобровая Катерина Даниловна Чепурная, иначе Катруся Сковорода (получила кличку украинскаго философа за спокойное отношеніе къ житейскимъ невзгодамъ), пышущая здоровьемъ, невзирая на цѣлый годъ чайно-колбасной діэты и единственную кофточку четырехсезонку въ стужу и зной, разгорѣвшаяся какъ розовое утро, сіяя своими мягкими карими очами.

Катруся кладетъ передъ нимъ пять рублей:

— Отъ меня! Не вѣришь, братику?

Невѣроятно, а такъ. Катусѣ неожиданно нашелся великолѣпный урокъ: двадцать рублей въ мѣсяцъ, да еще даютъ кофе съ сухарями... Большущіе такіе сухари,—точно медвѣди, лежатъ на подносикѣ. Катруся ужасно боялась попросить впередъ—всего вѣдь четыре урока дала... Рѣшилась. Барыня закусила губу и задумалась, а у Катруси сердце такъ и покатилось... „Сколько вамъ впередъ?“ А Катруся какъ съ моста въ воду: пять! Дала...

Онъ разсказываетъ свое. Не даромъ окрещенная именемъ украинскаго философа, Катруся, однако, то и дѣло утрачиваетъ стоицизмъ, а когда разсказъ доходитъ до темноглазой дѣвочки и ея колечка, Катрусины стоическія карія очи рѣшительно переполняются слезами и у нея вырывается тихое: серденько ты мое!

Тутъ воспоминанія вдругъ оборвались, какъ чтеніе книги, изъ которой вырваны страницы, и перенесли въ позднѣйшіе дни.

Катруся далеко. Черезъ долгіе промежутки отъ нея приходятъ письма и въ каждомъ она спрашиваетъ: нѣтъ ли у васъ чего хорошаго? хоть не слышно ли?

Ранняя весна. Тихая-тихая апрѣльская ночь. Миріады звѣздъ на темномъ небѣ, яркій серпокъ мѣсяца, далекій шумъ вешней воды. Онъ читаетъ письмо отъ Катруси—четвертое послѣ того, какъ ее проводили въ далекій дикій край, и послѣднее—пришло, когда уже навѣки закрылись Катрусины очи... И въ этомъ послѣднемъ она спрашиваетъ: нѣтъ у васъ чего хорошаго? хоть не слышно ли?

Вдругъ онъ почувствовалъ какъ бы дуновеніе проникающаго жуткаго вѣтерка, будто чье-то тихое, но потрясающее прикосновеніе...

Передъ нимъ стояла Катруся.

Въ первый мигъ сердце его переполнилось захватывающею радостью, но радость тотчасъ же отравилась чѣмъ-то невыносимо мучительнымъ. Онъ, замирая, искалъ въ ея миломъ лицѣ укора, гнѣва, но находилъ только давнюю чистоту яснаго, теперь опечаленнаго взгляда.

И вдругъ онъ почувствовалъ себя такимъ опозореннымъ, такимъ презрѣннымъ, какъ будто продалъ стараго друга.

— Прости! прости!—зарыдалъ онъ въ смертельной тоскѣ.—Прости!

. . . . . .

Онъ открылъ глаза. Надъ нимъ стояла жена, Валентина Алексѣевна, и трясла его за плечо.

— Господи! да проснись же! Иди, ради Бога, скорѣе къ Штольцу и купи сахарной пудры и ананасъ... Этотъ болванъ Василій спьяна испортилъ тортъ... Господи! да перестань же мычать! Если Штольцъ уже запертъ, купи хоть въ аптекѣ ананасный консервъ... но купи, купи, купи!..

Марко Вовчокъ.

Е. Самокишъ

Елена Петровна Самокишъ, урожденная Бенардъ, родилась въ С.-Петербургѣ въ 1863 году. Отецъ ея дворянинъ Петербургской губ., военный инженеръ. Мать дворянка, польскаго происхожденія. Раннее дѣтство провела въ Петербургѣ, потомъ въ разныхъ городахъ провинціи и, наконецъ, опять въ Петербургѣ, гдѣ получила образованіе, въ Павловскомъ женскомъ институтѣ. Съ малыхъ лѣтъ проявляла наклонность къ живописи и въ институтѣ было обращено усиленное вниманіе на развитіе ея таланта къ живописи. Получила при окончаніи большую золотую медаль. Послѣ института 2 года училась въ гельсингфорской рисовальной школѣ и брала приватные уроки у профессора Верещагина. Въ это время встрѣтилась съ извѣстнымъ маринистомъ академикомъ Судковскимъ, вышла за него замужъ и уѣхала въ Очаковъ и Одессу. Черезъ 2 года овдовѣла. Поѣхала за границу для усовершенствованія въ живописи. Послѣ почти годового пребыванія въ Парижѣ вернулась въ Петербургъ. Тутъ принялась писать картины и портреты частью для выставки, частью по заказамъ. Въ 1889 году вторично вышла замужъ за академика-баталиста Николая Семеновича Самокиша. За періодъ послѣднихъ 10 лѣтъ не прерывая работала по живописи и иллюстраціи. Дѣлала декоративныя панно, акварели etc. Во время коронаціи была приглашена для иллюстрированія Коронаціоннаго Сборника. За послѣднюю работу получила медаль Государя Императора на голубой лентѣ, значокъ и Высочайшую награду въ видѣ часовъ съ орломъ и аграфа къ нимъ, усыпанныхъ брильянтами. Имѣетъ брошь съ инициалами отъ Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны и жетонъ съ краснымъ крестомъ за работы для общ. краснаго креста.

Сотрудничаетъ почти во всѣхъ иллюстрированныхъ изданіяхъ. Состоитъ членомъ I дамскаго худож. кружка. Художественнаго званія не имѣетъ, такъ какъ никогда не выставляла на конкурсъ для полученія званія.

Ю. Безродная.

Юлія Ивановна Безродная родилась въ 1859 г. въ Кіевѣ и получила первоначальное воспитаніе въ пансіонѣ графини Левашевой. Въ 1879 году она переѣхала въ Петербургъ, поступила на историческое отдѣленіе высшихъ женскихъ курсовъ и пробыла на нихъ до 1882 г. Такимъ образомъ Ю. И. посчастливилось попасть въ самый расцвѣтъ курсовъ и слушать такихъ профессоровъ, какъ А. Весловскій, В. С. Соловьевъ, Бестужевъ, Янсонъ, Бауэръ, Васильевскій и др.

На литературное поприще г-жа Безродная выступила разсказомъ «На чистый воздухъ», появившимся въ журналѣ «Свѣтъ», редактируемомъ тогда профессоромъ Вагнеромъ; автору въ то время минуло 18 лѣтъ. Вскорѣ затѣмъ въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», издававшемся тогда Михайловскимъ и А. М. Евреиновой, былъ напечатанъ и ея первый романъ «Минувшее». Съ тѣхъ поръ Ю. И. Безродная напечатала цѣлый рядъ разсказовъ и повѣстей въ «Вѣстникѣ Европы», «Русской Мысли», «Русскомъ Богатствѣ», «Мірѣ Божіемъ» и «Артистѣ». Кромѣ того, Ю. И. принимаетъ участіе въ дѣтскихъ журналахъ «Игрушечка» и «Юный Читатель».

Серафима.

(отрывокъ.)

— —

I.

— Такъ ты непремѣнно хочешь знать мою тайну?—спросила Серафима, пронизывая брата острымъ взглядомъ своихъ узкихъ, карихъ глазъ.

— Я бы очень хотѣлъ, Сима,—робко отвѣчалъ Володя.

Десятилѣтняя высокая, худощавая Серафима съ черными вьющимися волосами и возбужденнымъ лицомъ, составляла рѣзкую противоположность своему семилѣтнему брату, который былъ бѣлокуръ, блѣденъ и вялъ въ движеніяхъ.

— Но развѣ ты не знаешь, что тайну говорятъ только подъ страшной клятвой?

— Какъ же мнѣ клясться тебѣ, Симочка?

— Ну, подними вверхъ правую руку.

Володя послушно исполнилъ приказаніе. Серафима, отойдя въ сторону, съ мрачнымъ восхищеніемъ созерцала своего подчиненнаго, неподвижно стоявшаго съ поднятою рукой.

Дѣло происходило въ самомъ уединенномъ углу сада, подъ огромнымъ развѣсистымъ кустомъ сирени, которая ласково осыпала своими цвѣтами пріютившихся возлѣ нея ребятишекъ.

— Теперь говори за мной,—сказала Серафима послѣ нѣкотораго молчанія:—клянусь не разсказывать ничего ни папѣ, ни мамѣ, ни даже бабушкѣ... Теперь я тебя считаю достойнымъ узнать мой секретъ.

Она пригнула голову брата къ себѣ и прошептала:

— Сегодня у меня будутъ гости...

На лицѣ Володи появилось разочарованное выраженіе.

— Только это будутъ вовсе не такіе гости, какъ всегда, а необыкновенные...

— Какіе же это, Сима?

— Мои гости будутъ... невидимые...

— И я не увижу ихъ? А ты увидишь?—быстро спросилъ Володя:

— Конечно, я-то увижу! А про тебя ничего не могу сказать...

— Но кто же они? Мальчики или дѣвочки?

— Фи, дѣвочки! Стану я знаться съ дѣвчонками! Нѣтъ, ко мнѣ пріѣдутъ на маленькихъ велосипедахъ два мальчика... Оба они одинаковаго роста, бѣленькіе какъ яичко, съ глазами голубыми какъ небо, съ волосами золотыми какъ солнце...

— И они станутъ говорить съ тобою?

— Да. Они будутъ разсказывать о своемъ папѣ, который очень добрый, о своей бабушкѣ, у которой кладовая съ гостинцами всегда открыта...

— Что ты! Вовсе, совсѣмъ открыта?

— Конечно, совсѣмъ... Всѣ могутъ приходить и набирать чего хотятъ въ передникъ.

— Вотъ хорошо!

— Не совсѣмъ.—Серафима наклонилась къ брату и прошептала. У нихъ есть своя бѣда: злая мама! Но они тоже знаютъ, что это не ихъ собственная мать, что она прогнала ихъ настоящую маму, а сама сѣла на ея мѣсто... Хотя имъ и говорятъ, что ихъ мама умерла, но они тоже не вѣрятъ...

— А кто же еще не вѣритъ, Симочка?—перебилъ сестру Володя.

По оживленному лицу дѣвочки пробѣжали какія-то мрачныя тѣни; на мгновеніе она задумалась, но вскорѣ мечтательно сказала:

— Они оба такъ рады, что родились мальчиками, иначе какъ бы они могли ѣздить на велосипедахъ? А теперь они все ѣздятъ, ѣздятъ...

— Цѣлый день?

— Иногда день и ночь.

— Зачѣмъ же они все ѣздятъ?

Сима нагнулась къ лицу Володи и, обдавая его горячимъ дыханіемъ, прошептала:

— Они ищутъ свою настоящую маму.

— А если ее и вправду нѣту?

— Неправда, гадкій мальчишка!—топнувъ ногою, крикнула Серафима,—у нихъ есть настоящая мама...

Володя не сталъ настаивать на своемъ.

— Какъ же зовутъ мальчиковъ?

— Какъ зовутъ? — переспросила Сима.—Въ самомъ дѣлѣ, какъ ихъ зовутъ?

Она задумалась, но вскорѣ сказала съ увѣренностью:

— Зовутъ ихъ Алли и Бэлли.

Тутъ она умолкла, прислонилась къ стволу сирени и застыла въ мечтательной задумчивости. Володя почтительно стоялъ возлѣ нея, не смѣя прервать ея размышленій.

Наконецъ въ воздухѣ медленно и глухо пронесся металлическій звонъ большого колокола деревенской церкви.

Серафима очнулась.

— Ну, Волька,—сказала она съ какою-то недоброю шаловливостью и насмѣшкой въ черныхъ глубокихъ глазахъ,—я вовсе не даромъ разсказала тебѣ мой секретъ: мнѣ нужно, чтобы ты досталъ для гостей угощеніе.

— Но какъ же сдѣлать это, Симочка?

— Очень просто... Сейчасъ изъ церкви пріѣдутъ старшіе съ новымъ батюшкой и станутъ пить кофе. Бабушка тогда захлопочется и забудетъ про насъ. Тогда ты вбѣги къ ней въ буфетную и скажи, что къ намъ въ садъ пріѣхали гости и что туда надо гостинцевъ... Она дастъ навѣрно.

— Какъ же я скажу, что пришли гости, а гостей нѣтъ?—нерѣшительно спросилъ мальчикъ.

— О, трусишка! Вѣдь я же говорю тебѣ, что гости сейчасъ пріѣдутъ!..

Серафима прислушилась.

— Да вотъ, кажется, они уже и ѣдутъ? Я слышу, какъ по песку скрипятъ колесики... Ну, теперь ступай отъ меня прочь, они не станутъ говорить съ такимъ трусишкой.

— Слушай, Симочка...

— Ступай, убирайся...

— Да ты же мнѣ обѣщала...

— Я обѣщала, если ты принесешь гостинцы... тогда ты непремѣнно увидишь Алли и Бэлли... Ну, бѣги же скорѣе къ бабушкѣ и скажи ей все такъ, какъ я тебя учила.

Серафима повернула до крайности взволнованнаго Володю по направленію къ дому и толкала его впередъ. Мальчикъ побѣжалъ, наконецъ, подчинившись желанію сестры.

II.

Оставшись одна, Серафима засмѣялась короткимъ и сухимъ смѣхомъ, странно звучавшимъ въ устахъ такой маленькой дѣвочки, и стала ходить по аллеѣ, потирая смуглыя ручки съ гибкими пальчиками.

Еще только вчера мама запретила бабушкѣ давать дѣтямъ лакомства до обѣда, а ужъ сегодня Сима поставитъ на своемъ и сейчасъ будетъ ѣсть сладкое... И такъ будетъ постоянно, лишь бы Володя хорошенько повѣрилъ въ невидимыхъ мальчиковъ... Хотя почему бы и дѣйствительно сюда не могли пріѣхать Алли и Бэлли?

Сима быстро оглянулась; но вокругъ все было тихо... Такъ что же! Мальчики могутъ пріѣхать черезъ минуту.

Серафима жадно вглядывалась въ глубину сада, но златокудрые

гости не пріѣзжали; а когда, наконецъ, на балконѣ появился Володя съ платочкомъ въ рукахъ, она забыла обо всемъ и понеслась ему навстрѣчу.

— Вотъ, возьми!—кричалъ запыхавшійся мальчикъ, вручая сестрѣ нѣсколько твердыхъ медовыхъ пряниковъ и горсть орѣховъ,—больше бабушка дать не хотѣла... Ну, Симочка, теперь я увижу дѣтей, правда? А вотъ еще яблоко... за него я хочу видѣть велосипедъ...

Серафима приняла пряники и орѣхи.

— Яблоко возьми назадъ,—отвѣчала она брату:—велосипеда никакъ нельзя увидѣть. А гостей можетъ быть ты и увидишь, потому что велъ себя ты храбро...

Дѣти подошли къ своему обычному мѣстечку подъ сиренью. Сима положила платочекъ съ пряниками на землю и стала прислушиваться. Володя замиралъ подлѣ нея, охваченный жаждой чудеснаго.

— Слышишь?—спросила, наконецъ, Серафима, поднимая кверху гибкій пальчикъ,—колеса уже скрипятъ по песку, ближе, ближе... Вотъ они уже повернули сюда съ большой аллеи.

— Я тоже слышу скрипъ,—прошепталъ Володя.

— Слышишь?—хлопая въ ладоши, закричала Сима,—ты въ самомъ дѣлѣ слышишь? Значитъ, они-таки ѣдутъ?

Дѣвочка выбѣжала на аллею и, вся красная, трепещущая, застыла въ радостномъ ожиданіи.

— Володя, можетъ быть ты ихъ и видишь?—спросила она.—Посмотри хорошенько.

— Ничего не вижу,—печально отвѣчалъ Володя,—а развѣ и ты не видишь? Значитъ и ты не заслужила?

— Я? Я не заслужила?—презрительно отвѣчала Серафима.—Да я ихъ уже давно вижу.

— Гдѣ же? Гдѣ?—шепталъ Володя, подбѣгая.

— Вотъ. Вотъ они подходятъ. Здравствуйте Алли и Бэлли! Оставьте свои велосипеды подъ деревомъ, а мы пойдемъ въ гостиную... Лѣтомъ у насъ гостиная подъ сиренью.

И Сима, къ великому удивленію Володи, сдѣлала такой же привѣтливый жестъ рукою, какой дѣлала мама, пропуская впередъ себя какую-нибудь почтенную гостью.

— Хорошо ли вы доѣхали?—продолжала Сима тономъ взрослой дамы,—хорошо? Очень рада, что вы нигдѣ не упали въ грязь, а то ваши хорошенькія курточки теперь никуда бы не годились.

— Симочка, развѣ я не буду ничего и слышать?—робко прошепталъ Володя.

— Ахъ, почемъ я знаю!—отвѣчала Серафима, совершенно увлеченная разговоромъ. — Вы говорите, что у васъ много хорошенькихъ курточекъ? И васъ бы не бранили, если бы эти испачкались? Это очень пріятно... Вы можетъ быть голодны и желаете закусить?

Къ сожалѣнію, я кромѣ этихъ пряниковъ да орѣховъ сегодня ничего не имѣю.

Сима замолчала, глядя на пряники съ напряженнымъ ожиданіемъ: вдругъ, чего добраго, къ нимъ сейчасъ протянется двѣ пары бѣленькихъ ручекъ. Но пряники лежали неподвижно.

— Отчего же они не берутъ?—спросилъ Володя, который самъ былъ не прочь испробовать угощеніе.

— Они благодарятъ, они сейчасъ позавтракали,—объяснила Серафима и снова заговорила тономъ взрослой дамы:—Какъ, вы уже прощаетесь? Посидите еще немного... Я васъ познакомлю съ моимъ братомъ Владимиромъ, онъ довольно хорошій мальчикъ, только не всегда бываетъ послушенъ. Вамъ некогда? Вы еще спѣшите объѣхать много земель? Вы ѣдете сейчасъ въ Африку?

— Спроси, когда они опять къ намъ пріѣдутъ?—шопотомъ сказалъ Володя.

— Они говорятъ, что завтра. Отлично, мы приготовимъ завтра побольше угощенія... До свиданія.

Серафима встала, чтобы проводить гостей, и Володѣ опять показалось, будто онъ слышитъ скрипъ колесъ по песку аллеи.

— Симочка, почему же они мнѣ не показались?—печально спросилъ онъ, когда Серафима вернулась на свое мѣсто.

— А я чѣмъ виновата? Вѣдь я тебѣ говорила, что ихъ видятъ только тѣ, которые это заслужили.

— Да вѣдь я сдѣлалъ все, что ты мнѣ велѣла.

— Сдѣлалъ! А развѣ ты не боялся, когда говорилъ съ бабушкой?

— Боялся...—пробормоталъ совершенно уничтоженный Володя.

— Ну, вотъ! Не будь же трусомъ завтра и проси побольше гостинцевъ... Ты вѣдь слышалъ, они тоже любятъ медовые пряники?

— Слышалъ... А пока я могу съѣсть тѣ, которыхъ они сегодня не захотѣли?

— Кушай свое яблоко,—отвѣчала Серафима, которая не любила ѣсть фрукты до обѣда.

Володя удовольствовался яблокомъ, а Сима, придерживая платочекъ съ пряниками, опять засмотрѣлась въ глубину аллеи. Ей представилось, что она дѣйствительно сейчасъ сидѣла съ златокудрыми братьями; но только также оказалась недостойной ихъ видѣть.

— Но завтра... завтра я ужъ ихъ непремѣнно увижу...—прошептала она со вздохомъ.

— Развѣ и ты...—началъ Володя, но сестра не дала ему кончить.

— Дуралей!—сказала она и, покрывъ лицо передникомъ, начала плакать.

— Дѣти, обѣдать!—раздался съ балкона дребезжащій голосъ бабушки,—скорѣе, въ дѣтскую, мыть руки! А ты, проказница,—обратилась она къ Симѣ,—опять волосы всѣ растрепала!? Иди ужо ко мнѣ,

я приглажу. Да перемѣни передничекъ: въ залѣ сидитъ новый батюшка и хочетъ послушать твоей музыки... Ему, вишь, въ городѣ еще тетя Вѣра говорила, что ты ладно на фортепіанахъ играешь.

Щеки Серафимы, и безъ того непомѣрно красныя, теперь обратились въ два пурпуровыхъ шара—такъ она любила слушать похвалы старшихъ. Всѣ утреннія впечатлѣнія и волненія были забыты, и дѣвочка гордо, съ сіяющими, темными глазами, вошла въ залу, заранѣе предвкушая тріумфы.

На диванѣ сидѣлъ новый молодой батюшка въ лиловой рясѣ съ большимъ золотымъ крестомъ, повѣшеннымъ на плоской цѣпи. Около него, въ креслахъ, помѣщались отецъ и мать.

— Вотъ она, моя будущая знаменитость,—шутливо сказалъ отецъ, притягивая къ себѣ Серафиму, которая жеманно упиралась.

— Поздоровайся съ батюшкой,— сказала мать,— развѣ ты не знаешь, что гостямъ надо вѣжливо кланяться?

Серафима сейчасъ же почувствовала, что дѣлается деревянной, и сдѣлала передъ священникомъ обычный неловкій книксенъ.

— Изрядная дѣвица уже,— сказалъ батюшка,— и удивительно какъ непохожа на своего братца... точно другого колѣна.

— Да,—отвѣчала мать,—трудно даже повѣрить, что она родная сестра Володѣ.

„А я и есть не родная... ужъ я знаю, что знаю...“ подумала Серафима, сдвигая тонкія брови.

— Ну, садись и играй, а то пора уже обѣдать,— сказалъ отецъ.

Безъ всякой застѣнчивости Серафима сѣла на высокій табуретъ, и ея гибкіе пальчики смѣло забѣгали по клавишамъ. Батюшка съ удивленіемъ смотрѣлъ, какъ они летали то вправо, то влѣво, то вверхъ, то внизъ или соединялись вмѣстѣ для громкихъ аккордовъ, чтобы потомъ опять разбѣжаться.

— Весьма изрядно,—говорилъ онъ,—и откуда это у такой маленькой? Вотъ ужъ истинно, Господь умудрилъ младенца.

Серафима отошла отъ рояля гордая, съ раздутыми ноздрями и посмотрѣла на мать пылающимъ взоромъ... „Можетъ я и не твоя дочь... ты меня не любишь, а зато какъ хорошо я играю...“ говорилъ этотъ взоръ.

— Очень хорошо,—сказалъ отецъ, и она прильнула къ его колѣнямъ.

— Иди причешись, такая всклокоченная,—замѣтила мать.

Серафима повиновалась, хотя все еще продолжала чувствовать свое превосходство.

— Зачѣмъ ты развиваешь въ ней такое непомѣрное самолюбіе?—замѣтила мать, когда дѣвочка вышла,—это очень повредитъ ей въ жизни.

— Да, конечно,—подтвердилъ батюшка.

— Э, матушка,— отвѣчалъ отецъ,— жизнь никого не балуетъ, такъ пусть хоть въ дѣтствѣ ребенокъ получитъ какое-нибудь удовольствіе.

— Да, конечно,—благосклонно согласился батюшка и съ этимъ.

III.

Послѣ обѣда Серафима убѣжала въ конюшни, чтобы дразнить козла.

Занятіе это требовало крайней осторожности, какъ потому, что было запрещено старшими, такъ еще и потому, что бородатый противникъ отличался необычайною вспыльчивостью.

Пробравшись подъ заборомъ чернаго двора къ дверямъ конюшни, Серафима различными дерзкими тѣлодвиженіями стала вызывать на бой сѣраго козла, солидно гулявшаго между лошадьми, которые были поручены его бдительной охранѣ.

Сначала козелъ только покосился на дерзкую дѣвочку и тотчасъ же отвернулся, дѣлая видъ, что ее вовсе и не замѣтилъ; но Серафима прыгала, свистала, махала передникомъ и наконецъ даже осмѣлилась защекотать между его рогами длинной хворостиной.

Тутъ ужъ все напускное равнодушіе сразу покинуло сѣраго противника. Съ рѣзкимъ отрывистомъ крикомъ, онъ повернулся къ Серафимѣ всѣмъ туловищемъ и, нагнувъ рога, приготовился къ защитѣ; но шалунья уже была далеко, оглашая громкимъ смѣхомъ дворъ конюшни.

— Ты опять, проказница, здѣсь!—сказалъ садовникъ Еремѣичъ, выходя изъ оранжереи.—Погоди, ужо я скажу папенькѣ.

Серафима продолжала смѣяться, а козелъ вышелъ изъ конюшни, чтобы со степенною радостью привѣтствовать появленіе своего стараго пріятеля.

— Здравствуй, козлятина, здравствуй,— благосклонно говорилъ Еремѣичъ.—Каково, лѣнтяй, поживаешь? Справно ли отъ коней злыдней отгоняешь?

Козелъ издавалъ въ отвѣтъ рѣзкіе подобострастные звуки и терся бородой о рукавъ садовника, а Серафима завистливо смотрѣла на это: чего бы она не дала, чтобы заслужить отъ бородача такое же почтеніе!

— Ну, пошелъ, довольно,— сказалъ садовникъ.—Пусти меня къ сивкѣ: кормить ее надо... Сегодня ночью въ городъ съ ней поѣдемъ парниковые огурцы продавать.

Еремѣичъ оттолкнулъ козла, засыпалъ корму сивкѣ, заплелъ ей хвостъ и завязалъ его въ узелъ. Затѣмъ Серафима проводила старика въ большой сарай, гдѣ стояли всевозможные фуры, телѣги, брички, тарантасы и одинъ фаэтонъ, старательно покрытый клеенчатымъ чехломъ.

Дѣвочка чрезвычайно внимательно наблюдала, какъ садовникъ выдвинулъ изъ общаго ряда одну телѣгу съ длиннымъ полотнянымъ ящикомъ назади и, укрѣпивъ переднюю ось на дугу, принялся подмазывать колеса.

— Зачѣмъ здѣсь кроватка? — спросила Серафима, указывая на полотняный ящикъ.

— И что выдумаетъ!—отвѣчалъ Еремѣичъ,—это ясли для сѣна, а она: кроватка. Развѣ такія кроватки бываютъ? Шла бы лучше къ бабушкѣ...

Еремѣичъ ворчалъ все время, пока подмазывалъ колеса; Серафима не обращала вниманія на его слова; но за подмазкой наблюдала чрезвычайно внимательно.

— Ты ужъ кончилъ, Еремѣичекъ,—сказала она съ сожалѣніемъ, когда уже всѣ колеса были подмазаны и на ея платьѣ появилось нѣсколько сальныхъ пятенъ,—но можетъ тебѣ еще что надо дѣлать, а? Дѣлай, пожалуйста, еще что, Еремѣичка...

— Вотъ прилажу къ телѣгѣ пятое колесо и почну его мазать,— отвѣчалъ садовникъ такъ серьезно, что Серафима посмотрѣла на телѣгу, соображая, съ какой же это стороны можно еще колесо приладить? А старикъ поставилъ въ уголъ мазилку съ дегтемъ и отправился въ людскую. Серафима поспѣшила за нимъ, такъ какъ на дворѣ уже изрядно стемнѣло.

У бабушки уже была зажжена свѣчка. Она сидѣла подлѣ нея съ огромнымъ моткомъ жесткой сѣрой шерсти, которую наматывала на клубокъ.

— Баба, пора сегодня кончить намъ исторію про бѣлаго рыцаря,— сказала Серафима, солидно усаживаясь съ ногами на жарко натопленную лежанку, возлѣ которой стояла кровать старушки. — Ты помнишь, на чемъ мы остановились?

— Что-то будто забыла я, дѣвочка,—отвѣчала бабушка.

— Ну вотъ! Ахъ ты какая!..—Серафима взяла въ одну руку сте-

ариновый огарокъ, а въ другую донельзя растрепанную и засаленную книжку.—Помнишь, вдругъ ему на встрѣчу три разбойника, а онъ имъ всѣмъ отрубилъ головы.

— А они такъ и стояли смирно, пока онъ рубилъ?—усомнилась бабушка, разыскивая очки.

— Да вѣдь сколько у него оружія! За спиной у него висѣлъ колчанъ, два кинжала поперекъ сѣдла, въ одной рукѣ — ружье, въ другой—топоръ...

Покачивая головой, бабушка надѣла тяжелыя круглыя очки съ выпуклыми стеклами, на которыхъ тотчасъ же затанцовало пламя, разбившись на золотыя искорки, и возразила:

— А въ какой же рукѣ онъ повода держалъ?

— Ну, баба, какая ты невѣрная!—разсердилась Серафима.—Вѣдь это чудесное, и конь у рыцаря былъ заколдованный.

— Развѣ что заколдованный,—согласилась бабушка, начиная вязать чулокъ изъ непокорной жесткой шерсти, которая дѣлала на спицахъ такія неровныя петли. Но и сегодня ей не суждено было узнать конецъ приключеній бѣлаго рыцаря, потому что въ комнату вошелъ отецъ, который спросилъ сердито:

— Какіе это такіе необыкновенные гости приходили къ тебѣ сегодня?

— Когда? — сказала Серафима, роняя изъ рукъ свѣчу, которая потухла, падая на полъ.

— Пожалуйста, не притворяйся...

Серафима въ негодованіи молчала. „О, негодный мальчишка! Онъ поднималъ руку къ небу, гдѣ живетъ самъ Богъ, онъ клялся—и все-таки не могъ сохранить тайны!“

— Отвѣчай, гадкая дѣвчонка!—закричалъ отецъ,—откуда ты выдумала какихъ-то тамъ невидимыхъ мальчишекъ?

— Ничего я не выдумывала, — возразила Серафима, — мнѣ казалось, что они придутъ; а Володя даже слыхалъ, какъ по песку колеса скрипѣли.

За спиной отца появилась и мать съ гнѣвнымъ лицомъ.

— Гадкая лгунишка, ты не только сама лжешь, но и Володю учишь,—сказала она.

— Неправда, я не лгунишка,—отвѣтила Серафима, взглядывая на мать блестящими глазами. Какъ всегда, при разговорахъ съ матерью, ей и теперь захотѣлось помѣряться съ нею, доказать свое превосходство.

— Ай-ай, развѣ можно такъ говорить мамѣ?—замѣтила бабушка, испуганная серьезнымъ оборотомъ, которое принимало пустое дѣло.

— Такъ чего же она на меня папѣ всегда наговариваетъ? — закричала Серафима.— Ей хочется, чтобы я была и лгунишкой, и гадкой дѣвочкой... А вотъ ея Володя такъ безсовѣстный.

— Серафима!..

— А какъ же! Руку къ небу поднималъ и все потомъ разсказалъ... Это называется—предатель!

— Откуда у тебя это?—воскликнулъ изумленный отецъ.

— Откуда?—гордо возразила дѣвочка.—Развѣ я не знаю, какъ клялся рыцарь Тристанъ, когда ѣхалъ за принцессой?

— Что за чепуха!

— Ты не вѣришь?— торжествовала Серафима,— такъ посмотри самъ... Это даже баба знаетъ.

Она протянула отцу книгу въ толстомъ кожанномъ переплетѣ, напечатанную старинным шрифтомъ на грязно-синей бумагѣ.

— Откуда ты раздобыла такое сокровище?

— Съ чердака, тамъ эво сколько книгъ!

Серафима вытянулась, растянула руки и даже подпрыгнула, чтобы показать, сколько еще есть на чердакѣ интереснаго.

— А кто тебѣ на чердакъ позволилъ ходить?

— Кто же мнѣ могъ позволить, когда я ни у кого не спрашивалась?

— Эй, помолчи!

— Какъ же я буду молчать, когда вы мнѣ приказываете говорить?

— Ишь, ты, слово за слово... — прошептала бабушка, покачивая сѣдой головой.

— Она просто хочетъ заговорить насъ, но это ей не удастся,— сказала мать.—Отвѣчай сейчасъ, зачѣмъ ты выдумала про какихъ-то двухъ мальчишекъ и послала Володю за пряниками?

— Вчера вы сказали, чтобы я больше не смѣла просить у бабушки сладкаго, а мнѣ очень хотѣлось...—пробормотала Серафима.

— И ты для этого только все выдумала?—укоризненно замѣтилъ отецъ.

— Папочка, милый, мнѣ иногда казалось, что они и взаправду тутъ сидятъ, да мы недостойны ихъ видѣть... А Володя даже слышалъ, какъ они ѣхали!

Родители озабоченно переглянулись.

— У нея сильно развита фантазія,—сказалъ отецъ.

— Но она портитъ Володю, — возразила мать. — Противъ этого надо принять мѣры.

— Да, да, ты совсѣмъ, Сима, отъ рукъ отбилась,—сказалъ отецъ,— надо будетъ тебя приструнить. А пока что, отдай мнѣ эти глупости, и чтобы на чердакъ больше ни ногой, слышала?

Отецъ взялъ съ собою драгоцѣнности, доставлявшія столько развлеченія бабушкѣ со внучкой, и родители вышли.

Тогда Серафима бросилась на грудь бабушкѣ и дала волю слезамъ, которыя сдерживала изъ гордости передъ матерью.

— Безсовѣстный Володька!—рыдала она,—вовсе онъ уже не такъ малъ, чтобы не понимать, что такое страшная клятва. А потомъ, ба-

бушка, развѣ я лгунья? Отчего же не заѣхать Алли и Бэлли къ намъ въ садъ, разъ они ѣздятъ по свѣту отыскивать свою маму?

Бабушка только сочувственно гладила непокорные волосы внучки.

— А кто же тебѣ сказалъ, что они ѣздятъ по свѣту за своей мамой?—наконецъ спросила она.

— Кто мнѣ сказалъ? — переспросила Серафима, точно просыпаясь.—Да никто не говорилъ! Только, бабунечка, мнѣ самой кажется, что они и вправду ѣздятъ... Иногда, вотъ, я бы такъ сейчасъ ихъ передъ собой и увидѣла, ей-Богу!

Бабушка покачала сѣдой головой.

— Право, бабуся,— продолжала Серафима, которая приняла это покачиваніе какъ одобреніе, — развѣ можно сказать, что въ цѣломъ свѣтѣ нѣтъ ни Алли, ни Бэлли? Ну, поклянись мнѣ Богомъ, что ихъ нѣту? Ага, не можешь? А я—чуть-чуть, и буду готова поклясться, что они есть.

Бабушка на это ничего не могла отвѣтить. Она только еще разъ покачала головой и сказала съ оттѣнкомъ нѣкотораго трагизма въ голосѣ:

— А вотъ, что-то еще завтра скажетъ папа!

Серафима нахмурилась.

— Коль правду говорить,—сказала она,—такъ я, конечно, виновата... ужъ не знаю какъ и выкрутиться.

— Ну, ужо... утро вечера мудренѣе... пей молочко и ложись спать.

Но дѣвочка стояла, поглощенная заботой. Наконецъ она вздернула упрямой головкой и сказала, гордо улыбнувшись:

— Пусть она меня не любитъ... мама... зато у меня талантъ.

— Что это такое?—спросила бабушка.

— Не знаю, такъ папа говоритъ,—отвѣчала Серафима и, зѣвая, принялась раздѣваться.

IV.

Нацѣловавшись вдоволь съ бабушкой, Серафима легла въ постель дожидаться прихода матери, которая всегда заходила къ ней вечеромъ; но сегодня, разсерженная, мать не пришла поцѣловать ее на сонъ грядущій.

Серафимѣ становилось все скучнѣе. Она такъ любила поджидать маму, ловить звукъ ея тихихъ шаговъ, шелестъ ея платья, чувствовать надъ собой теплое дыханіе и принимать мягкій поцѣлуй ея губъ... Это были самыя лучшія минуты въ жизни дѣвочки, потому что она втайнѣ страстно обожала свою мать, строгость которой заставляла прятаться куда-то глубоко на дно души это пылкое чувство.

Серафима не могла уснуть отъ тоски и, когда весь домъ погрузился въ сонъ, она поняла, что мать не придетъ къ ней. Обычное чувство неудовлетворенной любви, смѣшанное съ протестомъ, поднялось въ ея душѣ.

Нѣкоторое время дѣвочка лежала неподвижно, но вдругъ вско-

чила съ постели, потому что ей въ голову пришла одна ужасная и въ то же время сладостная идея... Съ громко бьющимся сердцемъ Серафима потихоньку одѣлась и юркнула на крылечко.

На дворѣ было тепло, темно и тихо. Домъ стоялъ весь окутанный мракомъ; но въ людской еще свѣтились окна, изъ раскрытыхъ дверей вырывались нестройные звуки громкаго хохота. Серафима знала, что это подпасокъ Митяй танцуетъ русскую и разными прибаутками забавляетъ общество. Ей стало очень весело.

Тихонько посмѣиваясь, она юркнула въ сарай, гдѣ стояла приготовленная Еремѣичемъ телѣга, и забралась въ полотняныя ясли, доверху наполненныя душистымъ сѣномъ. Ея врагъ, козелъ, степенно разгуливавшій по своимъ владѣніямъ, подошелъ къ телѣгѣ, понюхалъ сѣно и нѣсколько обезпокоился: сѣно пахнуло какъ-то необыкновенно.

Серафима смѣялась надъ одураченнымъ противникомъ до тѣхъ поръ, пока не задремала.

Дѣвочку разбудили неровные толчки и тотъ своеобразный запахъ ворвани, который всегда предшествовалъ появленію Еремѣича. Старикъ уже одѣлся по-дорожному въ сѣрую свиту и выводилъ сиваго изъ конюшни; подпасокъ Митяй стоялъ около, держа въ приподнятой правой рукѣ фонарь съ заплывшей сальной свѣчой.

— Чего фыркашь, аль недоволенъ? — говорилъ Еремѣичъ, надѣвая дугу на сиваго,—поѣлъ—и на работу. Коли ты честный конь, ты и не фыркай, а стой весело... Вѣдь есть же у тебя совѣсть...

— Ужъ и совѣсть, — сказалъ подпасокъ, зѣвая, — какая тамъ у коня совѣсть...

— У всякаго своя совѣсть... у коня—лошадиная, у свиньи—свинячая; только у тебя, видно, никакой нѣтъ... Ужъ я знаю, никто какъ ты! Ты стащилъ мой ремешокъ?

— Нужно мнѣ такое добро...

— Отвертывайся... Здѣсь-то, на землѣ, поживился, а каково тамъ, въ аду-то...

— Выводить коня, что ли?—мрачно прервалъ Еремѣича подпасокъ.

— Чего заговариваешь? Выводи, ужо...

Нагруженная огурцами телѣга, мѣрно покачиваясь, выѣхала на середину двора.

— Ты чего все здѣсь околачиваешься? — строго обратился Еремѣичъ къ козлу, который все вертѣлся около сѣна, стараясь разгадать, откуда у него взялся такой необычайный запахъ.—Иди къ своему дѣлу... Эхъ, видно совѣсти у тебя нѣту, твоей козлиной... Пошелъ, мало тебѣ конюшни? Зачѣмъ все къ сѣну лѣзешь?

Козелъ не проявлялъ склонности къ повиновенію, и Еремѣичъ присоединилъ еще удары кнута къ своимъ пространнымъ аргументамъ.

— Не хотѣлъ слушать рѣчей, плети послушаешь, — продолжалъ старикъ, когда побѣжденный козелъ отбѣжалъ на приличное разстоя-

ніе отъ телѣги.—Аль по Сивкѣ заскучалъ? Такъ онъ въ полдень вернется... Аль самъ въ городъ захотѣлъ? Такъ извиняй, братъ, этого не будетъ, не выгоритъ твое дѣло, потому ты должонъ при лошадяхъ состоять, все равно какъ солдатъ при караулѣ — не моги отлучаться, и баста! Вотъ Барбоску я возьму, потому онъ песъ вольный, а ты при должности.

Козелъ слушалъ угрюмо эту авторитетную рѣчь; зато по двору пронесся восторженный лай Барбоса, который уже давно вертѣлся около, не зная, разрѣшитъ ли ему Еремѣичъ прогулку.

— Да, да, въ городъ пойдешь,—снисходительно отвѣчалъ старикъ на эти радостные крики и, взобравшись на облучокъ, выѣхалъ въ ворота.

Барбосъ бѣжалъ за телѣгой то спереди, то сбоку, то сзади, оглушая темное благоуханное поле радостнымъ лаемъ, тогда какъ невинно оскорбленный козелъ стоялъ у воротъ и долго смотрѣлъ вслѣдъ Еремѣичу.

Итакъ, Серафима, наконецъ, выполнила завѣтную мечту и уѣхала изъ дому безъ вѣдома старшихъ! Она одна явится въ городъ къ тетѣ Вѣрѣ и, вмѣсто непріятностей, которыми ей грозилъ отецъ, проведетъ время превесело. Тетя Вѣра всегда ей такъ рада! Такъ какъ у нея нѣтъ своихъ дѣтей, она любитъ Серафиму какъ родную и часто называетъ ее своей дочкой. Она будетъ играть много на роялѣ, тетя станетъ ее хвалить и давать сладкаго сколько угодно; а вѣроломный Володька будетъ скучать и ходить изъ угла въ уголъ... Пусть онъ увидитъ, весело ли ему безъ Серафимы. А главное, посмотримъ, что будетъ дѣлать мама... Пусть и она знаетъ, что Серафима не можетъ переносить оскорбленій.

Думая такъ, Серафима поглубже зарывалась въ сѣно, потому что Барбосъ началъ обнаруживать къ нему еще большую любознательность, чѣмъ ея бородатый противникъ.

Путешествіе, въ сущности было превеселое, потому что Еремѣичъ все время бесѣдовалъ то съ Сивкой, то съ Барбосомъ и только на разсвѣтѣ задремалъ немного, благоразумно довѣрившись старой лошади, но тотчасъ же проснулся, когда колеса телѣги застучали о городскую мостовую. Сивко привычнымъ шагомъ повернулъ въ узенькій переулокъ и остановился у роскошныхъ расписныхъ воротъ, казавшихся выше и больше дома, котораго они были украшеніемъ.

Сердце Серафимы сильно забилось: теперь наступалъ рѣшительный моментъ, отъ котораго зависѣла вся удача предпріятія... Пойдетъ ли самъ Еремѣичъ во дворъ отворять великолѣпныя ворота или вызоветъ хозяевъ? Въ послѣднемъ случаѣ ея дѣло можно будетъ считать пропащимъ.

Еремѣичъ въ нерѣшительности сидѣлъ на облучкѣ, взглядывая на окна, еще закрытыя ставнями. Наконецъ онъ слѣзъ, привязалъ къ столбу вожжи и вмѣстѣ съ Барбосомъ вошелъ въ калитку.

Серафима только этого и ждала. Быстро выбралась она изъ своего убѣжища на огурцы, съ нихъ на деревянную подножку, соскочила на землю и стрѣлой помчалась за уголъ. Такъ добѣжала она до маленькаго садика, разбитаго посреди улицы, и сѣла отдохнуть на скамеечку подъ тѣнью густой акаціи.

Что же дальше будетъ? Какъ она найдетъ домъ тети Вѣры? Вотъ она и убѣжала, наконецъ, но почему же это вовсе оказывается не весело? И ѣсть хочется, и жарко, и стыдно ходить днемъ неумытой. А потомъ и страшно, въ садикѣ никого нѣтъ.

Сначала Серафима сдерживала набѣгавшія слезы; но затѣмъ и стѣсняться перестала—вѣдь никого вокругъ не было! Наплакавшись вдоволь, она уснула и спала крѣпко до тѣхъ поръ, пока ея не разбудили крики какихъ-то двухъ ссорящихся женщинъ. Испуганно вскочила дѣвочка со скамейки и, не сознавая ничего, выбѣжала вонъ изъ садика.

Серафима бродила изъ одной улицы въ другую, изрѣдка спрашивая у прохожихъ, гдѣ домъ Вѣры Колесниковой; но никто не могъ указать его ей. Усталая дѣвочка, едва сдерживая рыданія, присѣла у деревянной колоды, гдѣ кучера поили лошадей, и вдругъ радостно крикнула:

— Андрей! Андрей!

Старый кучеръ съ бѣлой окладистой бородой, державшій за поводъ статную вороную лошадь, съ удивленіемъ оглянулся.

— Да ужъ не Симочка ли это?!—воскликнулъ онъ.

— Я, милый Андрей, я,—закричала Серафима, бросаясь къ нему.—Голубчикъ, я одна пріѣхала въ городъ... Отведи меня къ тетѣ Вѣрѣ.

Андрей взялъ Симу за руку, поставилъ вороного къ колодѣ и тогда спросилъ:

— Какъ же ты сюда одна попала?

Лукаво улыбаясь, дѣвочка разсказала кучеру о своихъ приключеніяхъ.

Андрей дивился, покачивая головой; дивились и другіе кучера, называя Симу „храброй головушкой“.

V.

Наконецъ, Андрей привелъ бѣглянку къ красивому одноэтажному дому съ огромными окнами и отдалъ ее на попеченіе горничной.

— Симочка, откуда ты?—сказала она, увидѣвъ растрепанную гостью.—Неужто ты такъ къ Ксеніи на именины пріѣхала?

— Какая такая Ксенія?—весело спросила Серафима.—Раньше у тети никакой Ксеніи не было.

— А теперь у нихъ живетъ барышня Ксенія и сегодня ея именины,—пояснила горничная, отворяя двери въ гостиную, гдѣ сидѣло цѣлое общество маленькихъ дѣвочекъ, разодѣтыхъ въ праздничныя платья.

Серафима не обратила никакого вниманія ни на это пышное общество, ни на насмѣшливые взгляды, которыми дѣвочки оглядѣли ея измятое платье и всклокоченные волосы, въ которыхъ запуталось сѣно, потому что ея взглядъ упалъ на прелестное бѣлокурое существо, стоявшее среди дѣтей. Она затрепетала отъ восторга, такъ какъ, наконецъ, увидала наяву предметъ своихъ грезъ.

— Ты Алли или Бэлли?—воскликнула она, бросаясь къ бѣлокурому видѣнію.

— Я Ксенія,—отвѣчала дѣвочка, вскидывая на необыкновенную гостью большіе темно-синіе глаза, опушенные густыми рѣсницами.

Сима остановилась съ протянутыми впередъ руками.

— Не можетъ быть, это ты меня хочешь испытать,—сказала она, серьезно покачивая головой.—Ты не дѣвочка... и ты здѣсь чудомъ...

— Моя мама уѣхала за границу, а меня привезла сюда погостить,—отвѣчала Ксенія.

Серафима стояла, подавленная разочарованіемъ. Неужели у обыкновенной дѣвочки могутъ быть такіе синіе глаза и такіе золотые волосы, какіе должны быть только у Алли и Бэлли?

— Ахъ, какъ жаль, что ты не они!—сказала она наконецъ, глядя съ горькимъ разочарованіемъ на Ксенію.

— А кто же это они?—спросила та.

— Кто они?—Серафима подумала.—Они—никто.

Ксенія очень вѣжливо удивилась; но въ это время въ дверяхъ появилась тетя Вѣра, и Серафима радостно бросилась въ ея объятія.

— Не брани меня, милочка,—сказала она, скрывая на ея груди свое лицо,—и не говори мнѣ, что я сдѣлала дурно... Кто же этого можетъ не понимать!.. Только не брани! Я и изъ дому ушла, чтобы меня не бранили.

Тетя Вѣра увлекла дѣвочку на балконъ, и тамъ, оставшись съ нею наединѣ, спросила:

— Подумала ли ты хоть разокъ, что теперь у васъ дѣлается дома?

— Теперь, вѣроятно, завтракаютъ,—былъ простодушный отвѣтъ.

— И ты сейчасъ будешь завтракать,—сказала тетя Вѣра, сдерживая улыбку.—Я хотѣла спросить тебя не объ этомъ... Знаешь ли ты, какъ теперь тамъ о тебѣ безпокоятся?

— О, да!—восторженно перебила ее Серафима.—Бабушка, бѣдняжка, бѣгаетъ по комнатамъ и спотыкается, и хватается за голову, папа велитъ запрягать лошадей, Володька пялитъ глаза на маму... Ну, а мама... она рада...

— Мама рада?

— Конечно... Она всегда мной тяготилась! Вѣдь я вонъ какая черная, а Володька бѣлый... Володька ея сынъ, а я... подкинутая...

— Сима, что ты болтаешь?

— Ужъ я знаю, что знаю,—повторила Сима.

— Жестокая дѣвочка!—воскликнула тетя Вѣра,—тебѣ нравится, что твои теперь безпокоятся... Ты просто злая, и сама отлично понимаешь, что въ твоихъ словахъ нѣтъ ни капли правды.

Серафима молчала; лицо ея было упрямое и злое.

— Скажи, вѣришь ты въ то, что ты не дочь своей матери?— строго спрашивала тетя Вѣра.

Серафима молчала.

— Какъ знаешь,—сказала тетя Вѣра, вставая.—Видно, ты и меня считаешь за чужую.

Серафима схватилась руками за ея юбку и, рыдая, прошептала:

— Ахъ, отчего же она меня такъ рѣдко ласкаетъ?

VI.

Послѣ завтрака Серафима, умытая и пріодѣтая, вступила въ общество гостей въ качествѣ равноправнаго члена и все время старалась находиться возлѣ Ксеніи.

Серафиму поражала эта маленькая бѣлокурая красавица. Она такъ мило декламировала стихи, такъ хорошо читала по-французски. Когда, наконецъ, послѣ безчисленныхъ похвалъ, Ксенія была отпущена старшими на свободу, она сказала, утомленно вздыхая:

— Ахъ, Боже мой, что бы я дѣлала, если бы у меня каждый день были именины! Я такъ устала сегодня.

— Вѣдь сегодня у тебя не было уроковъ?

— Что уроки! Это легко, а вотъ гостей занимать, да въ игры играть... Послѣ этого у меня всегда болитъ голова.

— Вотъ смѣшно, точно у большой!

— Развѣ у тебя она никогда не болитъ?

— А кто ее знаетъ! Можетъ и болитъ, да я не замѣчаю.

— Значитъ, не болитъ... Ты счастливая.

Серафима удивилась. Какъ это совершенное существо, эта умница и красавица, завидуетъ ей только потому, что у нея не болитъ голова!

— Я бы хотѣла,—воскликнула она энергично,—чтобы у меня хоть три головы болѣло, только бы я на тебя хоть немного была похожа.

— Ты ничего не понимаешь еще,—возразила Ксенія.

Тутъ къ нимъ подошла тетя Вѣра.

— Ну, именинница,—сказала она,—поиграй-ка намъ еще на роялѣ.

Серафима презрительно улыбнулась: ужъ пусть эта сказочная принцесса дѣлаетъ все хорошо, но играть на роялѣ она не сумѣетъ такъ, какъ играетъ она, Серафима. Но и тутъ ей пришлось скоро разочароваться: Ксенія, по ея понятіямъ, играла великолѣпно.

Ксенія, кончивъ играть, стояла въ кругу старшихъ и принимала похвалы ихъ со скучающимъ равнодушіемъ. Затѣмъ она поспѣшила къ своему новому другу и тотчасъ же замѣтила необычайно мрачный видъ Серафимы.

— Отчего ты стала такая сердитая?—спросила она.

— Вотъ оттого,—сдерживая слезы, грубо отвѣтила Серафима.

— Что съ тобой?—удивилась Ксенія, дотрогиваясь до ея руки.

— Вотъ то!—крикнула Серафима, и вдругъ неожиданно, со всего розмаху ударила въ грудь именинницѣ.

Ксенія вскочила, отступила на шагъ, удивленная, поблѣднѣвшая, и, потирая ушибленное мѣсто, спросила:

— Зачѣмъ ты сдѣлала боксъ?

— Какой тамъ боксъ!.. Я не знаю, что это... Я просто такъ...

— Значитъ, ты дралась... Но за что же?

— Я думала, что лучше меня никто не играетъ,—задыхаясь прошептала Серафима.—А ты...

— Ты считаешь, что я очень хорошо играю!—удивилась Ксенія,—значитъ, ты не слыхала еще хорошей игры... Вотъ у меня есть знакомая Анинька Темрюкова, ей только двѣнадцать лѣтъ, а она уже играла на вечерѣ въ консерваторіи; а я—что!

Это были такія высоты, до которыхъ не могла достигнуть пылкая фантазія Серафимы; но все-таки ей сдѣлалось вдругъ такъ легко и такъ весело. Однако она закрыла просіявшее лицо рукавомъ платья и проговорила:

— А теперь иди и на меня нажалуйся, вѣдь я тебя прибила.

— Да мнѣ вовсе не больно,—равнодушно отвѣтила Ксенія.

Тогда Серафима высвободила одинъ веселый карій глазокъ изъ-подъ рукава, посмотрѣла на Ксенію, расхохоталась и, наконецъ, порывисто кинулась ей на шею.

— Я тебя до-зарѣзу люблю,—шептала она ей стыдливо на ухо,—больше бабушки, больше папы, больше тети Вѣры... И любить тебя стану всегда, до самой могилы.

Ксенія принимала эти пылкія изліянія съ тѣмъ же сдержаннымъ достоинствомъ, съ какимъ приняла и неожиданный ударъ въ грудь.

— Вотъ для чего я пріѣхала сюда такъ необыкновенно,—продолжала Серафима.—Это Богъ мнѣ велѣлъ! Я знаю, ты Алли и скрываешь отъ меня, иначе, отчего я тебя такъ полюбила бы. Теперь я съ тобой останусь навсегда и ни за что не поѣду домой. Упрусь и не поѣду, хотя бы меня тащили.

Ксенія хотѣла возразить на это нѣчто благонамѣренное, но тутъ въ дверяхъ появилась какая-то неизвѣстная ей дама. Она вошла растерянная, блѣдная, со слѣдами продолжительныхъ слезъ въ ввалившихся глазахъ. Увидавъ хозяйку дома, она кинулась къ ней и закричала:

— Вѣра, Симочка пропала... Моя Сима! Сима!

Тетя Вѣра бросилась ей навстрѣчу.

— Но вѣдь я послала нарочнаго, развѣ ты его не встрѣтила?—отвѣчала она.

Дама глубоко вздохнула и встрѣтилась глазами съ Симой, которая робко вышла изъ своего уголка.

— Сима, голубушка,—прошептала мать, и Серафима, не помня себя, очутилась въ ея объятіяхъ.

Наконецъ-то наступила блаженная минута, о которой она такъ долго и такъ страстно мечтала. И наступила она такъ неожиданно, такъ чудесно. Вмѣсто упрековъ и угрозъ, передъ нею раскрылись теплыя материнскія объятія! Она чувствовала теплоту прерывистаго дыханія обожаемой матери, слышала біеніе ея сердца и, наконецъ, очутилась среди той атмосферы нѣжности, которой такъ жаждала ея душа и которой мать ее почему-то лишала. Теперь сердце ея было полно только одною матерью. Она забыла не только своихъ невидимыхъ гостей, но и новаго друга Ксенію, забыла тетку, бабушку, отца, забыла все на свѣтѣ, охваченная порывомъ удовлетвореннаго обожанія, которое ей приходилось такъ долго скрывать.

— О, мама! Мама... Моя, моя мама,—шептала она, задыхаясь отъ охватившаго ее блаженства.

Мать обнимала ее одною рукой, а другую протянула сестрѣ и сказала со свѣтлой улыбкой:

— Ахъ, Вѣрокъ, мы пережили тяжелыя минуты.—Она передохнула и прибавила по-англійски:—Тѣмъ болѣе, что я чувствовала себя виноватой передъ ребенкомъ. Я находила, что съ нею надо быть строгой и портила ее этою строгостью... Но теперь...

— Строгость портитъ великодушныхъ,—отвѣчала сестра,—а дѣвочка принадлежитъ къ ихъ числу.

— Но теперь, теперь...—Мать не докончила и впервые, не сдерживая своего чувства, покрыла жадными поцѣлуями лицо Серафимы.

А Серафима лежала неподвижно въ объятіяхъ матери, чутко воспринимая благодатную ласку, между тѣмъ какъ въ таинственныхъ глубинахъ ея дѣтской души совершался безсознательный процессъ, который вводилъ ее въ новый фазисъ развитія.

Юлія Безродная.

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА ЯКУНЧИКОВА-ВЕБЕРЪ.

Марья Васильевна Якунчикова-Веберъ родилась въ 1870 году въ семьѣ одного изъ крупныхъ московскихъ фабрикантовъ и по матери принадлежитъ къ талантливой семьѣ Мамонтовыхъ. Художественное ея образованіе началось подъ руководствомъ довольно популярнаго въ то время въ Москвѣ художника Ник. Авенир. Мартынова, а затѣмъ продолжалось въ училищѣ живописи и ваянія, гдѣ М. В. прошла головной и фигурный классы. Въ 1889 г. М. В. уѣхала въ Парижъ и двѣ зимы занималась въ мастерской Жюльена, а затѣмъ продолжала самостоятельно работать и совершенствоваться. Произведенія М. В. неоднократно появлялись въ парижскомъ Салонѣ, на періодическихъ и акварельныхъ выставкахъ въ Москвѣ и на выставкахъ «Міра Искусствъ» въ Петербургѣ. Въ Третьяковской галлереѣ находятся ея пастели «Колокола» и «Осень».

Живя съ семьей за границей, М. В. тѣмъ не менѣе всей душой принадлежитъ Россіи и страстно любитъ русскую природу и русскую старину. По характеру своей живописи М. В. принадлежитъ къ тому поколѣнію художниковъ, которое переживаетъ періодъ страстнаго исканья новой красоты.

Н.

Этюдъ М. В. Якунчиковой-Веберъ.
(Изъ собранія И. С. Остроухова).

Е. Лѣткова.

Екатерина Павловна Лѣткова (по мужу Султанова) родилась 20 ноября 1856 года въ дворянской семьѣ. Окончивъ курсъ въ гимназіи, она поступила на высшіе курсы Герье въ Москвѣ. Начало литературной дѣятельности можно отнести къ 1878 году, когда подъ редакціей П. Д. Боборыкина перевела книгу Легувэ «Искусство чтенія». Въ качествѣ беллетристки г-жа Лѣткова выступила въ 1881 году въ «Русской Мысли», гдѣ напечатала повѣсть «Ржавчина» (подписана буквами Т. З.). Затѣмъ сотрудничала въ «Отечественныхъ Запискахъ», «Сѣверномъ Вѣстникѣ», «Мірѣ Божіемъ» и «Русскомъ Богатствѣ». Въ 1900 году издала двѣ книжки повѣстей и разсказовъ.

Кромѣ того, г-жа Лѣткова много переводила съ итальянскаго.

БЛАЧКО.

Узкая серебристая рѣчка лѣниво ползла по своему извилистому ложу. Лѣвый берегъ, поросшій густой, сочной травой, скатывался къ самой водѣ; правый висѣлъ надъ нею крутымъ обрывомъ.

На землѣ и на водѣ было тихо и молчаливо. Только по верхушкамъ деревьевъ бѣгалъ легкій лѣтній вѣтеръ и, не переставая, шепталъ о чемъ-то.

Глубокое небо, покрытое бѣлыми пушистыми облачками, все двигалось, все жило. Облака плыли, наплывали одно на другое, переплетались и расползались; за ними двигались другія и также исчезали гдѣ-то, а потомъ еще и еще; казалось, не было имъ начала и не будетъ конца.

Небольшая бѣлая лодка почти неслышно скользила по водѣ. Рулемъ правила высокая, стройная красавица лѣтъ тридцати, съ блестящими глазами и блестящими черными волосами; напротивъ нея, едва перебирая веслами, сидѣлъ блондинъ лѣтъ тридцати пяти и не спускалъ глазъ со своей спутницы. Оба молчали. Ее начинало тяготить это молчаніе, а его упорный взглядъ наполнялъ ее безпокойствомъ и тревогой.

— Константинъ Николаевичъ!—сказала она,—вернемтесь домой... Вы устали.

— Нѣтъ... Пожайлуста, Нина Львовна, еще хоть немного,—испуганно отвѣтилъ онъ.—Вѣдь я уже цѣлую недѣлю гощу здѣсь, у васъ, а мы въ первый разъ остались одни.

Она поторопилась перемѣнить тему.

— Сейчасъ за поворотомъ рѣчка образуетъ въ родѣ маленькаго пруда,—громко и возбужденно заговорила она.—На этомъ мѣстѣ года два тому назадъ утопилась одна дѣвушка, ее звали Лизой... Мы съ мужемъ и назвали это мѣсто „Лизинъ прудъ“... Знаете, какъ у Карамзина?

Она потянула веревку руля, и лодка круто повернула направо. Лѣвый берегъ дѣлалъ большую дугу, и дѣйствительно рѣка въ этомъ

мѣстѣ переходила въ прудъ. Съ высокаго праваго берега спускались къ водѣ большія деревья и пригибались почти къ самой рѣкѣ. Подъ ихъ густыми вѣтвями было уютно и прохладно. Константинъ Николаевичъ бросилъ весла и спросилъ:

— Она утопилась отъ любви?

— Конечно! Это дочь нашего священника... Полюбила женатаго, не видѣла исхода кромѣ смерти и бросилась съ этого берега... Исторія банальная, но все-таки грустная.

Онъ молчалъ; умолкла и она. Прохладная влага окутывала все кругомъ. И онъ и она слышали только перешептыванье вѣтра съ листьями да біеніе своихъ сердецъ—тяжелое и настойчивое.

— Нина Львовна,—заговорилъ онъ тѣмъ глубокимъ голосомъ, какимъ говоритъ искренно взволнованный человѣкъ.—Нина Львовна! вы такъ и не отвѣтите мнѣ?

— Нѣтъ.

— Почему?

— Не знаю *какъ* отвѣтить... Слова ничего не скажутъ...

— Слова не скажутъ?! Молчанье—смерть, слово—жизнь... Чувство только тогда и оживаетъ, когда одѣвается въ слова... До тѣхъ поръ оно мертво.

— Нѣтъ, нѣтъ, — живо сказала она. — Для чувствъ такъ мало словъ и такъ они бѣдны, такъ опредѣленны, что говорятъ часто совсѣмъ не то, что хочется сказать. Чувства безконечно разнообразны, ихъ контуры расплывчаты, ихъ границы совсѣмъ неопредѣленны; слова же—рамки, блѣдныя, скучныя, всѣ одинаковыя для всѣхъ... И въ нихъ надо втискивать свою мысль, одѣвать ими то, что горитъ и мечется въ васъ... Это вѣдь ужасно!

— Ну, скажите мнѣ только: уѣзжать мнѣ или оставаться?

Она отвѣтила не сразу.

— Уѣзжайте, — чуть слышно, прерывающимся голосомъ отвѣтила она.

— Когда же я васъ увижу?

— Я хочу остаться въ деревнѣ подольше для Ниночки. Она у меня такая блѣдная! Да и отпускъ мужа кончается только перваго октября... Къ этому времени мы и переѣдемъ въ Петербургъ.

Отъ этого „мы“ онъ вздрогнулъ. Она взглянула на него и протянула ему руку. Онъ скользнулъ по лодкѣ, схватилъ ея маленькую слабую руку въ обѣ свои и, осыпая ее поцѣлуями, сталъ рыдать глубокими, тяжелыми рыданіями.

Нина Львовна пыталась высвободить руку, но не могла, не умѣла. Она приподняла его голову свободною рукой и, встрѣтясь взглядомъ съ его влажными отъ слезъ глазами—вдругъ вся поблѣднѣла.

— Константинъ Николаевичъ, — прошептала она, — оставьте... успокойтесь! Все это вѣдь одинъ мигъ...

— Что̀ мигъ?

— Все! Любовь, страданія, жизнь... Вѣчность за нами и послѣ насъ! Вотъ мы проѣхали, рѣка взволновалась, а черезъ нѣсколько секундъ гдѣ слѣдъ о насъ?! Взгляните наверхъ... Вонъ облачка... Смотрите вотъ это: бѣлое, пушистое... Куда-то бѣжитъ, торопится... Вонъ разорвалось... Смотрите, смотрите, какъ расплылось все, растаяло, вотъ и нѣтъ его! Исчезло!... Такъ и мы...

Она остановилась и сейчасъ же опять заговорила горячо и взволнованно:

— И, знаете, это всегда передо мной!.. Меня не было и опять не будетъ; я каждую минуту чувствую, что я здѣсь мимоходомъ... Я умру, а все это будетъ и безъ меня точно такимъ же прекраснымъ и спокойнымъ, такъ же безстрастно будетъ слушать такія же слова, смотрѣть на чьи-то слезы... И все мнѣ кажется такимъ мимолетнымъ, такимъ ничтожнымъ и ненужнымъ...

— Что „все“? Любовь?

— Д-да... И любовь!

— А вашъ пресловутый долгъ?—горячо спросилъ онъ.

Она хотѣла отвѣтить, но наверху, надъ ихъ головами, захрустѣли вѣтки, вспорхнула птичка, кто-то заговорилъ на берегу.

Настроеніе порвалось, и Нина Львовна попросила грести къ дому.

Прошло пятнадцать лѣтъ. Та же рѣчка текла въ тѣхъ же берегахъ, подъ тѣмъ же глубокимъ небомъ. Лѣвый берегъ былъ опять закутанъ сочной, яркой травой, съ праваго сползали въ воду громадныя вѣтвистыя деревья.

Нина Львовна, со своею дочерью Ниной и ея женихомъ подошли къ рѣкѣ.

Нина Львовна расплылась, пожелтѣла, глаза въ морщинистыхъ вѣкахъ стали тусклы. Въ волосахъ серебрилась сѣдина. Она шла подъ руку съ дочерью, потому что ея больныя ноги плохо повиновались ей. Нина—двадцатилѣтняя дѣвушка, была стройна и красива той же блестящей красотой, какой сіяла когда-то ея мать.

— Проѣдемся въ лодкѣ,—предложила она.—Мама! мнѣ хочется показать Андрею Александровичу всѣ достопримѣчательности нашего Прибыткова. Покажемъ ему „Лизинъ прудъ“...

Лодка была старая, облупленная и изъ бѣлой стала сѣрой.

— Не развалится?—весело спросилъ женихъ, вскакивая въ лодку.

— Выплывемъ!—отвѣтила ему въ его же тонъ невѣста.

Нина Львовна сѣла на руль, дочь помѣстилась на скамейкѣ, спиной къ ней и лицомъ къ жениху, сѣвшему на весла. Они сейчасъ же весело защебетали.

Было тепло, свѣтло, ароматно. Нина Львовна слушала молодые

голоса, но не слыхала словъ. То грустное чувство, которое вѣчно жило въ ней, вдругъ заныло остро и больно.

— Отчего это называется „Лизинъ прудъ"?—спрашивалъ женихъ.

— Здѣсь когда-то, давно-давно, я еще совсѣмъ маленькая была, утопилась какая-то Лиза; мама и прозвала это мѣсто „Лизинъ прудъ"... Знаете, какъ у Карамзина?

— Все любовь?—спросилъ онъ, нѣжно заглядывая въ глаза Нинѣ.

— Да, любовь!—сказала она упавшимъ голосомъ.

И вдругъ и эти глубокіе, взволнованные голоса, и этотъ прудъ, и эти деревья надъ водой, и этотъ запахъ влажнаго тепла вызвали передъ Ниной Львовной съ необыкновенною ясностью тотъ день, когда она разсталась съ Константиномъ Николаевичемъ. Она не видалась съ нимъ съ тѣхъ поръ... Сначала онъ писалъ ей изъ-за границы нѣжныя и горячія письма, затѣмъ просилъ у нея хоть дружбы, а черезъ годъ-два совсѣмъ умолкъ... Она слышала, что онъ женился на очень красивой дѣвушкѣ, и былъ счастливъ. Когда Нина Львовна, брошенная мужемъ, забрала Ниночку и уѣхала за границу, ей показалось, что въ Берлинѣ она встрѣтила Константина Николаевича. Онъ ѣхалъ въ большой коляскѣ съ дамой и съ двумя дѣтьми. Онъ такъ внимательно слушалъ веселую болтовню одной изъ дѣвочекъ, что едва взглянулъ на Нину Львовну и не узналъ ее... Да и Нинѣ Львовнѣ потомъ казалось, что это былъ не онъ... Прошли еще года, и она почти совсѣмъ забыла о немъ. И вдругъ теперь ей до боли ясно вспомнилось то чувство тревожное и властное, которое наполняло ее тогда, вспомнились и страданія отъ борьбы, отъ насилія надъ собой, вспомнилась и тоска всѣхъ послѣдующихъ лѣтъ.

— Зачѣмъ же вѣчно?—шутила Нина.—Вѣчно скучно...

Нина Львовна встряхнулась, велѣла себѣ забыть себя и стала слушать, что говорили ея „дѣти".

— Смотрите на небо,—продолжала Нина,—какъ въ немъ „ходятъ безъ слѣда облаковъ неуловимыхъ волокнистыя стада..." Такъ и любовь!

Она звонко разсмѣялась, засмѣялся и онъ.

— А дальше помните?—спросилъ онъ.—Какъ это тамъ сказано:

Будь къ земному безъ участья
И безпечна какъ они...

— Согласна!—радостно проговорила Нина.—А то—вѣчно! Какъ страшно!!.

— Вы пропустили нѣсколько строкъ,—сказала со странной улыбкой Нина Львовна.—Вы забыли:

Имъ въ грядущемъ нѣтъ желанья
И прошедшаго не жаль!

— И отлично!—отвѣтили ей два счастливыхъ голоса.

Ек. Лѣткова.

ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА ЩЕПКИНА-КУПЕРНИКЪ.

Родилась въ Москвѣ въ 1874 г.; окончила Кіевскую гимназію. Начала писать очень рано, а первые стихи мои (въ день столѣтней годовщины артиста Щепкина) были напечатаны, когда мнѣ было 12 лѣтъ. Первая пьеса моя «Лѣтняя картинка» была поставлена на сценѣ Импер. моск. театра въ 1892 году. Это вообще былъ годъ начала правильной моей работы. Я начала сотрудничать въ «Артистѣ», «Русскихъ Вѣдомостяхъ», потомъ «Русской Мысли» и т. д. Съ тѣхъ поръ участвовала во многихъ московскихъ и петербургскихъ журналахъ и газетахъ. Изданы мною три книги разсказовъ—«Странички жизни», «Незамѣтные люди», «Ничтожные міра сего», повѣсть «Счастье», сборникъ стиховъ «Изъ женскихъ писемъ», перев. въ стихахъ пьесъ Ростана «Романтики», «Принцесса Греза», «Сирано де Бержеракъ» и «Орленокъ». Кромѣ того, оригинальныхъ пьесъ одноактныхъ въ стихахъ и прозѣ около десяти, всѣ, за исключеніемъ одной, шедшей у Корша, поставлены на Императорской сценѣ.

ОТЗВУКЪ.

Таится чистый звукъ въ чистѣйшемъ хрусталѣ—
(То нота звонкая—одна лишь на землѣ).
Въ нѣмомъ безмолвіи при немъ всѣ звуки тонутъ,
Пока рыданіе рояли, иль напѣвъ,
Иль рѣчи пылкія, случайно прозвенѣвъ,
Той ноты не затронутъ.
Но прозвучитъ она—и ярко и свѣтло
Отвѣтной нотою откликнется стекло.
Такъ и у насъ порой. Есть странныя мгновенья,
Когда вдругъ чѣмъ-нибудь душа потрясена:
Восторгомъ поэтическаго сна,
Стихомъ ли, полнымъ вдохновенья,
Гармоніей Бетховена святой,
Заката пышнаго весенней красотой
Иль тонкимъ запахомъ фіалокъ.
Тогда вдругъ плѣнъ земной покажется такъ жалокъ!
Вольнѣе дышитъ грудь отъ полной глубины,
И чувства всѣ напряжены:
Все ярче, всѣ живѣй; ни признака безсилья;
Яснѣе слышитъ слухъ, яснѣе видитъ взоръ,
И дивно, далеко, на волю, на просторъ
Несутъ могучія, невидимыя крылья.
Все чувствуешь полно. О юный, гордый пылъ!
О если бъ подвиговъ! Труднѣй, опаснѣй дѣло!
На все найдешь отвѣтъ; и какъ свѣтло и смѣло
Въ душѣ, въ груди, въ очахъ! И сколько властныхъ силъ!
Все въ жизни кажется понятно и прекрасно,
Душа сіяніемъ какимъ-то залита...

* * *

Въ тотъ мигъ въ насъ тлѣнная, земная красота
Съ небесной красотой звучитъ согласно!

Т. Щепкина-Куперникъ.

ВЕЧЕРОМЪ.

(НАБРОСОКЪ.)

Папа и мама уѣхали въ гости. За ними пріѣхалъ тотъ дядя, что не выговариваетъ „р“, и они всѣ вмѣстѣ отправились къ той тетѣ, у которой зеленая птица на шляпкѣ, а Миша остался одинъ съ нянькой.

Онъ этого недолюбливаетъ: нянька стара и скучна; что ее ни спросишь, она все отвѣчаетъ, разводя руками:

— Вотъ ужъ и не знаю, мой батюшка!

Она умѣетъ разсказывать только одну сказку про Мальчика-Удальчика, да и ту не до конца!

А Миша убѣжденъ, что въ концѣ-то и кроется самое интересное.

Когда ему очень ужъ скучно, онъ пристаетъ къ нянькѣ:

— Ну, разскажи же мнѣ сказку, няня! Да няня же!

— Да какую же тебѣ сказку, мой батюшка?..

Пока Миша проситъ, у него еще остается смутная надежда, что вдругъ няня ему возьметъ да и скажетъ какую-нибудь занимательную сказку. Но когда онъ слышитъ обычный отвѣтъ, то онъ покорно вздыхаетъ и говоритъ:

— Про Мальчика-Удальчика.

Нянѣ лѣнь, и она, зѣвая, бормочетъ.

— Ужъ я чтой-то забыла, сказку-то...

— Ахъ, няня! Ну, какъ жили были дѣдъ да баба...

— Ну, и жили...

— И у нихъ не было дѣтей...

— Вотъ и не было.

— А имъ хотѣлось... Да ну же, няня!..— дергаетъ ее Миша за платье.—Что же ты? Какъ баба рубила капусту...

— Вѣрно, капусту...

— И отрубила себѣ кусочекъ пальчика... И бросила его въ уголъ. Ну?

— Ну, и вотъ... Ужъ я забыла, мой батюшка!

— Какая ты няня!—торжествуетъ Миша.—А я небось помню? Вдругъ она слышитъ изъ угла: „Мама, мама! возьми меня!“ Глядитъ—а передъ нею мальчикъ и говоритъ ей: „Я твой сынокъ, Мальчикъ-Удальчикъ!..“

— Вотъ, вотъ: Мальчикъ-Удальчикъ!..

— Ну, а потомъ что? Что? скажи!—упрашиваетъ Миша.

— Потомъ-то я и не знаю!—равнодушно отзывается нянька и еще шире зѣваетъ.

— Ахъ, Господи!—вздыхаетъ Миша и замолкаетъ.

Воображеніе его работаетъ. Онъ придумываетъ самыя удивительныя продолженія сказки объ Удальчикѣ, при чемъ представляетъ себя въ видѣ этого таинственнаго Удальчика... Вдохновеніе онъ черпаетъ изъ маминыхъ разсказовъ: ну, они поинтереснѣе нянькиной сказки. Откуда мама все это знаетъ? Говоритъ она, что изъ книгъ, которыя всюду у нея въ комнатѣ валяются и которыя Миша тоже прочитаетъ, когда научится; и это будетъ скоро: онъ уже знаетъ кружочекъ *о* и качели *п*.

А пока онъ ужасно любитъ слушать маму, и—странно—при ней ему никогда не бываетъ скучно. И при папѣ, положимъ, тоже, но папу онъ рѣже видитъ, а мама съ нимъ почти всегда.

Папа у него большой, толстый, румяный; голосъ у него громкій, смѣется онъ такъ, что въ буфетѣ рюмки всегда трясутся и звенятъ. Мама, наоборотъ, тоненькая, блѣдная, глаза большіе, такіе же, какъ у Миши, и тоже тоненькій носикъ, а ротъ немножко великъ; папа надъ ними подсмѣивается, и когда Миша задумается и по своей привычкѣ раскроетъ ротъ, то велитъ ему:

— Закрой, а то карета въѣдетъ.

Мишинъ папа—писатель. Миша это знаетъ: онъ пишетъ такія самыя книги, какія мама читаетъ. Но когда онъ пишетъ, Миша этого не любитъ.

Тогда въ кабинетъ запираются двери, надо ходить кругомъ. Всѣ ступаютъ осторожно, а если Миша вздумаетъ брать крѣпость или охотиться на тигровъ, то мама испуганно вбѣгаетъ въ дѣтскую и шепчетъ ему:

— Тише, тише, папа занимается!

Это непріятно, когда онъ занимается. Гораздо лучше, когда онъ уходитъ въ гости или на засѣданіе; тогда все можно дѣлать: бѣгать по всей квартирѣ, шумѣть, кричать; мама выдумываетъ такія хорошія игры...

Но иногда она уѣзжаетъ вмѣстѣ съ папой, особенно нарядно одѣвается и становится такая красивая, и пахнетъ отъ нея очень хорошо. Это бываетъ рѣдко; Миша знаетъ, что надо быть умнымъ мальчикомъ, и не плачетъ, но ему какъ-то пусто, и сердце у него бьется, такъ какъ ему хочется не заснуть, пока мама не вернется.

Такъ и сегодня онъ бродитъ по комнатамъ, заложа руки за спину и медленно волоча за собой деревянную лошадь на палочкѣ. Онъ останавливается у окна и смотритъ въ темный дворъ, на которомъ перебѣгаютъ какіе-то огоньки и тѣни. Потомъ онъ идетъ къ папиному столу и отъ скуки хочетъ усѣсться писать. Это очень легко: онъ видѣлъ, какъ папа пишетъ. Надо только взять перо, обмакнуть его въ чернильницѣ и потомъ водить по бумагѣ.

Миша взбирается на вертящееся кресло, становится на колѣни, упирается локтями о столъ и начинаетъ писать, выставивъ кончикъ языка, сдвинутый въ лѣвый уголокъ рта.

Входящей нянькѣ онъ важно отвѣчаетъ, подражая отцу:

— Не мѣшай, пожалуйста! Видишь я занимаюсь.

Но скоро ему это надоѣдаетъ. Удивительное дѣло! Какъ это папа можетъ сидѣть и водить такъ перомъ по нѣскольку часовъ подъ рядъ? Нѣтъ, ужъ Миша ни за что не будетъ писателемъ, когда вырастетъ. Онъ будетъ извозчикомъ: это гораздо веселѣе. У него будетъ своя лошадь и санки... Да, конечно, это лучше!

Онъ вскакиваетъ со стула и бѣжитъ къ нянькѣ:

— Барыня, надо извозчика? Пожалуйте, барыня!..

— На Тверскую, извозчикъ!—покорно отвѣчаетъ барыня, зная свою роль.

— Сто рублей!—заявляетъ извозчикъ.

— Что ты, дорого! двугривенный!..

— Ужъ дайте пятиалтынный, барыня!.. далеко!

Извозчикъ погоняетъ лошадь.

— Нно! тпру!..

Діалогъ возобновляется разъ десять, пока и это не теряетъ прелести новизны.

— Недурно и полотеромъ быть. Какъ они смѣшно танцуютъ. Такіе большіе и танцуютъ! И всѣ ихъ боятся: мама говоритъ горничной: „Даша, не уходите изъ комнатъ! Я боюсь этихъ полотеровъ ужасно! И спрячьте брошку“.

Старшій полотеръ похожъ на разбойника съ рыжей бородой. Они живутъ въ томъ же домѣ, въ подвалѣ; изъ дѣвичьей иногда слышно, какъ внизу играетъ балалайка по вечерамъ, и Даша говоритъ:

— Это у полотеровъ!

Нѣтъ, весело быть полотеромъ!

Миша принимается усердно танцовать по полу, встряхивая волосами какъ полотеръ!..

Это занятіе тоже пріѣдается.

Миша, заложивъ руки за спину и лѣниво передвигая ноги, отправляется въ мамину спальню. Тамъ всегда есть вещь, интересующая его: это—зеркало. За нимъ онъ любитъ смотрѣть на другую такую

же комнату и на другого такого же Мишу, который дѣлаетъ все то же, что и этотъ. Улыбнется онъ — улыбнется и тотъ Миша, высунетъ языкъ—и онъ дразнится; скоро Миша не можетъ разобрать, кто за кѣмъ повторяетъ быстрыя движенія и жесты... И сейчасъ онъ, при свѣтѣ лампадки, съ любопытствомъ смотритъ на край розовой кушетки, обои съ цвѣточками и этажерку, отражающіеся за зеркаломъ. Тамъ они какъ-то красивѣе, наряднѣе, чѣмъ съ этой стороны. А Миша совсѣмъ такой же, только отчего онъ и двигается, и смѣется, а все молчитъ? Вытащить бы его оттуда, да заставить поиграть! Вотъ бы весело было! И Миша невольно протягиваетъ руку, и тотъ Миша дѣлаетъ тоже, но они ударяются о твердое, холодное стекло... И Мишѣ что-то дѣлается жутко. Онъ опрометью убѣгаетъ изъ спальни, бросается ничкомъ на диванъ въ кабинетѣ и принимается напѣвать дрожащимъ голосомъ:

Мама! мама! уѣхала съ па-пой!
Мама! мама! вернись поскорѣй!..

Вдругъ раздается звонокъ.

Это не мама,—они не вернутся такъ скоро; мама сказала Дашѣ, уходя:

— Къ 12-ти самоваръ.

„А вдругъ все-таки мама?“ мелькаетъ мысль у Миши, и онъ, приподнявшись и насторживъ уши, вслушивается.

Въ передней отворяется дверь. Слышенъ голосъ Даши:

— И баринъ и барыня уѣхали... Никого-съ нѣту!

Никого? Это Мишу оскорбляетъ. Глупая Даша! какъ это никого, если онъ дома.

Онъ выбѣгаетъ въ переднюю со словами:

— Да вѣдь я-то дома!

И вдругъ испускаетъ радостный крикъ:

— Иванъ Ивановичъ! Иванъ Ивановичъ!

Передъ нимъ стоитъ маленькій, весь бѣлый старичокъ въ потертомъ пальто и потираетъ озябшія руки.

— Мишенька! здравствуй, голубчикъ! — ласково привѣтствуетъ онъ его.

— Иванъ Ивановичъ!—Миша бросается къ нему и, хватая его за руки, умильно заглядывая ему въ глаза, говоритъ:

— Иванъ Ивановичъ! посиди со мной! Посиди, пожалуйста!

— О? посидѣть? Ну, изволь, изволь, посижу!.. Что съ тобой дѣлать! — соглашается старичокъ, и снимаетъ свое пальтишко; самъ вѣшаетъ его и, покашливая, протягиваетъ Мишѣ руку, какъ равному:

— Здравствуй, Мишенька! Какъ живешь, а?

— Я очень радъ, что ты пришелъ, Иванъ Ивановичъ!—говоритъ Миша.— Я скучалъ... мамы нѣту.

Миша любитъ Ивана Ивановича.

Иванъ Ивановичъ бываетъ у нихъ не очень часто—раза два въ мѣсяцъ. Иногда онъ является во время завтрака или обѣда. Глаза у него такіе смѣшные... Мама его начинаетъ упрашивать пообѣдать съ ними, но онъ отказывается и всегда говоритъ:

— Спасибо, Наталья Сергѣевна, я ужъ въ сущности обѣдалъ.

Прежде Миша думалъ, что „сущность“ это такое мѣсто, гдѣ можно пообѣдать, какъ папа въ клубѣ иногда обѣдаетъ, и даже спрашивалъ у мамы:

— Мама, въ какой это „сущности“ Иванъ Ивановичъ всегда обѣдаетъ?

Послѣ отказа Ивана Ивановича, мама его еще больше уговариваетъ; то обѣщаетъ, что какіе-то особенные вареники будутъ, то разскажетъ, что изъ деревни поросенка прислали.

— Нельзя не попробовать!

Тогда Иванъ Ивановичъ усаживается, беретъ хлѣбъ дрожащими руками и принимается за обѣдъ. Когда онъ покушаетъ, то глаза у него дѣлаются добрые-добрые, и послѣ обѣда онъ беретъ изъ угла гитару и поетъ Мишѣ чудесныя пѣсни: и смѣшныя, и грустныя, разныя-разныя, одна лучше другой.

Такъ и сейчасъ первымъ дѣломъ Миша тащитъ его въ кабинетъ и говоритъ ему:

— Спой мнѣ пѣсенку. Споешь, Иванъ Ивановичъ?

— Дайте имъ, баринъ, чайку напиться! — добродушно говоритъ Даша, открывая двери въ столовую. — И вамъ пора котлетку кушать!

Они усаживаются за большимъ столомъ въ столовой. Мишѣ сразу дѣлается весело. Самоваръ пыхтитъ; голубыя чашки такъ красиво стоятъ на бѣлой скатерти; лампа горитъ ярко. Няня наливаетъ и Мишѣ, и Ивану Ивановичу чаю, даетъ Мишѣ котлетку, а Даша подставляетъ незамѣтно тарелку съ котлетами и Иванъ Ивановичу.

Когда Мишѣ отвязываютъ салфетку и вытираютъ ротъ, онъ беретъ гитару, которая чуть не больше его самого, и подноситъ ее Ивану Ивановичу:

— Теперь пой!

Иванъ Ивановичъ послушно отодвигаетъ тарелку, недопитый стаканъ чаю и берется за колки гитары, начиная ее настраивать. Онъ покашливаетъ и пробуетъ струны; раздаются отрывочные аккорды, мало-по-малу они сходятся ближе, становятся мельче и веселѣе, и вдругъ заигрываютъ быстро-быстро, такъ что Мишѣ сразу хочется плясать, но Иванъ Ивановичъ перестаетъ, откашливается и, ущипнувъ струны раза два-три, затягиваетъ заунывную:

Вiютъ вiтры, вiютъ буйны,
Ажъ деревья гнутся...

Миша тутъ не всѣ слова понимаетъ, но слушаетъ съ интересомъ и сосредоточенно глядитъ въ ротъ Ивану Ивановичу.

Иванъ Ивановичъ сидитъ, отодвинувшись отъ стола и держа гитару на колѣняхъ. Онъ весь бѣлый: и голова, и борода, только брови еще совсѣмъ черныя, да живые глаза. На немъ старенькій пиджачекъ, мятая рубашка безъ крахмальнаго воротника и завязанный жгутомъ галстухъ. Миша стоитъ передъ нимъ, тоненькій и стройный. На немъ „рафаэлевская“ блуза темно-краснаго бархата, перехваченная кожанымъ поясомъ пониже таліи; на ногахъ длинные, черные чулки и желтыя туфли; блестящіе, длинные темно-орѣховые волосы на лбу подрѣзаны до самыхъ глазъ и обрамляютъ блѣдное личико съ тонкими чертами. Большіе, сѣрые глаза внимательно устремлены на старика, а ротъ раскрытъ, конечно, какъ папа не любитъ.

Иванъ Ивановичъ поетъ ему пѣсенку за пѣсенкой. Онъ увлекается. Спѣты и „Гопъ, мои гречаники!“, и „Запрягу я тройку борзу“, и „Ноченька“, и „Сударыня-барыня“.

„Сударыня-барыня“ пользуется особымъ успѣхомъ. Миша заливается хохотомъ и подплясываетъ; отложивъ гитару, наконецъ, и задыхаясь, улыбается и старикъ.

— Иванъ Ивановичъ! откуда ты такъ хорошо поешь?..—вопрошаетъ Миша.

— Что, братецъ! Я не даромъ артистомъ былъ.

— Артистомъ? Это что такое артистъ?

— Это?..—старикъ, очевидно, многое хочетъ сказать, глаза его загораются. Но онъ махаетъ рукой и упавшимъ голосомъ произноситъ:—Несчастный это человѣкъ, вотъ что такое!..

Миша этимъ удовольствоваться не желаетъ.

— Ты что дѣлалъ, когда ты молодой былъ?

— Вотъ, такъ вотъ пѣлъ пѣсенки, а мнѣ за это деньги платили... Хорошія, Миша, деньги.

— Какъ, ты подъ окнами ходилъ, какъ намедни музыканты?— догадывается Миша.

— Нѣтъ, братецъ ты мой. Пѣлъ-то я въ театрѣ. Пожалуй, знаешь, что это такое?

— Ну-да, я на масленой былъ въ театрѣ. Я смотрѣлъ Конька-Горбунка. Только тамъ не пѣли, а танцовали.

— Ну, а бываетъ такъ, что поютъ. Вотъ я и пѣлъ. Я, Миша, такъ пѣлъ... Меня разъ, я тебѣ скажу, самъ Шумскій за мою „Троечку“ расцѣловалъ.

— Кто это такой, Шумскій?

— Великій, братецъ ты мой, артистъ былъ!

— Да что же это такое артистъ?

— Ну, вотъ я артистъ. Вотъ это что такое. Только, видишь ли, старъ я сталъ... слабъ... Вижу плохо... голосъ пропалъ... вотъ и никуда не гожусь.—Голосъ старика дрожитъ.—Никому, братецъ ты мой, не нуженъ, да... Онъ порывисто дергаетъ гитару и запѣваетъ:

Доля моя горемычная...

Смыслъ пѣсни не вполнѣ ясенъ для Миши, но ему становится очень грустно.

Онъ вспоминаетъ папины разговоры.

Дѣло въ томъ, что иногда по вечерамъ папа съ мамой усаживаются на большой диванъ и разговариваютъ. Миша забирается между ними и слушаетъ, и допытывается. Эти минуты онъ очень любитъ. Имъ тогда такъ уютно. Миша говоритъ:

— Правда, мы всѣ трое други?

А папа зоветъ маму „голубушкой“. Такъ вотъ, какъ-то недавно папа разсказывалъ мамѣ:

— Знаешь, голубушка, былъ я сегодня у Ивана Ивановича. Заходилъ провѣдать: боленъ вѣдь.

— Что съ нимъ?

— Простудился... Пальтишко на рыбьемъ мѣху.

— Какой это мѣхъ, рыбій?—съ интересомъ спросилъ Миша.

— Значитъ, никакого нѣтъ. Да, такъ если бы ты знала, въ какой онъ ужасной конурѣ живетъ... въ подвалѣ... сыро, темно, махоркой несетъ... Не знаю, что бы для старика сдѣлать?

— Бѣдный, бѣдный!—вздыхала мама,—и вѣдь совсѣмъ одинъ! Никого у него нѣтъ! Что можетъ быть ужаснѣе одинокой старости?

Миша это запомнилъ отлично, и теперь, слушая грустную пѣсенку, онъ глядитъ на старика и думаетъ:

„Значитъ, артистъ—это старенькій человѣкъ, который живетъ

въ сыромъ подвалѣ и носитъ пальто на рыбьемъ мѣху. Какой онъ бѣдный!..“

Въ это время отворяется дверь, и появляется нянька:

— Ну, батюшка, наслушался, пора и баинки.

— Пойду и я. Прощай, Мишенька... прощайте, нянюшка!—старикъ встаетъ, кладетъ гитару и словно украдкой вздыхаетъ.

Мишѣ становится страшно жалко старика и онъ вдругъ ясно представляетъ себѣ, какъ онъ сейчасъ пойдетъ одинъ въ темный подвалъ... гдѣ холодно и страшно. Онъ обхватываетъ колѣнку Ивана Ивановича обѣими руками и говоритъ:

— Иванъ Ивановичъ! живи у насъ! Живи, пожалуйста! Ты будешь спать въ моей комнатѣ; я позволяю. Не уходи!..

Удивительное дѣло, вмѣсто того, чтобы обрадоваться этому предложенію, Иванъ Ивановичъ какъ-то странно взглядываетъ на Мишу. Лицо у него дергается. Онъ вынимаетъ клѣтчатый платокъ и начинаетъ громко сморкаться, отвернувшись отъ Миши.

Нянька смѣется и говоритъ:

— Ишь, чудной, что выдумалъ! Пойдемъ-ка спать!..

Но прежде чѣмъ Мишу уводятъ, Иванъ Ивановичъ наклоняется къ нему, цѣлуетъ его и что-то горячее капаетъ и обжигаетъ блѣдную щечку ребенка...

Т. Щепкина-Куперникъ.

Два пути.

Темнѣя голубой, холодной глубиною,
Горѣли звѣздами ночныя небеса.
Холодный вечеръ былъ. Узорчатой стѣною
Тамъ, впереди, лѣсовъ чернѣла полоса.
Тянулась далеко пустыхъ полей равнина...
То—словно изумрудъ, то—красный блескъ рубина—
Мерцали звѣздочки сторожевыхъ огней,
И рядомъ съ ними ночь казалася темнѣй.
Платформу ужъ покрылъ осенній первый иней...
По убѣгающимъ изгибамъ *тѣхъ же* линій
Съ тобою ждали насъ два разные пути.
Міръ становился мнѣ ненужною пустыней,
Разъ я должна тебѣ... тебѣ сказать „прости“.
И холодно душѣ въ жестокій часъ разлуки,
И холодно кругомъ... Я молча сжала руки,
Рыданія въ груди глубоко затая.
И грозно *два пути* при свѣтѣ звѣздъ блистали,
Какъ двѣ холодныя полоски яркой стали,
Какъ два смертельныхъ лезвія.

Т. Щепкина-Куперникъ.

ОЛЬГА АНДРЕЕВНА ШАПИРЪ.

Ольга Андрежденная Кислякова, ностяхъ Петербурга. медалью курсъ пеской гимназіи въ одвыпусковъ. Въ мужъ за доктора Шапиръ и первые прожила въ Сарародской губерніяхъ, жилъ земскимъ враживетъ постоянно

Первый разжизни» напечатанъ въ книжкахъ «Небезъ перерыва собольшихъ журнаизъ многихъ» и «Анвъ «Отечественныхъ

евна Шапиръ, родилась въ окрест- Кончила съ золотою тербургской женномъ изъ первыхъ 1872 г. вышла за- Лазаря Марковича годы замужества товской и Новгогдѣ мужъ ея случомъ. Съ 1880 года въ Петербургѣ.

сказъ «На порогѣ въ январѣ 1879 г. дѣли», съ тѣхъ поръ трудничала во всѣхъ лахъ. Романы «Одна типоды» появились Запискахъ»; «Безъ любви» и «Миражи»—въ «Вѣстникѣ Европы»; романъ «Любовь»—въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ». Рядъ повѣстей и разсказовъ печатался въ «Отечественныхъ Запискахъ», «Вѣстникѣ Европы», «Русской Мысли», «Сѣверномъ Вѣстникѣ», «Русскомъ Богатствѣ», книжкахъ «Недѣли», «Нивѣ», «Живописномъ Обозрѣніи» и въ газетахъ—«Новости» и «Одесскомъ Листкѣ». Многія изъ ея произведеній переведены на нѣмецкій и французскій языки. О. А. Шапиръ написала двѣ пьесы, поставленныя на Императорскихъ сценахъ: «Два таланта» дана была въ московскомъ Маломъ театрѣ въ 1885 г.; «Глухая стѣна»—въ Петербургѣ на сценѣ Александринскаго театра и въ Новомъ въ Москвѣ въ 1889 г. Въ текущемъ году въ газетѣ «Сѣверный Курьеръ» напечатано ея критическое изслѣдованіе: «Творчество Эмиля Золя и женскіе типы его романовъ».

РАЗВЯЗКА.

(Столичный случай.)

— Ну, какъ же мы рѣшаемъ, Борисъ Антоновичъ: на Мойку или къ Эрнесту?—переспросилъ еще разъ Бѣжаевъ, когда изъ-за округленнаго фасада публичной библіотеки показалась зелень Екатерининскаго сквера, еще сквозная и блѣдная по-весеннему.

Разговоръ пріятелей оборвался съ той минуты, какъ коляска въѣхала на Невскій. На торцахъ уже не было грязи, но въ деревѣ держалась сырость, что еще больше смягчало звукъ. На узкихъ полоскахъ булыжной мостовой кое-гдѣ блестѣли послѣднія лужи.

Густая толпа гуляющихъ медленно плыла по солнечному тротуару. Вереницы экипажей минутами совсѣмъ останавливались, расползались нѣсколькими рядами, врѣзываясь въ каждый свободный промежутокъ. Звонили конки, кричали кучера. Околоточный жестикулировалъ руками въ бѣлоснѣжныхъ перчаткахъ въ самой гущѣ грязныхъ колесъ и лошадиныхъ головъ.

На углу Садовой давка была особенно сильная. Впереди яркимъ пятномъ рдѣлъ на солнцѣ задрапированный кумачомъ подъѣздъ съ огромной бѣлой вывѣской какого-то весенняго базара.

Вопросъ пріятеля извлекъ Синицкаго изъ полудремоты.

— А?.. къ Эрнесту? Гм?.. не было бы свѣжо! hein... qu'en dites vous?

Онъ поморщившись взглянулъ вверхъ, въ голубое небо, испещренное группами тяжелыхъ облаковъ.

Собесѣдникъ его поправилъ на головѣ новенькій цилиндръ и отвѣтилъ съ усмѣшкой:

— Петербургская весна всегда ближе къ гриппу, чѣмъ къ чему-нибудь другому, этого забывать не слѣдуетъ. Во всякомъ случаѣ этотъ вопросъ тебѣ рѣшать—у тебя дама... *Молодежь* въ расчетъ не принимается.

Борисъ Антоновичъ иронически повелъ губами на шутливо подчеркнутое словцо.

— Хороша „молодежь", да! Изъ насъ двоихъ кто отправляется лѣчить ревматизмъ?

— Тише! прошу не затрогивать скорбныхъ листовъ. Отъ своего ревматизма, милый другъ, никто изъ насъ не уйдетъ... Не зачѣмъ портить весеннюю атмосферу аптечными ароматами.

— Какъ хочешь, голубчикъ... только потомъ не жалуйся, что тебя простудили! Обѣдать въ саду и думать нечего, тамъ и лѣтомъ сырость.

Въ отвѣтъ раздался добродушный негромкій смѣхъ.

— Чудакъ, отчего же не сказать прямо? Мы боимся сырости... Но Марьѣ Аркадьевнѣ пріятнѣе сказать, что сырости боится нашъ пріятель... Что жъ! Поелику за Марьей Аркадьевной я не ухаживаю, то и согласенъ принести жертву на алтарь дружбы.

Борисъ Антоновичъ выслушалъ съ кислой миной серьезнаго человѣка, не любящаго балагурства не во-время, но, впрочемъ, безконечно снисходительнаго къ тѣмъ, кого онъ жалуетъ.

— Не въ томъ дѣло... Женщины, право, часто и сами не знаютъ, зачѣмъ настаиваютъ. Такъ короче: безъ разслѣдованій о большей или меньшей степени моей готовности, etc., etc. замѣтилъ ли ты, что въ грамматикѣ женщины всего тверже въ степеняхъ сравненія? ха-ха!

Бѣжаевъ размышлялъ, соображая шансы предстоящаго обѣда en trois. Атмосфера на Моховой, повидимому, не весенняя. Понятно, что молодую женщину тянетъ на воздухъ, за городъ—а тутъ соображенія насчетъ ревматизма. Чѣмъ это лучше заправскаго супружества съ препирательствами, отказами, жалобами?

...„Вотъ же на зло весь обѣдъ буду волочиться. Встряхнитесь, Боренька, не будьте собакой на сѣнѣ!"

Викторъ Ивановичъ Бѣжаевъ сразу пришелъ въ пріятное возбужденіе, когда ему часа два тому назадъ подали карточку пріятеля:

„А не учинимъ ли мы сегодня открытіе весенняго сезона en famille, гдѣ-нибудь въ кабачкѣ? Черкни, согласенъ ли. Заѣду. Б. С.".

Манящее и волнующее весеннее солнце даже и въ Петербургѣ не вовсе лишено этихъ свойствъ. Въ такіе дни золотая воля одиночества особенно часто обращается къ намъ своей обратной стороной... Въ умѣ Бѣжаева съ самаго утра смутно бродилъ вопросъ: какъ онъ убьетъ этотъ задорно сіяющій майскій денекъ?

Оба пріятеля (какая-то дальняя родня), ѣхавшіе въ коляскѣ по Невскому, перешагнули уже за ту блаженную пору, когда кидаешься довѣрчиво навстрѣчу каждому новому дню. Когда кажется, что вотъ тутъ, у нашего порога, проносится многоголосый и многоцвѣтный потокъ жизни, стоитъ лишь захотѣть окунуться въ него! Съ нѣкото-

рыхъ поръ—увы!—все чаще и чаще подкрадывается безплодное резонерство усталости: „стоитъ ли игра свѣчъ?“ да „чего я тамъ не видалъ?“

Вотъ и сегодня: на повѣрку, въ репертуарѣ Виктора Ивановича не оказывалось рѣшительно ни одного номера, заслуживающаго вниманія. До такой степени, что онъ вдругъ вспомнилъ—какъ разъ вѣдь теперь семейные несчастливцы перебираются на дачи... Чортъ возьми, да не отправиться ли ему попросту обѣдать къ сестрицѣ Аннѣ Ивановнѣ, во избѣжаніе неминуемыхъ родственныхъ попрековъ?..

Въ такомъ оскудѣніи, неожиданная записка Синицкаго мгновенно разсѣяла кошмаръ плохого семейнаго обѣда среди пошлой неурядицы дачнаго разгрома.

Образъ Марьи Аркадьевны, какъ всегда, вызывалъ приливъ какого-то сложнаго возбужденія... Самъ не знаешь, какая струнка звучитъ сильнѣе—неудовлетвореннаго любопытства или задѣтаго самолюбія?.. Въ качествѣ ближайшаго пріятеля, и то и другое для Бѣжаева одинаково обидно.

Но что всего нелѣпѣе—теперь вѣдь даже и прослѣдить невозможно—какъ и почему могло случиться, что онъ пересталъ бывать на Моховой. Одно онъ зналъ достовѣрно: сложилось такъ помимо его воли и рѣшительно безъ всякаго опредѣленнаго „инцидента“.

Съ Борисомъ у нихъ не было на этотъ счетъ никакихъ объясненій; но его частыя упоминанія, что Магіе „рѣшительно никого не принимаетъ“, для Бѣжаева звучали замаскированнымъ извиненіемъ. И получалось такимъ образомъ что-то двойственное: послѣдній романъ пріятеля занималъ Бѣжаева гораздо глубже, чѣмъ полагается, и въ то же время онъ внесъ натяжку въ ихъ старинныя отношенія.

Думалось по этому поводу разное: что Синицкій чудовищно ревнивъ и принуждаетъ Магіе жить затворницей; то, напротивъ, казалось, что она для собственнаго удобства удалила его, какъ человѣка слишкомъ близкаго. Но едва ли не всего чаще ясно улавливается оттѣнокъ личной антипатіи въ обращеніи этой женщины, не имѣвшей во всякомъ случаѣ никакихъ правъ проявлять подобную недоступность... Да вотъ, подите же, проявляетъ и конецъ! и позволенія ни у кого не спрашиваетъ!..

Въ результатѣ всего этого получалось то, что одно уже имя Марьи Аркадьевны мгновенно выводило Бѣжаева изъ апатіи.

. . . . . .

На углу Караванной пріятели разстались; Викторъ Ивановичъ пошелъ обратно пѣшкомъ внизъ по проспекту, а Синицкій поѣхалъ дальше.

Ни о чемъ опредѣленномъ Борисъ Антоновичъ не думалъ, а попросту боролся съ легкою сонливостью, которая сказывалась сильнѣе на воздухѣ. Онъ старался зѣвать такъ, чтобы это не могло броситься

въ глаза, и зналъ, что это придаетъ ему внушительно сосредоточенный видъ человѣка, обдумывающаго важные вопросы.

На Моховой онъ по привычкѣ вынулъ часы и, выходя изъ коляски, сказалъ кучеру:

— Черезъ часъ къ Контану.

Въ ту минуту, когда Синицкій входилъ въ подъѣздъ, швейцара тамъ не было. Онъ поднялся уже на вторую площадку, когда юркій маленькій человѣчекъ вынырнулъ изъ-подъ лѣстницы. Человѣчекъ заговорилъ что-то вдогонку жидкимъ высокимъ голосомъ, точно волнуясь, и самъ тоже сталъ подниматься по ступенькамъ.

Голосъ гулко расплывался въ каменномъ колодцѣ. Синицкій понялъ только, что его предупреждаютъ о чемъ-то непріятномъ; хоть онъ не разслыхалъ ни одного яснаго слова, но почему-то мгновенно почувствовалъ, что то, о чемъ докладываетъ швейцаръ,—непріятное.

Борисъ Антоновичъ пріостановился, отвернувшись отъ подбѣгавшаго швейцара и дѣлая видъ, что глядитъ равнодушно вверхъ по лѣстницѣ.

— Ну, въ чемъ же дѣло, братецъ? Ничего не слыхалъ, что ты тамъ бормочешь.

— Н...не погнѣвайтесь... ваше превосходительство! потому какъ приказаній никакихъ... мы такъ думали, не иначе какъ ваше превосходительство прямо, стало быть, на вокзалъ...

Порывистымъ движеніемъ Синицкій повернулся всей фигурой. Тотъ въ возрастающемъ волненіи началъ какъ-то нескладно размахивать одной рукой, вращая ею въ плечѣ.

— Осмѣлюсь доложить, ваше превосходительство, мы при должности двѣнадцатый годъ объ Рождествѣ, а только такого конфуза никогда не выходило, и жили смирно, благородно... а-ахъ, Ты Господи!.. да рази такъ возможно, безъ дозволенія вашего превосходительства...

Юркій человѣкъ на кончилъ—статная фигура въ распахнутомъ пальто надвинулось грознымъ движеніемъ.

— Будешь ли ты, наконецъ, говорить по-человѣчески, оселъ?!

Гулъ понесся вверхъ по лѣстницѣ, а человѣчекъ мгновенно скатился внизъ на нѣсколько ступенекъ. Но почему-то его испуганное бормотанье, ставшее, очевидно, еще болѣе невнятнымъ, теперь оказывалось понятнымъ.

...Карету на биржѣ съ вечера заказывали... Сундуки, которые съ багажомъ, тѣ посыльные утромъ отвозили на вокзалъ... Барышня съ Надеждой вдвоемъ въ каретѣ поѣхали, только ручной багажъ при нихъ...

...Что такое? что это?!. Карета... вокзалъ... куда?..

Онъ со всей силы теръ себѣ лобъ, усиливаясь не теряться.

— Пріѣзжалъ кто-нибудь вчера послѣ меня?.. Депеша можетъ быть?..

Швейцаръ дрожалъ точно преступникъ. Можно подумать, что онъ спеціально былъ приставленъ для того, чтобы сторожить жиличку изъ третьяго этажа.

Синицкій сообразилъ, наконецъ, что на такую безтолковщину не стоитъ тратить времени.

Рѣзкое ощущеніе оборваннаго звонка отрезвило нѣсколько. За дверью какая-то возня, женскій голосъ спросилъ:

— Кто тамъ?

...А, разумѣется... ну, разумѣется! кто же кромѣ Эрнестины!

Самое присутствіе въ покинутой квартирѣ ненавистной ему француженки подчеркивало смыслъ таинственнаго отъѣзда. Сколько разъ онъ просилъ Marie порвать съ несносной для него особой, и неизмѣнно получалъ въ отвѣтъ: Эрнестина преданный человѣкъ, прекрасно исполняетъ ея дѣла.

...Теперь ясно, зачѣмъ былъ нуженъ этотъ молчачивый фактотумъ... для такихъ дѣлъ нужны пособники!

Звонокъ сорванъ. У двери нѣтъ ручки, за которую можно было бы схватиться. Послѣднимъ остаткомъ самообладанія онъ боролся съ желаніемъ ударить кулакомъ въ полированную доску. На ней выдѣлялся только блестящій значокъ страхового общества.

— Да открывайте же, наконецъ, чортъ васъ побери!.. это я!.. я... я!..—крикнулъ онъ съ бѣшенствомъ, съ отвращеніемъ униженія.

— Oh, lá! lá! вотъ не могла ожидать, что это вы... оборвали звонокъ. Je me disais... опять этотъ мужикъ управляющій. Я не хотѣла пускать...

Эрнестина очень порядочно говоритъ по-русски. Она закрывала дверь за спиной ворвавшагося посѣтителя, и въ ея движеніяхъ тоже не было никакого намека на происшествіе... именно такъ и должна держать себя загадочная особа неуловимыхъ лѣтъ, съ проницательными глазками на сухомъ длинноносомъ лицѣ.

Синицкій въ пальто и цилиндрѣ стоялъ посреди узкой прихожей и съ возмущеніемъ слышалъ собственное дыханіе, громкое и прерывистое. Ему предоставляютъ начинать объясненіе... Бѣшенство схватило за горло.

Онъ круто перевернулся на каблукахъ, чтобы поставить передъ своими глазами женщину, невозмутимо копошившуюся за его спиной.

— Voyons, belle dame—vous allez m'expliquer—n'est ce pas?.. le... le... splendide coup de théâtre!.. — выговоривалъ онъ, шипя и давясь словами.

Эрнестина подняла чуть не до волосъ черныя брови и повела въ сторону тонкой шеей, съ натянутыми веревками толстыхъ жилъ.

— Monsieur aura sûrement sa lettre. C'est pas à moi de renseigner...

Лгала она или нѣтъ? Этого не разобралъ бы и гораздо болѣе хладнокровный наблюдатель. Этотъ сдѣлалъ что-то въ родѣ прыжка и наткнулся на вѣшалку.

— C'est parfait! parfait! J'ai ma lettre, alors?! Où est elle, s'il vous plait?!

Эрнестина все также невозмутимо стала объяснять, что она этого не знаетъ. Она письма не видала. Она думала, что madame не могла уѣхать безъ письма, если она не хотѣла личныхъ объясненій.

Пространныя разсужденія, съ неуловимымъ призвукомъ торжествующей вражды, дѣйствовали на утратившаго всякое равновѣсіе партнера, какъ брызги воды на раскаленную до красна плиту.

Синицкій не дослушалъ, швырнулъ съ себя пальто и бросился въ комнаты искать. Чего?.. Все равно, все равно... Какое-нибудь объясненіе вопіющему поступку—ничѣмъ не подготовленному исчезновенію женщины, которую полчаса назадъ онъ считалъ своею.

На первый взглядъ въ комнатахъ все по-старому; только приглядѣвшись, начинаешь замѣчать кое-какія мелочи. Въ гостинной не хватаетъ альбомовъ, книгъ на кругломъ столѣ. На мозаичной доскѣ раскрытая пустая картонка и рядомъ брошена метелочка изъ перьевъ. Горка бѣлыхъ гіацинтовъ у средняго окна свѣжа, какъ будто онъ прислалъ ихъ сегодня.

Въ будуарѣ—пустой туалетъ и письменный столъ. Нѣтъ!.. По сторонамъ изящной небольшой чернильницы изъ матоваго серебра точно переглядываются между собой въ недоумѣніи его два портрета въ одинаковыхъ рамкахъ... Стремительнымъ непроизвольнымъ жестомъ Борисъ Антоновичъ повалилъ портреты стекломъ на синее сукно стола.

Онъ выдвигалъ ящики, открывалъ бювары, переворачивалъ каждый обрывокъ бумаги, какъ будто письмо такой важности могло оказаться вмѣстѣ съ изорванными письмами и пустыми конвертами. Онъ метался безсознательно, только чтобы дѣлать то единственное дѣло, которое въ эти минуты было возможно: *искать* . . . . . .

. . . . . .

Въ маленькомъ уютномъ садикѣ большого ресторана у Синяго моста обѣдало мало публики: двѣ компаніи военныхъ, да какая-то молодая парочка, прятавшаяся въ дальней палаткѣ; большинство, не довѣряя майскому солнцу, предпочитало кабинеты и общія залы.

Бѣжаевъ тоже, памятуя ревматизмъ, распорядился, чтобы накрыли въ большой крытой бесѣдкѣ.

Три прибора терялись уныло на большомъ столѣ, зато у одного изъ нихъ красовался прелестный блѣдный букетъ.

Викторъ Ивановичъ раза два посмотрѣлъ на часы, хоть и зналъ отлично, что еще рано. Его разбиралъ голодъ. Простившись съ Синицкимъ, онъ отправился пѣшкомъ домой переодѣться; потомъ заѣхалъ къ Эйлерсу за цвѣтами и оттуда опять дошелъ сюда пѣшкомъ, чтобы убить время. Но и теперь ему не сидѣлось; онъ кружился вокругъ стола, послѣ того какъ, не вытерпѣвъ, пропустилъ-таки рюмочку fine

champagne и закусилъ ложечкой соблазнительной свѣжей икры. Но это только еще сильнѣе раздражило аппетитъ. Приторный ароматъ туберозъ и ландышей непріятно смѣшивался съ острымъ запахомъ омаровъ и французскихъ сыровъ—моментъ, когда слѣдуетъ приступать къ закускѣ и ожиданіе становится рѣшительно несноснымъ.

Бѣжаевъ поглядывалъ на свой букетъ: его обычная манера *мстить* Марьѣ Аркадьевнѣ! Онъ уже заранѣе видѣлъ, какъ тѣнь досады проскользнетъ въ тонкихъ чертахъ; какъ сожмутся саркастически гордыя губы, выговаривая банальную вѣжливость, въ то время какъ въ сѣрыхъ глазахъ промелькнетъ что-то угрожающее. Вотъ, единственно ради того, чтобы полюбоваться мимолетнымъ зрѣлищемъ, Викторъ Ивановичъ систематически тратится на букеты. Madame Magie быстро оправится и не удостоитъ больше ни однимъ взглядомъ его подношенія—не бѣда, онъ все-таки удовлетворенъ: она не можетъ помѣшать ему совершать надъ нею эту маленькую изящную месть. Черезчуръ ужъ рисковано было бы въ ея положеніи пробовать активно оспаривать его право на вульгарный обычай подносить цвѣты подругѣ стараго пріятеля. Не обмолвившись ни однимъ словомъ, они оба знали что это такъ.

Два лакея еще продолжали бѣгать взадъ и впередъ, доканчивая убранство стола, когда Бѣжаевъ увидѣлъ въ саду Бориса Антоновича. Онъ направлялся къ бесѣдкѣ дѣловымъ шагомъ, не поднимая головы. Обрадованный Бѣжаевъ встрѣтилъ его на залитыхъ солнцемъ ступенькахъ.

— Вотъ и вы! Необыкновенно удачно, ибо мнѣ грозитъ опасность скончаться отъ голода. Не разсчиталъ, нагулялъ черезчуръ нетерпѣливый аппетитъ—вотъ она, весна-то, что значитъ! А наша героиня? въ уборной? Пойти встрѣтить.

Его удержалъ странный видъ Синицкаго, входившаго не отвѣчая въ бесѣдку: точно потемнѣвшее тусклое лицо, ускользающій взглядъ...

„Ого-го!.. bataille en forme.:. скука! — рѣшилъ сейчасъ же про себя пріятель.—И охота людямъ ссориться въ такую погоду. Неужели ему предстоитъ разыгрывать неблагодарную роль буфера, благодѣтельно умѣряющаго столкновеніе, вмѣсто личнаго пикантно-замаскированнаго поединка съ хорошенькимъ врагомъ“...

Ни одинъ изъ нихъ не могъ бы сказать потомъ, какимъ обѣдомъ ихъ накормили въ этотъ памятный день. Блюда появлялись и исчезали съ необыкновенною быстротой; вся гастрономія hors-d'oeuvre'a осталась нетронутой; только удлинялся рядъ бутылокъ различныхъ формъ и цвѣтовъ.

Давно уже Бѣжаевъ ничѣмъ такъ не былъ захваченъ, какъ этимъ дерзкимъ женскимъ „вывертомъ“. Не даромъ, не даромъ всегда онъ считалъ прелестную Magie ларчикомъ съ секретомъ! И никогда не

оправдывалъ халатнаго отношенія милѣйшаго Бореньки, расположившагося на лаврахъ.

Вся исторія прошла на его глазахъ. Изъ случайной встрѣчи развернулся одинъ изъ тѣхъ стремительныхъ весеннихъ романовъ, когда въ общемъ опьяняющемъ напряженіи жизни какія-то отраженія гальванизируютъ усталыя сердца. Однако онъ оказался плохимъ пророкомъ: онъ напрасно самодовольно поджидалъ развязки не позже, какъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ. На Моховой сложился своеобразный menage, и оставалось думать, что тамъ всѣ удовлетворены имъ. И вдругъ...

Совершенно сбитый съ позиціи, Синицкій и не пытался что-нибудь выгораживать, прихорашивать... До того ли ужъ теперь!

Онъ чистосердечно взывалъ къ безпристрастію своего стараго друга. А другу приходилось подавлять въ своемъ сердцѣ необузданныя движенія какого-то злораднаго торжества, въ то время, когда ему искренно хотѣлось бы выказать сердечное участіе.

— Какой чортъ разгадаетъ теперь что-нибудь, когда говорю тебѣ— сейчасъ вотъ, post factum—и то подыскать не могу ни одного имени! Да вѣдь самъ знаешь, и не бывалъ у нея никто. Ужъ если даже ты.. Эти ея pruderie всегда меня бѣсили... капризы!

— Н-ну!.. Это можетъ быть ровно ничего еще не доказываетъ.

Синицкій даже на стулѣ подскочилъ отъ негодованія (послѣ Моховой онъ точно помолодѣлъ на десять лѣтъ).

— Какъ ничего не доказываетъ?! Наконецъ, не съ неба же сваливаются подобные сюрпризы! Не такъ ужъ это скоро и просто дѣлается съ особами тонными.

— Кто же говоритъ, что просто и скоро?

— Ага! Стало быть, по-твоему, я былъ слѣпъ и глухъ и глупъ! Традиц-ціонно!

Бѣжаевъ спрашивалъ себя, отчего ему нисколько не жаль Бореньку въ семъ сквернѣйшемъ положеніи? Нужно усиліе... непріятное. Но онъ говорилъ ровнымъ успокоительнымъ тономъ.

— Не волнуйся напрасно. Ты былъ не глупъ, а довѣрчивъ, какъ всѣ порядочные люди. Обыкновенно этимъ кончается.

— Что? Что кончается?! Что жъ, я долженъ былъ по твоему мнѣнію сторожить ее?!

Синицкій выкрикивалъ напряженнымъ срывающимся голосомъ; въ немъ вдругъ появились визгливыя бабьи интонаціи.

— Да позволь тебя спросить, откуда я время возьму на это? Не знаешь ты, что ли! Подозрѣвать, ревновать! Ха! Благодарю покорно!

Бѣжаевъ кротко улыбался.

— Развѣ я предлагалъ что-нибудь подобное?

— Однако, вѣроятно, что-нибудь ты вѣдь желаешь сказать своими... своими... своими мудрыми изреченіями!

Нѣтъ, безъ сомнѣнія, онъ вовсе не имѣетъ желанія добивать огорченнаго друга. Онъ уже подмѣчалъ въ немъ совершенно несвойственную, какую-то вульгарную обидчивость, жалобность, что придавало всей этой горячности что-то старческое.

Синицкій нѣсколько разъ возвращался къ подозрительному перепугу швейцара и „наглости Эрнестинки". Онъ былъ непоколебимо убѣжденъ, что именно подлая француженка все подстроила. Но странно: грязныя предположенія, какія, въ своемъ гнѣвѣ, онъ спѣшилъ придумывать, нимало не стѣсняясь, лишь бы излить душившую обиду, почему-то все это разлеталось холостыми зарядами, не дѣлая впечатлѣнія на его слушателя. Какія-то обманныя ощущенія, ему самому не дававшія руководящей нити, въ поискахъ которой онъ такъ сумбурно метался.

Догадкамъ этимъ не хватало той психологической правды, которая одна можетъ дать достовѣрность тамъ, гдѣ нѣтъ фактовъ. Вопреки всему, неотразимо чувствовалось, что эти обвиненія относятся какъ будто къ другой женщинѣ. Ни злорадство одного, ни раненая гордость другого не могли создать ничего прочнаго. Каждый новый варіантъ приходилось тутъ же колебать нехитрымъ вопросомъ: *да развѣ Марья Аркадьевна не могла уѣхать открыто?* Къ чему такая ненужная грубая выходка со стороны свободной женщины?

Бѣжаевъ во что бы то ни стало добивался ссоры, хотя бы давнишней—женщины злопомятны.

Синицкій съ наивнымъ чистосердечіемъ перебиралъ интимныя воспоминанія и не находилъ, на чемъ остановиться. Онъ исполнялъ всѣ желанія Маріе. Она не была ни капризна, ни требовательна. Она была даже черезчуръ разсудительна. Разумѣется, она бывала не въ духѣ и даже часто. Но никогда ни слезъ, ни сценъ. На другой день онъ находилъ ее милой, какъ всегда, какой онъ любилъ ее.

Бѣжаевъ расхохотался.

— За два года ни одной ссоры! Поздравляю! Послѣ этого рѣшительно всѣ женщины будутъ казаться фуріями!

Синицкій больше всего былъ удивленъ тѣмъ, что Маріе не оставила письма. Онъ вѣдь не святой духъ! Если она недовольна чѣмъ-нибудь, почему не высказать, не сдѣлать даже попытки?! Онъ находилъ этому только одно объясненіе: Эрнестина какъ-нибудь возмутительно оклеветала его въ глазахъ Маріе. Этимъ все объясняется. Маріе страшно горда, никогда она не унизится до упрековъ. Онъ даже не узнаетъ никогда, что́ на него взвела французская ворона.

Бѣжаевъ полагалъ, что онъ понимаетъ женщинъ гораздо тоньше: *промолчать*, считая себя обиженной?.. Пхе!..

— Pas de danger, mon brave! Пари, что завтра же ты получишь письмо, этакъ страничекъ въ двѣнадцать!

...Хоть, разумѣется, местью самой утонченной было бы именно

это: ***промолчать***. Что называется, „проглотить собственное сердце", оставить другого теряться въ догадкахъ. Утонченнѣйшая казнь!

Бѣжаевъ продолжалъ философствовать мысленно, стоя въ дверяхъ бесѣдки. Онъ возбужденно затянулся въ послѣдній разъ и вышелъ на крылечко, чтобы бросить сигару. Вдали мелькнуло свѣтло-сѣрое платье.

Синицкій оставался на своемъ мѣстѣ у стола. Начинало тяжело осѣдать оцѣпенѣніе реакціи послѣ перваго лихорадочнаго метанья въ продолженіе двухъ часовъ. И въ головѣ туманъ отъ выпитаго вина гуще, чѣмъ полагается. Кажется, что прошло не два, а много-много часовъ. И почему-то все вспоминалось испуганное лицо маленькаго швейцара, когда онъ скатился отъ него внизъ по ступенькамъ, хотя Борисъ Антоновичъ не думалъ о швейцарѣ—онъ думалъ упорно и зло объ этой подлой Эрнестинкѣ.

„Н-да! молчаніе-то, чего добраго, и не одного Бореньку... какъ бы молчаніе и меня самого не забрало".

Но Викторъ Ивановичъ не довелъ до конца начатой мысли, онъ вдругъ качнулся всей фигурой впередъ, и на мигъ его мозгъ совершенно опустѣлъ отъ изумленія.

Сѣрое платье было теперь въ нѣсколькихъ шагахъ. Молодая дама не спѣша приближалась къ бесѣдкѣ въ матовомъ освѣщеніи бѣлаго зонтика. Легкая бѣлая оборочка колыхалась вокругъ ея темной головки, гордо посаженной на стройныхъ плечахъ. Разсѣянный взоръ Бѣжаева схватилъ прежде всего эти знакомыя очертанія. Онъ всегда находилъ плѣнительность Марьи Аркадьевны не въ чертахъ лица, хоть и лицо тоже минутами (не всегда) считалъ удивительно красивымъ.

Описавъ какую-то невѣроятную дугу, Бѣжаевъ отпрянулъ вглубь бесѣдки, какъ будто его отбросило электрическимъ толчкомъ.

— Она!.. она сама... сюда идетъ! сюда, понимаешь ты?!—зашепталъ философъ, точно какой-нибудь школьникъ, совершенно какъ если бы ему было сказано, что сегодня эту женщину опустили въ могилу.

Да, это была сама Марья Аркадьевна. Въ новомъ весеннемъ костюмѣ, памятномъ Синицкому, потому что изъ-за него вышла между ними едва ли не послѣдняя стычка (Борисъ Антоновича всегда раздражало пристрастіе русскихъ женщинъ къ разнымъ безхарактернымъ туалетамъ). Городская шляпка съ граціознымъ пучочкомъ пестрыхъ крылышекъ и бѣлый газовый зонтикъ еще меньше, чѣмъ платье, говорили о путешествіи.

— Извините, я опоздала,—сказала молодая женщина на порогѣ бесѣдки.

Послѣ солнечнаго освѣщенія тутъ былъ унылый полусвѣтъ.

Синицкій бросился къ ней.

— Marie... что вы со мной дѣлаете? что значитъ все это?..

Въ головѣ вихрь... Онъ безсознательно хватался за ея зонтикъ. Но Marie уклонилась и сама бережно положила зонтикъ на стулъ около стѣны. Бѣжаеву она кивнула головой и сейчасъ же прищурилась на букетъ на столѣ.

— Вы, кажется, уже пообѣдали... серьезно? а? Вы не долго предавались отчаянію?..

Она засмѣялась.

— Ничего, ничего не могу сообразить... отказываюсь! За что?!. мистификація?.. Ахъ, какъ все это непохоже, непохоже на васъ, Marie!..

Въ памяти его мгновенно промелькнуло все: бѣснованіе на лѣстницѣ, растерянность передъ Эрнестинкой, ненужная болтливость передъ Викторомъ. За что?!.

Молодая женщина не торопясь усаживалась къ столу. Она отвѣтила спокойно и громко, съ слабой усмѣшкой на твердыхъ губахъ:

— На всякій случай не беритесь судить такъ увѣренно о томъ, что похоже на меня и что нѣтъ.

Два лакея топтались въ дверяхъ, ожидая. Бѣжаевъ изъ деликатности увелъ ихъ на крыльцо.

„Ну, и баба!—думалъ онъ съ восхищеніемъ, прислушиваясь къ голосамъ въ бесѣдкѣ.—Препарируетъ Бореньку подъ пикантнымъ соусомъ!..“

Даже въ жаръ кидало отъ обостреннаго любопытства. Какъ-то совсѣмъ непроизвольно онъ очутился снова въ бесѣдкѣ.

Марья Аркадьевна развязнымъ жестомъ пригласила его къ столу.

— Садитесь, садитесь сюда. Вы, конечно, умираете отъ любопытства? У меня нѣтъ секретовъ.

Викторъ Ивановичъ подумалъ, что ему приличнѣе совсѣмъ откланяться, чтобы не стѣснять ихъ... и сѣлъ къ столу съ галантной поспѣшностью.

— Вы вѣдь юристъ, m-eur Бѣжаевъ?—спросила она все съ той же, совершенно ей несвойственною, развязностью, и глядѣла ему въ лицо свѣтлымъ взоромъ. Что-то какъ будто переливалось въ самой глубинѣ его.

— Конечно... немного...

— Вотъ, Борисъ Антоновичъ оспариваетъ мое право уѣхать изъ квартиры, потому что въ ней стоятъ купленные имъ стулья и зеркала.

Борисъ Антоновичъ скривилъ губы въ знакъ своего снисхожденія къ женскому вздору.

— Разумѣется, онъ былъ бы правъ, если бъ у меня было поползновеніе увезти его зеркала съ собой!

— А не находите ли вы, Марья Аркадьевна, что пора прекратить эти... шутки?

Голосъ сорвался.

Она смотрѣла ему въ лицо нестерпимо острымъ взоромъ.

— Что такое?.. неужели вы противъ шутокъ?! Человѣкъ! принесите, пожалуйста, еще льду. Нѣтъ, нѣтъ, m-eur Бѣжаевъ, вина пить я не стану. Мы, глупыя женщины, не имѣемъ привычки ничего скрашивать—мы глотаемъ au naturel все, чѣмъ насъ угощаетъ судьба... И не просто глотаемъ, а смакуемъ!.. Но вы-то сами, господа? Право, я удивлена, почему вамъ такъ мало помогли всѣ эти опустошенныя бутылки?..

— Напротивъ, я задаю себѣ вопросъ: ужъ не бутылки ли лишили меня способности оцѣнить всю соль этого... дивертисмента pour la bonne bouche!—выговорилъ вздрагивающими губами Синицкій.

Красивое лицо Марьи Аркадьевны чуть замѣтно розовѣло. Въ немъ какъ будто еще тверже вырисовывалась теперь каждая тонкая и изящная черточка.

— Дивертисментъ... вы называете?.. Я, право, поражена... Неужели вы предпочли бы драму? Подумайте только: женскія отповѣди, отчитыванія, исповѣди... Бррр!..

— Я вамъ всегда казался такимъ легкомысленнымъ?

— Н-нѣтъ... Но не откажите и мнѣ въ нѣкоторой сообразительности, n'est ce pas?.. За два года было время поинтересоваться.

Бѣжаевъ слушалъ, скромно потупивъ взоры въ скатерть, замирая въ тревожномъ предвкушеніи. Надвигается что-то прескверное. Но скверное отнюдь не для него. Въ душѣ его окончательно опредѣлилось, не теперь, а давно уже, затаенное раздраженіе противъ пріятеля. Изъ какой-то не сознанной глубины, опережая мысли, рвется живительное ощущеніе его личныхъ туманныхъ отношеній съ этой женщиной, всегда съ такимъ подчеркиваніемъ игнорировавшей его вниманіе. Это что-то совсѣмъ не выясненное, не продуманное; какіе-то намеки! Старые уколы, оставившіе, какъ оказывается, какой-то слѣдъ. Впереди что-то вспыхиваетъ, какъ зарницы освѣщаютъ смутно волнующіеся горизонты.

— Но, Бога ради, установимъ сначала хоть какой-нибудь фактъ!— уже молилъ запальчиво Синицкій.—Что случилось?! Со вчерашняго дня или, право, ужъ не знаю когда!.. Что, *что* происходило между нами?..

Молодая женщина въ раздумьи раскачивала на вѣсу вилку, мѣрно ударяя по тарелкѣ, и смотрѣла на нее остановившимися глазами.

— Прежде всего, разумѣется, хотѣла писать... вѣдь это первое, что приходитъ на умъ. Но оказалось сейчасъ же, что написать нельзя. Вотъ, какъ вы спрашиваете: что случилось? когда?..

Она бросила вилку и подняла голову.

— Не случилось ничего. Хочу устроить свою жизнь совершенно иначе, и только. Думаю, что этого довольно и... и никакихъ объясненій не нужно.

Лицо было холодно, почти строго; голосъ звучалъ сухо. Прошла длинная, длинная пауза. Говорить могъ только одинъ человѣкъ—онъ молчалъ.

— Вы захотѣли этого, вѣроятно, не со вчерашнято дня?—спросилъ онъ, наконецъ, глухо.

— О, нѣтъ!.. Мнѣ казалось... всего проще, если это совпадетъ съ отъѣздомъ. Вчера было столько же основаній, какъ и годъ назадъ...

Синицкій вскочилъ со своего мѣста и заходилъ вдоль стола.

„Дѣйствительно, дружище, всегда ты былъ сухаремъ, и я всегда это думалъ!.. Взять такую женщину и воображать, что она у тебя въ карманѣ!“ думалъ, почему-то волнуясь сильнѣе, пріятель.

— Пари держу, что вы тутъ ломали голову надъ вопросомъ: *съ кѣмъ* она бѣжала или *за сколько* ее купили? Интересно бы знать, какой варіантъ вамъ казался правдоподобнѣе?

Марья Аркадьевна обвела обоихъ ироническимъ взглядомъ; легкая судорога трепетала въ уголкѣ розовыхъ губъ.

Въ ихъ ушахъ мгновенно прозвучало все, что только что было сказано за этимъ столомъ оскорбительнаго и безстыднаго.

— Что жъ... это въ порядкѣ вещей!—говорила она дальше, не дождавшись отвѣта.—Могла два года прожить въ Моховой; теперь вы только подыскиваете новый адресъ, новую фамилію!

— Полчаса назадъ я говорилъ здѣсь, что не могу остановиться ни на какомъ имени!—крикнулъ Синицкій.

— Вы какъ будто этимъ гордитесь?! Неужели вы забыли, сколько вы ссорились со мною изъ-за того, что я избѣгаю знакомствъ, что мѣшаю вамъ сзывать въ Моховую вашихъ пріятелей?! Счастье мое, что я оказалась достаточно чутка къ такому вотъ... дружескому вниманію!..

Она выдернула изъ букета самую крупную розу и начала нервно вертѣть ее въ рукѣ.

Бѣжаеву казалось, что вотъ-вотъ роза вырвется и полетитъ ему въ лицо.

— Па-азвольте однако!—пріосанился обидчиво Синицкій.—Вы это такъ говорите, что можно подумать...

— Ахъ, пожалуйста, пожалуйста безъ обидъ!..—перебила она нетерпѣливо.—Скажите, чему собственно вы тутъ не можете повѣрить? Что, по вашему мнѣнію, должно прельщать меня: обезпеченная роскошь, или... ваша любовь? Вы же не можете третировать меня, какъ профессіональную содержанку!..

— Marie!..

— А любовь...

Рука съ розой вдругъ упала красивымъ безсильнымъ жестомъ:

— Не забывайте, что мнѣ двадцать семь лѣтъ... и что мы съ вами познакомились въ этомъ самомъ саду!..

Бѣжаевъ не спускалъ съ нея глазъ: что-то точно вдругъ слетѣло съ ея лица, что-то заслонявшее истинныя черты. Пробѣжала судорога острой боли—и оно стало нѣжнымъ и молодымъ, и жалкимъ невыразимо. Но это былъ одинъ мигъ.

— Marie... Marie...—лепеталъ растерянно Синицкій.

Марья Аркадьевна отвела протянутыя руки.

— Нѣтъ, нѣтъ!.. вы не злой, я знаю... Вы только какъ всѣ: считаете женщину тѣмъ, что вы сами изъ нея дѣлаете. Если вы обошли съ нею вокругъ аналоя—она ваша жена, и вы требуете для нея уваженія. И вы сами ее уважаете, что бы ни дѣлала она, и сколько бы вы ни измѣняли ей... А безъ аналоя... о-о!.. вы никогда-никогда не уважаете, даже если вы ее любите! Но, ради Бога, неужели же все можно называть любовью?!.

Синицкій то дѣлалъ два-три шага, то останавливался, какъ человѣкъ, который впервые неожиданно слышитъ страшно важныя для себя вещи.

Мимолетное волненіе исчезло; молодая женщина опять говорила съ глубокой ироніей:

— Вы начинаете толстѣть, вамъ запрещено спать послѣ обѣда; вы избрали этотъ вакантный часъ для романа. Отъ семи до восьми часовъ. Вычитая изъ этого встрѣчи и проводы, остается полчаса для общенія душъ и тѣлесъ—не обременительно! Пріятно молодитъ... вовсе безъ романа было бы скучно, черезчуръ по-стариковски. Отъ времени до времени, въ награду за хорошее поведеніе, маленькій кутежъ: ресторанъ, скачки, театръ. Раза три въ два мѣсяца... Я не уклоняюсь отъ строгой истины, какъ вы находите?

Неожиданно въ отвѣтъ раздался его, совсѣмъ добродушный, смѣхъ:

— Но, chère enfant, не я же могу передѣлать жизнь! Что жъ дѣлать, если она вовсе не похожа на романы Бурже!..

Изъ-подъ ея нервно сжавшихся пальцевъ по столу разсыпался дождь бѣлыхъ прозрачныхъ лепестковъ.

— Да мнѣ-то, мнѣ почему же не предпочитать хотя бы романы Бурже, если мнѣ такъ нравится?! Вы мнѣ посвящаете одинъ часъ, который у васъ остается за вычетомъ всего—но всего, Борисъ Антоновичъ!—вашей семьи, службы, всѣхъ вашихъ службъ, вашихъ денежныхъ дѣлъ, свѣтскихъ отношеній, развлеченій. Ну, а я?.. я, за вычетомъ одного этого часа, куда же я должна дѣвать свое время, мысли, чувства?.. Спросили ли вы себя объ этомъ когда-нибудь, господинъ Синицкій?..

Онъ остановился и развелъ руками.

— Marie, признайте, по крайней мѣрѣ, что я слышу все это въ первый разъ!

Она жестко разсмѣялась.

— И я разсчитываю, что вы оцѣните мою благовоспитанность: я не отравляла вамъ напрасно вашего часа. Не поднимала никакихъ необъятныхъ вопросовъ, а разбиралась въ нихъ одна. Правда, я взяла на это страшно много времени... два года!

На мигъ она зажала рукою глаза; сейчасъ же отняла ее, точно спохватившись.

— Отчего бы не сказать прямо: ухожу, потому что прошло увлеченіе!—сказалъ съ горечью Синицкій.

— Все-таки не понимаете? Прошло не сегодня. Какъ я любила васъ, вы не замѣтили, и не знаете, когда это кончилось. Даже неправдоподобно, до чего мы съ вами чужіе люди!

Она содрогнулась плечами, отвернулась и стала смотрѣть въ садъ, сощуривъ блестѣвшіе глаза.

Синицкій стоялъ передъ столомъ, касаясь пальцами скатерти, и уныло смотрѣлъ на нее.

— Часъ... полчаса... вы правы! Времени у меня нѣтъ. Но я-то знаю, сколько я вкладывалъ привязанности къ вамъ... Вотъ только сейчасъ, отъ вашихъ словъ, я ясно вижу, какъ, въ самомъ дѣлѣ, у насъ было мало времени!

Она напряженно разсмѣялась:

— Оригинально! Такая большая привязанность, что у нея нѣтъ ни правъ, ни требованій... Молчите, молчите, Борисъ Антоновичъ!

Она поднялась со стула и встрѣтилась съ восторженнымъ взоромъ черныхъ глазъ Бѣжаева.

— Ну, а вы?.. вы-то съ чего кипите, господинъ другъ? Измѣняете старой дружбѣ изъ любопытства видѣть врага съ поднятымъ забраломъ... ха!

— Врага!.. за что же врага, прелестная обличительница?..—лепеталъ Викторъ Ивановичъ.

Марья Аркадьевна сдвинула брови и коротко кивнула головой.

— Знаю васъ, знаю! Вы терпѣливо ждали очереди. У васъ есть выдержка!

„Ого! да мы окончательно закусили удила!“ подумалъ восторженно Бѣжаевъ.

Синицкій обогнулъ столъ и подошелъ къ ней. Лицо было растроганное; въ горлѣ щекотало, такъ что пришлось откашляться.

„Какъ она несправедлива, несправедлива! Онъ только не умѣетъ говорить этихъ вещей... характеръ! Неужели нужны слова? Вотъ онъ хочетъ представить себѣ, какъ это будетъ теперь... безъ нея... какая пустота!.. Онъ привыкъ повѣрять ей всѣ свои дѣла. Онъ вѣрилъ ея уму...“

Марья Аркадьевна и ему кивнула головой.

— Ничего! будете дѣла разсказывать кому-нибудь другому... только вѣдь, чтобы слушалъ кто-нибудь! Безъ ума лучше обойтись,

послушайтесь добраго совѣта: всякая умная женщина не въ годъ, такъ въ два разберетъ, сколько остается мѣста для человѣческой души среди вашихъ дѣловыхъ жернововъ... Одна пыль, Борисъ Антоновичъ! Легкій налетъ сантиментальной пыли... И за него-то мы отдаемъ цѣликомъ свое все!..

Она провела рукой по лицу.

— Ну, что жъ дѣлать! За все надо расплачиваться: за незнаніе жизни, наивную мечтательность, самонадѣянность... Самонадѣянность особенно! Только, пожалуйста, мы разстанемся друзьями, да? Драмы несносны—des bêtises! И зачѣмъ вамъ теперь вникать въ то, что васъ ничуть не заботило два года!

— Но развѣ я могъ подозрѣвать въ васъ подобную скрытность!— воскликнулъ онъ. — Въ такихъ мысляхъ... и вы молчали!.. улыбались, были милы еще вчера. Развѣ это не вопіющее коварство? Ни слова, ни намека... вы...

Она его перебила:

— Да, да! чтобы узнать настоящую правду, надо разглядѣть ее собственными глазами... да, хитрить, коварствовать, чтобы не спугнуть... Да, да!..

— Предательство! вѣчное женское предательство!—уже кричалъ онъ, задыхаясь отъ возмущенія.

— Все равно, хоть предательство. „Иду на вы"—доблесть дикаря! И скажите, пожалуйста, что вы выиграли бы, если бы и мы предварительно ссорились полгода? Рутина!

Его душило настоящее бѣшенство отъ этого яснаго лица и твердаго тона.

— Я, я долженъ сказать, что ни одна покупная женщина не поступитъ такъ съ человѣкомъ, съ которымъ она прожила мирно два года!..

Марья Аркадьевна надменно повернула свою удивительную шею.

— Еще бы! такая женщина была бы въ восторгѣ отъ двадцати трехъ часовъ свободы въ придачу къ венеціанскимъ зеркаламъ и плюшевымъ кушеткамъ!

— А-а!.. точно я знаю, какъ вы пользовались вашею свободой!

Она стояла и смотрѣла въ его багровое лицо.

— Знали вы, Борисъ Антоновичъ, ровно столько, сколько вамъ было угодно. Вы знали, что я не принимаю мужчинъ (какъ настоящая содержанка!), и это все, что васъ интересовало.

Бѣжаевъ скромно стушевался и, стоя въ дверяхъ, смотрѣлъ въ садъ. Щекотливое объясненіе смахивало на вульгарную перебранку. Боренька не выдерживаетъ приличнаго тона умнаго человѣка, понимающаго, когда все потеряно, не замѣчаетъ, что ея, очевидно, благоразумнѣе не вызывать: elle n'est pas encore au bout de son latin!..

Вдругъ она заговорила совсѣмъ уже весело.

— А вотъ теперь, Борисъ Антоновичъ, я, пожалуй, могла бы и разсказать вамъ мою жизнь за послѣдній годъ, совершенно какъ чужому человѣку, съ кѣмъ я сегодня познакомилась!.. И сколько новаго для себя вы узнали бы. Напримѣръ, что я почти вовсе не жила дома въ то время, какъ вы были увѣрены, что я провожу жизнь въ чтеніи французскихъ романовъ. Меня ими особенно обязательно снабжали!

„...Вотъ оно, ни одной непріятности за два года!“ злорадствовалъ безмолвный свидѣтель. Отвѣтъ Синицкаго поразилъ его:

— Ну, въ такомъ случаѣ, не лучше ли мнѣ, Марья Аркадьевна, такъ уже и пребывать въ спасительномъ невѣдѣніи?

— Молодецъ!—похвалилъ пріятель.

— О! это всего одна минута и ничего непріятнаго лично для васъ,—засмѣялась она.—Только маленькая рекомендація: свое время, Борисъ Антоновичъ, я проводила въ залахъ суда и на урокахъ стенографіи, сначала случайно, отъ скуки, чтобы какъ-нибудь убить скуку... потомъ пристрастилась, потомъ полюбила.

— Въ судѣ!.. вы въ судѣ!.. повторялъ растерянно Синицкій.

— Да... Богъ знаетъ, что было бы со мной, если бы такъ же случайно я попала не туда.

Она крѣпко держалась обѣими руками за спинку стула. Прошло нѣсколько секундъ напряженной тишины. Марья Аркадьевна медленно вздохнула.

— Это мѣсто страшное. Вотъ гдѣ люди всего правдивѣе, а жизнь всего логичнѣе... Вотъ гдѣ могутъ проснуться и умъ и совѣсть. Какъ странно, что этой грозной аренѣ удѣляется такъ мало вниманія... такъ безпечно...

— Вотъ въ чемъ сюрпризъ: вы превращаетесь въ моралистку!.. Это рѣшительно повѣтріе! — воскликнулъ Синицкій невѣрнымъ голосомъ человѣка, который еще не находитъ никакого тона для такихъ сюрпризовъ.

Она спокойно встрѣтилась съ его глазами:

— Судите сами, до какой степени мы чужіе.—Но въ немъ росло волненіе, еще плохо сознанное, но забиравшее съ странной силой. Онъ спрашивалъ:—Почему же, почему чужіе? Зачѣмъ понадобилась тайна, скрывать такой невинный интересъ?..

— Прежде всего, потому, что я не знала, найдете ли вы его такимъ невиннымъ, какъ въ эту минуту. Это могло вамъ не понравиться, то-есть, навѣрное, вамъ не понравилось бы... Изъ эгоизма или изъ пустого каприза вы помѣшали бы моему плану. Et voici ma position sociale, messieurs! Буду очень благодарна, если при случаѣ вы доставите мнѣ работу. Не бойтесь, мои стенографическіе отчеты не посрамятъ вашей рекомендаціи! Милости просимъ со временемъ и въ гости въ мою невзрачную конурку, коли не боитесь скуки. И вы, Си-

ницкій, если вы способны отрѣшиться отъ рутины, отъ rancune'a, себялюбія и прочихъ вздоровъ.

Она сдѣлала рукою красивый широкій жестъ, какъ будто приглашала цѣлое общество. Въ лицѣ проступила нѣжная краска, глаза вопросительно остановились на мрачномъ лицѣ Синицкаго.

— Marie... Marie... это, право, точно во снѣ, — пролепеталъ онъ, внезапно ослабѣвъ подъ растущимъ, точно угрожающимъ волненіемъ.

„...Чортъ возьми, потанцуете вы еще и по-новому вокругъ сей любопытной особы, Викторъ Ивановичъ. Видно, суженаго конемъ не объѣдешь", думалъ Бѣжаевъ, не зная хорошенько, восхищенъ онъ или разочарованъ.

Marie весело оглянулась на него.

— Теперь я и на букеты не стану больше обижаться, если у васъ не пройдетъ охота подносить букеты ничтожной стенографисткѣ... ха, ха!.. Буду просто любить цвѣты...

Она подвинула къ себѣ букетъ, бережно вынула изъ него двѣ розы и стала прикалывать ихъ къ сѣренькой жакеткѣ. Синицкій смотрѣлъ.

...Неужели это та самая женщина, которая такъ безмятежно и изящно освѣщала своей красотой роскошный уголокъ, куда онъ забѣгалъ передохнуть отъ дѣловой поденщины?.. Но вѣдь теперь она еще неизмѣримо красивѣе и интереснѣе! Эта—чужая . . . . . .

. . . . . .

Марья Аркадьевна никому не позволила провожать себя.

— Дальніе проводы — лишнія слезы,—сказала она Синицкому дружески пожимая руку.

...Слѣпой не видѣлъ, какъ онъ ходилъ и топталъ живые цвѣты... За что винить слѣпого?

Открыть глаза, просвѣщать она сама не захотѣла... А теперь хотѣлось *раздѣлать* все это легко и бережно, чтобы ничто не тянуло мысль назадъ, къ провѣркамъ и счетамъ . . . . . .

. . . . . .

Проходя сыроватою дорожкой черезъ маленькій скверъ у чугунной рѣшетки, Марья Аркадьевна похвалила себя за то, что разорвала начатое письмо. Живое объясненіе вышло теплѣе, несмотря на грубыя вспышки. И окончательнѣе: теперь они тамъ, въ бесѣдкѣ, поймутъ, что къ старому возврата быть не можетъ, а вѣдь ей отъ нихъ ничего больше и не надобно.

Сознаніе, что на жизненную борьбу она выходитъ одна, какъ перстъ, успокоивало ее. Нужно быть одной, чтобы смыть съ себя всю грязь пройденной школы. Нужно время...

...Только не нацѣплять на себя никакихъ веригъ, не тратить силъ на бичеванія и сокрушенія, не плакать о прошлогоднемъ снѣгѣ. Каждый новый день — прообразъ человѣческой жизни; въ каждомъ но-

вомъ днѣ можно порвать навсегда со старымъ зломъ и возродиться для новой правды. Въ это вложить всѣ силы, чтобы успѣть, чтобы вѣрить!..

Солнце закатывалось. Красивая дама въ щегольскомъ свѣтломъ костюмѣ подъ бѣлымъ зонтикомъ быстро шла по дрянному узенькому тротуару набережной и возбуждала досадное недоумѣніе въ нѣсколькихъ лихачахъ, напрасно предлагавшихъ ей свои услуги. Въ воздухѣ разлита возбуждающая ласка первыхъ лѣтнихъ дней и томящая грусть, примѣшивающаяся къ ласкѣ для всякаго, чье сердце пусто и холодно въ распахнувшихся объятіяхъ вѣчной жизни...

Но молодая дама съ блѣдными розами на груди не ощущала этой грусти. Она вся вибрировала радостнымъ напряженіемъ силъ, тѣмъ повелительнымъ призывомъ къ энергіи, какой шлетъ человѣку неизвѣстность. И еще она чувствовала себя точно отдѣленной отъ всѣхъ людей какой-то надежной преградой. Измѣнилась навсегда, ей казалось, точка соприкосновенія ея съ людьми: до чужой души ей нѣтъ больше дѣла, какъ и ея душа замкнулась навсегда. Теперь людей заслонялъ механизмъ жизни своимъ безпощаднымъ угрожающимъ могуществомъ. Уцѣпиться собственноі рукой за что-нибудь, найти крохотную точку, на которую ступить твердой ногой,—о, какой мудреной, большой и доблестной представлялась эта задача вчерашней обладательницѣ уютнаго и роскошнаго „гнѣздышка“ на Моховой!

И люди, о которыхъ она думала въ связи со своей заботой, были какъ будто существа другой породы: извѣстная пожилая стенографистка, простая, и добрая; два-три юриста, съ которыми она успѣла познакомить ее.

Въ душѣ—смѣсь ученическаго смиренія и болѣзненной оглядки на себя, какъ бы не *перебрать* больше, чѣмъ необходимо, какъ бы незамѣтно для себя не поступиться своею нравственною независимостью. О, о!.. цѣлый міръ новыхъ отношеній, чувствъ и интересовъ! . . . .

. . . . . .

И нѣтъ слова, которое бы прекрасная madame Marie произносила въ эти минуты съ большимъ презрѣніемъ, чѣмъ завѣтное слово *любовь*.

Ольга Шапиръ.

ЕКАТЕРИНА СЕРГѢЕВНА ЗАРУДНАЯ-КАВОСЪ.

Екатерина Сергѣевна Зарудная-Кавосъ дѣтство провела въ Малороссіи, училась живописи въ Петербургской академіи художествъ 6 лѣтъ, 2 года—за границей. Въ настоящее время работаетъ самостоятельно у себя въ мастерской, больше портреты.

ОЛЬГА ПАВЛОВНА РУНОВА.

Ольга Павловна Рунова, урожденная Мещерская, родилась въ 1864 г. въ имѣніи своихъ родителей, въ Смоленской губерніи. Дѣтство провела въ родовомъ имѣніи матери въ Витебской губерніи. Въ 1879 году окончила съ золотою медалью витебскую женскую гимназію и въ томъ же году поступила на с.-петербургскіе педагогическіе курсы. Въ 1882 году вышла замужъ за студента-медика, М. И. Рунова. Первое ея произведеніе было помѣщено въ «Недѣлѣ» въ 1887 году. Печатала свои разсказы главнымъ образомъ въ «Недѣлѣ», а также принимала участіе въ «Саратовскомъ Листкѣ», «Новомъ Времени» и «Русской Мысли».

ПАСТОРАЛЬ.

(Моему товарищу.)

Часовая стрѣлка близилась къ тремъ. Въ лысогорской земской управѣ занятія подходили къ концу. Несмотря на то, что на дворѣ сіялъ май и окна управы были настежь отворены, въ такъ называемой „секретарской“ можно было прямо задохнуться душнымъ, спертымъ воздухомъ и подавляющимъ запахомъ дешеваго табаку. Широкая, низкая комната съ маленькими окошечками, когда-то выбѣленная, полъ, когда-то крашеный, а теперь съ протоптанными бѣлыми дорожками и начинающими щелиться досками, груды мусора по угламъ и за дверью и окурки на полу—таковъ былъ внѣшній непривлекательный видъ Лысогорскаго департамента. Нельзя сказать, чтобы и служащіе въ немъ особенно не соотвѣтствовали своей служебной обстановкѣ. Бухгалтеръ и его два писца, помощникъ секретаря и при немъ два писца (самъ секретарь занимался всегда въ „предсѣдательской“)—все это былъ народъ бравый, иногда читавшій даже газеты, но больше любившій проходиться насчетъ „казенной“. Любимыми развлеченіями ихъ были: лѣтомъ,—поѣздка за рѣку, гдѣ они ловили рыбу, уничтожали водку четверть за четвертью и составляли дикіе хоры, а зимой — послѣобѣденное просиживаніе въ гостиницѣ „Столичный Ароматъ“, изрѣдка кончавшееся полицейскими протоколами. Для управы у нихъ были особые „костюмчики“, выгодно щеголявшіе лоскомъ и отсутствіемъ пуговицъ.

Рѣзкую противоположность со своими сослуживцами представлялъ только помощникъ бухгалтера, Сергѣй Фроловичъ Шибаевъ, молодой человѣкъ, поступившій въ лысогорскую земскую управу не болѣе полугода тому назадъ. Всегда чистенькій, съ красиво взбитымъ хохломъ, съ тихимъ голосомъ, изящными манерами, вѣжливою рѣчью, Шибаевъ былъ ходячимъ контрастомъ всѣмъ занимающимся въ секретарской, а потому вызывалъ всегда неодобреніе своихъ товарищей, а въ послѣднее время—самыя язвительныя насмѣшки вслухъ.

И въ описываемый нами день бухгалтеръ Подтяжкинъ, жирный мужчина съ заплывшими глазками, авторъ многихъ анонимныхъ писемъ и прихлебатель въ богатыхъ купеческихъ домахъ, мелькомъ взглянулъ на часы, потянулся и глазами далъ знать помощнику секретаря, что пора начинать.

— А что, Сергѣй Фроловичъ, хорошее времячко весна?—обратился тотъ къ Шибаеву, заклеивая конвертъ и растягивая губы въ язвительную улыбку.

— Когда не хорошее! Всякая скотинка весну чувствуетъ,—издавъ подобный ржанію протяжный звукъ, подхватилъ старшій писарь, огромный, черный дѣтина съ бѣльмомъ на глазу.

— А знаете, я что видѣлъ?—хитро подмигивая, перебилъ бухгалтеръ.—Иду я намедни по набережной, мимо амбаровъ... и вдругъ вижу, нашъ Сергѣй Фроловичъ по тропочкѣ, по грязи пробирается и съ нимъ рядомъ какая-то особа... Вотъ ужъ, право, не узналъ, кто. Вы съ кѣмъ это были, Сергѣй Фроловичъ?

— Я около амбаровъ никогда и не былъ.

— Ой ли? Будто бы? Ну, ошибся. Стало быть, ошибся. Ошибка въ фальшь не ставится. А только показалось мнѣ, что это вы, а дама-то будто госпожа Лучезарова-Прохорова.

— Да-съ. Это точно что, можно сказать, госпожа!

Шибаева всего передернуло, но онъ закусилъ нижнюю губу и сдержался. Горькій опытъ давно убѣдилъ его, что единственный лучшій образъ дѣйствія въ его положеніи—молчаніе.

Разговоръ пестрѣлъ и сверкалъ.

— А вы слыхали, вѣдь казначея-то переводятъ?

— Хватился! Онъ нынче съ поѣздомъ ѣдетъ въ Пропадинскъ квартиру снимать.

— Э-эхъ! Улетитъ наша знаменитая артистка, Лучезарова. На кого-то она тамъ лучезарно взглянетъ!

— Ну, ужъ тамъ-то — не знаю, а здѣсь безъ нея многіе померкнутъ.

— А не оставляетъ она театральныхъ ужимокъ: примазывается.

— Да какъ не примазываться? Вѣдь ей ужъ годковъ сорокъ будетъ.

— Полно вамъ зря-то. И всѣ сорокъ пять будутъ, какъ не съ хвостикомъ.

— Дочка старшая давно о женихѣ тоскуетъ.

— И мамаша-то мечтовъ не оставляетъ.

Наконецъ пробило три часа. Предсѣдатель и члены управы вышли, громко разговаривая, изъ „присутствія“. Шибаевъ торопливо прибралъ свои бумаги, щелкнулъ ключомъ ящика и, сдѣлавъ общій поклонъ, поспѣшно удалился.

— Не любишь, небось?—протянулъ вслѣдъ ему съ особой клоун-

ской ужимкою бухгалтеръ. Окружающіе расхохотались звонко, раскатисто и съ видимымъ удовольствіемъ.

Марью Петровну Лучезарову-Прохорову не любили въ Лысогорскѣ. Почтенныя дамы и образцовыя матери семействъ не любили ея за то, что она была когда-то актрисой и не одѣвалась подобно лысогорскимъ матронамъ въ исключительно темныя и самымъ безвкуснымъ образомъ скроенныя платья; купечество совсѣмъ ея не признавало; молодыя барышни терпѣть ее не могли за то, что она забивала ихъ на любительскихъ спектакляхъ и молодилась; прочіе—за то, что она очень много о себѣ „воображала". И правда: Марья Петровна много о себѣ воображала. Когда-то она играла на провинціальныхъ сценахъ вторыя роли и, не надѣясь добиться въ своей сценической карьерѣ большаго, оставшись какъ-то безъ ангажемента, вышла замужъ за бѣднаго чиновничка, добившагося кое-какъ черезъ пятнадцать лѣтъ супружества мѣста уѣзднаго казначея. Для бывшей артистки началась жизнь, полная лишеній, тревогъ, болѣзней, рожденія дѣтей, переѣздовъ, оскорбленнаго самолюбія, возни съ прислугой и такъ далѣе. Солнце жизни для Марьи Петровны закатилось. Она даже и не считала, что живетъ, и отдыхала душой только, разсказывая о своихъ бывшихъ сценическихъ успѣхахъ и побѣдахъ. Полегоньку привирая, она создала въ нѣсколько лѣтъ цѣлую поэтическую легенду о томъ, какъ она попала на сцену, какъ играла на ней первыя роли во всѣхъ большихъ городахъ Россіи, какіе подносились ей подарки, какъ готовился ей ангажементъ въ столичные театры, какъ она играла со всѣми знаменитыми актерами, пріѣзжавшими на гастроли, и вдругъ (здѣсь она обыкновенно умолкала, наклоняла голову и подавляла глубокій вздохъ) знаменитая провинціальная артистка, наша „восходящая звѣздочка" какъ окрестилъ ее самъ Горскій-Дальскій, увлеклась, вышла замужъ, и все, все было разбито, такъ какъ она всегда, несмотря на всѣ соблазны, ангажементы, блестящія предложенія, оставалась непоколебимо вѣрна своему долгу и Ивану Сидоровичу.

Иногда дамы благотворительницы приглашали Марью Петровну участвовать въ любительскихъ спектакляхъ, и тогда-то она торжествовала! „Мы, артисты... Савина играетъ эту роль такъ... Ермолова проводила эту сцену вотъ такъ... Когда я играла съ Писаревымъ... съ Ивановымъ-Козельскимъ..." такъ и сыпалось изъ ея устъ. На прочихъ любительницъ она смотрѣла свысока, свысока давая имъ изрѣдка указанія, чтобы онѣ не „сорвали" у нея сцену, и эти минуты платили ей и за нелюбовь общества и за скучную, вялую, сѣрую жизнь и за то, главнымъ образомъ, что, несмотря на всѣ ея разсказы о бывшихъ побѣдахъ, ни одинъ, положительно ни одинъ, мужчина съ тѣхъ поръ, какъ она вышла замужъ за Ивана Сидоровича, не дѣлалъ серьезной попытки совлечь ее съ пути добродѣтели.

На сценѣ Марья Петровна хохотала такъ громко, переливчато

и долго, какъ не сумѣла бы хохотать ни одна барышня или барыня; то кричала такъ, что стекла дрожали, то понижала голосъ до зловѣщаго щипящаго шопота, неистово перегибала свою мощную фигуру, въ патетическихъ мѣстахъ вдругъ встряхивала головой и распускала свои все еще густые и длинные волосы. Послѣдній маневръ продѣлывала она такъ неуклонно, что даже горничныя, сопровождавшія своихъ барынь въ клубъ и толпившіяся у входныхъ дверей, шопотомъ сообщали другъ другу: „Ну, Лучезаровская барыня космы растрепала... сейчасъ что-нибудь жалостное будетъ".

Чтобы сохранить полную справедливость, слѣдуетъ добавить, что Марья Петровна часто хотѣла сойтись съ такъ называемымъ „лысогорскимъ обществомъ", при чемъ не щадила самой грубой лести, но... стремленія ея не увѣнчивались успѣхомъ.

И вдругъ около нея забрезжился все разгоравшійся свѣтъ. Жизнь стала такъ полна, тепла, нужна: Марья Петровна познакомилась съ Сергѣемъ Фроловичемъ. Молодой человѣкъ былъ невысокаго происхожденія, сынъ чиновника съ десятирублевой пенсіей, образованіе получилъ въ городскомъ училищѣ и одномъ классѣ учительской семинаріи, но у себя на родинѣ онъ вращался въ хорошемъ кружкѣ, состоявшемъ изъ земскихъ врачей, студентовъ, учителей, курсистокъ. Въ этомъ обществѣ онъ получилъ вкусъ къ отвлеченнымъ разговорамъ, къ книгѣ; театръ былъ его страстью. Лысогорская интеллигенція въ видѣ чиновниковъ стѣснялась принять въ свою среду какого-то мелкаго служащаго управы; сослуживцы и ихъ жены наводили на Сергѣя Фроловича ужасъ и трепетъ; онъ изнывалъ и томился. На одномъ спектаклѣ его познакомили съ Марьей Петровной. Онъ сказалъ ей нѣсколько прочувствованныхъ комплиментовъ по поводу ея игры, она благосклонно ихъ выслушала, посмотрѣла на красивые каріе, близорукіе глаза юноши... и съ тѣхъ поръ ихъ стали видѣть вмѣстѣ. Сергѣй Фроловичъ началъ участвовать въ любительскихъ спектакляхъ. Онъ переживалъ цѣлую жизнь играя; его слабый голосокъ дрожалъ; на глазахъ выступали искреннія слезы... Публикѣ онъ, однако не нравился, и она окрестила его „комарикомъ". Одна Марья Петровна преклонялась передъ его талантомъ и говорила ему туманящіе голову комплименты, рисовала чудныя перспективы. Юноша вѣрилъ ей, какъ безусловно вѣрилъ и въ ея рѣдкій, выдающійся талантъ. Говоря, гуляя съ ней, онъ высказывалъ свои самыя задушевныя мысли и чувствовалъ себя безконечно выше лысогорской толпы, а Марьѣ Петровнѣ казалось, что наконецъ-то ее начинаютъ понимать какъ слѣдуетъ.

Было пять часовъ вечера. Марья Петровна въ кружевной накидкѣ и новой модной шляпѣ торопливо шла по направленію къ Проваленной улицѣ, названной такъ потому, что каждый годъ на ней тонула въ грязи или корова или лошадь. Изъ лысогорскаго beaumond'a рѣдко

кто заходилъ на эту улицу, и ее-то Марья Петровна назначила Сергѣю Фроловичу для свиданія. Они не видѣлись уже три дня. Встрѣчающаяся имъ на ежедневныхъ прогулкахъ публика начала ужъ очень недвусмысленно на нихъ поглядывать; со всѣхъ сторонъ ихъ атаковали ужъ очень прозрачными намеками, и они рѣшились принести жертву общественному мнѣнію—не встрѣчаться въ теченіе трехъ дней.

Около шести часовъ какъ разъ высыпалъ гулять и весь лысогорскій свѣтъ. Публика наслаждалась свѣжимъ воздухомъ, толпясь на кирпичныхъ, а то просто немощеныхъ узкихъ тротуарахъ, безпрестанно сталкиваясь и окидывая другъ друга глубоко проникновенными взглядами. О, эти взгляды! Они имѣли способность разсмотрѣть въ одно мгновеніе все, рѣшительно все, начиная отъ выраженія лица и кончая пуговичкой на ботинкѣ. Особенно много толпилось на тротуарѣ барышень, находящихся въ періодѣ „ожиданія", хотя для нѣкоторыхъ это ожиданіе длилось уже добрый десятокъ лѣтъ. Взявшись подъ руки онѣ ходили по двѣ, по три, иногда даже по четыре, заливаясь невиннымъ смѣхомъ, долженствующимъ показать, что имъ очень весело и однѣмъ—безъ кавалеровъ...

Марья Петровна не шла. Ее несли, казалось ей, какія-то невидимыя силы. И вотъ она увидѣла идущаго ей навстрѣчу Сергѣя Фроловича и не могла удержаться отъ улыбки. Онъ былъ въ новомъ синемъ пальто и щегольской шляпѣ, такой свѣжій и хорошенькій. Они подали другъ другу руку и пошли вмѣстѣ молча, не находя о чемъ можно было бы заговорить сразу.

— Вы получили мое письмо?—спросилъ, наконецъ, Сергѣй Фроловичъ.

— А вы писали?—встрепенулась Марья Петровна.—Нѣтъ, не получила... надо будетъ зайти...

— Мнѣ такъ непріятно, что приходится вести переписку черезъ какую-то Пелагею Ефимовну... Да и вообще... Представьте себѣ, я покупаю на почтѣ трехкопеечныя марки, а знакомый телеграфистъ мой говоритъ: „ты что это, переписку, что ли, по городкой почтѣ завести хочешь, марки трехкопеечныя покупаешь?". — „Да, говорю, на всякій случай".—„Гляди, не очень расписывай, мы здѣсь распечатаемъ да прочитаемъ".

— Отчего же вамъ непріятна переписка? Пелагея Ефимовна такъ предана мнѣ...

Вдругъ голосъ Марьи Петровны осѣкся: снизу прямо навстрѣчу шелъ бухгалтеръ Подтяжкинъ, оскорбительно нахальный въ своемъ до неприличія узкомъ пальто и сдвинутомъ на затылокъ старомъ цилиндрѣ.

— Въ болотѣ, глядите, не утоните!—крикнулъ онъ, высоко приподнимая цилиндръ, отводя руку далеко въ сторону и отвѣшивая преувеличенно вѣжливый поклонъ.

Парочка прошла нѣсколько шаговъ совершенно подавленная.

— Да... такъ вы говорили о письмѣ...—начала Марья Петровна.—Утромъ я заходила—не было.

— Да не можетъ быть! Я послалъ его еще третьяго дня.

— Что-нибудь задержало. Я сейчасъ же зайду. Какъ вы прожили эти три дня?

— Ахъ, все такъ же! Развѣ вы не знаете?

— Что я знаю?

— Какъ живутъ у насъ, въ Лысогорскѣ.

Сзади послышались шаги нѣсколькихъ человѣкъ. Сонечка Верескледова, дочь инспектора народныхъ училищъ, хорошенькая, дерзкая барышня, съ размашистыми манерами, стремительно обогнала Марью Петровну, задѣвъ ее локтемъ по дорогѣ.

— Соня, Соня!—кричали сзади ея старшая сестра и двѣ подруги-барышни.—Куда ты бѣжишь? Куда ты насъ завела?

— Я васъ завела въ отличное мѣсто. Я всегда хожу сюда на свиданья.

— Фи, какой ты вздоръ болтаешь! Развѣ ты ходишь на свиданья?

— Конечно, хожу. Не стану же я дожидаться, пока мнѣ пятьдесятъ лѣтъ минетъ, и тогда начну на свиданья отправляться.

Компанія, шумя и смѣясь, пробѣжала мимо и скрылась въ какомъ-то переулкѣ.

На рѣсницахъ Марьи Петровны повисли слезы.

— Боже мой, какіе скверные, грязные люди!—проговорила она дрожащимъ голосомъ.—Нѣтъ! Ясно, что намъ нельзя больше гулять.

— Да! Придется, должно быть, уже не встрѣчаться.

— Нѣтъ, что вы! Приходите къ намъ сегодня черезъ часъ или полтора чай пить.

— А Иванъ Сидоровичъ? Онъ въ послѣднее время встрѣчаетъ меня такой хмурый.

— Не обращайте на него вниманія. Сдѣлайте это для меня.

— Я замѣтилъ, что Любовь Ивановна посматриваетъ на меня такъ недружелюбно...

— Ахъ, Боже мой. Она такъ не привыкла видѣть, что я съ кѣмъ-нибудь говорю, обращаю на кого-нибудь вниманіе въ этомъ ничтожномъ городишкѣ...

Марья Петровна остановилась и прочувствованнымъ, близкимъ къ трагическому, голосомъ сказала:

— Подумать только, какъ я прожила жизнь, на что я ее прожила!

Они повернулись и пошли опять вверхъ.

Имъ такъ много нужно было сказать другъ другу; времени, когда они съ Проваленной выйдутъ на самую бойкую, людную улицу, Дворянскую, оставалось такъ мало... Слова не шли съ ихъ языка. Они подвигались какъ во снѣ, и каждый мигъ приближалъ ихъ къ разлукѣ.

Не доходя нѣсколькихъ саженъ до Дворянской, Сергѣй Фроловичъ остановился:

— Оставить мнѣ здѣсь васъ?

— Нѣтъ, подождите. Пройдите еще нѣсколько шаговъ.

И нѣсколько шаговъ были пройдены. Сергѣй Фроловичъ молча стиснулъ руку Марьи Петровны и торопливо началъ удаляться.

— Сергѣй Фроловичъ!—услышалъ онъ.

Марья Петровна стояла съ испуганнымъ, встревоженнымъ лицомъ и говорила:

— А какъ же, если вы почему-либо не придете, тогда какъ же? Гдѣ мы увидимся?

— Тогда ужъ, право, не знаю, какъ. Встрѣтимся гдѣ-нибудь... Въ скверѣ, въ пять часовъ.

Марья Петровна опять протянула свою руку и Сергѣй Фроловичъ опять ее стиснулъ. Невдалекѣ, на Дворянской улицѣ, остановилась группа наблюдающихъ, но ни Марья Петровна, а тѣмъ болѣе близорукій Сергѣй Фроловичъ ничего не видѣли... Наконецъ, они разстались, и какъ только разстались, такъ Марья Петровна почувствовала себя свободной и гордой. Медленно и важно пошла она по тротуару Дворянской; встрѣчаясь съ знакомыми, прищуривала глаза и дѣлала королевскіе кивки головой. Выйдя на одну изъ боковыхъ улицъ, она прибавила шагу и снова ее начало угнетать ощущеніе неловкости и чувство какого-то смутнаго стыда. На этой улицѣ жила портниха, Пелагея Ефимовна. Марья Петровна уже была у нея въ этотъ день утромъ и теперь шла въ другой разъ. Гордость ея возмущалась. Она трепетала при мысли, что письмо Сергѣя Фроловича могло быть перехвачено и прочтено.

— Пелагея Ефимовна дома?—спросила она, войдя въ душную, маленькую переднюю нижняго, почти подвальнаго этажа.

— Нѣтъ, онѣ съ примѣркой ушли,—пропищала дѣвчонка,—сейчасъ придутъ.

— Я подожду, произнесла Марья Петровна и усѣлась въ такъ называемой „пріемной“, маленькой, полутемной комнатѣ съ пыльными геранькими на окнахъ, покрытымъ бѣлою вязаною скатертью комодомъ и разбитымъ трюмо въ углу.

Прошло десять минутъ, двадцать, полчаса, часъ... Наконецъ хлопнула дверь, и раздался рѣзкій голосъ Пелагеи Ефимовны, высокой, худощавой дѣвицы съ цыганскими глазами на выкатѣ и жесткими, черными кудрями, спущенными на лобъ.

— Марья Петровна!—крикнула она.—Вы, говорятъ, меня тутъ цѣлый часъ дожидаетесь. Вы что?

Марья Петровна подошла къ ней совсѣмъ близко и, краснѣя отъ мучительнаго стыда, шопотомъ проговорила:

— Письмо мнѣ есть?

— Письмо? Нѣтъ, письма нѣтъ,—отвѣтила Пелагея Ефимовна громко.—Я бы тутъ же отдала.

— Нѣтъ, я знаю, письмо должно быть,—повторила Марья Петровна тихо, но настойчиво.

— Какая вы, ей-Богу! Я вамъ говорю, что нѣтъ, а вы твердите все одно: есть.

Боже, какъ дерзка была эта швейка, еще недавно не знавшая, какъ угодить, чѣмъ польстить казначейшѣ. Съ какимъ наслажденіемъ Марья Петровна уничтожила бы ее въ прахъ, стерла бы въ порошокъ, раздавила однимъ презрительнымъ словомъ, но вмѣсто всего этого она закусила губы и только промолвила потихоньку:

— Посмотрите, голубушка, Пелагея Ефимовна, не принесли ли безъ васъ.

— Ну вотъ развѣ что безъ меня принесли, это можетъ быть!— отвѣчала портниха, смягчившись, куда-то исчезла и черезъ минуту вышла держа въ рукахъ изрядно смятый конвертъ.

— Такъ и есть. На комодъ положили и не говорятъ. А я-то и не знала.

Марья Петровна взяла конвертъ въ руки и посмотрѣла инстинктивно на склейку.

— Вы что глядите? Думаете, я прочитала?—заносчиво смѣясь, сказала Пелагея Ефимовна, тараща на Марью Петровну свои цыганскіе съ огромными бѣлками глаза.

Но та сдержалась еще разъ и тихо, раздѣльно, со всѣмъ присущимъ ей достоинствомъ, отвѣтила не торопясь:

— Во-первыхъ, я не думаю, чтобы вы прочитали это письмо, а во-вторыхъ, если бы даже вы его и прочитали,—то не нашли бы въ немъ ничего особеннаго.

Пытка кончилась. Глубоко засунувъ письмо въ карманъ, Марья Петровна переломила себя до того, что поцѣловала рябую, неопрятную щеку Пелагеи Ефимовны и быстрымъ, спѣшнымъ шагомъ отправилась домой. Она опоздала къ чаю—и не шла, а летѣла. Для того, чтобы выгадать хоть полминуты времени и не производить своимъ прибытіемъ шума, Марья Петровна прошла черезъ кухню.

— Помилуй, матушка, гдѣ ты шляешься?—встрѣтилъ Марью Петровну мужъ, толстый, курносый мужчина съ выпуклыми глазами и колючей, сѣдой бородой. — Знаешь, я въ девять часовъ уѣзжаю. Ничего еще не собрано. Я и чаю не напился. Хлопочешь, маешься цѣлый день какъ собака, чаемъ во-время напоить не могутъ.

— Ключи я Любочкѣ оставила,—возразила Марья Петровна, и даже ненаблюдательный казначей съ удивленіемъ замѣтилъ, какой маленькой и приниженной казалась она, всегда такая грозная и боевая.—А уложу я сейчасъ все въ одну минуту.

Покорность жены не обезоружила, а раздражила Ивана Сидоровича.

— Ну, скажи на милость, гдѣ ты шлялась? Куда шлялась? Подумай, матушка, хоть сколько-нибудь о дѣтяхъ. Я думаю, Люба экзамены держитъ.

— Я ходила къ Пелагеѣ Ефимовнѣ примѣрять кофточку, потомъ гуляла...

— Каждый день къ портнихѣ шляется. Охъ, подозрительно мнѣ это. Чортъ ее знаетъ, какіе она тамъ наряды шьетъ! Гуляла? Скоро сорокъ лѣтъ бабѣ: гулянья-то пора бросить.

— Я думаю, свѣжій воздухъ для всѣхъ одинаково необходимъ.

— А ты на нефтяной баржѣ живешь, что ли, или на кожевенныхъ заводахъ?

Марья Петровна ничего не отвѣтила и, торопливо проглотивъ чашку чая, отправилась укладывать мужу чемоданъ и подушку. Не прочитанное письмо жгло ее ожиданіемъ и надеждой. Нѣсколько разъ она слегка потрогала его рукой. Но прочитать гдѣ-либо это письмо не представлялось возможности. Въ столовой пили чай, въ кабинетѣ мужа сидѣлъ сынъ реалистъ; въ спальню сейчасъ принесетъ чемоданъ горничная Ѳеся и каждую минуту можетъ войти Иванъ Сидоровичъ; въ дѣтской—двое маленькихъ дѣтишекъ въ возрастѣ отъ пяти до семи лѣтъ... Марья Петровна поколебалась секунду и пошла въ одинъ изъ самыхъ отдаленныхъ чулановъ своего дома. Тамъ при падающемъ изъ маленькаго окошечка свѣтѣ умирающаго дня она торопливо распечалала и прочитала коротенькое письмецо разъ, два и три, ища и не находя, чего бы ей хотѣлось. Всякій разъ Марья Петровна, получая письмо Сергѣя Фроловича, испытывала одни и тѣ же чувства огромной надежды, бурнаго, страстнаго нетерпѣнія и тихаго, но тѣмъ не менѣе горькаго разочарованія. Она сама не знала, чего именно хотѣла отъ этихъ маленькихъ записочекъ, писанныхъ большею частью только по ея настоянію, но хотѣла чего-то, и онѣ не давали ей желаемаго. Уничтоживъ конвертъ, Марья Петровна тщательно спрятала письмо на груди подъ лифомъ и вернулась въ спальню. Ѳеся уже была тамъ и, раскрывъ чемоданъ на двѣ половины, покрывала одну изъ нихъ чистой, старенькой простынкой. Румяное, одутловатое лицо горничной и ея косые, сѣрые глазки имѣли самый плутоватый видъ. По временамъ она взглядывала на барыню, и тогда губы ея такъ и раздвигались многозначительной, неудержимой улыбкой. Она видимо желала обратить на себя вниманіе.

Наконецъ Марья Петровна не выдержала этихъ маневровъ, замѣченныхъ ею съ перваго же взгляда, и сказала:

— Ну что? Что тамъ такое, Ѳеся?

Горничная прыснула въ рукавъ, но выдерживала свою линію и молчала.

— Что же такое? Чего ты смѣешься? Ну, что ты тамъ? Слышала что-нибудь особенное?—тревожась и теряя свою линію спрашивала барыня.

— Да такъ... пустое это... вамъ, можетъ быть, это не понравится, вы еще разсердитесь... барину скажете...

— Вотъ вздоръ какой! Отчего я буду сердиться? Мнѣ просто интересно узнать, что говорятъ.

— Нѣтъ, барыня... Это такъ, пустое... Я водила Мишеньку стричься въ парикмахерскую... тамъ мальчишки говорили... Чего же? пустяки!

— Скажи все-таки что такое?

— Да будто бы вы шли съ Сергѣемъ Фроловичемъ по Дворянской и говорите: „Сергѣй Фроловичъ, обязательно вы съ себя карточку мнѣ дайте". А онъ будто отвѣчаетъ: „нѣтъ, это все напрасно, не дамъ". А вы говорите: „я черезъ это могу помереть и даже лишиться своей жисти..."—„Что жъ, говоритъ, лишайтесь. Народу по Рассеѣ много".

— Вотъ чушь-то!—густо покраснѣвъ, процѣдила Марья Петровна сквозь зубы.

Дѣйствительно, идя разъ съ Сергѣемъ Фроловичемъ по Дворянской улицѣ, она вела съ нимъ разговоръ о фотографическихъ карточкахъ. Милый, живой, шутливый разговоръ, полный легкой пикировки и остроумныхъ намековъ... и во что онъ обратился, Боже мой!

— А еще говорятъ...—Ѳеся сдѣлала видъ, что помираетъ со смѣху.— Подмастерье Гришанька это говорилъ, будто вы... будто вы Сергѣю Фроловичу бѣлье дѣлаете. Я говорю: „онъ жалованье получаетъ". „Велико ли жалованье! А ужъ намъ извѣстно, что они ему все бѣлье заказали и даже кому заказали. Они, говорятъ, вечеромъ во вторникъ около амбаровъ гуляли... цѣлуются... Вотъ, говоритъ, ваша барыня какого молоденькаго выбрала... она ему мама..."

Марья Петровна сидѣла совершенно подавленная. И зачѣмъ она заставила говорить эту мерзкую дѣвку? Только въ мечтахъ, въ тайныхъ ночныхъ мечтахъ она видѣла, какъ когда-нибудь къ ея лицу прижмутся полныя, свѣжія, юношескія губы, какъ гибкая рука обовьетъ ея талію и милый голосъ скажетъ: „Марья Петровна, я люблю васъ, люблю давно, съ перваго взгляда". И вдругъ ея мечты, ея лучшія надежды оказываются достояніемъ толпы; о нихъ говорятъ въ кухняхъ, въ парикмахерскихъ, на базарѣ... Слезы готовы были хлынуть изъ глазъ Марьи Петровны. Едва-едва она удержалась и нашла въ себѣ силы выговорить съ достоинствомъ:

— Слава Богу, я вотъ уже пятнадцать лѣтъ замужемъ, и никто не смѣлъ о мнѣ дурного слова сказать. Дай Богъ, чтобы всѣ жены были таковы какъ я. Я и своимъ дочерямъ не желаю лучшаго. Конечно, тебѣ и не слѣдовало такія глупости мнѣ говорить... Я думала,—ты что нибудь интересное...

Въ прихожей раздался звонокъ. Ѳеся не дослушала барыню и стремглавъ бросилась отворять.

— Сергѣй Фроловичъ пришли,—доложила она самымъ скромно-униженнымъ голосомъ. Сѣрые глаза ея прыгали. Слѣдомъ за ней въ спальню вошелъ Иванъ Сидоровичъ.

— Опять этотъ молокососишка притащился! Чего ему надо?

— Ты забываешь, Иванъ Сидоровичъ, что здѣсь прислуга. Пришелъ посидѣть, поговорить, обыкновенно...

— Да съ кѣмъ это говорить? Я сейчасъ уѣзжаю. У Любы экзамены. Нечего шляться, людямъ мѣшать.

Марья Петровна молчала. Мужъ посмотрѣлъ на нее сверху внизъ и грубо произнесъ:

— Не нравятся мнѣ эти шашни. Ну, зачѣмъ онъ къ намъ шляется? Для того только, чтобы люди Богъ знаетъ что говорили?

— Отчего же это другимъ все, все можно? А мнѣ нельзя даже поговорить ни съ кѣмъ?

— Оттого, что нельзя. И терпи. Да и что за разговоры такіе? О чемъ? Есть дѣти, хозяйство, ну и говори съ дѣтьми. Устарѣла, матушка, для разговоровъ. Дочь вонъ большая. Надо думать, какъ ее замужъ выдавать.

— Что ты все: устарѣла, устарѣла. Не такъ я еще стара. У насъ на сценѣ сорока пяти лѣтъ молоденькихъ играютъ.

— Такъ то на сценѣ, а въ жизни какъ бабѣ сорокъ лѣтъ—шабашъ: остается за флагомъ.

— Да мнѣ и не сорокъ. Мнѣ всего тридцать семь.

— Ага, отбавлять начала! Тридцать восемь на-дняхъ, матушка.

— Чаю, сахару мнѣ положила?

— Нѣтъ...

— Я такъ и зналъ. Вотъ они, разговоры-то, что значатъ. Покорнѣйше прошу, чтобъ ничего подобнаго впередъ не повторялось. Для чего онъ пришелъ непремѣнно въ тотъ день, когда я уѣзжаю? Чтобы я его нынче въ послѣдній разъ видѣлъ, а не то я свои мѣры приму.

Ноздри Марьи Петровны раздулись, и она метнула на мужа молніеносный взглядъ. О, какой бой могла бы она ему задать! Въ столовой сидѣлъ Сергѣй Фроловичъ: нужно было сдерживаться.

— Теперь не мѣсто и не время объ этомъ говорить,—произнесла она едва внятно отъ душившаго ее волненія.

— И на всякомъ мѣстѣ и во всякое время я тебѣ скажу то же самое: съ жиру бѣсишься!

Марья Петровна ничего не отвѣтила, напудрила разгоряченное лицо, вытерла его мохнатымъ полотенцемъ и вышла въ столовую. За самоваромъ хозяйничала Люба, четырнадцатилѣтняя гимназистка, такая же курносая и некрасивая, какъ отецъ, и съ видимымъ негодованіемъ смотрѣла на Сергѣя Фроловича. Сергѣй Фроловичъ сидѣлъ блѣдный, насупленный, какъ приговоренный къ смерти. Внутренно онъ

проклиналъ себя за то, что согласился придти. Начался едва-едва поддерживаемый разговоръ. Марья Петровна старалась оживить общество сколько могла: ласково, даже чуть-чуть картавя, поговорила съ маленькими дѣтьми (о, съ какимъ удовольствіемъ она отшлепала бы ихъ!), дружески толкнула Любу отъ самовара, спросила ее, много ли она выучила билетовъ къ экзамену, и начала съ искусственнымъ оживленіемъ разсказывать какую-то исторію изъ своего артистическаго прошлаго. Въ самый разгаръ ея разсказа вышелъ Иванъ Сидоровичъ и закричалъ:

— Ѳеська! иди за извозчикомъ!

Начались проводы. Всѣ встали, потомъ пошли въ прихожую.

Сергѣй Фроловичъ не зналъ, остаться ли ему на мѣстѣ или уйти, и стоялъ, какъ оплеванный.

— До свиданья, молодой человѣкъ!—обратился къ нему казначей.—Вы еще посидите?—добавилъ онъ съ особеннымъ удареніемъ.

— Да, еще посижу,—отвѣтилъ Сергѣй Фроловичъ спокойно, но весь красный.

Наконецъ-то все кончилось. Иванъ Сидоровичъ уѣхалъ, дѣти, напившись чаю, ушли, а Марья Петровна, все еще не успокоившаяся, хотя почти уже счастливая, повела Сергѣя Фроловича въ гостиную, крошечную комнатку съ огромнымъ пыльнымъ лавровымъ вѣнкомъ и двумя старыми вѣерами на стѣнахъ.

Они сѣли на мягкій, низкій диванчикъ и посмотрѣли другъ на друга взглядомъ людей, только что пережившихъ возмутительное и тяжелое событіе.

— Меня часто мучаетъ совѣсть, Сергѣй Фроловичъ,— начала Марья Петровна, мягко и нѣжно,—когда я подумаю, за что и зачѣмъ я подвергаю васъ различнымъ непріятностямъ.

— Да, — отвѣтилъ Сергѣй Фроловичъ, сразу подкупленный и мыслью Марьи Петровны и мягкостью ея тона,—мнѣ очень непріятны всѣ эти сцены, намеки...—онъ запнулся,—все то, что происходитъ, но я не могу отказать себѣ въ удовольствіи видѣть васъ. Кромѣ того, что не видѣть васъ будетъ для меня лишеніемъ, я какъ бы признаю, если перестану встрѣчаться съ вами, основательность всѣхъ этихъ мерзкихъ слуховъ, которые про насъ распускаютъ.

— Люди не могутъ понять ничего, что выходитъ изъ рамки обычной пошлости. И воображенія у нихъ очень, очень мало. Все одно и то же.

— Мнѣ крайне непріятно только отношеніе ко мнѣ Ивана Сидоровича. Кажется, я ничего дурного ему не сдѣлалъ и не собираюсь дѣлать...

— О, не обращайте вниманія. Станьте выше. Онъ въ сущности не злой человѣкъ, но подумайте, что онъ видѣлъ, какое получилъ образованіе!

Дверь, которую Марья Петровна, входя, какъ бы нечаянно затворила, скрипнула, и на порогѣ показалась Люба съ возбужденнымъ лицомъ и какою-то книжкой въ рукѣ.

— Мама! ты не можешь объяснить мнѣ эту теорему?

Марья Петровна взяла книгу, посмотрѣла, передвинула губами и, качнувъ головой, возвратила дочери учебникъ.

— Нѣтъ, Любочка, не могу... забыла.

— Но вѣдь ты же училась въ гимназіи, ты мнѣ разсказывала, будто бы ты вышла изъ послѣдняго класса.

— Изъ послѣдняго это такъ. Но я забыла.

— Мнѣ кажется, я бы никогда не могла забыть то, что разъ поняла.

— Ты, кажется, хочешь мнѣ дерзость сказать?

— Нисколько не дерзость; я только выражаю свое мнѣніе. Кто же мнѣ теперь объяснитъ?

— Ахъ, мой другъ, я, право, не знаю, — нетерпѣливо отвѣтила Марья Петрова. — Тебѣ слѣдовало бы обратиться къ какой-нибудь подругѣ.

Люба съ нескрываемою ненавистью взглянула на Сергѣя Фроловича.

— А потомъ будутъ спрашивать, отчего пятерки на экзаменѣ не получила!—фыркнула она громко, удаляясь съ видомъ оскорбленной королевы.

Нѣсколько минутъ длилось молчаніе.

— Какъ Любовь Ивановна не похожа на васъ,—промолвилъ, наконецъ, Сергѣй Фроловичъ.

— Да. Никто изъ дѣтей не похожъ на меня... Что же! Можетъ быть, это къ лучшему. Проживутъ себѣ мирно и спокойно всю жизнь. Не будутъ многаго требовать отъ жизни.

— Мама!—раздался за дверью раздраженный голосъ Мити, двѣнадцатилѣтняго реалиста,—можно мнѣ войти?

— Ахъ ты, Господи! Это что еще за вопросъ! Войди, конечно!

— Мама! уйми ты Лизку съ Мишкой. Они подняли тамъ такую возню, что никакой нѣтъ возможности заниматься.

— Какъ? Развѣ они не легли?

— Да нѣтъ же! И не думали.

— Такъ скажи Ѳесѣ, чтобы уложила ихъ спать!

— Очень они ея слушаются! Ты бы сама пошла, мама!

— Ахъ, оставь, пожалуйста!

— Мама, вѣдь у меня экзамены. Это Богъ знаетъ, что такое! Я провалюсь!

— Тебѣ говорятъ: иди и скажи Ѳесѣ, чтобы она ихъ уложила. Какъ это они смѣютъ не слушаться! Скажи...

Митя уже не слушалъ, что говорила мать, и выбѣжалъ изъ гостиной, выразительно хлопнувъ дверью.

Сергѣй Фроловичъ, смущенный, разстроенный, сдѣлалъ движеніе, чтобы встать и уйти.

— Вы куда же это, Сергѣй Фроловичъ? Полноте... какой вы нервный. Какъ на васъ дѣйствуетъ каждый пустякъ. Лягутъ они себѣ тамъ, и все успокоится. Я хотѣла вамъ сказать... Знаете, я письмо получила отъ Брянцевой.

— Извѣстной актрисы?

— Да... извѣстной актрисы. Она играла водевильныхъ, когда я въ „Грозѣ“ дебютировала. Представьте себѣ... она мнѣ ангажементъ предлагаетъ... для своего знакомаго антрепренера. На бытовыя и характерныя роли.

— Что же вы?

— Что же я? Ахъ, Сергѣй Фроловичъ, что за вопросъ! Вы видѣли, что сейчасъ происходило? Вотъ моя сцена... А теперь еще переводятъ въ этотъ Пропадинскъ!

— Да, это ужасно.

— Для меня это дѣйствительно ужасно.

— И не для одной васъ, Марья Петровна... для меня вашъ отъѣздъ большое го... большая потеря. Ахъ, вы не понимаете, какъ тяжело быть непонятымъ, всегда одному, одному...

— О, не безпокойтесь! Это-то я хорошо понимаю.

— Даже мои старики за послѣднее время испортились... что-то такое воображаютъ... дѣлаютъ мнѣ какіе-то намеки. Идя къ вамъ, я чуть-чуть было не поссорился съ отцомъ. Скажи, да скажи, куда я иду. Я отвѣчаю, что я—не маленькій... Право, мнѣ стыдно объ этомъ говорить. Вотъ поэтому-то, Марья Петровна, я и дорожилъ всегда вашимъ знакомствомъ, что вы представляете изъ себя что-то другое, что-то непохожее на лысогорскихъ обитателей и обитательницъ. Вы вѣрите въ человѣка и въ то, что онъ живъ не объ единомъ хлѣбѣ. Во всякомъ, даже самомъ маленькомъ человѣкѣ вы признаете его человѣческое достоинство.

Марья Петровна съ восхищеніемъ слушала то, что говорилъ Сергѣй Фроловичъ. Конечно, когда она была съ нимъ, она становилась совсѣмъ особенной, непохожей на тѣхъ барынь-кухарокъ, барынь-торговокъ, которыми былъ полонъ Лысогорскъ. Сама не постигая какъ, но она твердо знала, что именно нужно говорить, какъ именно нужно держать себя, чтобы нравиться Сергѣю Фроловичу, и при немъ она становилась кроткой, нѣжной, чуткой, отзывчивой...

Вдругъ она подняла голову, сдѣлала Сергѣю Фроловичу знакъ молчать, въ два шага очутилась около двери, сразу растворила ее и лицомъ къ лицу столкнулась съ Ѳесей, едва успѣвшей вскочить и выпрямиться.

— Ты что тутъ дѣлаешь?

— Ужинать хотѣла накрывать...

— Только еще хотѣла? Отчего же не накрываешь? Да здѣсь и темно... Зачѣмъ тутъ лампу загасили?

— Вѣтеръ какъ-нибудь задулъ...

— А на полу ты что дѣлала?

— Да я, барыня, шпильку уронила. Какъ хотите... вотъ ей-Богу!

Марья Петровна посмотрѣла на дверь и на ея темнѣющей поверхности, недалеко отъ замочной скважины замѣтила какую-то свѣтящуюся точку. Она наклонилась, чтобы разсмотрѣть, что это такое. Сомнѣнія не оставалось. Въ двери пробуравлена была довольно большая, круглая дырочка.

Она ничего не сказала Ѳесѣ и вернулась въ гостиную такая разстроенная, что Сергѣй Фроловичъ съ испугомъ вскрикнулъ:

— Что съ вами такое?

— Ничего... такъ,—начала она и докончила съ внезапною рѣшимостью:—Насъ подслушиваютъ, за нами подсматриваютъ!..

Сергѣй Фроловичъ покраснѣлъ какъ вареный ракъ и на нѣсколько минутъ лишился употребленія языка.

Теперь дверь столовой была открыта настежь. Ѳеся зажгла лампу и, бѣгая взадъ и впередъ такъ быстро, что ея юбки раздувались отъ вѣтра, гремѣла посудой и звенѣла ножами.

— Такъ мы и не увидимся на свободѣ до моего отъѣзда въ Пропадинскъ, такъ и не поговоримъ какъ слѣдуетъ?— промолвила, наконецъ Марья Петровна.

— Да. Должно быть, такъ. И я, знаете, откровенно говоря, такъ всѣмъ этимъ измученъ, что бываютъ минуты, когда я думаю, что намъ и не надо видѣться.

— Но я не хочу! Зачѣмъ? Съ какой стати? Что за униженіе... Вы сами говорили, что стыдно не говорить, не видѣться, какъ будто признавать за собой какую-то вину... Я выйду нынче вечеромъ послѣ ужина. Ждите меня около сада Флюкова. Пойдемте гулять куда-нибудь, далеко, далеко, въ поле...

— Марья Петровна, но удобно ли это будетъ? Стоитъ ли рисковать?

— Чѣмъ? Говорятъ о насъ и такъ достаточно. Меньше говорить не будутъ... Вы не хотите, Сергѣй Фроловичъ?

— Нѣтъ, что вы! Я бы съ удовольствіемъ, съ большимъ удовольствіемъ (глаза Марьи Петровны сверкнули недовольнымъ огнемъ: „только съ удовольствіемъ“, хотѣла она сказать, но во-время поняла, что лучше не говорить) ходилъ весь вечеръ и всю ночь хоть до утра. Не за себя же я бьюсь, Господи! Столько было разныхъ непріятностей...

Марья Петровна молчала.

— Такъ вы говорите, когда? Въ 12 часовъ, около сада Флюкова? Я буду васъ ожидать. А пока до свиданья.

Марья Петровна проводила Сергѣя Фроловича до дверей и какъ только щелкнулъ за нимъ ключъ замка, такъ она сейчасъ же превратилась въ ворчливую, злую казначейшу, отставную актрису, никогда не могущую забыть, что она могла пожинать лавры, но не пожала ихъ. Даже лицомъ она постарѣла и подурнѣла лѣтъ на восемь. Особенно озлобляло ее сознаніе, что теперь она не можетъ, не смѣетъ быть сама собой, не смѣетъ какъ слѣдуетъ, какъ бы ей этого хотѣлось, выбранить Любу и Митю и „задать жару“ прислугѣ. Она все-таки сдѣлала все это, но далеко не въ такомъ духѣ, какъ прежде, и ушла въ свою комнату. Тамъ она сѣла передъ зеркаломъ и задумалась надъ важнымъ вопросомъ, что ей надѣть на голову во время предстоящей прогулки: если новую шляпу—будетъ смѣшно; если старую—она такая растрепанная и повисшая—будетъ неизящно. А что если попробовать надѣть бѣлый платокъ? На завитыхъ волосахъ, при высокой прическѣ это будетъ очень изящно и красиво. При своихъ черныхъ глазахъ, большомъ, римскомъ носѣ и полныхъ губахъ Марья Петровна будетъ похожа на Юдиѳь... Она достала изъ комода бѣлый вязаный платокъ и начала его примѣривать и прилаживать передъ зеркаломъ.

— Ты куда собираешься, мама?

— Ахъ, Люба, что за скверная у тебя манера подкрадываться. Какая-то дурацкая манера.

— Я не виновата, что у меня башмаки безъ каблуковъ и не скрипятъ.

— И никуда я не собираюсь. Что за глупости!

— Зачѣмъ же ты платокъ на голову надѣла?

— Такъ, примѣривала. Я думаю ужинать сейчасъ нужно, а не собираться куда-нибудь...

— Ахъ, какая это у тебя хорошенькая шляпка,—перебила Люба завистливо, беря въ руки еще не убранную, новую шляпу матери.—Я къ тебѣ, мамочка, пришла попросить, чтобы ты мнѣ тоже новую купила: моя положительно никуда не годится.

— Ахъ послѣ, Люба, послѣ. Не мни, пожалуйста, шляпу.

— Когда же послѣ? Весна проходитъ.

— Ну, мы завтра объ этомъ поговоримъ, а теперь ступай, пожалуйста, вели скорѣе ужинать подавать.

Марья Петровна сняла платокъ съ головы, взглянула на свои маленькіе часики и почувствовала, какъ тревога, страхъ, ожиданіе охватили все ея существо. За ужиномъ она ничего не могла ѣсть. Руки у нея были холодны какъ ледъ; нижняя челюсть подергивалась мелкою, нервною дрожью. Какъ будто нарочно въ этотъ день никто не торопился ложиться спать. Люба опять сѣла за свои учебники; Наталья съ ожесточеніемъ гремѣла въ кухнѣ посудой. Марья Петровна неподвижно сидѣла въ своей комнатѣ на креслѣ: ей казалось, что

убѣгающее время отдается у нея въ ушахъ протяжнымъ, однообразнымъ звономъ. Пробило половину двѣнадцатаго. Тревога Марьи Петровны все росла. Въ домѣ стало затихать. Вотъ прошли еще четверть часа, еще пять минутъ... Марья Петровна встала, какъ будто повинуясь какой-то могучей, толкающей ее впередъ силѣ, и начала дрожащими руками надѣвать на голову платокъ. Въ темной прихожей она ощупью разыскала и надѣла на себя накидку и тихо-тихо, крадучись какъ преступница, пошла къ выходной двери. Вдругъ ее пронизала мысль: „а какъ же дверь останется не запертой? Весна... ходитъ такъ много пришлаго народу... ну, я не надолго, пройдусь одинъ разъ и вернусь". Ключъ повертывался въ замкѣ съ особенно сильнымъ, пѣвучимъ звукомъ. Марья Петровна вспомнила это обстоятельство и долго примѣривалась, какъ бы отворить дверь такъ, чтобы ключъ щелкнулъ не очень громко. Но только она его повернула, только раздался этотъ предательскій, въ ночной тишинѣ ужасный по своей силѣ звукъ, какъ сзади Марьи Петровны раздались шаги и изъ кухонной двери появилась съ лампой въ рукахъ Ѳеся, по наружному виду еще не собиравшаяся спать.

— Ахъ, это вы, барыня. А я думала, кто это тамъ ворочается. Испугалась... Вы куда это, барыня? Пройтись?

— Да, у меня голова что-то болитъ... Пройдусь немного,—избѣгая встрѣтиться съ горничной взглядомъ, пробормотала Марья Петровна невнятно.—Я сейчасъ же вернусь.

— Запереть за вами?

— Запри, конечно. Я только немного пройдусь и сейчасъ же вернусь. Огонь въ столовой не гаси. Калитку оставь, пожалуй, незапертой.—Мысленно Марья Петровна рѣшила, что необходимо подарить что-нибудь Ѳесѣ, и ужъ заранѣе вздохнула о своей сатиновой кофточкѣ, которой ей было жаль все-таки меньше остальныхъ.

Послѣ теплой, свѣтлой лѣстницы Марьѣ Петровнѣ показалось на дворѣ холодно, и когда за ней щелкнулъ со звономъ замокъ, то ей захотѣлось плакать, какъ будто она шла на дурное дѣло, на горе... Вотъ она взялась за щеколду калитки, вотъ вышла на улицу... Ея свѣтлая уютная спальня, дѣти, курносый и ворчливый казначей представились ей въ тысячу разъ лучше, чѣмъ они были на самомъ дѣлѣ. Тоска сжала ея сердце. И все-таки она пошла, пошла, повинуясь тому могучему чувству, которое вытолкнуло ее изъ дому. Дрожа отъ волненія и страха, Марья Петровна подвигалась какъ автоматъ, ничего не видя, не слыша, не понимая... На улицѣ не горѣло ни одного фонаря. Серебряный свѣтъ луны заливалъ все кругомъ, ласкалъ дома, улицы и зелень молодыхъ пирамидальныхъ тополей, убѣгалъ въ переулки и ярко-синими лучами ударялъ въ стекла оконъ; золотые кресты церквей купались въ прозрачно-голубомъ нѣжномъ сіяньи.

Вотъ въ полугорѣ и Флюковъ садъ, таинственно темнѣющій

своими наклоненными вѣтвями, перевѣсившимися черезъ заборъ. Марья Петровна дошла до середины и остановилась, прислушиваясь и ничего не слыша. Полная луна смотрѣла на нее съ нѣмымъ, глубокимъ укоромъ. Отъ забора отдѣлилась какая-то фигура и направилась прямо къ Марьѣ Петровнѣ. Фигура шла, какъ-то странно покачиваясь и усмѣхаясь, и нисколько не была похожа на Сергѣя Фроловича. Марья Петровна хотѣла бѣжать, но ноги ея, казалось, приросли къ землѣ.

— Кто это?..—прошептала она растерянно,—кто это?—и вдругъ, сдѣлавъ надъ собой величайшее усиліе, расхохоталась звонкимъ „артистическимъ“ смѣхомъ:

— Боже мой! Это вы, Сергѣй Фроловичъ! А я васъ и не узнала.

— Да, это я. Я здѣсь дожидаюсь больше получаса и уже успѣлъ озябнуть.

— Я тоже озябла,—произнесла Марья Петровна сквозь зубы, дрожа отъ пережитыхъ волненій и отъ холода.

— Куда же мы пойдемъ? Внизъ?

— Ахъ, что вы! Тамъ живетъ Татьяна Степановна. Вдругъ увидитъ насъ. Вѣдь это такая мѣстная газета и притомъ злая баба... завтра весь городъ не знаю что будетъ говорить.

— Ну, тогда что же? На Дворянскую?

— Еще лучше. Видите какъ свѣтло. Я думаю, тамъ гуляющихъ тьма.

— Тогда куда же?

Говоря такимъ образомъ они тихонько подвигались все впередъ.

— Такъ вѣдь вотъ улица... пойдемъ по ней.

— Куда же мы такъ выйдемъ? Къ острогу?

— Ну, не все ли равно? Ну, къ острогу...

Весь Лысогорскъ былъ погруженъ въ глубокій, мертвый сонъ. На улицахъ лежали только тѣни отъ палисадниковъ, да торопливо и хитро пробирались кое-гдѣ кошки. Караульщики выбивали гдѣ-то далеко частую, звонкую дробь. Никто не встрѣтился гуляющей парочкѣ, и она мало-по-малу успокоилась, увидѣла, какая торжественная, серебряная ночь лежитъ на землѣ, какой теплый, тихій, ласкающій вѣтеръ играетъ волосами и приноситъ откуда-то упоительный запахъ цвѣтущихъ яблонь.

Сергѣй Фроловичъ предложилъ Марьѣ Петровнѣ руку, и она оперлась на нее чуть-чуть крѣпче, чѣмъ это обыкновенно дѣлается, только чуть-чуть, но въ этомъ-то и была необыкновенная, проникающая душу прелесть. Они шли молча, изрѣдка обмѣниваясь отрывистыми, короткими замѣчаніями. Вотъ кончилась городская черта, пошли какіе-то амбары, кузницы, гумна; по одну сторону дороги потянулись сады, по другую—разстилалось купающееся въ лунныхъ лучахъ поле. Въ садахъ было еще тихо и безмолвно, сторожки стояли заколочен-

ныя, ворота были заперты наглухо. Яблони тихо дремали въ свѣтломъ пахучемъ уборѣ, гдѣ-то робко и пылко щелкали и страстно замирали соловьи.

— А все-таки, Сергѣй Фроловичъ, вы не хорошо ко мнѣ относитесь,—сказала Марья Петровна и высвободила свою руку изъ-подъ его локтя.

— Не хорошо?! Что такое случилось? Да вы возьмите мою руку, Марья Петровна.

— Нѣтъ, нѣтъ... какъ мнѣ непріятно это было, какъ больно...

— Да что такое? Скажите.

— Зачѣмъ? Все равно все останется попрежнему...

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, Марья Петровна, скажите. Вы меня мучите.

— Мучу? Ужъ не слишкомъ ли это громко сказано? Вообще мы неравно относимся другъ къ другу. Вотъ сейчасъ тамъ, у Флюкова сада, вы сказали мнѣ, что ждали меня полчаса и сказали это такимъ тономъ, такимъ сухимъ, непріятнымъ тономъ.

— Я, правда, страшно озябъ стоять на одномъ мѣстѣ и соскучился.

— А что я вынесла?! Эта противная Ѳеська мнѣ встрѣтилась... Вы видите,—вдругъ тревожно прервала она самое себя,—тамъ впереди трое какихъ-то людей?

Сергѣй Фроловичъ торопливо схватилъ пенснэ, накинулъ его на переносье и упавшимъ голосомъ сказалъ:

— Да, дѣйствительно трое... Но ничего; одинъ только идетъ къ намъ навстрѣчу, два другихъ отдѣлились, пошли налѣво...

Онъ еще не успѣлъ кончить своей фразы, какъ этотъ одинъ уже стоялъ передъ опѣшившей парочкой и, обдавая ее запахомъ водки, заговорилъ, нахально пододвинувшись къ самому плечу Сергѣя Фроловича.

— Баринъ, дайте папиросочку!

— Я не курю,—отвѣтилъ Сергѣй Фроловичъ, совсѣмъ оробѣвъ, но стараясь сохранить хладнокровіе.

— Что же, жаль, что ли?—продолжалъ незнакомецъ, дотрогиваясь грязной рукой до лацкана пальто молодого человѣка.

— Ахъ, говорятъ вамъ, что я не курю!..—голосъ Сергѣя Фроловича дрожалъ.

— А, не куришь!—Незнакомецъ разразился отборною, неприличнѣйшею бранью.

Марья Петровна поспѣшно отошла въ сторону и стала около забора. Одну секунду она еще надѣялась, что все кончится благополучно, но напрасно... Она увидѣла, какъ къ Сергѣю Фроловичу подскочили еще двое подозрительныхъ оборванцевъ, какъ они повалили его на землю; она слышала громкіе, частые удары. Ноги у нея подкосились, во рту стало горько. Сергѣй Фроловичъ не кричалъ, не звалъ на помощь, и это было еще хуже: она поняла, что кричать не нужно, что если кто-нибудь и прибѣжитъ на ея крикъ, то репутація ея все-таки будетъ погублена въ конецъ. Что дѣлать? Бѣжать? Ее сейчасъ же догонятъ... Перелѣзть въ садъ? Тамъ никого нѣтъ... Она услышала протяжный, жалобный стонъ и рванулась было впередъ, но тутъ же остановилась. Боже мой, какъ она была глупа! Ей съ самаго начала слѣдовало идти тихонько по направленію къ городу и, скрывшись изъ виду,—бѣжать. Она отошла отъ забора и тихонько, стараясь держаться въ тѣни, пошла по направленію къ городу. Сзади раздались тяжелые, торопливые шаги, и тотъ же самый человѣкъ, который пристадъ къ Сергѣю Фроловичу, заступилъ ей дорогу. Теперь она видѣла его хорошо: картузъ съ оборваннымъ козырькомъ свѣсился на одно ухо, наглые, свѣтлые глаза, щетинистые усы, разорванная, сѣрая поддевка и не застегнутая порванная красная рубашка.

— Барышня! Онъ зачѣмъ ругается, вашъ любитель, а?

— Я не знаю...— пролепетала она помертвѣвшими губами...

— Нѣтъ, знаете! Зачѣмъ онъ ругается... а?—Страшное пьяное лицо наклонялось къ лицу Марьи Петровны все ближе и ближе, обдавая ее волнами сивушнаго запаха, грубая рука схватила ее за накидку на груди.

— Оставьте меня, оставьте!—крикнула она отчаяннымъ, трагическимъ голосомъ. Никогда ни въ какой своей роли, даже въ той, за которую ей поднесли лавровый вѣнокъ, она такъ не кричала. Оттолкнувъ, что было силы, бродягу, она кинулась бѣжать, но что-то обожгло ее между лопатокъ; другой сильнѣйшій ударъ по шеѣ бросилъ ее на

землю. Она поняла, что погибаетъ. Дѣти, мужъ, домъ пронеслись въ ея головѣ какъ чудныя, свѣтлыя, навѣкъ утраченныя картины... Съ дикой энергіей барахталась она на землѣ, силясь встать: песокъ попадалъ ей въ ротъ, порошилъ глаза. Въ глазахъ потемнѣло отъ страшнаго удара по головѣ. Наглая рука шарила въ складкахъ ея платья, отыскивая карманъ. Силы покидали Марью Петровну. Все было кончено... Вдругъ въ воздухѣ раздался звукъ колокольчика и топотъ лошадиныхъ копытъ... Марья Петровна почувствовала себя свободной. Она вскочила и бросилась бѣжать, какъ помѣшанная. Коса ея развилась и упала; она потеряла всѣ шпильки и гребень, сердце ея билось съ страшною силой и болью; ноги вязли въ пескѣ, она задыхалась, собиралась съ послѣдней силой и летѣла, летѣла какъ птица. Добѣжавъ до второго домика на выѣздѣ, она упала въ полуобморочномъ состояніи на скамеечку у калитки: „Какъ только увижу кого-нибудь, начну стучаться, пусть будетъ, что будетъ“, подумала она и больше уже ничего не думала. Устремивъ глаза на дорогу, она дышала тяжело, прерывисто, со свистомъ, какъ смертельно загнанное животное. Мимо нея шагомъ, тихонько позвякивая колокольчиками, проѣхала тройка. Марья Петровна порывисто натянула платокъ на лицо. Она узнала обоихъ сѣдоковъ: слѣдователь и уѣздный врачъ... Что если они остановятъ лошадей?... Ямщикъ сказалъ „тпру“ и началъ слѣзать съ козелъ. Марьѣ Петровнѣ показалось, что она умираетъ. Ямщикъ подвязалъ колокольчики, ударилъ себя зачѣмъ-то кнутомъ по сапогамъ, сѣлъ на козлы и свистнулъ на лошадей. Прошло минутъ десять-пятнадцать. Марья Петровна начала дышать свободнѣй и тутъ только почувствовала, какъ страшно болитъ у нея голова и спина, какъ трясутся и ноютъ ноги... На дорогѣ показалась какая-то фигура. Марья Петровна вскочила, чтобы бѣжать, но всмотрѣлась и узнала Сергѣя Фроловича. По той внезапной радости, которая прихлынула къ ея сердцу, она поняла, что боялась,—живъ ли онъ. Но встрѣтиться съ нимъ теперь,—говорить, казалось ей чѣмъ-то ужаснымъ. Она встала и пошла. Онъ догналъ ее, и они молча пошли рядомъ. Они уже больше не говорили о своихъ чувствахъ и взаимныхъ отношеніяхъ: они были для нихъ ясны и такъ. Пройдя почти половину дороги, Марья Петровна сказала наконецъ:

— Какъ вы... избавились отъ нихъ?

— Такъ же, должно быть, какъ и вы. Булавки англійской у васъ нѣтъ?

— Зачѣмъ вамъ?

— Брюки зашпилить, что ли, какъ-нибудь,—отвѣтилъ онъ грубо.— Брюки всѣ изорвали. Шляпа не знаю гдѣ. Пенснэ золотое тамъ въ пескѣ оставилъ... восемнадцать рублей оно стоитъ... Все лицо—сплошной синякъ. Недѣли двѣ теперь на службу не пойдешь. Не знаю, грудь цѣла ли. Говорилъ я...

Марья Петровна ничего не отвѣтила.

— Не боитесь?—отрывисто спросилъ Сергѣй Фроловичъ, когда они дошли до поворота на Смоленскую улицу, гдѣ жила семья казначея.

— О нѣтъ!

Они едва пожали другъ другу руки и разстались. Сергѣй Фроловичъ отправился домой. Начинало свѣтать. Повѣяло свѣжимъ вѣтромъ. Краски неба свѣтлѣли. Мягкія, круглыя облачки надъ горами окрасились розовымъ свѣтомъ. Деревья стряхивали съ себя ночную дремоту и начинали лепетать радостную сказку объ яркомъ солнышкѣ и теплѣ. Всегда чуткій къ красотамъ природы, Сергѣй Фроловичъ теперь ничего не видѣлъ и шелъ торопливыми шагами къ своему трехоконному, сѣренькому домику. Вдругъ онъ вздрогнулъ: окно домика было открыто, и около него сидѣлъ отецъ Сергѣя Фроловича, Фролъ Максимычъ, старенькій, согнутый, сѣденькій старичокъ, въ ночной бѣлой рубашкѣ, подпоясанной шерстянымъ поясомъ.

— Отворите мнѣ калитку, папаша,—сказалъ Сергѣй Фроловичъ жестко.—Вы что это до какихъ поръ сидите, не ложитесь?

— Знаю, знаю, гдѣ ты шатался! Знаю, съ кѣмъ ты шатался,—заговорилъ старикъ дрожащимъ отъ негодованія голосомъ.—Съ кѣмъ ты связался, Сергѣй? На что ты связался? Все знаю. О матери подумай! Мать-то глазъ не смыкаетъ, плачетъ...

— Да вы что, бѣлены, что ли объѣлись? Какое вамъ дѣло? Отворите мнѣ калитку, чортъ побери!

— А-а, какое дѣло! До моего дитенка и вдругъ мнѣ нѣтъ дѣла! Да я прокляну тебя, негоднаго!

— Боже мой, Боже!.. и все это только за желаніе поговорить съ женщиной по-человѣчески!...

— Нечего по нашему мѣсту по-человѣчески-то говорить. Не къ чему. А есть у тебя служба, родители, домъ, ну и живи! Вонъ Аѳиса Флегонтовна нынче къ намъ приходила, говоритъ: „ужъ весь городъ знаетъ, вы одни только не знаете. Сереженька-то вашъ въ Пропадинскъ переводится, за своей мамошкой гонится, а васъ тутъ бросаетъ".

— Ну и брошу!—бѣшено закричалъ Сергѣй Фроловичъ.—И брошу. Живит тутъ какъ хотите. Домъ у васъ свой, пенсію получаете, дамъ вамъ на пропитаніе рубля три въ мѣсяцъ и живите.

Фролъ Максимычъ отскочилъ отъ окна и заметался по комнатѣ.

— Мать, мать!—закричалъ онъ,—слышишь?—Потомъ опять подбѣжалъ къ окну, высунулся въ него до половины и, грозя сыну кулаками, заговорилъ, сбиваясь и трясясь:

— А, ты такъ! Ты такъ смѣешь! Слышите, добрые люди? Слышите? Сынъ-то хочетъ насъ кинуть, какъ щенятъ! Добрые люди, сюда! Добрые люди...

Старикъ не находилъ подходящаго слова и топтался на мѣстѣ

задыхаясь и брызгаясь слюной. То обстоятельство, что слово не отыскивалось, приводило его въ бѣшенство. Наконецъ онъ рѣшился и закричалъ визгливымъ, прерывающимся голосомъ:

— Ура, ура, ура!

Слово было не то, но Фролъ Максимычъ потерялъ сознаніе дѣйствительности и, еще больше высунувшись въ окно и ухватившись обѣими руками за подоконникъ, кричалъ отчаянно, визгливо и бѣшено:

— Ура, ура, ура!

— Что вы орете? Отворите сейчасъ калитку!—прошипѣлъ Сергѣй Фроловичъ и ожесточенно началъ колотить обѣими руками въ дверку. Гдѣ-то послышался полицейскій свистокъ; сверху грузно бѣжалъ, немилосердно отбивая на своей трещоткѣ, уже собравшійся идти домой, а потому страшно сердитый, ночной караульщикъ. Мать Сергѣя Фроловича, увидѣвъ все это, торопливо оттолкнула отъ окна упиравшагося Фрола Максимыча, захлопнула раму и босая, въ одной юбченкѣ побѣжала отворять сыну калитку. Взглянувъ на искаженное, избитое лицо Сергѣя Фроловича, особенно страшное въ золотистыхъ тонахъ свѣжаго утра, разорванный лацканъ его пальто и располосованныя панталоны, старушка обмерла отъ испуга и промолвила только:

— Вотъ оно... съ чужими-то женами гулять!

Марья Петровна нашла калитку своего дома отпертой. На ея робкій звонокъ сейчасъ же вышла Ѳеся, какъ будто бы и не ложившаяся спать.

— Ну и долго же вы, барыня!—сказала она фамильярно.—Нагулялись? Батюшки, да что это вы какія блѣдныя, да всѣ въ пескѣ?

— Упала...—промолвила Марья Петровна съ нервнымъ, хриплымъ смѣшкомъ.

— И платокъ-то весь въ пескѣ... Да гдѣ у васъ накидка-то?

— Потеряла какъ-то и не замѣтила...

— Что это, Господи! Вотъ гдѣ слезы-то. Да гдѣ это вы, батюшки? А тутъ только вы ушли, дѣвчонка какая-то прибѣгала, принесли вамъ письмо. „Ты чья, говорю, ночью письма носишь?“ Она не сказываетъ. Я записочу положила около зеркала.

— Хорошо, хорошо. Иди себѣ спать. Я сама все сдѣлаю.

Марья Петровна подошла не раздѣваясь къ зеркалу и мелькомъ взглянула въ него. Изъ четырехугольной рамы на нее глянуло старое, дряблое лицо съ желтыми, морщинистыми щеками и потухшимъ, усталымъ взглядомъ. Она съ негодованіемъ отвернулась и, сѣвъ на кресло, разорвала грязный, безграмотно надписанный конвертъ. Въ комнатѣ было еще не совсѣмъ свѣтло, въ головѣ у Марьи Петровны

шумѣло; буквы прыгали передъ ея глазами. Она съ трудомъ разобрала слѣдующее: „Милая Марья Петровна! Какъ мнѣ васъ жаль и желаю васъ предупредить противъ Іуды. Ваши тайности съ булгатеромъ черезъ змѣю извѣстны, и хвалилась, что надо взять одно письмо и отдать казначею. Ну всѣ ваши письма она читала и слюнями потомъ склеитъ. Она и мнѣ не даетъ работать вещей, а я цѣлая мастерица и завтра ухожу отъ скандала къ Матренѣ Григорьевнѣ. Меня вы не стѣсняйтесь и можете письма получать черезъ меня. Ваша извѣстная вамъ покорнѣйшая слуга Лизавета Сорокина, мастерица".

Нервы Марьи Петровны, наконецъ, не выдержали. Всѣ предметы кругомъ нея словно закачались и поплыли, и она сама закачалась и упала съ кресла на полъ. Никто не пришелъ къ ней на помощь. Она полежала нѣсколько минутъ, очнулась и встала. Кое-какъ, обрывая тесемки, съ большимъ трудомъ она раздѣлась, дотащилась до постели, рухнулась въ нее какъ подкошенная и плакала, плакала, плакала...

До своего отъѣзда въ Пропадинскъ она только разъ встрѣтила Сергѣя Фроловича. Онъ шелъ по улицѣ въ новомъ пенснэ и въ новой фуражкѣ. Увидѣвъ Марью Петровну, онъ поклонился ей вѣжливо, но сухо и сейчасъ же свернулъ въ ближайшій переулокъ...

Ольга Павлова Русова

ЕЛЕНА ДМИТРІЕВНА ПОЛѢНОВА.

Елена Дмитріевна Полѣнова родилась въ Петербургѣ 15-го ноября 1850 года и скончалась въ Москвѣ 7-го ноября 1898 года. Кончина ея была тяжелой утратой для русскаго искусства, которому она посвятила свою жизнь и въ область котораго она внесла глубокое пониманіе русскаго народнаго духа.

Дѣтство ея протекло въ Петербургѣ, гдѣ ее окружала обстановка, способствовавшая ея художественному и умственному развитію. Мать ея сама занималась живописью и съ ранняго возраста обратила вниманіе на развитіе природныхъ способностей своихъ дѣтей; изъ нихъ двое—старшій сынъ, нашъ извѣстный художникъ В. Д. Полѣновъ, и младшая дочь Елена Дмитріевна—посвятили себя художественной карьерѣ. Съ 9-ти лѣтъ Е. Д. стала систематически брать уроки рисованія сперва у П. И. Чистякова, а затѣмъ въ школѣ Общ. Поощр. Худ., гдѣ училась подъ руководствомъ И. Н. Крамского, у котораго позднѣе брала еще частные уроки.

Отецъ Е. Д. былъ человѣкъ науки — историкъ и археологъ. Какъ таковой, онъ не могъ не обратить вниманія на научное образованіе своихъ дѣтей, и Е. Д. пользовалась уроками лучшихъ преподавателей того времени. Къ природному уму она присоединила серьезное и обширное образованіе, при чемъ обладала рѣдкою для женщины способностью обобщенія. Въ теченіе своей жизни за какое бы дѣло она ни принималась, она всегда

сопровождала его соотвѣтственнымъ серьезнымъ изученіемъ и вносила новый вкладъ въ сокровищницу своихъ знаній. Подъ вліяніемъ отца, глубоко любившаго русскую народность во всѣхъ ея проявленіяхъ, какъ литературныхъ, такъ и художественныхъ, Е. Д. рано занялась изученіемъ русской исторіи. Въ ней развилась та любовь къ русской старинѣ, которая со временемъ привела ее къ тонкому пониманію русскаго стиля и обусловила характеръ ея личнаго творчества.

Принадлежа къ аристократическому кругу Петербурга, она не увлеклась свѣтскою жизнью того времени; наоборотъ, ее охватило начавшееся тогда движеніе 60-хъ годовъ и пробудившееся сознаніе необходимости умственнаго развитія женщины. Въ 1875 году Е. Д. сдала экзаменъ на домашнюю учительницу и получила этотъ въ то время единственный въ Россіи научный цензъ для женщины. Вспыхнувшая въ 1877 году русско-турецкая война на время отвлекла Е. Д. отъ ея художественныхъ работъ и она отправилась въ Кіевъ, гдѣ старшая сестра ея съ другими дамами организовала лазаретъ при военномъ госпиталѣ, и съ самоотверженіемъ ходила за ранеными.

По окончаніи войны Е. Д. вернулась къ своимъ художественнымъ занятіямъ и опять поступила въ школу Общ. Поощр. Худ., гдѣ одну за другой получила 3 медали и командировку въ Парижъ для изученія керамики. Вернувшись въ 1881 году въ Петербургъ, Е. Д. занялась руководствомъ керамическаго класса въ школѣ Общ. Поощр. Худ.

Въ 1882 году она по семейнымъ обстоятельствамъ переѣхала въ Москву, гдѣ поселилась съ семьей брата. Воспитанная на русской исторіи, она въ Москвѣ впервые почувствовала себя на родной ея сердцу почвѣ. Москва и московская обстановка вызвали къ жизни тѣ самобытно-русскіе зачатки, которые она таила въ себѣ. Въ домѣ брата, бывшаго тогда преподавателемъ училища живописи и ваянія, собиралась талантливая молодежь того времени. Е. Д., съ ея горячею любовью къ искусству, съ ея тонкимъ оригинальнымъ умомъ, стала душою этихъ собраній, она почувствовала свое духовное родство съ Москвой и сильно привязалась къ ней. Здѣсь же она впервые выступила на періодической выставкѣ Общ. Люб. Худ. со своими акварелями, которыя сразу обратили на себя вниманіе публики.

Съ этого времени начинается новый періодъ жизни Е. Д. Послѣ долгаго и серьезнаго изученія она перешла къ самостоятельному творчеству и окончательно спеціализировалась какъ художникъ.

Въ 1885 году она сблизилась съ Елизаветой Григорьевной Мамонтовой и стала часто бывать въ ея подмосковномъ имѣніи Абрамцевѣ. Тамъ уже вѣсколько лѣтъ существовала школа и при ней столярная мастерская. При основаніи послѣдней Ел. Гр. имѣла цѣлью дать своимъ ученикамъ мѣстное ремесленное образованіе и удержать ихъ въ деревнѣ, сдѣлавъ изъ нихъ кустарей. Этимъ она надѣялась поднять благосостояніе крестьянъ. Но дѣло шло плохо, и выученики все-таки уходили въ города, не имѣя мѣстныхъ заказовъ. Е. Д., которая всегда съ интересомъ относилась къ

вопросамъ соціально - экономическимъ, очень увлеклась этимъ дѣломъ, но сейчасъ же поняла, что для успѣха его необходимо было дать вновь создаваемому промыслу интересъ художественности. Тутъ представился ей случай примѣнить на дѣлѣ не только свои художественно-архитектурныя способности, но и свое знаніе русской археологіи и свою любовь къ русскому народному творчеству. Вмѣстѣ съ Ел. Гр., объѣзжая деревни, она собрала цѣлый музей русскихъ народныхъ образцовъ и сдѣлала массу архитектурныхъ зарисовокъ. Пользуясь этимъ матеріаломъ, она стала создавать новые образцы мебели и домашней утвари, сообразуясь съ потребностью времени. Производство быстро развилось; крестьяне съ интересомъ занялись имъ, чувствуя въ немъ что-то свое, родное. Въ настоящее время дѣло это приняло уже широкіе размѣры, и заказы поступаютъ не только съ разныхъ концовъ Россіи, но и изъ Западной Европы.

Рядомъ съ художественно-архитектурными работами Е. Д. продолжала серьезное изученіе русской археологіи и слушала лекціи профессора Ключевскаго. Къ этому же времени принадлежитъ и первая ея картина масляными красками «Мастерская иконописца XVI вѣка», получившая премію въ Петербургѣ въ Общ. Поощр. Худ. и пріобрѣтенная П. М. Третьяковымъ для его галлереи.

Столкновеніе съ народною жизнью, благодаря Абрамцевскому дѣлу, сблизило Е. Д. и съ народнымъ эпосомъ. Она обыкновенно заставляла окружавшихъ ее крестьянскихъ ребятишекъ разсказывать сказки, слышанныя отъ дѣдовъ, и тутъ же на поляхъ альбома записывала эти тексты. Въ ея воображеніи, въ связи съ обстановкой, возникали тогда иллюстраціи къ слышанному. Послѣ нея остался цѣлый рядъ такихъ талантливыхъ набросковъ для сказокъ, изъ которыхъ издана пока только одна «Война грибовъ».

Въ 1889 году Е. Д. посѣтила парижскую всемірную выставку. Западное искусство, такъ богато и ярко представленное тамъ, не могло не захватить ее, и вліяніе его отразилось на исполненіи послѣдующихъ картинъ Е. Д.— «Въ гостяхъ у крестной», «Дѣтская», «Арфисты», въ разное время выставленныхъ на передвижныхъ выставкахъ. Пораженная неутомимой работой западныхъ художниковъ, ихъ строгой штудировкой рисунка, она сознала необходимость самой работать въ этомъ направленіи, и въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ много рисовала и писала съ натуры и изучала анатомію подъ руководствомъ профессора Губарева. Эти занятія анатоміей весной 1890 г. въ мастерской ея товарища Э. Я. Шанксъ вдохновили Е. Д. написать картину «Урокъ анатоміи», снимокъ съ которой помѣщенъ въ этомъ сборникѣ.

Обладая самобытнымъ талантомъ, богатою способностью творчества и рѣдкою выдержкой въ трудѣ, Е. Д. имѣла еще особый даръ—это вызывать въ другихъ людяхъ сознаніе ихъ силъ, двигать ихъ на дѣятельность и внушать имъ вѣру въ самихъ себя. Эта ея способность сильно влекла къ ней. Для сколькихъ лицъ сближеніе съ ней имѣло рѣшающее значеніе

и прошло яркой, неизгладимой полосой въ ихъ жизни! Е. Д. сама сознавала въ себѣ этотъ даръ и въ 1895 году писала одному другу: «Мнѣ бы хотѣлось, главное, не потерять двухъ способностей: способности помогать, воодушевлять, служить опорой и толчкомъ къ работѣ другимъ художникамъ; это свойство во мнѣ есть положительно; оно для меня стало, что вода для рыбы, безъ этого мнѣ трудно жить; другая способность—это любить и вѣрить и увлекаться своей работой. Больше мнѣ ничего не нужно. Конечно, оцѣнка, поддержка, интересъ другихъ людей драгоцѣнны, но неизмѣримо важнѣе тѣ силы, которыя внутри живутъ и даютъ питаніе огню, горящему въ душѣ. Лишь бы онъ не потухалъ».

Между тѣмъ чрезмѣрная работа переутомила Е. Д., и въ здоровьи ея стали проявляться угрожающіе симптомы. Головная боль, головокруженіе и боль въ глазахъ стали мѣшать ей работать. Зиму 1898 года она провела въ Парижѣ. Отдыхъ и тепло на время возстановили ея силы и она опять почувствовала приливъ бодрости и энергіи. Замысламъ, планамъ и художественнымъ затѣямъ не было границъ. Е. Д., казалось, достигла высшаго расцвѣта своего таланта, нужны были только время и силы, чтобы все исполнить. Между тѣмъ тяжелый недугъ уже подкрадывался. Вернувшись въ маѣ въ Россію, она вдругъ почувствовала новый упадокъ силъ, а въ августѣ ее поразила тяжелая болѣзнь. 7-го ноября ея не стало.

Погребена она на Ваганьковскомъ кладбищѣ, и на могилѣ ея поставленъ крестъ, сдѣланный ея учениками въ Абрамцевской мастерской. Люди, жизнью и дѣятельностью связанные съ нею, съ глубокою благодарностью прочтутъ надпись на крестѣ:

«А иже сотворитъ и научитъ, сей велій наречется въ царствіи небесномъ» (Матѳея, гл. 5, ст. 19).

Н.

Конецъ.

Рис. Е. М. Бём.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX
TILDEN FOUNDATIONS

Оглавленіе.

	Стр.
Предисловіе	V
А. А. Андреева. „Трагедія смѣняющихся міровоззрѣній". „Привидѣнія" Ибсена. Критическій этюдъ	48
Н. П. Анненкова-Бернардъ. Біографическій очеркъ. Портретъ	153
Н. П. Анненкова-Бернардъ. „Дорожная встрѣча" (изъ путевыхъ набросковъ)	154
Л. А. Авилова. „Легенда" (разсказъ)	213
Allegro (псевд. П. С. Соловьевой). Біографическія свѣдѣнія. Портретъ	163
Allegro (псевд. П. С. Соловьевой). „Одинъ" (стихотвореніе)	164
Ардовъ (псевд. Е. И. Апрѣлевой). Біографическія свѣдѣнія. Портретъ	260
Ардовъ (псевд. Е. И. Апрѣлевой). „Натуся Кузьмы Кузьмича" (разсказъ)	261
Ю. И. Безродная. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ	300
Ю. И. Безродная. „Серафима" (отрывокъ)	301
А. А. Вербицкая. Автобіографія. Портретъ	84
А. А. Вербицкая. „Наши ошибки". Повѣсть въ двухъ частяхъ	92
З. Н. Гиппіусъ. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ	279
З. Н. Гиппіусъ. „Двѣ пѣсни русалокъ" (изъ драмы „Святая Кровь")	280
И. А. Гриневская. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ	258
И. А. Гриневская. Изъ Асныка (стихотвореніе)	259
В. І. Дмитріева. Автобіографическій очеркъ. Портретъ	191
В. І. Дмитріева. „Черезъ стѣну". Разсказъ	194
М. В. Крестовская. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ	174
М. В. Крестовская. „Сонъ въ лѣтнюю ночь" (перепечатано)	175
А. Р. Крандіевская. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ	232
А. Р. Крандіевская. „Ночь" (перепечатано)	233
Владиміръ Каренинъ (псевдонимъ). „Жемчужина" (сказка)	167
М. А. Лохвицкая. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ	17
М. А. Лохвицкая (стихотвореніе)	18
Е. П. Лѣткова. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ	321
Е. П. Лѣткова. „Облачко"	322
Н. Мировичъ (З. С. Иванова). Біографическія свѣдѣнія. Портретъ	242
Н. Мировичъ (З. С. Иванова). Два конгресса женской фронды (изъ воспоминаній 1899 и 1900 гг.)	243
М. А. Марко-Вовчокъ. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ	283
М. А. Марко-Вовчокъ. „Праздничный сонъ" (разсказъ)	284
В. Микуличъ. Переводъ разсказа Пьера Лоти „Старуха"	226
Э. Ожешко. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ	20
Э. Ожешко. „Дымъ" (идиллія), переводъ съ польскаго В. Лаврова	22
О. П. Рунова. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ	358
О. П. Рунова. „Пастораль"	359
А. А. Стернъ. Автобіографическій очеркъ. Портретъ	68
А. А. Стернъ. „Дѣти" (этюдъ)	70
Р. М. Хинъ. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ	79
Р. М. Хинъ. Переводъ статьи Жоржъ Зандъ „Гамлетъ"	80
М. К. Цебрикова. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ	1
М. К. Цебрикова. „Наши недоразумѣнія"	3
О. Н. Чюмина. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ	145
О. Н. Чюмина. „Изъ зимнихъ мелодій", „Пробужденіе", „Дубъ" (стихотворенія)	147, 149, 150
О. А. Шапиръ. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ	337

Стр.

О. А. Шапиръ. „Развязка“ (столичный случай) 338
Т. Л. Щепкина-Куперникъ. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ 326
Т. Л. Щепкина-Куперникъ. „Отзвукъ“ (стихотвореніе). „Вечеромъ“ (набросокъ). „Два пути“ (стихотвореніе) 327, 328, 336
Ю. И. Баруздина. Иллюстраціи къ повѣсти Ардова 270, 277
Р. Н. Браиловская. Рисунокъ къ стихотворенію „Пробужденіе“ 149
Е. М. Бёмъ. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ 16
Е. М. Бёмъ. Два рисунка . . . . . V, 387
Е. Н. Вилліамъ. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ 144
Е. Н. Вилліамъ. Иллюстраціи къ повѣсти „Наши ошибки“ 93, 98, 102, 103, 124
Е. С. Кавосъ. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ 357
Е. С. Кавосъ. Иллюстраціи къ разсказу „Развязка“ 338, 356
С. П. Кувшинникова. Автобіографическій очеркъ. Портретъ 223
С. П. Кувшинникова. Иллюстраціи къ „Легендѣ“, стр. 212 и 222. Рисунокъ внѣ текста. 257
Е. Г. Краснушкина. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ 151
Е. Г. Краснушкина. Рисунокъ къ стихотворенію „Изъ зимнихъ мелодій“ 147
Е. А. Карзинкина (Телешева). Біографическій очеркъ. Портретъ 212
Е. А. Карзинкина (Телешева). Иллюстраціи къ повѣсти „Черезъ стѣну“ . . 196, 197, 210
Ю. Я. Кремеръ. Иллюстрація къ разсказу „Серафима“ 306
В. А. Оленина. Рисунокъ къ статьѣ Жоржъ Зандъ „Гамлетъ“ 83
Е. Д. Полѣнова. Біографическій очеркъ Н. Портретъ (заставка ея работы) 383
Е. Д. Полѣнова. Снимокъ съ картины „Урокъ анатоміи“ . . . . . 212—213
А. Л. Ржевская. Біографическій очеркъ. Портретъ 161
А. Л. Ржевская. Иллюстраціи къ разсказу „Дорожная встрѣча“, стр. 156, 158. Снимокъ съ картины, стр. 130, и снимокъ съ картины „Осень“ . . . . 144—145
П. С. Соловьева. Виньетка къ стихотворенію „Одинъ“ 164
О. М. Соловьева. Иллюстрація къ стихотворенію „Пѣсни русалокъ“, стр. 230, и рисунокъ головки 282
Е. П. Самокишъ-Судковская. Біографическій очеркъ. Портретъ 299
Е. П. Самокишъ-Судковская. Иллюстраціи къ повѣсти „Праздничный сонъ“, стр 284, 288, 290, 291, 292, 294, 294, 295, 296, и рисунокъ обложки.
Е. С. Селивачева. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ 78
Е. С. Селивачева. Иллюстраціи къ этюду „Дѣти“, стр. 70, 71, 72, 77. Виньетка къ сказкѣ „Жемчужина“, стр. 167, и снимокъ съ рисунка „Интересная книга“. 152
С. В. Семичева. Иллюстрація къ „Пасторали“ 377
Э. Г. Фаллизъ. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ 166
Э. Г. Фаллизъ. Рисунокъ „Торговка“, стр. 46, и снимокъ съ картины „Уголокъ кладовой“ 166
А. Г. Фаллизъ. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ 231
А. Г. Фаллизъ. Рисунокъ 231
А. А. Хотяинцева. Иллюстраціи къ разсказу „Сонъ въ лѣтнюю ночь“, стр. 176, 180; иллюстраціи къ разсказу „Ночь“, стр. 234, 236. Рисунокъ „Сумерки“, стр. 278, и снимокъ съ этюда „Головки“ . . . . . 278—279
Э. Я. Шанксъ. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ 45
Э. Я. Шанксъ. Иллюстрація къ повѣсти „Дымъ“, стр. 23, иллюстрація къ разсказу „Вечеромъ“, стр. 333, снимокъ съ картины „Занялась“ . . . . . 46—47
М. Я. Якунчикова-Веберъ. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ 319
М. Я. Якунчикова-Веберъ. Снимки съ акварелей . . . . . 320, 282—283
Е. Ѳ. Юнге. Біографическія свѣдѣнія. Портретъ 19
Е. Ѳ. Юнге. Рисунокъ къ стихотворенію М. Лохвицкой и „Дубу“ Чюминой . . . 18, 150

Виньетки и заставки рисованы Е. А. Карзинкиной и А. А. Хотяинцевой.

ОПЕЧАТКИ.

Страница.	*Строка.*	*Напечатано:*	*Нужно читать:*
16	5 св.	учаь	учась
47	—	мыльные пузыри“	„Мыльные пузыри“
60	12 св.	человчка	человѣка
61	10 св.	правидѣніями	привидѣніями
67	7 св.	Стокманъ	Штокманъ
146	3 св.	Кюке	Коппе
166	5 сн.	Лежа	Льежа
260	—	Елена Ивановна Ардова	Е. Ардовъ
274	4 св.	не доѣденной	недоѣденной
295	5 сн.	рубли	рубля
371	16 св.	Петрова	Петровна

3 2044 017 611 724